

НОВЫЙ Журнал



НЬЮ-Йорк

THE NEW REVIEW Новый Журнал

Основатели М. Алданов и М. Цетлин – 1942

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль

С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор)

Г. Андреев, Л. Ржевский

1976 – 1981 редактор Роман Гуль

1981 – 1983 редакция: Р. Гуль (главный редактор),

Е. Магеровский

1984 – 1986 редакция: Р. Гуль (главный редактор),

Ю. Кашкарров, Е. Магеровский

1986 – 1990 Редакционная коллегия

1990 – 1994 редактор Юрий Кашкарров

1994 – 2005 редактор Вадим Крейд

Семьдесят девятый год издания

Главный редактор – Марина Адамович

Редакционная коллегия:

Марина Гарбер, Елена Дубровина, Мария Рубинс, Владимир фон Цуриков.

Ответственный секретарь – Наталья Бернадская

Редакция: Владимир Гандельсман, Наталья Гастева, Рудольф Фурман

The New Review, Inc.:

T. Bobrinskoy; T. Chebotareva; G. Glinka; M. Jordan; P. Khlebnikov;
V.Kreyd; G. Mesniaeff; A. Neratoff; I. Sikorsky; P. Tcherepnine; V. von
Tsurikov; L. Vulfina, Y. Vulfin, M. Adamovitch.

Обложка художника М. Добужинского

THE NEW REVIEW

№ 303, июнь 2021

© 2021 by THE NEW REVIEW

Рукописи не возвращаются

Перепечатка материалов «Нового Журнала» без письменного разрешения редакции запрещается. Размещение материалов «Нового Журнала» он-лайн без письменного разрешения редакции запрещается.

Редакция не несет ответственность за содержание публикуемых материалов. Авторы несут ответственность за достоверность приводимых ими фактов и цитат.

THE NEW REVIEW (ISSN 0029–5337) is published quarterly
by The New Review, Inc., 1216 Broadway, 2nd floor, New York, N.Y.
10001. Periodical postage paid at New York, N.Y. Publication No.
596680. POSTMASTER: send address changes to The New Review,
1216 Broadway, 2nd floor, New York, N.Y. 10001

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

<i>Лев Альтмарк</i> – Проклятая полукрона. Повесть	5
<i>Полина Брейтер</i> – Бирюзовый дождь. Повесть	30
<i>Марина Гарбер</i> – Нежное крошечное. Стихи	132
<i>Евгений Чигрин</i> – Смотрящий за сновиденьем. Стихи	140
<i>Валерий Черешня</i> – Стихи	147
<i>Евгений Брейдо</i> – Театр Аустерлица. Главы из романа	152
<i>Владимир Яськов</i> – Амнистия. Стихи	174
<i>Михаил Рабинович</i> – Стихи	181
<i>Борис Ильин</i> – Стихи	185
<i>Василий Львов</i> – Зеркало заднего вида, или Дневник ковидного года. Философская поэма	188
<i>Андрей Грицман</i> – Стихи	214
<i>Михаэль Шерб</i> – Стихи	221
<i>Владимир Торчилин</i> – Тропинка на берегу. Рассказ	227
<i>Александр Петров</i> – Из цикла «Эрос». Стихи	238
<i>Владимир Строчков</i> – Стихи	244
<i>Александр Кабанов</i> – Стихи	247

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

<i>Е. Е. Климов</i> – Записки художника. Часть 1 (Публ. – А. Е. Климов)	250
<i>Владимир Хазан</i> – «Не знаю, знакомо ли Вам мое имя.» Гершон Свет и его корреспонденты	273
Переписка Гершона Света (Публ. – В. Хазан)	281
<i>П. Глушаков</i> – Виктор Некрасов: письма первого года эмиграции	311
Письма В. П. Некрасова (Публ. – П. Глушаков)	317

КУЛЬТУРА. ЛИТЕРАТУРА. ИСТОРИЯ

<i>Юкио Накано</i> – Переписка И. Бунина и А. Бахраха	325
<i>П. Н. Базанов</i> – Издательская деятельность «Нового русского слова»	332
<i>Елена Дубровина</i> – Мишель Матвеев и его роман «Загнанные»	340

КНИГА И СУДЬБА

<i>Яков Рабинович</i> – Хроника иллюзорной битвы. К 130-летию со дня рождения Сергея Прокофьева	361
--	-----

БИБЛИОГРАФИЯ

Евгений Терновский – Дмитрий Бобышев. Петербургские небожители и другие поэмы; **Мария Бушуева** – Елена Литинская. Семь дней в Харбине и другие истории; **Виктор Леонидов** – Татьяна Марченко. Бунин и Франция; Абраменко Людмила. История семьи адмирала А. В. Колчака во Франции; София Колчак. Воспоминания. Стихи; Спекторский Е. В. Воспоминания 380

ОБ АВТОРАХ 391

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

Лев Альтмарк

Проклятая полукрона*

1

...Когда я нажимаю эту кнопку, мой палец словно покалывает каким-то легким электрическим разрядом. После этого разряд теплой волной бежит по руке, растекается по предплечью, поднимается выше к шее, потом спускается вниз по спине и там уже пропадает. Я уже привык к этому. Хотя это и не больно, но каждый раз неприятно.

А перед этим я захожу в комнату, вернее, в свой кабинет, куда, кроме меня, никто не заходит, зажигаю свет, некоторое время привычно разглядываю пустые стены, окрашенные веселой салатной краской, гляжу на окно, которое всегда завешано темными шторами, и сажусь за стол. В моем кабинете ничего нет. Только стол с кнопкой посередине и большие электронные часы на стене, замирающие каждый раз, когда я нажимаю кнопку. Кнопка очень похожа на старинную монету – неровная, слегка выпуклая поверхность со стертым неясным рисунком, а по гурту – ребристая насечка, как и должно быть на монетах.

Нажимать кнопку – моя основная работа. Никто, кроме меня, заниматься этим не согласился, хотя в нашем медицинском центре работает почти тысяча человек – врачи, медсестры, сиделки, технический персонал. Никто – только я, бывший медбрат.

Друзей среди работников центра у меня нет. Как нет и коллектива, среди которого я мог бы находиться. Да я и не числюсь ни в одном из больничных отделений – сам себе хозяин и никому не подчиняюсь. Формально начальство у меня, конечно, есть. Едва я приступил к своей работе пару лет назад, директор медицинского центра попробовал за какую-то мелкую провинность прикрикнуть на меня и постучать кулаком по столу, но я тут же пригрозил уходом, и он сразу замолчал. И в самом-то деле, кого он найдет на мое место?.. Может, конечно, когда-то и найдется мне замена, но будет это не так скоро. Он-то не дурак, и прекрасно понимает, чем рискует.

Проводить эвтаназию у нас разрешили официально совсем недавно. Так вот, я и есть тот человек, который в нашем стационаре

* Лауреат Премии им. Марка Алданова 2020 года.

нажатием кнопки отключает приборы жизнеобеспечения, поддерживающие существование безнадежно больного человека. На первый взгляд кажется, что нажать эту кнопку проще простого. Десятки кнопок мы нажимаем каждый день – от выключателя света до кнопок на компьютере, и никаких эмоций не испытываем, а вот нажать эту – завершающую чью-то жизнь – не у каждого хватит духа...

Вы бы сами попробовали поиграть именно с этой кнопкой, а я на вас посмотрел бы. Особенно хотел бы посмотреть на то, что с вами будет твориться через два часа, ночью или назавтра... Дело не в излишней мнительности или богатой фантазии – просто в этом действе есть и в самом деле что-то мистическое и даже сакральное, то есть такое, чего мы осознать своим умом пока не можем и не хотим. И в самом деле, нажатием этой кнопки мы останавливаем чье-то сердце, и человек больше не может дышать, шевелиться, мозг его потихоньку умирает, руки холодеют...

Лично я ощущаю, что каждый раз с нажатием этой кнопки со мной происходит что-то непонятное, а что – объяснить не могу. Словно от моего сердца – пока еще бьющегося – отрывается какой-то горячий трепещущий комочек и улетает в ледяное пространство космоса, откуда возврата нет... Через некоторое время это состояние гнетущего дискомфорта и страха, конечно, проходит, остается лишь какое-то неприятное послевкусие чего-то запретного и запредельного, а в голове каждый раз вертится одна-единственная мысль: я на это все-таки решился. Противился – а решился.

Человек я не экзальтированный и давно уже прекрасно понимаю, что ничего сверхъестественного не делаю. И в эвтаназии нет ничего магического. К тому же я ничего, по сути дела, не решаю. Если врачи приходят к выводу, что самостоятельно организм какого-то безнадежного больного функционировать больше не может, то у него или у его близких остается всего один неприятный выбор – поддерживать существование с помощью медицинских приборов, то есть обрекать беднягу и дальше на неимоверные муки и страдания, или всё закончить одним, почти безболезненным для него, нажатием кнопки. Я – лишь исполнитель. Моего мнения не спрашивают, просто отдают приказ, и я его послушно выполняю – нажимаю кнопку.

Кто-то мне сказал, что я выполняю функцию библейского архангела, который является к человеку, чтобы исполнить высшую волю, и сам ничего не решает. Не знаю, хорошее ли это сравнение или нет, но, за неимением лучшего, меня оно устраивает и, как ни странно, отчасти успокаивает. Исполнитель не несет никакой моральной ответственности ни за что. И, тем не менее, себе-то самому он все-таки судья...

К этому пациенту меня пригласила дежурная медсестра из отделения гериатрии. Как правило, ни с кем из больных в нашем центре я стараюсь не общаться, а с медсестрами и врачами, в общем-то, знаком по долгу службы, но тоже приятельских отношений не завожу.

— Что ему от меня надо? — недовольно поинтересовался я у медсестры, заранее предчувствуя какой-то подвох. — Я ничьих частных пожеланий не выполняю... Он, наверное, заявил, что мы знакомы?

— Нет, — пожала плечами медсестра. — Просто узнал, что в нашем центре изредка проводят эту процедуру, и попросил меня познакомиться с вами.

— Зачем ему это? Он хоть вменяемый? Его родственники знают о том, что он захотел со мной встретиться? Если это произойдет без их согласия, то будет грандиозный скандал. Мало ли что они могут подумать. Даже из-за одного моего визита и невинной беседы с ним. Как вы этого не понимаете!

— Я только передала его просьбу, — нахмурилась в ответ женщина. — А родственников у него, кажется, нет. По крайней мере, я никогда не видела, чтобы его кто-то посещал. Да он и иностранец какой-то, по-моему. Иврит у него очень плохой, а русского он вообще не знает.

— Хорошо, я подумаю.

Хоть у меня никаких особых дел в тот день не было, но сразу идти к этому странному человеку почему-то не хотелось. Вероятней всего, предполагал я, начнутся стандартные причитания о том, что жизнь ему осточертела, болезни замучили, каждый прожитый день в тягость, и я мог бы помочь в обход многочисленных врачебных комиссий и консилиумов ускорить уход из жизни. И он наверняка предложил бы мне какие-то деньги. Но я ни при каком раскладе сделать этого не могу, потому что вовсе не желаю загреметь в тюрьму, а такое однозначно произошло бы, если бы он заикнулся о том кому-то. Хоть претендентов на мое место и нет, но и недоброжелателей у каждого из нас полно. Мы даже не представляем, сколько.

— Так что ему передать? — поинтересовалась, перед тем как уйти, медсестра. — Он очень просил.

— Скажите, что завтра утром зайду.

— Пятая палата в нашем отделении. Он там один...

Честно признаться, я ожидал, что встречу изможденного старика, прикованного к кровати и обвешанного капельницами и кислородными трубками. Говорить он будет с трудом, и все его речи — о неминуемой скорой кончине, которая никак не приходит. Но это оказался, как ни странно, довольно плотный господин — стариком его назвать можно было с очень большой натяжкой — с румяным лицом,

обрамленным седой хемингуэевской бородкой, аккуратно подстриженными волосами, едва тронутыми на висках сединой. Короче говоря, на вид ему можно было дать не больше лет семидесяти – семидесяти пяти. Если бы не дыхание с одышкой, совсем выглядел бы молодцом.

Больничная кровать была аккуратно застелена, а сам он восседал в кресле, уведенном, видимо, из коридора. В палатах такие кресла обычно не ставят.

– Мне передавали, что вы хотели со мной побеседовать, – осторожно проговорил я и огляделся вокруг. Но никаких стульев или кресел для посетителей в палате не было. Видно, к старику и в самом деле никто не приходит, иначе бы точно были еще стулья, цветы на подоконнике и какие-нибудь фрукты в пакетах на прикроватной тумбочке.

Умирающим, то есть человеком, которому имело бы смысл в отдаленном будущем задумываться об эвтаназии, мой собеседник ни в коей мере не выглядел. Да и в гериатрии, где среди пациентов чаще всего попадаются немощные старики, страдающие десятками неизлечимых болезней, таких живчиков почти не бывает – уж больно осмысленный и даже озорной взгляд у него.

Так и не дождавшись ответа, я поинтересовался:

– Простите, уважаемый, а что вы здесь делаете? Мне кажется, что вам в этом отделении пока не место.

Неподвижное лицо старика несколько оживилось.

– Не место? – слегка ухмыльнулся он. – Может, вы и правы, сэр, но я...

– Сэр? – я удивленно поднял брови. – Откуда такое обращение, уважаемый? Мы же с вами не в Америке.

И тут старик уже рассмеялся в голос, даже взмахнув своими короткими ручками:

– Ничего в этом необычного нет! Я родом из Британии, но живу тут уже достаточно долгое время. Пора бы привыкнуть к местному этикету и панибратскому отношению между людьми... А вот от вежливого обращения к собеседнику всё еще не отвык!..

Странное начало разговора, подумал я. Видно, старик намерен общаться со мной долго, а мне просто жаль тратить время на бесполезные разговоры. Тем более выслушивать какого-то чопорного выходца с Британских островов. Все-таки я на работе, и какие-то обязанности у меня есть. А ведь ему, если говорить честно, и в самом деле не позавидуешь – проводить весь день в палате в одиночку, чуть ли не силой вытаскивать ответы на вопросы из вечно усталых грубоватых медсестер, являющихся сюда для проведения каких-то процедур и анализов. Тут светские беседы вести особенно не с кем.

А старик тем временем продолжал:

– Вы, наверное, сейчас размышляете о том, что мне понадобилось от вас, ведь вряд ли я собираюсь сводить счеты с жизнью в ближайшее время, и мне едва ли нужна ваша... э-э, услуга, ведь так?

– Вообще-то да, – кивнул я.

– Простите, но я сразу не поинтересовался: вы английским владеете? Мне было бы легче общаться на нем.

– Валайте... сэр, постараюсь понять!

– Итак, если вы не возражаете, я отниму у вас некоторое время, чтобы изложить свою историю. Без этого будет крайне затруднительно понять, что мне от вас требуется. Смее уверить, сэр, что никто такого до вас еще не слышал, и я обещаю, что это будет крайне любопытно и не скучно.

– Интригующее начало, но... может вам, сэр, – я не без труда повторил его обращение к собеседнику и слегка ухмыльнулся, – следовало для душеспасительной беседы пригласить не меня, а, скажем, раввина или... священника англиканской церкви, если уж вы родом из Британии? Ведь, как я понимаю, следом за изложением собственной истории непременно последует какая-то просьба...

Мои слова рассмешили старика еще больше.

– Может, вы и правы, но я все-таки предпочел позвать вас, а не служителей культа. Да и не найдется такого священника, который смог бы отпустить мои грехи. Плюс ко всему, недолюбливаю я их. Думаю, что я не ошибся, пригласив вас, и вы чуть позже поймете, почему... Располагайтесь, как вам удобней. Увы, могу предложить только краешек кровати. – Старик повел взглядом по палате. – Других кресел или стульев у меня, извините, нет. Как-то не обжился...

Хоть его слова и заинтересовали меня, но долго оставаться здесь я не собирался. Однако деваться было некуда, раз уж пришел.

– Слушаю вас. – На краешке кровати сидеть было неудобно, но уж десять-пятнадцать минут как-нибудь выдержу. – Для начала представьтесь, чтобы мне можно было как-то к вам обращаться.

– Зовут меня Джеймс Пирпойнт...

Свое имя старик проговорил медленно и фамилию почти по слогам, после чего сделал паузу и вопросительно уставился на меня, словно я должен был как-то на это отреагировать. Но я промолчал и только отвел глаза в сторону.

– Вам моя фамилия ни о чем не говорит? – Старик пристально разглядывал меня, и улыбки на его лице больше не было. – Чувствую, что нет... Тогда в нескольких словах поведаю о своем отце и тех, чье дело он продолжал, а после своей смерти собирался передать мне.

Заметив, что я тайком стрельнул взглядом на часы, он болезненно поморщился, но продолжал:

– Мой отец Альберт Пирпойнт родился в начале прошлого века в Клейтоне, в графстве Уэст-Йоркшир, и умер в Саутпорте, что в графстве Мерсисайд, в возрасте восьмидесяти семи лет. Ему по наследству досталась продуктовая лавка, в которой он проработал всю жизнь, но главным его призванием было совсем другое. Догадываетесь, мой друг, что это было за призвание?

– Нет. – Я помотал головой и подумал про себя, что этот сын Альбиона сейчас начнет грузить меня историями в стиле Диккенса, потому что находится тут в одиночестве неимоверно скучно, и вот отыскался чудак, который согласился его слушать. Но почему он решил развлекаться таким изуверским способом именно со мной, а не с кем-нибудь другим?! И как он узнал обо мне? Неужели разговоры об эвтаназии – любимая тема в гериатрии?

– Главное призвание моего отца состояло в том, что он был... палачом. И это тоже перешло ему по наследству...

Такой поворот нашей беседы мне уже совсем не понравился. Зачем мне об этом знать? Или он решил, что если я нажимаю кнопку, то мне это будет каким-то боком интересно? Тоже себе – коллегу собственного батюшки отыскал! Странный старик...

Вероятно, он ожидал такой реакции, поэтому вздохнул и проговорил:

– Хорошо, поступим так. Чтобы вы меня правильно поняли, дайте мне еще некоторое время, чтобы рассказать обо всем более подробно, а там... а там сами решите, как поступать. Пожалуйста, очень вас прошу...

2

– Начну издалека. Ни одно общество без палачей обойтись никогда не могло. Даже самая миролюбивая и демократическая власть нуждалась в их незамысловатых услугах, каким бы отвратительным и негуманным это занятие ни считалось. Все понимали, что преступник, совершивший злодеяние, должен быть соответствующим образом наказан, а он, в свою очередь, должен опасаться неминуемого наказания, иначе во всем наступит полный беспредел. Так или иначе, злодея настигнет рано или поздно кара свыше, но пострадавшему от него человеку и его родным недосуг ждать годами вселенской справедливости, поэтому вполне реальное наказание должно свершаться еще в этом мире, у общества и у них на глазах.

– Ого, – усмехнулся я, – у вас, господин Джеймс, как я понимаю, уже целая философия сложилась! Вы словно оправдываетесь передо

мной за ремесло своего батюшки. Я его не осуждаю, так что мне эта философия ни к чему... Мне лишь хотелось бы, чтобы вы поскорее перешли к делу. К сожалению, я сейчас на работе, и мое долгое отсутствие на рабочем месте могут истолковать неправильно. Над каждым из нас есть начальство...

— Извините, — старик отвел взгляд, который всё это время не сводил с меня, — просто у меня в последнее время так мало собеседников... Хотя и раньше их было немного. Постараюсь покороче... Так вот, среди палачей издавна складывались своеобразные династии. Топор, петля или выстрел в затылок передавались по наследству. Лично я не могу похвастаться древностью своего рода, к тому же среди британских палачей и не было кровного родства, тем не менее, прослеживалась — как бы выразиться точнее... — некая мистическая связь, абсолютно иррациональная и необъяснимая. Но связь вполне наблюдаемая. В чем она выражалось? Совершенно по-разному, потому что в различные эпохи люди были совершенно разные. И палачи, соответственно. У вас, как и у большинства, наверное, сложился стереотип, в котором палач — грубое необразованное животное, мясник без нервов, сердца и малейшего сострадания к своей жертве. Ведь так?

Он снова пристально посмотрел на меня, но я лишь пожал плечами и отмолчался.

— Так вот, о связи... Безусловно, палаческое мастерство иногда напрямую передавалось от отца к сыну, но не всегда это оказывалось удачным решением, если можно так сказать... Вы станете надо мной смеяться, но я бы даже сравнил искусство умерщвления со скрипичной игрой. Научить водить смычком по струнам можно любого мальчишку, а вот воспитать нового Паганини... Понимаете, о чем я?

— Думаю, что выбивать табуретку из-под ног или размахиваться топором — большого ума не надо, — нахмурился я и встал с кровати, на которой сидел. — Ваше сравнение неуместно и глупо! Более того, я считаю, что вести какие-то разговоры об этом — еще более неуместная вещь. Если вы хотели поделиться с кем-то своими соображениями о палачах, то я не тот собеседник, который вас поймет и вам посочувствует...

— Не торопитесь уходить! — забеспокоился старик. — Всего лишь выслушайте меня до конца, а потом примете решение. Ведь я... не могу покинуть этот мир, с кем-то не поделившись своими мыслями. Будьте... будьте милосердным, в конце концов!

Я нехотя вернулся на свое место и, насупившись, принялся слушать дальше.

— ...Покойный батюшка рассказывал мне о некоем Ричарде Брэндоне, который в середине семнадцатого века был палачом в

Лондоне. Свою профессию он получил от отца, которого звали Грегори, и в память о нем лондонские виселицы даже получили название «деревьев Грегори». Своей усердной службой он добился права на аристократический герб и звание эсквайра, переходящее по наследству. Однако главная заслуга Ричарда состояла в том, что он привел в исполнение вынесенный тогдашнему королю Карлу I смертный приговор. О казни короля документов сохранилось немного. Считалось, что Ричард поначалу отказывался делать это, но его заставили изменить решение с помощью силы. Это же не просто вздернуть простолоудина, поднявшего руку на своего хозяина, чем Брэндон занимался до того в большинстве случаев... Но самой первой жертвой Брэндона стал аристократ, граф Стрэффордский. После смерти Брэндона был даже выпущен небольшой документ, который поведал детали его профессии. Так, за каждую казнь палач получал тридцать фунтов стерлингов, причем в тогдашних полукронах...

Мне очень хотелось перебить старика и поинтересоваться, для чего он рассказывает мне о каком-то древнем, почти забытом палаче, казнившем короля, имя которого мне тоже ни о чем не говорило. Что мне со всего этого? Джеймс, видимо, заметил мое недовольство и поднял указательный палец:

— Вам интересно знать, почему я так подробно обо всем рассказываю?.. Потому что одна из этих полукрон, полученных за палаческую работу, стала переходить, как своеобразный амулет, от одного лондонского палача к другому.

— И, как я догадываюсь, такая полукрона теперь у вас? — все-таки перебил я его опять.

— Нет, сегодня ее у меня нет. Но была раньше, я держал ее в руках... Впрочем, о ней еще поговорим, а сейчас я продолжу рассказ, пока вы терпеливо меня слушаете... Через некоторое время после кончины Ричарда Брэндона появился новый британский палач по имени Джон Кетч, оставивший по себе довольно скандальную славу. Дело в том, что 80-е годы XVII века ознаменовались массовыми беспорядками. Поэтому казней было довольно много, и палачи без работы не сидели. В отличие от образованного эсквайра Брэндона, этот Джон был сущим дьяволом. Даже среди своих коллег, не отличавшихся утонченными манерами, он прославился излишней жестокостью, а иногда даже странной, пугающей неуклюжестью, сеющей ужас во время казни. Например, документально зафиксирован случай, когда известный бунтовщик лорд Уильям Рассел был казнен им довольно неаккуратно. Кетч вынужден был официально извиняться, объясняя это тем, что его отвлекли перед самым ударом. Да и смертник лег на плаху неудачно. Многократно упоминается, что Кетч часто

наносил жертве болезненные, но не смертельные удары, заставляя несчастных мучиться. То ли он действительно был неловким, то ли и в самом деле являлся изощренным садистом, испытывающим удовольствие от чужих страданий. Простой люд вообще считал его исчадием ада и складывал про него жуткие легенды. Но легенды легендами, а в хрониках тех лет был зафиксирован такой вопиющий случай. В июле 1685 года Джеймс Скотт, герцог Монмутский, опасаясь мучений, заплатил палачу шесть гиней, чтобы тот качественно и быстро его казнил. После завершения действия Кетчу гарантировалось дополнительное вознаграждение. Однако Джон «сплоховал» – даже за три удара не сумел отделить голову. Толпа взбесилась от ужаса происходящего, на что палач, якобы обидевшись, ответил отказом продолжать начатое. Шериф силой заставил Кетча завершить казнь, и еще два удара окончательно добили несчастного бунтовщика. Но и после этого голова оставалась на теле, так что палачу пришлось отрезать ее ножом. Такая жестокость и непрофессионализм возмутили многочисленных зрителей – с плахи Кетча уводили под охраной, иначе бы его разорвали. Через год палач скончался, но его имя стало нарицательным для обозначения людей этой профессии. Даже в книгах многие писатели упоминали о его диком и злобном нраве. Диккенса почитайте... Но не все палачи были такими отъявленными злодеями, как он. К тому же, выхода не было: как бы общество ни дистанцировалось от палачей, обойтись без их услуг оно не могло. И не всегда на эту работу попадали люди добропорядочные и жалостливые...

– Вы меня специально пригласили, чтобы рассказывать о таких мерзостях? – вздохнул я. – Неужели решили, что если я ставлю последнюю точку при проведении бескровной и почти безболезненной эвтаназии, то у меня есть что-то родственное с этими старыми лондонскими палачами-изуверами? Я всего лишь выполняю свою работу и облегчаю уход человека, неизлечимо больного и находящегося при смерти. Тут никакого особого призвания не надо...

– Все палачи выполняли свою работу, и не всегда, повторяю, они были законченными подонками и хладнокровными убийцами. – Старик некоторое время сидел молча, что-то пережевывая сухими губами, потом оживился. – Мне, честное слово, не хочется нагнетать страсти, а все эти длинные прелюдии с рассказами об ужасах казней нужны для того, чтобы вы правильно оценили то, о чем я вас попрошу...

– Так у вас еще и какие-то просьбы ко мне будут? – удивился я, хотя не сомневался, что этим всё и закончится.

Только что ему потребовалось от меня? Если хочет, как я предполагал поначалу, договориться о проведении собственной эвтаназии, то я в одиночку не могу принимать такие решения. Тут необходим вра-

чебный консилиум, надо заполнить тысячу документов и справок, решить кучу юридических вопросов, получить согласие родственников и многое еще, о чем я даже не подозреваю. Просто я получаю команду от руководства медицинского центра, а наши техники к тому времени выводят все аппараты жизнедеятельности к моей кнопке, на которую я, в конце концов, и нажимаю. Процедура, прописанная в деталях, ничего не подделаешь.

– Вовсе не то, о чем вы, сэр, подумали, – донесся до меня его голос. – Но позвольте мне все-таки закончить. Это займет еще несколько минут.

Я обреченно кивнул, и он снова заговорил ровно, почти без эмоций, словно слова были подготовлены и заучены им заранее:

– В начале девятнадцатого века жил некий Уильям Колкрэфт; официальное число казней, проведенных им, до сих пор точно неизвестно. Полагают, что он казнил около четырехсот пятидесяти жертв, из которых около тридцати пяти – женщины. Палач родился в провинциальном городке Баддоу, получил профессию сапожника, но подрабатывал ночным сторожем. Продавая на улице пироги с мясом, он познакомился с палачом Джоном Фокстоном из тюрьмы Ньюгейт. Тот предложил работу, и Колкрэфт начал за десять шиллингов в неделю пороть несовершеннолетних преступников. Когда Фокстон скончался, его преемником назначили Колкрэфта. Всего через девять дней после вступления в должность палач впервые казнил женщину по имени Эстер Хибнер. Преступница, которую пресса окрестила «Злостным монстром», заморила голодом свою девочку-подмастерье. Те события оказались настолько резонансными, что после приведения приговора в исполнение многолюдная толпа скандировала «Ура Колкрэфту!». Затем, впервые с 1700 года, им была казнена семейная пара – Мэри и Фредерик Маннинг, осужденные за убийство богатого любовника жены. Последняя публичная казнь состоялась в мае 1868 года, после чего, согласно английским законам, людей перестали казнить публично и убивали теперь в закрытом помещении. А чуть раньше палач провел последнюю публичную казнь женщины: две тысячи человек наблюдали, как почти три минуты приговоренная билась в петле. Именно Колкрэфт стал первым, кто казнил не прилюдно. Карьера этого палача растянулась почти на полвека. Современники вспоминали, что Колкрэфт был крайне некомпетентен в своем деле. Некоторые историки предполагали, что, затягивая казнь и мучая жертвы, палач просто развлекал публику, коей иногда собиралось до тридцати тысяч человек. А палач, подобно своему предшественнику Джону Кетчу, входил в раж и порой раскачивался, вцепившись в ноги повешенных, а иногда, как обезьяна, залезал им на плечи, стремясь сломать шею. В

итоге за такие зверства палача принудительно отправили на пенсию под предлогом некомпетентности. Ему, правда, назначили пенсию в 25 шиллингов. К старости Уильям превратился в угрюмого одинокого человека с длинными нечесаными волосами и бородой, в потрепанной черной одежде, с которым никто не хотел знаться.

– Ну, это уже был какой-то совсем законченный выродок! – ахнул я. – Как только земля его носила?! Слушать о нем больше не хочу!

– Он не был выродком, – тихо, но твердо ответил старик, глядя в сторону, – просто Колкрэфт находился не на своем месте, но всё время пытался доказать себе и окружающим, что это его настоящее призвание.

– Призвание быть садистом? Как такое возможно?

– Почти все, кто был до него, получали заветную полукрону, которую завещал передавать каждому последующему палачу Ричард Брэндон. И эта монета приносила успех только настоящему, прирожденному мастеру заплочных дел. Она была и у Джона Кетча, и у некоторых других, о коих я не упомянул в своем рассказе...

– И где же эта пресловутая монета сегодня?

– Она перешла по наследству от деда и его брата к моему отцу, Альберту Пирпойнту. Он – последний, о ком я хотел бы рассказать. Вы готовы выслушать мою последнюю историю?

– Что с вами поделать, – махнул я рукой. – Рассказывайте. Всё равно, чувствуя, вы от меня не отвяжетесь...

3

– Что подтолкнуло моего деда Генри к выбору профессии палача, никто не знает, а сам он об этом никогда не рассказывал. Но выбор был осознанный, и он упрямо шел к цели, несмотря на то, что ему неоднократно лондонские власти отказывали в официальной должности. Но ничем другим заниматься он не хотел.

– Удивляюсь, – вздохнул я, – неужели профессия палача может стать желанной и целью существования?!

– Ничего необычного в этом нет. Просто ему в руки попала полукрона Ричарда Брэндона, а она, как вы уже догадываетесь, обладает каким-то странным свойством притягивать своего обладателя к палаческой работе. Да и это, наверное, можно предположить – как могут деньги, полученные за умерщвление человека, приносить счастье?

– Вот вы и сами об этом говорите, тем не менее...

– Ничего это не значит! Мой дед Генри Пирпойнт за девять лет службы повесил сто пять человек и свои впечатления о каждой казни скрупулезно записывал в заведенный специально для этого дневник. Этим дневником в юном возрасте зачитывался мой отец. Даже скан-

дал с ним однажды произошел, когда в школьном сочинении он написал, что хочет пойти по стопам своего отца. Альберт всегда был тщеславным и не раз повторял, что только такая редкая профессия позволила ему выделиться из безликой толпы. Ему льстило то, что люди его побаиваются и относятся к нему с суеверным страхом. После смерти деда отец несколько раз подавал заявления, пока в 1931 году его, наконец, не приняли на штатную должность исполнителя наказаний в тюрьму Лондона. Особая нагрузка легла на его плечи в годы Второй мировой войны и после ее окончания. За несколько послевоенных лет ему пришлось повесить почти двести военных преступников, осужденных Нюрнбергским трибуналом. Кстати, я родился сразу после войны. А мой отец к тому времени уже достиг настоящего мастерства – вся процедура, начиная от выхода заключенного из камеры, его прохода до виселицы и заканчивая нажатием на рычаг гильотины, выбивающей подставку из-под ног, занимала меньше двенадцати секунд. Это зафиксировали вездесущие газетчики. Но дело-то было не в скорости, а в том, что преступник, каким бы закоренелым ни был, покидал этот свет быстро и без мучений. Отец не был садистом, которому доставляли удовольствие мучения жертвы. Он даже по-своему жалел их.

– Да уж, – не удержался я, – прямо-таки рекордсмен по гуманизму! А какому-то «желтому репортеру» еще понадобилось засекал время...

– Надо сказать, что должность палача оказалась довольно прибыльной. Отцу платили сдельно – сперва по десять, а потом по пятнадцать фунтов за казнь. Работа Альберта Пирпойнта во время войны принесла ему неплохой капитал, и мы даже смогли купить паб в Манчестере. И это в придачу к продуктовой лавке, которую отец получил по наследству, как я уже говорил. Для всех наших соседей он всегда оставался добрым и приветливым лавочником, изредка отлучающимся в Лондон по каким-то своим делам. А отец в это время ездил в тюрьму, где должна была проводиться очередная казнь осужденного. После отмены публичных казней в Англии ввели порядок, по которому имя палача не должно предаваться огласке, и никто не должен знать, кто он на самом деле. Отца при всем его тщеславии и жажде известности, как ни странно, такое положение дел устраивало, однако его всё же рассекретили вездесущие журналисты. Да он против этого и не особенно возражал. После ухода в отставку в 1956 году отец решил, что опасаться огласки теперь нечего и продал рассказ о своей жизни газете «Sunday» за довольно внушительную сумму в четыреста тысяч фунтов. Отныне жизнь палача перестала быть засекреченной и снова превращалась в публичную, а его личная история

послужила основой для многих статей и даже документального фильма. Бывший палач Пирпойнт стал знаменитостью, объектом интервью. Интересно, что сам он старался выглядеть невинной овечкой и даже ратовал за отмену смертной казни, так как в глазах преступников якобы ни разу не увидел страха смерти или раскаяния. Пускай, мол, всю жизнь мучаются в мрачных тюремных камерах...

Наступила тягостная тишина, во время которой старик откинул голову и прикрыл глаза. Я видел, как он тяжело дышит, словно закончил какую-то тяжелую, изнурительную и крайне неприятную работу.

– Наверное, я пойду к себе, – пробормотал я спустя некоторое время. – Спасибо за рассказ...

– Нет! Я же не рассказал самого главного. – Старик снова смотрел на меня не сводя взгляда, и голос его был по-прежнему ровным и глуховатым. – Осталось совсем немного, наберитесь терпения... Перед смертью отец передал мне эту проклятую полукрону, доставшуюся ему от Ричарда Брэндона. Много рук подержало эту монету за почти полтысячи лет с того момента, как первый палач завещал ее своему преемнику, но ни один из его последователей даже не думал истратить полукрону на что-то, потому что она сразу стала символом их неблагодарного ремесла, и все это прекрасно понимали. Более того, палачество как бы уже перестало быть просто ремеслом и, благодаря монете, превратилось в своеобразное и страшное искусство, наделяющее обладателя реликвии поистине могучим талантом уничтожения, от которого не избавишься и не убежишь. Монета всегда будет тянуть обладателя к этой жестокой работе... Вы меня понимаете?

– Чего уж тут не понять! – С каждой минутой мне становилось всё неприятней, словно я был соучастником какого-то грязного и запретного действия, и делал это почему-то по своей воле, хотя давно мог бы встать и уйти, несмотря на все уговоры.

– ...Умер отец в 1992 году. Я же в то время жил в Манчестере на доходы от паба, который передал мне отец, и виделся с ним довольно редко. Жена, сын – всё, как у всех. О бывшей палаческой работе отца, конечно, знал, но даже в мыслях у меня не было вспоминать о ней в разговорах с ним. Пару-тройку раз в году я навещал его в Саутпорте, что находится в Мерсисайде, где он обосновался, выйдя на пенсию, но ни разу между нами не заходил разговор о том, чтобы я унаследовал его неблагодарную профессию. И вот перед самой кончиной, когда меня срочно вызвали попрощаться с ним, он вдруг заговорил о монете и чуть ли не насильно заставил забрать ее. Я прекрасно понимал, что значило стать ее обладателем, но отказаться исполнить последнюю волю отца не мог. После похорон я хотел было отправиться к себе домой, но опять что-то не позволило мне спокойно сесть на

поезд и уехать. Несколько дней я прожил в отцовском опустевшем доме под предлогом его продажи, а потом вдруг догадался, что держит меня здесь не дом, а эта проклятая полукрона, с которой нужно было что-то делать. Оставлять ее себе я не хотел ни под каким предлогом. Оставил бы – пришлось бы резко менять жизнь и становиться палачом, как отец. Нет, нет и нет! Такая судьба меня не устраивала, поэтому я не придумал ничего иного, как отправился на кладбище и тайком от всех закопал монету рядом с отцовским надгробием. В пяти дюймах от правого верхнего угла надгробной плиты. После этого с чистой совестью сел на поезд и поскорее уехал домой, где меня дожидались жена с сыном... Казалось бы, история с палачеством закончилась, и можно забыть всё, как кошмарный сон, потому что монеты у меня больше не было, а никаких обещаний на смертном одре отцу я не давал. Но через некоторое время стали происходить какие-то странные вещи. Монета словно не отпускала меня и постоянно приходила в кошмарных сновидениях. В мельчайших подробностях я видел, как выбиваю табуретку из-под ног осужденного, рублю каким-то старинным топором головы людям, лежащим на плахе, а черный колпак, скрывающий мое лицо, слепит и душит, не пропуская воздух, чтобы можно было спокойно глянуть вокруг себя. Я не понимал, что со мной происходит, а пойти с кем-то посоветоваться просто не мог. Да и не нашлось бы такого человека, который объяснил, что происходит. Единственное, что мне казалось очевидным всё это время, это необходимость вернуть себе проклятую монету, так неосмотрительно закопанную на кладбище, после чего мне наверняка стало бы спокойно – и совершенно безразлично, что со мной будет происходить дальше. Наследовать палаческую профессию я однозначно не хотел, а всё, вероятно, шло к этому. Три года после смерти отца я провел словно в кошмарном сне; мне всё время казалось, что я не выдержу, – или наложу на себя руки, или откопаю монету, и тогда уже – будь что будет. Несколько раз я был на грани срыва – оставалось только сесть на поезд и ехать в Саутпорт на кладбище... И вдруг мне в голову пришла спасительная идея: нужно уехать куда-нибудь подальше из Англии, чтобы уже не было возможности вернуться на родину...

– И вы приехали в Израиль? – догадался я.

– Да, оставил жену и сына в Манчестере, а сам приехал сюда. Деньги после продажи отцовского дома и лавки в Саутпорте у меня были, поэтому я поселился в элитном хостеле для стариков, а вот теперь оказался здесь, в гериатрическом отделении медицинского центра.

– Ну и как вам здесь, легче стало? – поинтересовался я.

На минуту старик задумался, но потом всё же проговорил:

– В какой-то степени, легче. Во-первых, если бы монета каким-то чудом вернулась ко мне, и я возжелал, несмотря ни на что, стать палачом, по примеру покойного батюшки, то здесь, в Израиле, такое даже теоретически невозможно. Просто здесь не существует такого наказания, как казнь. Исключение из этого правила – вы-то наверняка знаете! – было всего один раз, когда казнили фашистского преступника Адольфа Эйхмана... А во-вторых, даже если и возникнет у меня желание поехать на отцовскую могилу за монетой, я не смогу этого сделать по причине слабого здоровья. Не в том я уже возрасте, чтобы летать на самолетах, ездить на поездах и копать в земле...

– Ну, вы выглядите довольно бодренько, – принялся возражать я, но не особо активно, – напрасно наговариваете на себя... Значит, всё у вас теперь хорошо и спокойно, как я понял?

– Не очень. В последнее время со мной опять творится что-то непонятное. Какие-то странные видения преследуют меня. В них с завидной регулярностью снится покойный отец, который каждый раз требует, чтобы я передал эту проклятую полукрону своему сыну. Поначалу я решил, что это всего лишь разгулявшееся воображение, и сновидения рано или поздно прекратятся. Но этого не происходит. Мало того, что все ночи напролет отец приходит ко мне и требует монету, так уже и в послеобеденный короткий сон он не оставляет меня... Вы же понимаете, что человек я уже в возрасте, силы у меня на исходе, и это меня страшно изматывает. Как бы вы поступили на моем месте?

Я встал с кровати и несколько раз прошелся в задумчивости по палате. Краем глаза я заметил, что старик неотрывно следит за мной и не отводит настороженного взгляда.

– Даже представить себя на вашем месте не могу и не хочу... Почему вы решили, что я смогу что-то вам посоветовать? Я же не психотерапевт, какая с меня польза? – вздохнул я. – Если вы решили, что смогу помочь вам с проведением эвтаназии, чтобы прекратить всё разом, то это, извините, не выход. Вы же взрослый человек и должны понимать, что решение на проведение подобной процедуры принимаю не я, а врачебный консилиум и целая куча народа...

– Нет! – перебил старик. – Ни о какой эвтаназии я не говорил! Вы меня неправильно поняли... Мне хочется попросить вас съездить в Саутпорт, разыскать эту злосчастную монету и привезти мне. Все расходы на поездку и оплату нескольких дней вашего вынужденного прогула на работе беру на себя. Ну, и вознаграждение...

Я удивленно посмотрел на него, но ответить мне он не дал:

– Больше мне просить некого, только вас. Потому что вы сумели

дослушать мою историю до конца. Другие бы – я уверен – нет. Лишь вы сумеете разыскать монету. Человеку, ни разу не лишившему никого жизни, она просто не дастся... Спасите меня! Хотите, на колени встану?!

4

За толстым оконным стеклом бесшумно пролетали однообразные серые и коричневые, чаще двух- или трехэтажные дома бегущих один за другим мелких городков, с рядами высоких печных труб на крышах, вероятно, по одной на каждую из квартир. Два с лишним часа мне предстояло любоваться ими из окна вагона, пока поезд доберется из Лондона до Ливерпуля. А там я переседаю на арендованный по интернету автомобиль и проеду, если верить туристическому справочнику, девятнадцать миль до прибрежного городка Саутпорта, цели моего путешествия. Это займет еще сорок минут дороги.

До сих пор никак не могу понять, зачем я согласился ехать за этой дурацкой монетой для Джеймса Пирпойнта. Кто он мне и кто я ему? Почему я согласился? Наверное, мне просто стало жалко старика, одиноко коротающего остаток жизни вдали от родной Англии. У наших-то израильских стариков всегда полно родственников, которые не дадут остаться в одиночестве и будут рядом до последней минуты. Ну, не смог ему отказать...

По большому счету, вряд ли его, наверное, стоило жалеть, ведь человек сам себе выбирает судьбу, даже если ему и не повезло с родственниками. Прожить почти до восьмидесяти лет и оставить семью в другой стране, а самому провести остаток жизни в одиночестве – врагу такого не пожелаешь. Впрочем, иного выхода, вероятно, у него не было, но что-то в этом всё равно было для меня порочным и неправильным. Не может человек по доброй воле выбрать себе такую участь и при этом даже не попытаться как-то изменить ситуацию!

Перед отъездом Джеймс строго-настрого запретил мне обращаться к его жене и сыну, приехав в Англию, и даже не дал их манчестерского адреса.

– Не хоч, чтобы они стали расспрашивать обо мне, – твердо сказал он, выписывая чек, по которому я смогу получить в Лондонском банке довольно приличную сумму на расходы, – а они непременно начнут задавать вопросы, едва узнают о том, что вы приехали по моему поручению. Им-то известно, что я нахожусь где-то в Израиле, но не более того. Такова моя воля. Если понадобится, сам свяжусь с ними. А пока только привезите мне монету.

Для чего ему монета, от которой он всё это время бежал, и что он собирается с ней делать дальше, спрашивать я не стал. Даже не

стал очередной раз уточнять, почему он все-таки выбрал для поездки именно меня, а не кого-то другого. Только ли из-за того, что я согласился дослушать его историю до конца? Чувствовалось, что старик правды не скажет. Значит, будем разбираться по ходу дела. Однако съездить лишний раз в Англию, да еще за чужой счет, мне очень хотелось. Такую возможность упускать было бы глупо. Кто же от дармовщины откажется?..

За окном по-прежнему проносились городки и деревни, и их названий я даже не успевал прочесть на платформах, мимо которых поезд проскакивал, не сбавляя хода.

В Англии я уже не первый раз, и, вопреки бытующему мнению о том, что это страна чопорная и высокомерная, она всегда казалась мне по-домашнему теплой и по-провинциальному уютной. Даже многомиллионный Лондон. Но сегодня мне здесь было как-то не по себе, а пейзажи за окном откровенно навевали тревогу. Неяркое белёсое солнце и легкие облака, провожавшие меня, когда я садился в поезд, потихоньку сменились серыми неподвижными тучами, тяжело нависающими над домами, и чем ближе мы продвигались к морскому побережью, тем небо становилось темней и темней. А потом и вовсе зарядил дождь, и уже до самого Ливерпуля я уныло разглядывал его мелкие, но частые капли, густо секущие по оконному стеклу.

Выпив чашку горячего чая в привокзальном кафе, я разыскал автомобильный прокат, в котором заказывал автомобиль, и сразу же отправился на север, в Саутпорт. Ехать было легко, потому что многочисленные дорожные указатели не давали сбиться.

К моменту моего приезда в Саутпорт стемнело уже окончательно, поэтому мне оставалось только разыскать отель, в котором опять же заранее я заказал номер на пару ночей, и завалиться спать. На поиски кладбища и могилы Альберта Пирпойнта отправлюсь завтра, когда будет светло и, может быть, даже прекратится дождь, барабанивший в наглухо задраенное окно гостиничного номера.

И уже после того, как я принял душ и собирался ложиться спать, у меня в кармане неожиданно ожил телефон. Это был, естественно, Джеймс.

— Приветствую вас, сэр, — проговорил он своим чуть хрипловатым, глухим голосом, — простите, что беспокою в такое позднее время, но мне захотелось удостовериться, всё ли у вас в порядке и удачно ли вы добрались до Саутпорта.

— Всё у меня в порядке, добрался хорошо, но на кладбище сегодня не пошел, потому что уже поздно и темно. Да и погода не располагает к таким прогулкам. Завтра с утра собираюсь.

– Спасибо, я не сомневался, что всё у вас будет в порядке. Значит, я не ошибся, когда попросил именно вас об этой услуге.

– Почему именно меня? – наконец не выдержал я. – Вам же проще было попросить об этом сына, который, как я помню из ваших слов, живет в Манчестере. Ехать сюда из Манчестера гораздо ближе, чем из Израиля. Или вы с сыном не хотите общаться на эту тему?

– Если бы монета попала ему в руки, то он мне ее уже не передал бы. Вы же понимаете, что я, а следом за мной и он, должны унаследовать ремесло деда. Монета просто притянула бы его к этому, хотя я и без того замечал за ним в детстве некоторые странности... Мне этого категорически не хочется. Самому кое-как удалось уберечься от этой участи, а вот хватит ли сил у сына, не знаю. Я бы эту монету попробовал как-то уничтожить...

– А мне, значит, ничего не грозит? – всё еще не доверял ему я. – На меня эта страшная полукрона не подействует?

– Для вас это просто старинная монета. Может, она представляет какой-то интерес в плане коллекционирования, но не более того. Вы же не нумизмат? Никакой угрозы от нее никому постороннему не будет.

– Вы уверены в этом?

– Уверен. Хотя ни в чьи посторонние руки она до последнего времени не попадала... – Старик сразу же оборвал разговор и выключил телефон, но мне показалось, что голос его на сей раз звучал совсем не так уверенно, как в начале. Видно, все-таки сомневался.

Раздумывать о том, какова была цель его звонка в столь поздний час, мне не хотелось, так как я и в самом деле порядком устал с дороги, поэтому сразу лег в постель и заснул мертвым сном...

Ну, захотел старик удостовериться, всё ли у меня в порядке, – что в этом загадочного?

Старое кладбище Саутпорта оказалось маленьким, аккуратным и более похожим на зеленый парк в центре городка, чем на кладбище. Сразу было видно, что за ним следят, – дорожки чисто выметены, кусты вдоль них аккуратно подстрижены, в мусорных баках – свежие пластиковые пакеты.

– Вы к кому, сэр? – поинтересовался у меня сухонький старичок в желтой накидке от дождя и толстых, почти по локоть, голубых резиновых перчатках. – Я вас здесь раньше не встречал.

– Вы все захоронения помните? – невольно усмехнулся я. – И всех посетителей?

– А как же! Я тут тридцать с лишним лет смотрителем работаю и заодно уборщиком. Меня зовут...

Но знакомиться и затевать беседу со словоохотливым кладбищенским старожилом мне не хотелось.

– Я в вашем городе проездом, – перебил я, – и меня друзья попросили навестить могилу Альберта Пирпойнта. Вы укажете, где она, если уж всё знаете?

– Конечно, – кивнул головой старичок, но с места не сдвинулся. – А ваши друзья – его родственники или просто знакомые?

– Какая разница? Разве вам не всё равно?

– Дело в том, что усопший Альберт Пирпойнт был не совсем обычным человеком...

– Я прекрасно знаю, кем он был. Но это что-то меняет?

– В принципе, ничего. – Смотритель пожал плечами и указал пальцем. – Пройдите по этой аллее до конца и поверните направо. Там у самой ограды его могилу и найдете. Вас проводить?

– Нет, спасибо. – Я хотел было сунуть старичку за помощь пятифунтовую купюру, но не знал, принято ли это здесь делать. – Я разыщу сам...

– Пойдите минутку, сэр, – попросил он, почувствовав, что я собираюсь идти. – Я хотел вам сказать одну вещь. Вы, я вижу, человек положительный и интеллигентный, а не какой-нибудь... Где-то с год назад, а может, чуть больше, приходил сюда один странный господин и тоже, как вы, спрашивал могилу Альберта Пирпойнта. Я ему, конечно, подсказал, но что-то меня насторожило, поэтому я тайком отправился за ним и проследил, что он станет делать. А тот, только представьте себе, попробовал сдвинуть надгробие и при этом чуть его не расколол. Зачем ему это понадобилось, спрашивается? Я сразу же вызвал полицию, и его забрали. Хорошо, что он ничего не успел разрушить, потому что у него не было с собой ни лопаты, ни ломика, ни каких-то других подсобных инструментов. А то потом наводи за ним порядок...

– Что же этому человеку понадобилось, он не сказал? – заинтересовался я. – Вы узнали, кто он и как его зовут?

– Тогда мне спросить не удалось, но полицейский, который его задержал, мой хороший приятель, потом рассказывал, что это был внук усопшего, однако причину, по которой он собирался разбить каменное надгробие, так и не сообщил. Вероятно, у парня не всё в порядке с головой. Кому, спрашивается, усопший помешал, кем бы он ни был раньше? Так мне, по крайней мере, ответил полицейский.

– Он, этот ненормальный, молодой или старый? – зачем-то спросил я.

– Приблизительно вашего возраста. Взгляд у него был какой-то недобрый, я это сразу отметил.

– Больше он здесь не появлялся?

– Нет. Да он и не в нашем городке живет. Я-то почти всех жителей тут знаю.

– Если это был действительно внук Пирпойнта, то он живет в Манчестере, – зачем-то сообщил я зрителю.

– А вы, сэр, как я понял, вообще не из Британии? – хитро усмехнулся старик.

– Я из Израйля.

– Ну, тогда я всё понял! – морщинистое личико старика расплылось в довольной улыбке, и он даже взмахнул руками.

– Что вы поняли?

– Дело в том, что я большую часть дня провожу здесь на кладбище, и мне волей-неволей всегда любопытно узнать, кем был тот или иной усопший. И общаешься с ними тогда, словно с живыми собеседниками. Ну, или как с соседями по дому, которые никогда и никуда уже не уедут... Иначе тут тоска смертная. Так вот, от одного из своих друзей я узнал, что его отец сразу после Второй мировой войны продолжал службу в Британской администрации в Палестине. Там он и познакомился с Альбертом Пирпойнтом, который был в то время довольно большим человеком. Карьеру себе сделал на том, что казнил по приговору Нюрнбергского суда нацистских военных преступников, и это получило большую огласку. Потом уже в Палестине он продолжал приводить в исполнение приговоры, вынесенные британской администрацией руководителям подполья и террористам, чьи руки были обгажены кровью наших солдат.

– Террористам, говорите? – повторил я задумчиво. – Это были евреи, которые выступали против Британского мандата. У нас их чтят как национальных героев, благодаря которым в 1948 году англичане убрались, и ООН приняла резолюцию о создании государства Израиль.

– Вот и я о том! – чуть не захлопал в ладоши зритель, но сразу осекся. – Всё сходится... А вы, сэр, с какой целью приехали сюда? У вас, как я понимаю, не может быть теплых чувств к покойному.

– Ни теплых, ни холодных, – признался я, – да и какие могут быть чувства спустя почти тридцать лет после его смерти?

– Тогда что вы здесь делаете? Тоже станете надгробье ломать?

– Ничего я ломать не собираюсь. Просто пришел посмотреть на могилу человека... – я слегка запнулся и быстро прибавил, – по поручению людей, которые когда-то знали его в Израиле...

Кажется, старик не заметил моей маленькой лжи и махнул рукой:

– Ну, тогда я вас, сэр, не задерживаю. Надеюсь, вы поняли, как найти его могилу... Только убедительно прошу ничего там не трогать и не ломать, хорошо?

– Обещаю.

Все-таки мне удалось вложить в его ладонь пятифунтовую купюру, и он, поспешно сунув ее в карман, быстро удалился, всё время оглядываясь на меня и неуверенно покачивая головой.

...Сразу возвращаться в Ливерпуль я не захотел. Тем более, у меня была оплачена еще одна ночь в местном отеле. Глупо было не воспользоваться этим. А больше всего хотелось беззаботно побродить по незнакомому городку, в который никогда больше не попаду, прогуляться по набережной и подышать запахами Ирландского моря, о котором раньше даже не подозревал.

Оставив машину на стоянке рядом с широкой пешеходной Саутпорт Пир, я медленно направился в сторону моря. День сегодня оказался, в отличие от вчерашнего, более теплым и солнечным, поэтому идти по дощатому, слегка влажному настилу было легко и приятно. По обеим сторонам за металлическими перилами до самого горизонта расстилались серо-зеленые зыбучие пески с большими лужами и неглубокими озерцами морской воды, и меня всё время почему-то не оставлял глуповатый вопрос: а если перелезть через перила и попробовать пройти по пескам, далеко ли удастся пройти по этой топкой и вязкой жиже? Видимо, при отливе воды и в самом деле здесь немного, поэтому вид открывался довольно жутковатый. Хотя кому-то такое, наверное, нравилось.

В кармане у меня лежала полукрона, которую уже почти пятьсот лет палачи передавали друг другу, как эстафетную палочку. Теперь мне предстояло отвезти и отдать ее Джеймсу Пирпойнту, который, как я понял, вопреки семейной традиции, палачом не стал и всячески старался избежать своего предназначения. Зачем этот роковой символ палачества понадобился ему на закате жизни? Не пойдет же он и в самом деле в своем нынешнем положении наниматься исполнителем смертных приговоров! Может, и в самом деле собирается уничтожить монету, как обещал?

Поначалу, когда я выкопал ее из земли в месте, очень точно указанном Джеймсом, и извлек из маленького клеенчатого свертка, перегнутого черной вошеной нитью, она показалась мне какой-то несерьезной и не заслуживающей никакого внимания. На одной стороне монеты был всадник на гордо вышагивающем коне, а на другой — полустертый герб. Надписи, которых на монете было довольно много, разобрать не удалось. Действительно, монета, наверное, представляла интерес для нумизматов, но я-то никогда коллекционером не был, поэтому ее древнее происхождение меня не взволновало.

Безразлично покрутив в руках реликвию, я сунул ее во внутренний карман куртки, отряхнул руки и решил до самого возвращения в

Израиль больше не доставать. Миссию свою я выполнил, верну монету Пирпойнту, поблагодарю за оплаченную экскурсию по Англии и – до свидания. Больше мы с ним на этом свете не встретимся. По крайней мере, я буду этому всячески противиться.

Сейчас же я шел по пустынной дорожке, посреди которой тянулись поблескивающие рельсы для почти игрушечного туристического трамвайчика, разглядывал по сторонам бесконечные сыпучие пески, и мысли мои почему-то по-прежнему беспрерывно крутились вокруг злосчастной полукроны. Ну никак она у меня из головы не выходила!

Если я сейчас, например, возьму и зашвырну монету подальше в пески, то ее никто никогда уже не найдет. Прервется ли после этого древняя палаческая традиция, чтобы никто больше не помышлял о передаче проклятого ремесла по наследству?

Хотя... какая будет выгода обществу от этого? Меньше преступников станет, что ли? Отпадет необходимость кого-то карать за совершенные преступления? С другой стороны, двадцать первый век уже – какие казни могут быть?! Для закоренелых преступников есть тюрьмы, в которых они могут провести остаток жизни, и тамошние суровые условия едва ли гуманней, чем мгновенная смерть в петле или на гильотине...

Лениво размышляя о таких не совсем приятных вещах, я потихоньку добрал до конца пирса с конечной остановкой, на которой замер желтый пустой трамвайчик, а потом подошел к самому краю, огороженному решеткой, и принялся разглядывать зеленоватые волны, подгоняемые довольно плотными порывами ветра.

В кармане неожиданно опять ожил телефон. Вот неймется человеку, недовольно подумал я, всё беспокоится о своей монете! Да куда я ее не дену – не присвою себе! Этот живчик Джеймс уже начал меня потихоньку раздражать. День-два – и я вернусь домой, передам ему из рук в руки его кровавую реликвию. Нельзя быть таким назойливым!

Однако голос в трубке оказался женским и совершенно незнакомым. Я даже подумал, что дама ошиблась номером.

– Звонят вам из отделения гериатрии, – сообщила незнакомая женщина, – сегодня ночью скоропостижно скончался наш пациент Джеймс Пирпойнт. Вы знакомы с ним? По его словам, вы были у него пару дней назад, верно? После вас к нему больше никто не приходил. Вот мы и подумали, что нужно сообщить вам об этом. Ведь покойный Джеймс, наверное, ваш родственник или близкий знакомый?

– Нет, он мне никто, – ошарашенно протянул я. – А почему вы решили позвонить именно мне? Неужели у него никого, кроме меня, действительно больше нет?

– Мы никого и не пытались искать, потому что последние его слова, сказанные дежурной медсестре вчера вечером, были такие: «Если со мной что-то случится, сообщите об этом вашему сотруднику, который занимается в медицинском центре эвтаназией. И больше никому...»

5

На самом краю Саутпорт Пира, у ограды, за которой по-настоящему начиналось море, была одна-единственная лавочка, и на нее, вероятно, можно присесть и полюбоваться неброской красотой северного моря, однако сегодня из-за сильных порывов холодного пронизывающего ветра желающих сидеть тут не оказалось. Да и в другое время на нее, наверное, мало кто из гуляющей публики присаживался.

Добравшись до лавки на непослушных ватных ногах, я обессиленно рухнул, до конца еще не переварив услышанное неприятное известие. Гудящий холодный ветер не остужал мои полыхающие щеки.

Друзьями с Джеймсом Пирпойнтом мы так и не стали, да и по определению не могли стать, потому что даже элементарной симпатии к нему я не испытывал по понятной причине. Тем не менее, мне всё равно было по-человечески его жалко. Выходит, старик неслучайно торопил меня и с нетерпением ждал, чтобы я поскорее привез эту проклятую монету, каким-то невероятным шестым чувством просчитав свою скорую кончину. Однако то, что она случится так неожиданно и быстро – кто же такое мог предположить?!

Вот, наверное, и конец истории с династиями палачей, о которых я узнал совершенно неожиданно, и можно было бы, наверное, спокойно и с сознанием честно выполненного долга отправляться домой, но... что делать с монетой? У себя оставлять ее я не хотел ни под каким соусом – значит, нужно ее передать законному наследнику Джеймса.

В телефонной справочной службе мне очень быстро сообщили манчестерский телефон семьи Пирпойнтов, и я сразу же его набрал.

– Слушаю вас, – донесся приятный женский голос.

Волнуясь и почему-то путаясь, я принялся долго и многословно объяснять, кто я такой и с какой целью приехал из Израиля. Женщина, оказавшаяся супругой Пирпойнта-младшего, слушала меня и не перебивала. Выслушала она и о смерти старика, но стоило мне упомянуть монету, которую теперь, по всей вероятности, нужно передать ее мужу, как она вдруг резко и грубо меня оборвала:

– Не смейте, уважаемый, – не знаю, как вас зовут, и знать не хочу! – даже упоминать об этой проклятой полукроне! Мой муж с

некоторого времени просто с ума от нее сходит. Даже не представляю, что с ним будет, если она окажется у него в руках. А ведь его отец не случайно не хотел, чтобы она когда-то попала к нему и чтобы никто, кроме него, не знал об этой монете. И это всегда бесило мужа. Он даже ездил на могилу деда и пытался ее разыскать... Зачем же вы появились и теперь звоните сюда? Если монета у вас, то делайте с ней что хотите, только не говорите об этом мужу и не пытайтесь ее отдать... Не звоните больше нам, забудьте этот номер!

И сразу в трубке раздалась короткая гудка.

Станный разговор. Спрятав телефон в карман, я стал разглядывать море, ничего не видя перед собой.

В голове теперь было пусто, и в какой-то момент я даже задал себе вопрос: что я делаю здесь, на этом пустынном берегу? Веду какие-то бессмысленные разговоры по телефону с совершенно незнакомыми людьми, беспокоюсь о каких-то монетах, не принадлежащих мне... Или... у этой монеты теперь больше нет хозяина, и она полностью принадлежит мне? Случайно ли это произошло или нет?

В какой-то момент даже мелькнула жуткая мысль о том, что старик Пирпойнт мог с дьявольской точностью всё предугадать, передав эту проклятую монету не сыну, а мне, и вместе с ней свое жуткое ремесло. И ведь, по большому счету, отказаться от нее он не мог, но придумал такой беспроектный способ, чтобы она попала ко мне независимо от моего желания, и теперь его кровавое дело как бы переходило ко мне, потому что я оставался единственным владельцем злосчастной монеты.

Что теперь делать с этой полукроной? Кому ее передать, если даже сына Пирпойнта, ее законного владельца, оберегают от встречи со мной?

Что, интересно, он с ней сделал бы, если бы наша встреча состоялась? Свернул бы на отцовскую дорожку? От судьбы сколько ни бегай... А Джеймсу удалось убежать.

Я вытащил монету из кармана и принялся разглядывать, будто увидел впервые. Всё тот же всадник на коне с королевским скипетром в руках, по краю надпись, разобрать которую мне не по силам, на обороте герб со щитом, разделенным на четыре части... Кто этот всадник? Неудачливый король Карл I, которому велел отрубить голову Оливер Кромвель, а его палач Ричард Брэндон привел приговор в исполнение, получив за это плату полукронами, чтобы потом одну из монет передавать из поколения в поколение будущим палачам?

Мне даже показалось, что монета на ладони ожила — конь принялся неторопливо перебирать копытами, а всадник пошевелил скипетром и, повернув голову, глянул на меня своими невидящими гла-

зами. Руку мне сразу же обожгло, и в первый момент даже показалось, что монета приклеилась к ладони.

Я вскрикнул и вскочил со скамейки; потом, широко размахнувшись, швырнул полукрону в воду. Описав большую дугу, она неожиданно ярко сверкнула на солнце и медленно, словно потеряв вес, некоторое время проплыла над поверхностью воды и нехотя нырнула в колыхнувшуюся волну.

Какое-то время я всматривался в то место, куда упала монета, но ничего больше там видно не было. Уж не знаю, игра ли это воображения или обман зрения, но мне на миг показалось, будто в месте ее падения вода на мгновение окрасилась, словно кровью, в красный цвет, но всё быстро растворилось в зелено-голубом, и поверхность сразу успокоилась. Лишь ветер тревожно и бесконечно продолжал теревить гребешки волн, словно и в самом деле ничего не произошло...

* * *

...Нажимать кнопку – моя основная работа, и я через два дня вернулся к ней. Но почему-то мне было трудно сразу после возвращения из Британии зайти в свой кабинет и бросить взгляд на стол, где ничего, кроме кнопки, нет. Словно я теперь опасался, что произойдет что-то непредвиденное или нехорошее. Уж и не знаю, почему, но такое чувство в первый момент было.

Однако ничего сверхъестественного не случилось. Я закрыл дверь на ключ, как делал всегда, чтобы мне не мешали, подошел к столу, на котором по-прежнему ничего, кроме кнопки, не было, и посмотрел на нее. Кнопка была на месте, только теперь у нее была выпуклая серебристая поверхность, сквозь которую проступал несчастный Карл I, скачущий на коне, и вокруг него по-прежнему завивалась непонятная надпись, и это...

...и это меня уже несколько не удивляло. Я осторожно прикоснулся к кнопке, и покалывающее, словно слабыми электрическими разрядами, тепло побежало по моим пальцам к ладони, а потом всё выше и выше по руке, пока не достигло горла. Легким спазмом перехватило дыхание, но очень быстро всё прошло, и тепло потекло к сердцу...

...Я получил в наследство эту проклятую полукрону. Кнопка больше не отпускала мой палец.

Безр-Шева, Израиль

Полина Брейтер

Бирюзовый дождь*

*Тебе – с кем летали, открывали иные миры,
смертное превращали в бессмертное,
а временное – в вечное...*

ПРОЛОГ

Господи, сделай меня орудием Твоего мира,
Там, где ненависть, дай мне приносить любовь,
Там, где обида, – приносить прощение,
Там, где раздоры, – приносить примирение,
Там, где сомнения, – приносить веру,
Там, где заблуждения, – приносить истину,
Там, где отчаяние, – приносить надежду,
Там, где тьма, – приносить свет,
Там, где печаль, – приносить радость.**

Пляж... Широкий, задумчивый, тихий. Море спокойное. Под солнцем оно кажется голубым. И песок. А на песке книга. Большая, старинная. Ветерок легкий, он колышет страницы книги, переворачивает их то в одну сторону, то в другую. Так странно... большая старинная книга на широком желтом песке у синего-синего моря...

Они гуляли по бульвару Фельдмана. Он – музыкант и мечтатель, романтик и фантазер. Она – бухгалтер, крепко стоящая на ногах, ответственная, серьезная. Он любил ее. Ее звали Эстер***, и он говорил ей: «Звездочка моя бирюзовая...»

А потом была война, и они уже не гуляли по бульвару Фельдмана. И по другим одесским улицам они уже не гуляли. Он

* Лауреат Премии им. Марка Алданова, 2020. © Polina Breyter.

** Молитва, приписываемая св. Франциску Ассизскому.

*** Имя имеет древние еврейские корни и означает «звезда», «путеводная звезда». Считается, что у него общие корни с еще более древним шумерским именем Иштар, как называли богиню плодородия.

отвез ее далеко-далеко, в Сибирь, где было холодно, но зато не стреляли. А сам ушел работать на железную дорогу. Работники железнодорожного транспорта тогда приравнивались к военнослужащим. Что это означало? Многое... в том числе и то, что опасность была велика, хоть и меньше, чем на передовой. И что виделись они нечасто. В тех редких случаях, когда ему разрешали заехать хоть на денек-другой к семье. И он приезжал к ней, и гладил по голове, и говорил: «Звездочка ты моя бирюзовая...» А ей было страшно, и она плакала.

Тридцать первого декабря сорок первого года он неожиданно появился дома. Ввалился, как Дед Мороз, и как Дед Мороз – с елочкой на плече. Вот тогда-то она ему и сказала. Он обрадовался. Схватил свою дочурку и соседскую девчонку Майку, вместе с ними бегал вокруг елки, плясал и прыгал, и пел: «В лесу родилась елочка».

А она не радовалась. Она боялась и жаловалась: «Куда ж ребенок-то? Война ведь... Стреляют, убивают, кругом ужас и смерть».

«Всё не так, всё не так, – отвечал он ей. – Это правда, что война, что убивают, стреляют; это правда, что ужас и смерть. Но чем больше ужаса и смерти на земле, тем больше ей нужно жизни и радости, жизни и любви. Мы дадим ей жизнь и любовь. Мы дадим ей нового человека. Жизнь сильнее смерти. Любовь больше ненависти. Любовь мешает смерти. Любовь есть жизнь.»

С тем и уехал. А она осталась. Со своими страхами, со своими сомнениями, со своими колебаниями... Болела дочь. «Ну куда мне, куда мне еще ребенок, – думала, – тут с одним не справляешься...» И совсем решила было избавиться. Уже и дату назначила. Но по дороге в больницу встретила Татьяну из местных и неожиданно для себя самой рассказала ей, куда и зачем направляется. Татьяна посмотрела на нее сурово и сказала: «Эстер, не делай этого. Ты хочешь убить ребенка? Ты убьешь двоих! Посмотри, как болеет твоя дочь! Ты убьешь ее. Роди второго ребенка и спаси этим первого!»

Схватки начались неожиданно. Она успела отправить соседку за акушеркой и теперь корчилась и кричала в избе совершенно одна. Впрочем, нет, не одна: рядом стояла ее совсем еще маленькая двухгодовалая дочурка и со взрослым видом утешала ее: «Мамочка, не бойся, я же с тобой».

...А потом она прижимала к груди крошечный комочек и шептала то ли мужу, то ли еще кому-то неведомому: «Ну вот он, вот он, новый человечек. Теперь Ты не отнимешь у меня старшую?» И еще: «Любовь сильнее смерти, любовь больше ненависти, больше смерти любовь, больше смерти жизнь, любовь есть жизнь... Господи, да где же она, любовь, где же?...»

Часть 1. В ожидании чуда

ДЕТСТВО

Прикосновение тишины... Касанье тишины... Это не фантазия, не метафора – реальность. Те, кто испытал это (а таких, должно быть, тысячи и тысячи тысяч), те знают: прикосновение тишины столь же реально, столь же материально, сколь реальны и материальны касания ветерка, теплого луча солнца, запах дождя или сена...

Это может случиться с тобой, когда ты неподвижен или в движении, занят делом или созерцанием, дремлешь или размышляешь. Это может случиться с тобой всегда, в любой момент, только бы ты был готов. Я думаю, тишина – вокруг тебя и ждет момента, ждет готовности твоей, чтобы коснуться тебя и войти в тебя. Может быть, в какое-то мгновение у тебя меняется плотность материального тела. Появляются просветы, пространства, куда можно войти. И тишина входит, заполняет собой эти просветы.

А может быть – наоборот. Тишина касается тебя. Ты вздрагиваешь от нежного и легкого толчка, вызванного ее прикосновением, твое тело реагирует на касание тишины изменением своей плотности. Создаются просветы. Тишина входит в них, заполняя их и тебя собою.

Теперь она будет в тебе долго, несколько секунд или тысячений, – столько, сколько ты сохранишь свою готовность держать ее в себе, отдаваться ей, впитывать, сколько позволишь распространиться, не создавая преград-уплотнений. Потом уйдет (это не она уйдет, это ты уйдешь от нее, не удержавшись), но вернется снова. Она будет много раз возвращаться, потому что она всегда вокруг тебя и всегда ждет твоей готовности принять ее...

Когда тишина касается тебя, мир на мгновение останавливается. И потому это касанье всегда неожиданно. Мир останавливается – и начинает звучать тишина. Ты замираешь, слушая. Не слова, не мелодию, не звуки – струение тишины. Тишина струится в тебе. И если закрыть глаза, можно увидеть это струение. Что-то такое я чувствовала много лет назад и пыталась выразить это строкой «стихи без слов, мелодия без звуков». Стихи без слов – это почти Мандельштам, у которого не слова слушаешь. Мелодия без звуков – это тишина.

Когда тишина касается тебя, что-то в тебе происходит. Отворяются врата, ворота, воротца. Тишина струится в них. Тишина втекает в тебя. Тишина струится из ворот, вытекая из тебя в пространство. Это пространство уходит в бесконечность и возвращается бесконечностью. Бесконечность втекает в тебя: ты обнимаешь ее. Ты

не уходишь в другие миры. Другие миры не входят в тебя. Просто – объятие. Вы обнимаете друг друга. Вы принимаете в себя друг друга.

Тебя нет. Ты растворяешься в бесконечности. И других миров нет. Есть только ваше объятие, ваше слияние. Теперь тишина рождается в тебе, и ты можешь дарить ее бесконечности.

Сегодня во время утренней прогулки я подошла к «своему» Дереву. Иная тишина вошла в меня почти сразу. Может быть, и впрямь поджидала, ведь было так много ее касаний. Как всегда, стало горячо губам, во рту, в горле...

К этой ласкающей теплоте добавился сегодня запах коры. Он растекался во мне, отдаваясь ответной тягой, влекущей тягой, зовущей туда, в него. Тихо-тихо, оставаясь в полной неподвижности, вошла я в Дерево по ниточке запаха. Тихо-тихо, даже тише, чем та, иная тишина.

Нет, я не стала Деревом, но я была в нем. И оно было во мне, оставаясь собою. Я не знаю, как сказать об этом времени-состоянии-бытии. Его можно назвать словами «любовь» и «благодарность». Но это так неточно, так не передает того, что творилось тогда со мною... А что происходило с ним? С Деревом? Я знаю одно слово, которое, может быть, расскажет о том, что было тогда с нами, но это слово скучное, сухое, чужое и чуждое, пришедшее совсем из другого мира. Слово это – *энергообмен*. Если оно и объясняет что-то, то каким грубым, каким примитивным, каким убивающим способом! Как если бы мы попытались объяснить химическую сущность любви.

...Я вошла в Дерево. Глаза мои не умели видеть, уши не умели слышать. Мои пальцы касались его, но не ощущали ничего, даже запах пропал. Я сказала, что происходившее со мной лучше всего передают слова «любовь» и «благодарность», но и это не так. Я ничего не чувствовала тогда. Все чувства казались слишком крупными блоками, а то, что ощущала я, было где-то между ними. Нет, не смогу рассказать. Те, с кем это случалось, – знают.

Что-то похожее уже было, было когда-то. Ты бормотал, ты шептал мне в ухо. Мы не были тогда в Дереве и не обнимали его, мы обнимали друг друга. И тоже была иная плотность материальных тел наших, а потому иная плотность слов, иная плотность звуков, и они плыли в воздухе, растягиваясь: «Не сказа-ать, не проче-ест, не услы-ышать средь шума земного... да и где они есть, эта ве-ест, это горнее сло-ово...» – и всё уходило в музыку. А из музыки – в тишину.

Мы обнимали друг друга, и ты держал меня в колечке рук своих.

Ты обнимал меня, а я была крохотной девочкой в белом платьице и белых туфельках, которые промочила, гуляя с папой. Той самой девочкой, которая отказалась ходить в детский сад, а вместо этого ходила со своей тетей по ее взрослым делам и придумывала сказку. В ней жили почему-то соляники – соленые камни, которые были вовсе не камни, а живые существа.

Нежно и крепко держал меня за руку мой папа – эзк-доходяга, и каждый вечер он же укладывал меня спать в чистую теплую постельку. Меня – благополучную, хорошо одетую, накормленную, присмотренную девочку, которая скучала по своему папе. Как он был одинок в лагерном бараке, мой папочка, как я была одинока в своем школьном классе. Он считал месяцы и годы до окончания срока, я – дни недели до воскресенья, чтобы не пойти в школу, которую ненавидела. Он боялся своих надсмотрщиков. Я – своей классной руководительницы, ведьмы и злюки. Он с ужасом смотрел на своих товарищей, я – на своих. Он был белой вороной среди солагерников, я – среди одноклассников. Ему было плохо, одиноко. Мне было плохо, одиноко. Но какая же между нами разница! Его тоска и одиночество – гора по сравнению с моими. А я скулю и плачу, жалею себя, считаю несчастной. Хотя страдания мои – всего-то детские игрушки. Мне плохо в школе, где всё чуждо и все чужие, где мне мерещится, что меня не любят, где ощущаю себя забитым тупым существом. Но каждый вечер я прихожу домой, где могу купаться в маминой, папиной и тетиной любви, где меня ждут для объятия их ласкающие руки.

Я люблю тебя. Небо, тополь, молитва знают об этом. Я не помню, когда полюбила тебя. Может быть, когда, семилетняя, молилась рыжеволосой девочке Лоре. Или еще раньше, когда была не здесь, а там, настолько там, что ничего не помню об этом времени. А может быть, когда стала ждать тебя уже осознанно, хоть и безнадёжно. И потом, когда узнала о тебе. И в робких прикладываниях выступов и впадинок. И в телефонном «кажется, я тоже люблю вас». И в наших встречах. Я люблю тебя, и твои руки обнимают меня, погружая в Чудо, в Свет, в Тишину. Я врываюсь в них, как в облако нежности, как в даль бестелесную, как в сон, когда мы засыпаем, обнявшись. Я закрываю глаза и думаю о тебе, и говорю с тобой сначала словами, потом молчаливой благодарной бессловесной молитвой, потом полуявлю, потом полусном. И ты обволакиваешь меня своей ласковой нежностью. И так, погружаясь в тебя, в твою нежность, в нашу молитву, в наши Свет и Тишину, я перехожу, перелетаю во что-то высокое, прозрачное, разряженное, и еще выше, и еще, и туда, куда

сознание мое не может следовать за мной... Засыпала? Спала? Грезила? Летала где-то в заоблачных высях?..

Так, может, и впрямь нет разных объятий, а есть лишь одно, – как нет разных любовей, а есть лишь одна, единая?..

И Дерево, обнявшее меня, в себя впустившее, Дерево, которому не нужны ни слова, ни губы, ни пальцы, чтобы обнять меня, впустить меня в себя, впустить меня туда, где я не была ни разу, чему не найду слов для определения, чувств для выражения, мыслей для осознания, но где вдруг оказалась по воле его и согласию, – Дерево это и впрямь молится со мной одному Богу, хоть и пребывает в иных сферах, иных мирах, хоть и не знает слов человеческих, – да и не нужны они ему, как не нужно ему перемещаться с места на место для непонятных нам удивительных путешествий.

Что оно ведает, чего не знаем мы, что позволяет ему быть и пребывать в покое, в принятии своей судьбы? Или это только со стороны кажется? И нам просто не видно его мятееж, его борьбы, его спотыканий? И что можем мы дать ему, такому щедрому к нам, ничего не просящему? А у Бога оно тоже ничего не просит?..

Всего этого я не знаю. И не знаю, что известно ему обо мне. То, что происходило со мною, когда оно впустило меня в себя, было большим, бесконечным, значительным для меня. Чем было оно для Дерева? Чем было наше с Деревом объятие для Бога?

Я обнимаю его. Я прижимаюсь к нему. И что-то плывет, наплывает, невидимым облаком входит в меня из него, переносит меня куда-то... чем тише, тем явственней, чем неподвижней, тем живей. Где это? Откуда оно знает об этом? Закрытые глаза мои начинают видеть, и я улыбаюсь...

Одесса. Площадь совсем недалеко от вокзала. Клуб работников трамвайно-троллейбусного управления на улице со смешным названием «Чижикова». А рядом – столовая. Столовая номер один. Здесь работает моя мама. Моя мама – бухгалтер. Целый день сидит она за столом в кабинке. Перед ней бумаги, отчеты, документы. А справа – счеты. И она целкает ими туда-сюда, туда-сюда. Но это не игра, не игрушка. Мама считает. Мама бухгалтер. Маму уважают. Все обращаются к ней по имени-отчеству.

А тетя Леля работает в этой же столовой буфетчицей. К ней никто не обращается по имени-отчеству. Все зовут ее просто Лелей. Кроме меня, конечно. Сколько ей лет? Не знаю. Мне самой – то ли три, то ли четыре, а она – взрослая и потому для меня без возраста. Она кажется мне прекрасной. Я люблю ее. Я влюбилась в нее потому, что она называла меня «подружкой». Мне разрешали захо-

дить за буфетную стойку, и я шла с чувством гордости, ведь это разрешали не всем. Тех, кто приходил обедать в столовую, за стойку не пускали. А меня пускали. Тетя Леля говорила мне: «О, подружка пришла». И я пыталась понять: шутит или не шутит? Шутит или не шутит? Да ведь всё равно получается счастье. Если серьезно – значит, мы подружки. А если шутит, значит, балуется, играет со мной, и тогда мы тем более подружки.

Я бегу к маме и шепчу: «Мама, я люблю тетю Лелю. Мама, мама, скажи ей, что я ее люблю».

Откуда я знала тогда, что значит «люблю»? Но мне нужно было как-то выразить свою любовь, а я не умела. Я только и умела, что стоять за буфетной стойкой, смотреть, как ловко она мыла стаканы на специальном фонтанчике, и мысленно умолять ее: «Заметь, ну заметь, как я тебя люблю». Она замечала и трепала мне волосы на голове, угощала томатным соком и конфетами. И всё время называла подружкой. Казалось, что может быть лучше? Может ли что-нибудь быть больше этого? Оказалось, может. Тетя Леля пригласила меня в гости. Тетя Леля! Меня! В гости! И я пошла. Вернее, мама меня повела. Привела, а сама ушла. Оставила меня с тетей Лелей наедине. Как подружку.

Как подружку меня и принимали. Показывали альбом с открытками: голубочки, сердечки, «люби меня, как я тебя»... Красивые. Яркие. Разноцветные. Поставили пластинку со взрослым танцем танго и учили меня танцевать. А потом налили мне чай и угощали пирогами. И всё время называли подружкой...

Как же я могла забыть и так долго не вспоминать? А если б Дерево не напомнило? Я же тогда для нее специально собирала аляповатые эти открытки с голубочками и сердечками. И на работу к маме ходила как на праздник, как на свидание. К своей взрослой подруге тете Леле.

А потом ее уволили. То ли она кого-то обсчитала, то ли с кем-то поскандалила. Только за буфетной стойкой ее больше не было. Вместо нее пришла другая тетя, очень серьезная и даже сердитая. Томатный сок и конфеты она мне давала тоже, но подружкой не называла никогда.

Так что же это было, что вот уже больше полувека живет во мне и не умирает, хоть и позабыла я ее на какое-то время, тетю Лелю свою? Ее, наверное, нет на свете... или уже дряхлая старушка. А я до сих пор смотрю на нее и умоляю мысленно: «Заметь, ну заметь, как я люблю тебя...»

А Лора! Рыжеволосая девочка Лора! Ей семь лет, мне восемь.

Или нет, наоборот. Восемь – ей. И обе мы учимся в первом классе. Она казалась мне красавицей. Прекрасной принцессой из сказки. Девочкой с золотыми локонами. Локоны эти спускались до самых плеч. Я не помню о ней почти ничего, кроме этой завораживавшей меня красоты ее рыжих волос. Я ни разу не подошла к ней, ни разу ни о чем не заговорила. Как это было возможно – мне, обыкновенной девочке, заговорить с самой лучшей, самой прекрасной на свете. Я только смотрела на нее, не отрывая обожающих глаз. Мне смертельно хотелось, чтобы она заметила меня и увидела по моим глазам, как я ее люблю, и так же смертельно было жутко: а вдруг заметит?..

Я помню только два эпизода, вернее, три, но третий – уже разлука. Помню, как мальчишки из нашего класса катали ее зимой на санках и ни капли не смущались тем, что они – ну кто они такие?! обыкновенные мальчишки! – катают ее, представляют – *ее!* А они смеялись и дурачились. И даже, балуясь, опрокинули санки и вывалили ее в снег, как обыкновенную девочку. Они просто не понимали, кто перед ними!

Второй эпизод – мой день рождения. Самого праздника не помню совсем. Потому что знала: родители пригласили Лору. Целый день я ждала ее. А потом дождалась и забыла себя и всех на свете. От счастья. И всё, что осталось в моей памяти от этого дня моего рождения, – это ожидание да чашка с блюдцем, которую она мне подарила. Белая такая чашка с голубым цветочком. Огненное облако ее волос. Ранний уход (родители почему-то рано ее увели). Вот и всё, что я помню. И обрыв. Потому что после этого – разлука.

День рождения был в августе. Почти месяц я ждала начала учебного года, когда смогу увидеть ее, а первого сентября оказалось, что она уехала с родителями в Ригу и не вернется никогда.

Я тогда еще не знала, что любовь на земле трагична. Что придется разлучаться. Что как бы высоко ни уносила тебя любовь, как бы светлы и возвышенны ни были твои полеты, ты всё равно возвращаешься туда, нет, сюда, где земля черна и тяжела, где можно любить и не верить, любить и подозревать, любить для себя, любить жадно и хватко, то есть и вовсе себя любить. Где отдельно – тишина, свет, молитва, и отдельно – рутинная жесткая жизнь. Где хлеб – это хлеб. А небо – это небо. И путать или смешивать их грустно и опасно. Всего этого я тогда не знала и ни о чем таком не думала. Просто оцепенела и как бы перестала быть.

Я даже не плакала, такое было у меня горе. Только хотела, чтобы кто-то почувствовал и разделил его со мной. Я ходила по квартире и всюду писала мелом: «Лора, Лора, Лора...» Сестра дразнила меня. Не только сестра, но и мама, и тетя Лиза. Еще много лет они дразнили

меня, каждый раз вспоминая об этом при любом моем очередном увлечении. И правильно делали. Потому что в этом моем «Лора, Лора, Лора» было, конечно, много детского горя, но было в нем еще и другое. В нем было: «Посмотрите на меня. Посмотрите, как я страдаю». Много лет до совсем недавнего времени я носила в себе это, как воспоминание о первой любви и первой разлуке. И только сейчас Дерево напомнило мне, что до этой любви, а я ее и сейчас как любовь воспринимаю, была еще одна, ее предвестница – тетя Леля.

Ну а потом любви пошли одна за другой, одна за другой. Ливнями, букетами. И сразу начались чудеса, бесконечные чудеса, которые бывают в сказках, когда зацветают прутья, из которых сплетена корзинка, или избушка бежит на курьих ножках. Я еще не понимала, что все чудеса, все любви и дружбы, все «открытия» и полеты – это подарки Бога, но принимала их без промедлений и колебаний. Не удивлялась, а только радовалась, и радовалась, и радовалась им. А влюбленности просто сыпались на меня.

И в одноклассницу Эллочку, ничем не примечательную девочку с тоненькими косичками. Она всегда готовила уроки, всегда хорошо отвечала и получала четверки или пятерки. Всегда была уверена, что старшие правы, и потому их надо слушаться и никогда не нарушать правила.

И в отрядную вожатую, семиклассницу Алку. Она была хорошая скрипачка, но ей совсем не интересно было выслушивать мои «философские размышления» о том, что в мире много зла и с ним нужно бороться. А я провожала ее домой, смотрела на ее скрипку, и мне казалось, что передо мной гений, будущая знаменитость. И так мне от этого было радостно, что тополи улыбались, море смеялось, небо пело радостные песни, зеленела еще не зазеленевшая трава. Это тогда я впервые почувствовала, что «не могу вместить». Мир – такой большой, а я такая маленькая. Я не могу вместить всего.

И в дядю Мишу. Ему было семьдесят лет, а мне десять. Он жил в Ленинграде, а я в Одессе, и мы писали друг другу письма. Он мне свои – мудрые и добрые. А я ему – свои, полные поисков, бурь, натисков, отчаяний, радостей. И всё мне казалось, что он хороший и добрый, потому что он принимал меня как большую, и все мои трагедии действительно казались ему трагичными, все поиски – важными, все находки – радостными.

И в учительницу. Она была преподавателем истории, и вскоре эта любовь сменилась неприязнью, потому что она плохо отозвалась о другой моей любви. Но тогда... тогда мне казалось, что она знает об истории всё!

И в троюродную сестру Инну. Ей было двадцать семь, а мне четырнадцать. Она приезжала в Одессу в Дом отдыха, а я приходила к ней в гости. Я приходила к ней и искала ее в огромном парке. «Инны нет», – говорил мне кто-то из отдыхающих. Я уже знала: Инна в столовой, она обедает. Инна обедала, а я ждала. Потом она приходила и говорила: «У меня режим. Я должна сейчас спать». Она укладывалась на веранде возле своей комнаты, потому что послеобеденный сон на воздухе очень полезен. Она засыпала быстро и легко, присутствие влюбленной девчонки ее совсем не смущало. Она спала спокойно и безмятежно, а я сидела рядом и смотрела на нее. Смотрела на нее и вслушивалась в себя, как мир во мне рос, и разрастался, и становился всё больше и шире, и чем больше он становился, тем легче укладывался в одну только точку, – в лицо спящей рядом со мной женщины. Мир был тихим и молящимся. Тихим и молящимся, как и сейчас. Что же это, за столько лет ничего не изменилось?..

И в мальчика. Впрочем, это был, пожалуй, единственный из моих детских «романов», когда обожала не я, обожали меня.

Он был очень хороший, этот мальчик, честный, справедливый, весь какой-то основательный и правильный. Он всё делал по-взрослому. Он и меня любил по-взрослому: ухаживал за мной, как положено взрослому. Приходил по выходным, приглашал в кино, покупал билеты. И в темноте киношного зала брал мою руку в свою. Мне нравился этот мальчик – и то, как он любил меня. Хороший мальчик, но очень уж мы были разными. И хотя я чувствовала и осознавала, что любовь эта была большая, настоящая, мне было тягостно с ним дружить. Потому что не было разделенности. Я не могла разделить с ним его мировоззрение, его мечты. Он мечтал о том, как он вырастет, выучится, станет инженером, будет получать большую зарплату, чтобы обеспечивать семью, купит машину. А мне это казалось мещанством. Я мечтала совсем о другом. Мне очень хотелось и очень надо было сделать мир большим. Мне казалось, что если этого не делать (хотя бы не пытаться), он будет становиться всё меньше и меньше, и постепенно от него ничего не останется. А тогда зачем было рождаться? Но, главное, мальчик не мог разделить со мной самую большую любовь моего детства. Главную мою увлеченность, которая составляла тогда, пожалуй, смысл всей моей жизни, – драматический кружок. И потому, когда в свои четырнадцать – мои тринадцать – лет он сделал мне предложение – да-да, самое настоящее взрослое предложение руки и сердца и совместной будущей жизни, – я неосознанно почувствовала важность и значимость для него этого момента и, глядя в его вопрошающие любящие глаза, не посмела отказать ему и сказала «да», а всё во мне кричало: «Нет, нет, нет, нет!»

Но еще много лет — до самой юности и, пожалуй, даже позднее, — я чувствовала себя связанной словом.

Они сменяли друг друга, влюбленности и любви, но меня это не смущало. Я еще не могла бы объяснить словами, но уже смутно чувствовала, что когда я люблю, то кого бы (или что бы) ни любила — человека ли, стихи, музыку, цветок — при этом я остаюсь собой. И поэтому любовь моя остается такой, какая свойственна именно мне, а на иную я не способна.

Я еще не могла бы сказать словами, но уже знала внутри себя, что нет многих любовей, а есть одна — одна моя любовь ко многим и разным людям, ко многому и разному.

Сколько их было, этих детских восторгов и увлечений, и они не мешали друг другу, не сталкивались, не противоречили. Но всё это был лишь фон, на котором цвела, расцветала, росла, поднималась до невозможных, не представимых для меня того времени, высот любовь к Валентине Семеновне. Руководительница драматического кружка — она была идиолом, божеством для мен... впрочем, не только для меня, но и для большинства кружковцев. Тогда мне казалось правильным всё, что она делает, мудрым всё, что она говорит. Ни за что не посмела бы прекословить ей, да мне и не хотелось, я принимала всё с радостью.

Я не знала, как выразить свою любовь. Именно тогда я впервые произнесла: «Я хочу умереть за нее». Умереть не умереть, а подвиги в ее честь совершались постоянно. Это были разные детские подвиги. Не думаю, что они имели какую-то ценность, но совершались они именно как подвиги и именно в ее честь, как в честь Дульсинеи Тобосской совершал свои подвиги еще не читанный мною тогда Дон Кихот. То я бегала за молоком для ее заболевшей старенькой тетки. Молока было не достать, но я искала упорно и, наконец, — о счастье, о торжество! — находила в каком-то кафе или столовой стаканы с горячим молоком, переливала их в одну бутылку, приносила ей и вручала этот дар любви, как драгоценный камень, как звездочку с неба.

А вышивка... Я никогда не любила ни шить, ни вышивать. Мало сказать «не любила» — терпеть не могла. Но тогда купила самую большую картинку, рисунок для вышивки — какого-то нелепого павлина, — и решила вышить его ко дню ее рождения. И вовсе не потому, что он мне нравился. Хотелось сделать то, что было мне тяжело и неприятно, — именно потому, что тяжело и неприятно. Для нее сделать. Для нее преодолеть себя. Для нее совершить подвиг. Она это поняла. Приняла и даже повесила павлина на стенку.

Эта звезда засияла на моем небосклоне в мои восемь или девять — и сияла неизменно, ежедневно, ежечасно, ежеминутно все годы моего детства и отрочества — и в двенадцать, и в четырнадцать, и даже в пятнадцать, и лишь в начале юности, когда я стала открывать иные миры, когда происходили первые переоценки ценностей, постепенно она немного потускнела. Но и тогда сияла. Долго-долго. И в мои двадцать, и в тридцать...

...Ах, Дерево, какой же ты сделало мне подарок! Ты не умеешь перемещаться и, оказывается, совсем не нуждаешься в перемещениях для своих путешествий во времени и пространстве. А может быть, ты само не видело того, что показало мне? И значит, не путешествовало, а только каким-то неведомым мне способом отправляло в путешествие меня? Ну а ты? В каком мире живешь ты? В моем привычном? В том, в который вводишь меня? В слиянии двух или многих миров? Сумело же ты передать мне картинки из моей былой жизни, на сотни и сотни миль удаленной от того места, где находятся твои корни, да и во времени с нашим сегодня не совпадающей. Что еще ты умеешь? Что еще тебе ведомо? Ведомо ли тебе касание тишины, как оно ведомо мне?

Прикосновение тишины раскрывает ворота. Ворота, через которые ты выходишь в иной мир. Ворота, через которые иные миры входят в тебя, через которые ты можешь легко путешествовать по земле, по мирам, по времени, по собственной жизни.

Может быть, поэтому так легко было тебе, Дерево, показывать мне и мою жизнь, и неведомые мне пространства? Что ты покажешь мне сейчас?

...Я снова вижу свою троюродную сестру Инну, но как же ей плохо! Я помню этот день. Я приехала в Киев на похороны своей тетушки, Инниной мамы. Для Инны смерть матери была утратой всего, что составляло смысл ее жизни в последние годы. Она была в безысходном всепоглощающем горе, сдавленном, мучительном. Все вокруг ходили за ней тенью, носили капли, нашатырный спирт, уговаривали поесть или попить и взять себя в руки. А она от этого страдала еще больше. Все представлялось ей кошмаром. Ей казалось, что никто ее не понимает, никто не понимает, что случилось с ее мамочкой. Она теряла сознание, «цепенела», ее невозможно было успокоить, она не слышала никаких утешений. И тогда я сделала то единственное, что само сделалось со мною. Я взяла ее к себе и не отпускала уже до самой ночи. Мы стояли с ней вместе у гроба. Я держала ее крепко, нежно, любовно и, жалея так, как только и

можно жалеть любимую в горе, шептала ей в ухо какие-то слова о ее маме, о мамином лице и просто лепетала что-то любящее и бессмысленное. И она меня услышала, стала шепотом разговаривать со мной. Когда она ненадолго замолкала, я молилась изо всех своих сил, словами молилась Богу и просила его пощадить эту женщину: пусть ей будет тяжело, но пусть эта тяжесть будет посильной. Я просила Его: «Господи! Оставь ей столько, сколько она может вынести, а остальное отдай мне, переведи на меня ее тяжесть и боль. Пусть ей станет легче, пусть ей станет выносимо, Господи! Облегчи ей, отдай мне ее муку!...» И так бесконечно, множество раз, на разные лады, разными словами, — я не помню их сейчас, но всё об одном, об одном, об одном, об одном... Понимаю, что я грешила. Ведь сама всегда говорила: «Молитва — не просьба. Нельзя ни о чем просить Бога. Молиться — любить, а не просить». Ну и пусть грешила, пусть мне зачтется и этот грех. Но все-таки хорошо, что молитва моя была услышана. Я верю в это, я видела это. Я молилась, а Инна под моими руками (я всё время обнимала ее и руками чувствовала ее тело, как оно сжималось, и мучилось, и корчилось от этой муки) становилась легче, расслаблялась, светлела. На время, правда, но потом снова и снова.

И вот в те минуты, когда я то молилась, то разговаривала с Инной, между нею и мною впервые протянулась живая ниточка. Я держала ее, и чувствовала ее, и знала, что Инна дышит и живет через нее. И пока я по этой ниточке передаю сестре воздух для дыхания и жизни, пока я молюсь и пока слышится моя молитва, с сестрой не случится ничего страшного, непоправимого. Но только мне нельзя выпускать эту ниточку, хотя эта ниточка — я сама и есть.

Так я держала Инну и в этот день, и на следующий. И когда вернулась в Одессу, старалась не выпускать. Всё время жила и знала, что ее дыхание, ее муки — на мне. И через меня к ней идут жизнь, воздух, возможность выжить. И поэтому, когда в поезде проснулась подавленная, тяжелая, когда неожиданно для себя уже в Одессе принималась плакать по пустякам или без повода, я не огорчалась. Я думала, что вот исполняется вторая часть моей молитвы, что тяжесть, боль, муки Инны входят в меня и что это правильно; что они не могут быть светлыми, потому что Инна же не светлая, всё в ней сейчас — тяжесть и мрак. И религиозность ее — не религиозность вовсе. Это торговля с Богом: «Сделай мне то, что прошу, и я поверю и полюблю. А не сделаешь — не поверю и возненавижу». Но все-таки я добровольно приняла ее боль, и мрак, и незнание. Поэтому мне не может быть светло...

И опять я вижу какие-то неясные расплывчатые картинки, какие-

то буквы, письма. Да ведь это мой почерк! Мое письмо, написанное много лет спустя из Америки в Израиль – ей же, троюродной сестре Инне, в которую была влюблена в свои четырнадцать; сон которой стерегла, живую ниточку с которой протянула в день смерти ее матери.

«То, что мы сотворили с тобой, Иннуся, покинув свой дом, не только трагично, но и необратимо, – читаю я свое письмо, написанное в те далекие уже девяностые годы, первые годы нашей эмиграции. – Свершись чудо, окажись мы дома – ты в Киеве, я в Одессе, – ничто не стало бы лучше, наоборот. Лишь тогда со всей очевидностью поняли бы мы, что нет нам места на этой земле, что нет у нас дома и быть не может. Я знала, что будет плохо, что невозможно будет для меня прижиться в этом новом и чужом мире, но поехала же! Знала и другое: что уезжать я не должна, не имею права перед несчастной и ужасной своей родиной. Пусть она не любит меня. Пусть она кругом виновата. Пусть она безнадежна в своем падении. Всё равно не должна, тем более не должна. Там было мое место. Там была я нужна, потому что Божий замысел был таков, и только там я могла осуществить то, для чего была сотворена. И все-таки уехала. Так что ж теперь жаловаться? Пей свою чашу. Пью... Впрочем, из этой тупиковой ситуации есть выход – единственный и вполне универсальный. Я называю это ‘выходом через верх’.

Приехав в Америку, я утратила многое, но самой страшной была утрата Космоса. Долгие годы живя с ощущением космичности окружающего и причастности своей к этому Космосу, с ощущением, что Космос и Вечность не где-то когда-то, а здесь и сейчас, не в книгах и сказках, а в моей собственной жизни, я, естественно, восприняла эту утрату как смерть или смертную казнь. Но это не было смертью, Иннуся. Это не было смертью не потому, что я была прощена и помилована, а потому что Космос и Вечность бессмертны и бесконечны. Вот в этом и надежда. Как Бог не покидает нас, когда мы покидаем Его, а ждет нас в готовности, так и Космос, и Вечность не уходят, а ждут, когда мы возвратимся. Вернуть себе Космос. Вернуть себя Космосу. Всё. Больше ничего не надо. Идти своей дорогой. Выполнять свои обязанности. Растить в себе Добро и Любовь. А там – как Бог захочет. Я говорю это себе, и тебе, и всем. Это для всех одинаково.»

ЛЕНКА

Ленка... Ее привели в наш девятый класс. Сказали, что будет учиться с нами. Ах, как резко пахло тогда на меня чужим, чуждым, инородным, ворвавшимся в «дружный комсомольский коллектив»! Я

была тогда членом комитета комсомола нашей школы, кем-то вроде «Железной кнопки» из Быковского «Чучела». Еще недавно я восхищалась колонией Макаренко. Жалела о том, что не мальчик и не могу поступить в Суворовское училище. Моими любимыми героями, образцами для подражания были Овод и Рахметов. Словом, типичный «продукт коммунистического воспитания».

А Ленка была дитя совсем другого мира, в наш совсем не вписывавшегося. И немудрено, что я сразу ощутила к ней резкую неприязнь и острое желание, чтобы она куда-нибудь исчезла и никогда больше не появлялась.

Это был изгой в облике светловолосой и зеленоглазой девчонки. Папа – львовянин немецкого происхождения, угрюмый и неразговорчивый кларнетист львовского театра, с которым и переехал в Одессу вместе с женой и дочерью, прихватив, разумеется, всё свое западно-украинское – совсем не советское, а скорее, антисоветское – прошлое. Мама – американка польских кровей – в Советский Союз попала каким-то не очень ясным способом и искренне, хотя и тайно, его ненавидела. Сама Ленка родилась во Львове, где и выросла до пятнадцати лет, и вот теперь пришла в нашу школу с таинственным и невидимым багажом каких-то неведомых нам, но явно враждебных знаний. Того, что рассказывали ей, а она запомнила, того, что могла бы нам рассказать, но о чем молчала, притворяясь обычной школьницей, на которой, однако, даже коричневая школьная форма казалась маскарадным костюмом. Всего этого мы не знали тогда, а многие долго еще не узнали.

Она была талантливой пианисткой. И ее определили в класс консерваторского профессора фортепиано, которую она называла «старухой», но, видимо, любила, на уроки к ней ходила охотно и дома занималась с удовольствием. Под ее руками простые упражнения и гаммы обретали значимость, этюды забывали о технике пальцев и начинали рассказывать романтические истории, а Бетховен и Шопен звучали так, что мне, присутствовавшей на ее занятиях, хотелось лишь одного: чтобы эта музыка никогда не кончалась...

Но это было потом. А пока она стала учиться в нашем классе. Молча сидела одна за первой партой в левом ряду у окна впритык с учительским столом и вроде бы не присутствовала. Активности не проявляла. Отвечала только на вопросы, обращенные непосредственно к ней, училась средне. Математика явно ей не давалась. Ни с кем не дружила, ни с кем особенно не общалась, с классом не смешивалась. И я почти перестала ее замечать. До того памятного дня, который стал началом... чего? Любви? Взросления? Открытия? Новой жизни?..

Мы болтали на каком-то уроке с подружкой, и учитель, чтобы разделить нас, велел мне пересесть на первую парту. Как раз туда, где сидела в одиночестве молчаливая Ленка. Я пересела. И от скуки стала разглядывать, чем она занимается. Она что-то вязала и одновременно читала книгу, которая лежала в парте.

— Что ты читаешь?

— «Очарованную душу»

— Что это? Чье? Кто написал?

— Ты что, Ромена Роллана не знаешь?

Я не знала. Мне стало стыдно. На следующей перемене побежала в школьную библиотеку, где мне выдали «Очарованную душу». С этого всё началось.

Не помню первых дней, первых шагов сближения, начала нашей дружбы. Помню какие-то отдельные события, но все они происходили уже в состоянии моего полного растворения в Ленке, полной отдачи ей своей жизни, своего сердца, своих взглядов-убеждений-мыслей-размышлений-поисков-открытий... словом, всего, всей себя. Вот только что подседа к ней — и еще ничего не было. Так, девчонка, которую недолюбливаю; любопытство, что она там вяжет, читает. А вот уже и нет меня. Есть глаза, глядящие на Ленку, вбирающие ее; есть уши, слушающие ее слова; есть Ленкин мир — желанный, привлекательный, огромный, которому в подножие готова бросить свой вчерашний. Зачем он теперь, кому он теперь нужен? Есть милость ее, позволяющая мне следовать за ней, быть с ней, служить ей. Есть щедрость ее, дарящая мне совместные прогулки, или чтение, или слушание ее музыкальных занятий... когда же это всё случилось? Должна же быть какая-то постепенность? Или вот так сразу — в один момент?..

Мы были странной парой. Я — трусливая неуклюжая толстушка из добропорядочной еврейской семьи. Привыкла считать себя хулиганкой, но знала свои обязанности ходить по урокам, чтобы зарабатывать деньги, и учиться без троек (стипендию в школе давали, но только отличникам и хорошистам). Домашние задания не выполняла никогда, но на уроках внимательно слушала объяснения учителей и потому получала свои четверки и пятерки. Пианисткой была средней, но с приличной репутацией. И при этом — истовая комсомолка, страдавшая за «честь коллектива». И Ленка — талантливый изгой из полудеклассированной семьи. Она притворялась обычной школьницей, но уже ушла из подростков в девушки, молчаливо принимала и даже как бы поддерживала свою репутацию стиляги (пляшет рок-н-ролл и буги-вуги) и, может быть, «развратницы» (первая в классе взяла сигарету — и все осудили... а потом и сами). Она уже слышала то, о чем мы, подросточки, еще и не задумывались, а ей, приехавшей из несо-

ветского – польского или даже австро-венгерского – Львова, довелось рано узнать.

«Ты с кем спуталась? Ты с Леной спуталась?»

Этих слов по сей день не могу простить учительнице истории, в которую незадолго до этого была влюблена. А тогда бросилась в драку за честь возлюбленной. Не помню, что наговорила ей, какие грубости. Силы были неравными. Она ответила мне что-то насмешливое о Ницше, а у меня уже весь заряд выдохся, и только и осталось, что огрызнуться совсем уж по-детски: «Не знаю я, кто такой Ницше». И получить в ответ разищее наповал: «Очень жаль. В твоём возрасте можно было бы уже и знать».

Она вызвала в школу моих родителей (об этом я и не догадывалась) и долго рассказывала им об этой страшной семье и ужасной девочке, советовала запретить мне дружить с нею. Спасибо маме с папой: они не только ничего не запретили, но даже не сказали мне тогда о разговоре с историчкой. Хотя поводы для волнения у них были. Их дочь стала приходить домой не прямо из школы, а только вечером. У дочери в кармане школьной формы были сигареты. Она стала пропускать занятия...

...В школу Ленка приходила не регулярно и не всегда к первому уроку. Поэтому жизнь моя утром начиналась с ожидания: придет или не придет? Если приходила, нужно было сделать вид, что мне это безразлично. Это удавалось не всегда. Ожидание было таким томительным, а ее всё не было. Вот первый урок начинается. Может быть, опоздает? Пять минут, десять... Как они медленно тянутся... Нет, на первый урок она уже не придет. А вдруг? Ведь бывало же, что и на двадцать пять минут опаздывала! Вот сейчас дверь откроется, и она... Ну ладно, уже перемена. Нет ли ее в коридоре? Или в библиотеке? Или на чердаке с сигаретой?... Второй урок. Третий. Не придет, не придет – всё, успокойся. Уже не сегодня. Теперь нужно дожиться до завтра...

Ну и как скрыть сумасшедшую радость при появлении этой жданности, вернувшей возможность жить? Ну можно ли не броситься к ней на шею (так ведь и броситься невозможно), можно ли не запеть, не закричать? А глаза? – Ведь их отвести нельзя, даже если они глядят в другую сторону. А голос? Ведь вот она говорит что-то, что-то спрашивает, предлагает, и нужно ответить, а я и не слышала, что она сказала мне, я смотрю, вижу ее, слышу звучание голоса – чего же еще? Ответить? Я киваю согласно. Потому что не представляю, как можно ей возразить, не согласиться с чем-нибудь. А как это называется? Да какая разница!

Оказывается, она пришла вовсе не посидеть на оставшихся уро-

ках, а забрать меня «на казенку». Это новое для меня. Я еще не удирала с уроков так нахально. Но ни сомнений, ни колебаний, разумеется, не возникает.

Школа наша, знаменитая музыкальная десятилетка имени профессора Столярского, расположена на Сабанеевом мосту, очень близко от Потемкинской лестницы и скверов слева и справа от нее. Выходим из школы. Иду как зачарованная. А я и есть зачарованная. Ленка что-то говорит, а я слышу и не слышу. Меня переполняет ощущение свободы. Вот ведь школьное время, где-то сейчас урок, а мы здесь, на свободе. И куда-то идем, и будет происходить что-то необыкновенное. Не может быть обыкновенное, если меня ведет Ленка.

Она повела меня на склоны. Играя и дурачась, взлетела наверх без тропинок, лишь изредка цепляясь за ветки. А я ползла за ней, неуклюжая, тяжелая. Взибалась, пыхтя и боясь скатиться. Но не останавливалась. Доползла на уровне подвига. Ленка веселилась, я мучилась. Мне было стыдно, но что я могла сделать?

Наверху мы сидели прямо на земле, не заботясь о том, чтобы не запачкать наши форменные платья (даже это было необычным для меня, приученной совсем к другому), и Ленка что-то рассказывала. Она говорила много и всегда интересно. Не помню, о чем она говорила в тот раз, но все ее рассказы становились для меня открытием новой галактики, о существовании которой раньше не догадывалась. В них было очень много политики: она говорила о Сталине (это был 1957-й год!), о войне, о ненависти львовян к русским, к Красной Армии, о периоде становления советской власти (но совсем не так, как я привыкла читать и думать). Конечно, о любви (но это позднее, когда мне было позволено стать поверенной ее сердечных дел, которым она всегда придавала налет загадочности и таинственности), а больше всего – о книгах, музыке, искусстве. Мне всё было интересно, всё нужно. Всё звучало по-новому, не так, как раньше, с иной точки зрения, с иной оценкой, иными категориями и мерами.

А вот спуститься с ней со склона я не смогла. Она легко, без остановок сбегала вниз и ждала меня там. А я не могла себя заставить даже шагу ступить, уверенная, что сразу скачусь вниз. Ну и скатилась бы – не смертельно. Но не могла – и всё. Страшно было. Как не смогла пройти через всеобразную чугунную решетку, нависшую над обрывом. Эту решетку – такую красивую и широкую – для того и поставили там, чтобы люди не ходили: опасно. Но Ленку именно это и привлекало. Она и меня звала. Показывала, что вот же – ничего страшного, переходила несколько раз с одной стороны на другую и обратно, а я только закрывала глаза и замирала от ужаса.

Ленка надо мной не смеялась. Покорно пошла в обход – и меня

повела. А с меня было довольно и того, что мы сидели в неполюженном месте, курили и вели беседы (Ленка рассказывала, я слушала), за которые могли не только из школы погнать, но и из комсомола исключить в два счета.

На следующий день я проснулась рано. Быстро собралась и отправилась в школу примерно за час до начала занятий. Сначала пошла к склонам. Поднялась по ступенькам, чтоб время не тратить. И стала потихоньку спускаться. Сперва на четвереньках, хватаясь за каждый куст. Потом дело пошло быстрее, и через каких-то двадцать пять-тридцать минут я уже спокойно спускалась в полный рост с портфелем в руках.

Потом пошла к решетке. Было очень страшно. Но выбора у меня не оставалось. Я понимала, что без Ленки мне не жить, а с Ленкой надо было уметь лазить по заборам, спускаться со склонов и прыгать с высоких стен.

Подойдя к чугунному вееру и убедившись, что вокруг никого нет, первым делом я отрезала себе путь к отступлению, перебросив портфель на ту сторону. Потом начались попытки.

Страх высоты – фобия, она у меня есть и по сей день. Преодолеть ее с помощью разумных доводов можно так же, как любую другую фобию, то есть никак. Тогда я этого не знала. Я презирала себя за трусость и готова была выбирать между гибелью, которая казалась мне вполне возможной, и позором в Ленкиных и собственных глазах.

Нужно было сделать только один шаг. Только один, но над обрывом. Нужно было, держась за решетку, заставить себя ступить одной ногой по другую ее сторону, а потом перенести туда же всё тело. Упасть можно было, только переступая второй ногой и подтягивая тело. Вероятность падения была очень низкой. Но заставить себя было непреодолимо трудно. И только с размаху, как в воду бросаются, я смогла, наконец, это сделать. И не упала. И, не упав, стала повторять это много раз, пока не прошло чувство страха.

Это была очень хорошая победа. Она доставила мне много радости, но я не знала, как сказать Ленке.

Не помню, когда я ей об этом сказала. Но она узнала и радовалась вместе со мной...

...А потом была ссора. Не помню, из-за чего. Не помню, кто был в ней виноват. Не могу себе представить, что сделала что-то обидное для Ленки: я и перечить-то ей не смела. А может быть, это была и не ссора. Может быть, она просто играла мною, оттачивая на мне женские свои коготки перед будущей игрой с мужчинами. Это возможно. Она ведь много играла мною. Мгновенно и без понятных мне причин

меняла милость на гнев, а гнев на милость. То была приветлива, то недоступна, то дурачилась со мной, шалила по-детски, то вдруг оставалась в полушаге и приказывала мне уходить: дальше с ней нельзя. Она любила таинственность и загадочность. И я никогда не знала, что меня ждет: холодное или горячее, рай или ад, приветливость или пренебрежение. Вполне может быть, что в тот раз я ослушалась и не ушла тотчас по первому требованию. А может быть, было что-то другое. А может, и ничего. Но обрыв был. Был какой-то запрет «...и не приходи больше». Помню себя и свое горе. Помню, что, простояв несколько часов напротив ее дома, подстергая, не выйдет ли, я ушла лишь затемно, когда вошли в дом ее мама и папа и было понятно, что сегодня уже ничего не произойдет, что надо как-то протянуть до завтра.

А назавтра, в выходной, прямо с утра я отправилась к Ленкиному дому, поднялась на верхний этаж, уселась возле ее квартиры на ступеньках лестницы без всяких конкретных планов, ничего не ожидая, и приготовилась сидеть так до неизвестности – до чуда или до смерти.

Разумом я понимала, что есть в этом какое-то унижение. Но мне было отчаянно-безразлично. Понятия мои о гордости, о достоинстве перевернулись в мгновение. Я, которая в раннем детстве не могла произнести обычного «я больше не буду» и вымучивала всё наказание «от звонка до звонка», так и не произнося этих слов; я, которая так и не научилась извиняться за ошибку или хотя бы признаваться в ней; которая никогда не пошла бы мириться первая, никогда не просила у мамы «купи», у подружек «дай кусочек», которая отлично знала фразочки типа «а мне не больно» или «не хочешь – не надо» и пользовалась ими гораздо чаще и охотней, чем «ну пожалуйста» или «сделай одолжение», – я, если б кто-то спросил меня там, на лестнице, не стыдно ли мне унижаться и ждать, сказала бы: «Стыдно, но что же делать?!» А если бы спросили о достоинстве и гордости, сказала бы: «При чем тут гордость? Я ее люблю». И в самом деле любила.

Нет, наверное, я не ответила бы так, ответила бы как-то иначе. Ведь я не произносила тогда этого слова даже мысленно. Нет, я не сказала бы «люблю», хотя, конечно, любила. Не знаю, как сказала бы я, но что гордость была мною тогда отвергнута как нечто бесконечно меньшее всего того, что привязывало меня к Ленке, это, наверное, правда. Это было со мной впервые, но я и сейчас думаю, что та девочка была права.

И на первый вопрос я, наверное, ответила бы иначе. Я не сказала бы «стыдно», я сказала бы: «Мне нужно к Ленке. Нужно к Ленке – и всё».

Только что, пока писала последние строчки, подумала, что всё это было немножко похоже на любовь Мити Карамазова, хотя для посторонних смешно и нелепо звучит такое сравнение...

Жизнь с Ленкой была интересной и стремительной. Всё вчерашнее казалось таким далеким, о нем не хотелось даже вспоминать. А теперешняя жизнь... Может быть, ради нее я и родилась на свет?..

А в чем она состояла?

Ну, школа, конечно. Из которой куда-то на тридесятый план отошли учителя и уроки, соученики и комсомольские игры, а была только Ленка, Ленка. И всё, что с ней связано. А связано с ней было многое. Первая переоценка ценностей происходила у меня тогда. Хорошо и плохо, наши и чужие, важное и неважное – всё перепуталось и перевернулось. Неприятие «пресмыкания перед Западом» превратилось в жгучий интерес к этому Западу. Восторженное принятие своей страны как «самой справедливой и доброй на свете» – в ужас перед тем отвратительным и страшным, что я узнала о ней. Иначе звучала музыка. Изменились книги, выбираемые для чтения. Изменилось само чтение. Учителем и поводырем стал Ромен Роллан.

Я продолжала прилежно давать уроки своим малышам (репетировала с ними их задания по фортепиано, подтягивала по сольфеджио, а с иными готовила уроки по общеобразовательным предметам – русскому и математике), но это было единственное, что оставалось от прежней жизни. Всё остальное время мы проводили с Ленкой, если только она не уходила по своим загадочным делам.

Из школы мы шли к ней домой, и она кормила нас чем-то из оставленного мамой, а потом садилась за пианино. А я либо читала книжку, либо делала на двоих заданные нам уроки: решала задачки по математике, писала по два сочинения – для нее и для себя. И, конечно, слушала ее игру. На ее долю из уроков приходился только украинский.

Мы много гуляли, и я уже знала не только свою, но и Ленкину Одессу, которую никогда бы без нее не увидела. И, конечно, мы болтали обо всем на свете.

Однажды Ленка вызвалась проводить меня на урок музыки и даже подождать меня там, потому что на этот вечер у нас были «серьезные планы»: мы собирались в кафе пить молочные коктейли. Они недавно появились у нас, были еще диковинкой и казались нам какими же экзотичными, как названия марок вин у Ремарка.

С урока возвращались затемно. Ехали в трамвае. Ленка вдруг резко изменила планы, предложила что-то другое и двинулась к выходу. Когда трамвай притормозил на подъеме, она ловко спрыгну-

ла с подножки и стала звать меня. Но я никогда еще не прыгала с трамвая на ходу, и мне было страшно, я не могла решиться. Колебалась я совсем недолго: я уже привыкла идти за ней всюду и всегда, не выбирая. Поэтому через мгновение я бухнулась вниз, закрыв глаза от страха. Увы, короткий подъем за это время окончился, трамвай набрал ход, к тому же, прыгнув, я не отпустила поручень, и меня потащило. Окончилось всё благополучно. Скорости у трамваев тогда были невысокие. Но дело не в этом. Дело в том, что очнувшись от того, что кто-то тряс меня за плечо и что-то говорил. Открыв глаза, я увидела, что это не Ленка. Какие-то чужие люди пытались меня поднять. В следующий момент я помню уже Ленку, которая подбежала и тоже что-то говорила. Вот эти несколько... секунд? минут?... вот это время между «ушла!» и «Ленка! Вернулась!» я и запомнила тогда. Это свое отчаяние утраты (без тени обиды: мне бы и в голову не пришло обижаться) и счастье возвращения (а разве на ее месте кто-нибудь мог бы не вернуться, не подойти?) – вот и всё, что я тогда почувствовала.

А потом наступили летние каникулы. И они были настоящим испытанием для меня. Ленка сказала: «Ты меня не ищи. Я уеду. А когда вернусь, сама тебя найду». В это «сама найду» я не поверила ни на грамм. И хотя дала Ленке адрес дачи, на которой мы тогда жили, приложив к нему подробное описание и название остановки трамвая, но включила свои внутренние часы на первое сентября, когда она, может быть, придет в школу.

Рассказывать, как я ее ждала, как томительно медленно тянулись дни этих бесконечных постылых каникул, как не помогали ни море, ни книги, ни музыка, ни ученики... Ну что об этом рассказывать? Кто не ждал, не тосковал, тот не поймет. А кто ждал, тот и так знает. Конечно, я считала дни – прошедшие и оставшиеся до первого сентября. Вычеркивала, опять пересчитывала... Мне много лет сейчас. Бывали в моей жизни и другие тоскливые ожидания. Но такого мучительного, такого остро-нестерпимого не было никогда. Так бывает, наверное, когда впервые. При этом я нисколько не надеялась на ее появление. Была абсолютно уверена, что если Ленка проводит со мной какое-то время, то исключительно потому, что в силу щедрости своей и своего великодушия милостиво дарит мне немножко себя. Может быть, понимая, что иначе я задохнусь и погибну. Что ей тоже приятна наша дружба, что ее радует мое обожание, что она может захотеть приехать ко мне, побыть со мной не ради меня только, а потому, что ей самой этого хочется, – такое было непредставимо, о таком я ни разу не подумала. И когда через несколько лет пришла в

гости к Ленкиной маме, чтобы хоть воздухом их квартиры подышать (Ленка тогда уже жила в Москве), и мама между прочим, в разговоре, произнесла что-то вроде «Леночка так тебя любила, так дорожила вашей дружбой», я остолбенела на миг, а потом сказала себе, что это вежливое лицемерие – и не поверила всё равно.

Но когда она вот так взяла и появилась... Прямо посреди солнечного жаркого дня... Я собирала с дерева вишни. Это было недалеко от калитки. Она подошла к калитке, но не смогла ее открыть и всё дергала, дергала. А я застыла столбом со своей кастрюлькой с вишнями и смотрела на нее. Она меня увидела и заулыбалась. А я продолжала стоять. Что-то она говорила, ну, что обычно говорят при встрече... «привет» или, может быть, «да открой же мне». А я всё стояла и ждала, когда же это видение растает. Наконец, произнесла растерянное «Ленка... не может быть...» – и пошла к калитке. И всё. Дальше не помню ничего. Даже ощущения сбывшегося счастья не помню...

Ленкины родители то ли купили, то ли получили бесплатно крохотный кусочек земли в плохом районе, недалеко от тюрьмы, и строили там домик. Потому она и сказала тогда: «Не ищи». Сама еще адреса не знала. А жили они всё лето там, на стройке.

Добираться от меня к ней трамваями было долго и неудобно. Сначала около часа на одном трамвае до города, потом минут тридцать-сорок из города, но уже по другой линии. И после этого топать еще минут двадцать пешком.

Идти напрямую, пересекая нашу линию Большого Фонтана и переходя на их Люстдорфскую, нужно было всего около часа, но ходить по жаре было мучительно, а возвращаться в темноте – страшновато.

Самым лучшим вариантом был велосипед. Велосипед у меня был. И стала я кататься к ней каждый день. Утром это занимало минут тридцать, а вечером, в темноте, побольше.

И начались у меня райские каникулы. Теперь я считала наоборот: сколько еще дней блаженства у меня впереди. Почти ничего из этих дней не помню, кроме постоянного ощущения, что я пребываю где-то над землей, в прекрасном и праздничном мире, залитом солнцем и наполненном Ленкой. И лучше этого не может быть ничего, да и не надо, потому что сердце может не вместить столько радости и разлететься на веселые счастливые брызги.

Помню почему-то только сам двор. Еще без зелени, знойный, всюду валяются доски, строительный материал. Посредине двора – наскоро сколоченное подобие стола. На нем Ленкина мама готовила салаты. Роскошные одесские салаты из крупных красных степных помидоров, огурцов, лука и укропа. Все это резалось крупно и обиль-

но поливалось пахучим подсолнечным маслом. Запах масла смешивался с запахом перца, который тоже сыпался щедро и обильно. Было очень вкусно. А еще – рассыпчатая картошка с маслом, укропом и чесноком. Другая еда не запомнилась.

Помню – вернее, никогда не забываю – свой единственный ночлег у них. Нам постелили в доме, но дом был еще не достроен. Стены стояли, и комнаты были уже намечены. Но пола и крыши еще не было. И, конечно, не было никакой мебели. В одной из комнат были сложены бревна или доски, не помню, что именно. Вот на них-то и уложили нас с Ленкой. И небо было над нами. Южное одесское летнее небо. Сначала я очень стеснялась, ведь я никогда не спала ни с кем на одной кровати, только с мамой или тетей. И я отодвигалась подальше, боясь случайно коснуться Ленки. А она совсем не стеснялась. Лежала на спине, согнув одну ногу, а другую забросив на нее, болтала этой второй ногой и говорила, говорила. Она всегда интересно рассказывала, а тут – под звездами, под бархатным небом – говорила особенно вдохновенно.

Я слушала ее голос, смотрела в звездное небо и постепенно перестала стесняться, а только слушала, слушала...

«Вот прочитала у Толстого о Болконском: когда мы совсем-совсем научимся любить всех людей, это будет означать, что наша земная жизнь осуществилась, состоялась, окончилась. Ей больше нечего делать и незачем быть. И, значит, мы – как земные, как человеки, – окончились, потому что осуществились, состоялись. Нам больше в таком виде незачем быть. И тогда, значит, наступит тот Конец, который равен Началу. Мы прекратимся как сегодняшние, как земные, как воплощенные. И начнется что-то совсем иное. Иная жизнь, или не жизнь, а что-то, что будет после всего, после осуществления. О чем мы здесь ничего не знаем, кроме того, что оно так прекрасно, что нам нельзя даже вообразить.»

«У Паустовского описывается, как гимназист, которого учитель обозвал болваном, дал ему за это пощечину, был исключен из гимназии с волчьим билетом, явился после исключения в класс, где находился его оскорбитель, напугал его браунингом, обозвал трусом и, выйдя из класса, застрелился.

В другом месте Паустовский говорит о том, как гимназисты приняли весть о смерти Льва Николаевича Толстого. Они заставили преподавателя закона Божьего почтить память Толстого вставанием. Он сделал это и сказал: ‘Вы заставили меня почтить память вероотступника, отлученного от Церкви. Я совершил преступление против своего сана. С этого дня я уже не преподаватель в вашем классе’.

А сейчас? Мы легко оскорбляем друг друга, и слово ‘болван’

давно не считается чем-то из ряда вон выходящим. Наши преподаватели изумились бы, если бы мы обиделись на оскорбление куда более грубое. А если бы кто-то из нас попытался покончить с собой из-за того, что его обозвал грубым словом учитель, то такого мальчишку свезли бы в сумасшедший дом и признали бы психически неполноценным...»

«Каждый день мы вынуждены лгать. Славить тех, кого славить считаем стыдом и позором, молча соглашаться с порочащими тех, кого мы почитаем гордостью нашей земли. И мы не только не стреляем в себя, но ни один из нас из-за этого особо не мучается. Что же будет, когда пройдет еще лет пятьдесят-сто?»

«А знаешь, я летала во сне! Какое это было упоение, какой восторг! Мне снился длинный прекрасный сон. Но весь он не вспоминается, только отрывками, и вот этот полет...

Я взлетела от переполненности счастьем, от ликующей радости. Не знаю почему, не знаю, чему я радовалась. Может быть тому, что во сне какой-то духовник беседовал со мной. Я помню, он беседовал со мной очень ласково и подарил мне нательный крест. И мы вышли все вместе на улицу. И тут я взлетела и стала летать над ними (знаешь, так летают от радости птицы в мультиках). И вот я летала, и кружилась, и радовалась. И, с одной стороны, я не очень хорошо умела управлять своим полетом, я еще не очень была уверена в себе, а с другой стороны, я очень радовалась: я ведь знала, помнила (и сейчас помню), что уже и раньше много раз летала так, но никто не видал, не знал, не мог объяснить мне, что это со мной происходит, а сейчас я летала при этом священнике, он видел, что это он обрадовал меня и заслал в полет. И вот он прокричал мне:

– Ты видишь, что ты летаешь?

– Да, а на самом деле?

– И ты действительно летаешь.

Вот что ответил он мне. И еще поучил немного, как нужно летать. Я летала, приземлялась и снова взлетала... И проснулась с ощущением великого праздника, светлого, тихого, большого и важного праздника. Дело не только в том счастье, какое дал мне этот полет (не очень высокий, я летала на уровне деревьев и, неопытная, опасалась подниматься выше домов). Дело не в том, что он был так зрим, так ощущаем, вплоть до каждого виражика, я еще помню, всё во мне помнит, что и как я чувствовала при подъемах, спусках, поворотах, при каждом изгибе летающего тела. Дело не только в этом. Я ведь точно помню, что летала уже и раньше. И тело мое помнит это блаженство и даже те же сомнения в умелости (я ведь «рулила» руками и всем телом своим). А в чем же дело? Ведь я помню, какое лико-

вание было во сне. Я проснулась от ликования. Но не удивилась, не разочаровалась, увидев свое тело на диване. Полет не прекратился, не исчез, не перестал существовать оттого, что тело лежало на диване. Только то мгновение перешло в тишайшее, светлейшее упоение полетом... и еще тем, что «показала» это человеку, которому доверяла, и он ответил: 'И ты действительно летаешь'. Когда я проснулась, мне казалось почему-то, что это очень важно, очень важно и хорошо. Что начинается что-то новое, важное и хорошее после этого сна, после того, что он так сказал. И мне не нужно больше мечтать о полетах и видеть во сне ту чудесную силу, которая держит в воздухе и не дает упасть нашему телу. Я знаю, что это за сила.»

Ленка, Ленка... Мы были правы с тобой: много рождений и жизней – не выдумка, не фантазия. Только всё это происходит не так, как нам казалось в школе. Помнишь, как мы думали? Мы думали: живет существо, умирает, снова рождается, снова умирает. А всё не так. Мы сразу живем много жизней. Вот иду я по улице... или нет, вот лежим мы на бревнышках в доме, где нет крыши и нет потолка, а есть темное небо и звезды... или нет, вот сидим мы в вагоне или стоим в храме, не отрывая глаз от глаз и рук из рук не выпуская, или бредем по влажной осенней тропинке, или летим в серебристом луче, и не между двумя мгновениями, а вне их, ведь интервала-то не было, а мы уже прожили еще одну жизнь или много жизней. И от каждой веточки-жизни тоже можно ответить жизнь — и так до бесконечности...

А совсем недавно, роаясь среди старых бумаг в поисках понадобившейся, я неожиданно для самой себя наткнулась на собственное письмо, видимо, написанное и не отправленное когда-то. Я не помню, как писала его, почему не отправила... Впрочем, у меня хранится много таких писем, написанных в разные времена разным людям, иногда живым, иногда уже мертвым... А в этом письме – не помню когда, не помню по какому поводу, – я писала:

Ленка, милая Ленка!

Я знаю, знаю, что ушла в прошлое вместе со всей Одессой, знаю, что тебе всё это не нужно, как старое платье, из которого ты давно выросла. Но мне очень, очень, очень хочется сказать тебе свое люблю. Потому что я очень тебя люблю, очень люблю тебя, понимаешь? Это, собственно говоря, всё, что я хотела сказать – люблю.

Прошло уже больше трех лет с тех пор, как мы дружили с тобой в Одессе. За эти три года я видела тебя двенадцать раз. Знаю, что за эти три года ты ушла далеко от меня. Да и я ушла в другую сторону. Знаю, что будь ты сейчас где-нибудь рядом, всё

равно из нас не вышло бы, наверное, «подружек». У каждой сейчас есть свое, каждая любит кого-то или что-то. А все-таки я тебя очень люблю, до спазмов прямо. Потому что, если ты выросла из одесского платья, то мне Ленкины одежки вечно любви и вечно милы. И ты, такая давняя, прошлая и далекая, никогда не станешь для меня прошлым. Ты всегда останешься моей вспышкой, самой яркой мечтой. Я ведь боготворила тебя чуточку. Может быть, потому что маленькая была. Но я, видимо, и осталась маленькой, потому что и сейчас, когда ты далеко и чужая, я купаюсь в тебе, в твоей ласке, которую беру безо всякого твоего желания отдавать ее мне. Но я не краду ее, ни у кого не отнимаю. Я держу свою Ленку, ласкаю свою Ленку, глажу Ленкину головку-соломку. Что? Черная? Ну и что же? Все равно она моя – Ленкина головка, и Ленкины глазки тоже мои. И смейся, пожалуйста, смейся, сколько хочешь. И пусть все смеются, если им угодно, мне это безразлично, потому что я всё равно кутаюсь в тебя, и ты со мной, хочешь ты этого или нет.

Видишь ли, я живу в Одессе. Одесса – не просто город. Она и болото, и захолустье, как многие говорят о ней. В ней нечего делать взрослым умным и талантливым людям. И взрослые умные и талантливые люди покидают свою Одессу. Всё это правда. Но прежде, чем покинуть, они выпивают ее. О нет, они никогда не выпьют ее до конца: она беспредельна, моя Одесса. Но каждый пьет ее, если только умеет. Ведь она – самое пьянящее, самое весеннее вино! Она – море, Грин, сказка, мечта. Она – весна самая ранняя, зеленая, молодая. В ней деревья поют песни, дома рассказывают легенды, камни на мостовых улыбаются от счастья. В ней каждый каштан – романтика. И это она не дает мне забыть тебя. Потому что ты тоже – Одесса. И потому что цвета Одессы – зеленый, голубой, розовый, белый, – какой угодно, но только не серый. И главное, ты тоже напилась Одессы, а значит, она в тебе и во мне, понимаешь?

Ленка, если хочешь смяться надо мной, Бог с тобой. Какая мне разница! Но ты знай, что тебя в Одессе любят очень сильно, очень сильно ждут и крепко скупают. И знай, что ты оттуда, из шумящей Москвы, греешь меня, согреваешь, окутываешь своим теплом, ласковым и ярким. Вот и всё. До свидания. Я.

УЧИТЕЛЬ

Долго-долго стояла я у Дерева своего, пока не почувствовала обычного сердцбиения, горьковатого привкуса во рту и запаха коры. А почувствовав, открыла глаза и... Мир изменился, как это бывало и раньше, если Дерево принимало меня.

Это не потому, что я вышла в иной мир из мира, в котором живу, — это иной мир вошел в меня, в мой привычный мир, и соединился с ним на время. То, что я вижу, — не иной мир. И не мой обычный. То, что я вижу, — слияние этих двух миров, их воссоединение.

Эта радостная догадка связана с предчувствием иных, не менее важных догадок, вытекающих из нее и подтверждающих ее достоверность. Ну например: может быть, это слияние двух — или множеств миров существует всегда? И только наша плотность мешает нам увидеть его...

...Медленно пошла я по тропинке, медленно-медленно — по вязкому воздуху, по звенящей тишине, по светляющему небу и белеющим облакам. Медленно-медленно подошла я к зеленой скамейке и села на нее. Передо мной стоял дуб, за мной — тополь. И была во мне какая-то тягучая протяжность, безмолвие и ожидание. «А почему скамейка — зеленая? — успела подумать, — ведь они же синие все...» Стало нежно и сонно. И, уже почти засыная, бормотала и бормотала какие-то сами собой возникающие слова: «Ну синяя, ну зеленая, — какая, собственно говоря, разница...»

...Зеленая скамейка стояла в зарослях кустов. Кусты зеленели так густо, что едва заметной тропинки к этой скамейке можно было и не разглядеть. Кусты создавали как бы комнату, а в центре ее стояла зеленая скамейка.

Мы сидели вчетвером. Поэт, жена Поэта и мы с Учителем. Было спокойно и тихо. Далеко внизу плескались волны. Зеленые склоны покрылись желтыми цветами и превратились в желто-зеленый ковер с дурманящим резким запахом, но до нас он доходил уже ослабевшим, рассеявшимся по воздуху. Поэт читал стихи. Не свои.

*...И было темно. И это был пруд
И волны. — И птиц из породы люблю вас,
Казалось, скорей умертвят, чем умрут
Крикливые, черные, крепкие клювы*.*

Мы молчали. Мы слушали. Ждали. Тихо заговорил Учитель. Он говорил не о любви. И не о поэзии говорил он. Он говорил о великой тоске и великой тяге. О том, как можно прожить целую жизнь, а потом понять, что прожил не свою. Не там, не тогда и не с теми. И делал не то. И не то говорил. И не то думал. И неизвестно, кто

* Пастернак, Борис. Импровизация / Собрание сочинений в пяти томах. Т. 1. — Москва: Художественная литература, 1989.

виноват в этом. И какая разница, кто виноват, если исправлять поздно. Но поздно ли? Ведь бывает, что и в последнюю минуту можно сменить молитву всей жизни своей...

Никто не отвечал ему. Никто не знал, что ему ответить.

Потом Поэт снова начал читать стихи. И опять не свои. Он произносил слова задумчиво и негромко, как для самого себя:

*Нет, не я вам печаль причинил.
Я не стоил забвения родины.
Это солнце горело на каплях чернил,
Как в кистях запыленной смородины...**

Я встаю со скамейки и медленно ухожу. Оставляю их там. Поэта. Жену поэта. Учителя. Я удаляюсь от них. И с каждым шагом мне всё виднее то, что для них там, на зеленой скамейке, – еще только будущее. Но здесь, на моей синей, всё уже в прошлом... И уже знаю я, что тогда ожидало каждого из нас четверых. Вот я вернулась туда, но изменить ничего не могу. А хочу ли? А нужно ли? Я иду к Дереву, но останавливаюсь и оглядываюсь.

Они по-прежнему сидят втроем на зеленой скамейке. Мужчины курят. Поэт произносит негромко:

– И вы могли бы сейчас изменить молитву всей своей жизни?

– Может быть и мог бы, потому что мне кажется, что вижу свой свет впереди. Но для этого я должен сломать всё вокруг себя. А разве можно построить свое счастье на чужом несчастье?..

Я знаю сейчас, что он так и не изменил свою молитву. И не построил себе ничего. И диссертацию свою не дописал, зато завершил две-три чужие, которые их «авторы» успешно защитили. И с возлюбленной не соединился, даже не сказал ей о своей любви. И на Святую землю не уехал, хотя мечтал об этом еще тогда, когда никто и подумать не мог, что это будет возможно.

Я сижу на своей синей скамейке и смотрю на них. Смотрю на них и вспоминаю. Как было нам всем обидно за него тогда, как уговаривала его сестра Долли: «Да брось ты ее, наконец! Что ты всю жизнь с ней мучаешься! Разведись. И пусть едет в свою Америку, а мы все вместе – в Израиль».

А он отвечал мягко: «Ну куда ж она без меня? Как оставить ее, она ж как ребенок. Пропадет одна». А потом вдруг стал угасать. Не от тоски, от рака. И умер, оставив ее без себя.

* Пастернак, Борис. Послесловие / Избранное. – Москва: Эксмо, 2002.

Поначалу она часто звонила мне и жаловалась на одиночество. Но месяца через два позвонила радостная, сказала, что начала учиться играть на гитаре, и это ей очень нравится. Еще через месяц-другой сообщила, что счастлива, потому что нашла себе настоящего друга, и они сейчас живут вместе. Он и ремонт в квартире сделает, и избавиться от книг поможет, потому что книги захватили чуть не всю квартиру, дышать нечем. Потом звонить перестала.

А еще через несколько месяцев позвонила печальная, сказала, что новый муж ее уезжает в Америку с детьми и внуками. Но она не будет здесь долго одна, тоже уедет в Америку к сыну. И спросила, не хочу ли я взять какие-то книги из библиотеки Учителя.

Конечно, я хотела. Знала, что художественных у него немного, но были там разрозненные тома из собрания сочинений Льва Толстого. Как раз нужные мне: не «Война и мир» и «Воскресение», которые и так у меня были, а религиозные и публицистические произведения, дневники. В любом случае мне хотелось взять какие-то книги на память, не дать им пропасть. Потому что знала уже, что профессиональную библиотеку по лингвистике, которую Учитель собирал всю жизнь, она сдала на макулатуру по 6 или по 7 копеек за килограмм, точно не помню.

Мы сидели за столом в их квартире, где я бывала почти каждый день, когда он болел, и что-то в ней изменилось, но я не могла понять, что именно. Вроде всё то же. Только книг стало гораздо меньше. И не валяются они, как раньше, повсюду, а стоят аккуратно на книжных полках. Картины и репродукции тоже исчезли. И альбомов нет, вот тут они лежали стопочкой...

«Здесь всё дышит им, – заговорила вдруг вдова, – я просто не представляю, как я уеду и буду жить без этого.» И обвела рукой квартиру.

«Значит, она все-таки любила его? – подумала я. – Вот ведь хоть и не сразу, но почувствовала утрату.»

«Каждый уголок им дышит, – продолжала вдова, – вот, посмотри-те. Здесь он починил замок, а вот это перекрасил, и сразу стало красивее. Здесь он лежал, отдыхал, смотрел телевизор... Подумать только! Мы так хорошо прожили этот год, мы даже ни разу не поссорились. И вот он бросает меня и уезжает со своими детьми и внуками...»

Она поплакала немножко и стала отдавать мне книги. Я спросила, сколько должна заплатить ей. На ее лице была видна внутренняя борьба. Я ее понимала. С одной стороны, ей хотелось «отблагодарить» меня за то, что я помогала ей ухаживать за умирающим мужем. С другой стороны, хотелось взять денег побольше.

Поколебавшись, она назвала цену. Немножко выше той номи-

нальной, которую в свое время заплатил Учитель, но не очень высокую по сравнению с рыночной.

Вскоре она уехала в Америку, и я о ней больше не слышала.

«Вот и правду говорят, – твердила я тогда самой себе, – что жертва – это ‘сапоги всмятку’. Зачем он всю жизнь боялся оставить ее? Вот оставил, когда в смерть ушел, а она лишь тогда и стала жить, как хотела. Может быть, уйди он раньше, она была бы только счастливее...»

Сейчас, на своей синей скамейке, я пытаюсь представить себе иную судьбу Учителя. Радостную, без тоски, без несущественной тяги.

Вот он сидит целыми днями в библиотеке, занимаясь своей темой. Диссертация продвигается успешно. Профессор хвалит его. Правда, очень огорчается Г. В., которая не может без его помощи разобраться в своей работе. Правда, Т. Б. говорит, что он перестал вести группу по разработке алгоритма, а это стопорит весь большой проект... Ну и что? Зато он защитится скоро. И укрепит свое положение.

Вот он стучит кулаком по столу, как это делают мужчины. Говорит спокойно и уверенно: «Езжай в богатую Америку без меня. Моисей 40 лет водил евреев по пустыне, чтобы свободными вошли они в Святую землю. При чем тут Америка, я спрашиваю?! Я – еврей. Мое место в Израиле».

И что же? А ничего. Поплакала жена и уехала в Балтимор к сыну. А Учитель, уже свободный, пошел на Привоз, купил букет цветов и отправился к своей возлюбленной...

Ой, да что это я? Да разве это мог быть Учитель? Это был бы кто-то совсем другой...

«Жертва – сапоги всмятку.» Счастья на чужом несчастье не построишь... Стоило или не стоило мучиться со своей женой всю жизнь, если она смогла стать счастливой, только оставшись без него? Стоило или не стоило писать чужие диссертации, не заботясь о собственной? Стоило или не стоило?

Ах, да при чем тут это? Если бы и тысячу раз не стоило, он всё равно мог поступить так и только так. Потому что это и была его песня, молитва его жизни. И свет, который, как ему казалось, он видел впереди, на самом деле в нем самом сиял и лучился...

Я смотрю со своей синей скамейки, из XXI века, на его зеленую в Одессе 1976-го, когда жить ему оставалось шесть лет, смотрю и радуюсь: вот же он какой! Ни капельки себе не изменивший. И молитвы своей не предавший. И не загасивший свой свет.

Почему его так любили студенты? Маленький, лысый, смешной, некрасивый, но добрый и мудрый, он быстро стал нашим любимцем

еще и потому, что был со всеми на дружеской ноге. Знаете этот феномен, когда каждому ученику кажется, что учитель любит его больше всех остальных? Это происходит тогда, когда глаза и сердце учителя видят перед собой не класс, не аудиторию, не группу, а каждого отдельно – большого или маленького человека, сидящего перед ним. И с каждым отдельно завязывается у него ниточка.

Учитель вел у нас теоретическую грамматику. Предмет этот, наряду с историей языка, считался одним из самых сложных и самых скучных. Но он умудрился сделать лекции интересными, а меня в свой «скучный» предмет влюбить. Влюбил и стал требовать, чтобы я начала какую-то научную студенческую работу. На том и подружались. А когда в университет приехал из Ленинграда профессор Андреев и рассказал о своем детище СКМ*, я сама стала просить Учителя, чтобы он разыскал обещанный Андреевым семинар. Разыскал. Так мы стали еще и коллегами.

Сначала я слушала то, что он говорил, и всё мне казалось правильным и прекрасным. Казалось, что мы во всем, или в самом главном, стоим на близких позициях. Мы беседовали о нашей стране, к которой относились одинаково – или почти одинаково – с горечью и любовью; о революциях и террорах, об истории и религии... о чем только не беседовали мы... Никогда он не поучал меня. Но как-то так получалось, что всё время он «давал мне уроки», учил чему-нибудь. Как, например, в истории с подарком. Он подарил мне «Евангелие». Это было первое «Евангелие» в моей жизни, я впервые открывала его для себя. А летом ко мне приехала подруга. Я искала для нее подарок и готова была отдать ей любую свою книгу, но знала, что больше всего она бы обрадовалась «Евангелию». Отдавать свое я не хотела, а купить его в нашей стране было тогда невозможно.

– Подари ей его, – сказал Учитель.

– Но как же я с ним расстанусь? Мне жалко.

– Какой смысл дарить то, с чем не жалко расстаться?

А потом мне показалось, что он хоть и хороший человек, но в чем-то чужой. И я спорила с ним, потому что он проповедовал ненависть – ненависть ко злу, конечно. Я кричала, что ненависть разрушает, а созидает только любовь. Но он не верил в любовь. Он говорил, что любви нет, ее никто никогда не видел, никто никогда не знал. И в запальчивости мы орали друг другу глупости и несправедливости. Он стоял на своем: всё, что создано людьми, создано ими не по

* Статистико-комбинаторное моделирование, особый метод исследования языков, предложенный проф. Н. Д. Андреевым. См.: «Статистико-комбинаторное моделирование языков». Сб. статей / Под ред. Н. Д. Андреева. – Л: Наука, 1965.

любви (для него абстрактной), а из ненависти к тому, что есть, к тому, чего не должно быть. И каким в эти минуты казался мне чужим этот хороший, честный, ни в чем не повинный человек!

Человек, которого никто никогда не любил по-настоящему, разве что в детстве мама с папой. Он был недолюблен, хотя всю жизнь оставался любимцем многих. Но той единственной любви, когда для любящего ты – весь мир, он не знал. Потому и не верил в нее, что не видел никогда. Но не озлобился, сохранил доброту, доброжелательность, мягкость.

Мне бы понять всё это тогда, а я не смогла. И «отпустила» его, не заметила, что как-то слишком долго он не появляется на моем горизонте. Когда позвонила его жена и сказала, что он очень болен, я не удивилась, но сразу поняла, что дело плохо.

Как я мучилась тогда угрызениями совести, что обижала его своей холодностью, что кричала на него и внутренне досадовала, если он приходил в то время, когда я ждала какого-то важного для меня звонка, будто он мог догадаться об этом. А теперь он болен, лежит в больнице. Я еще не знаю, что с ним, но опасаясь худшего. И уже неважно всё то, что разделяло, а важно, что он хороший, добрый, честный человек, что он в опасности.

Как страшно. Как страшно жить на этой планете среди чужих существ, которые чувствуют себя хозяевами, «имеющими право». Почему-то они не только злобные и жадные, но еще и враждебные даже по отношению друг к другу, а тем более к чужакам. Что мы им сделали, что они так злобствуют?

А небольшая горсточка хоть чуточку родственных людей рассыпана, разбросана, не может помочь друг другу. Кажется, если бы они были рядом, то уж теснее тесного. Так нет же, они не думают о том, что их роднит, а думают о том, что их разделяет – и еще острее чувствуют свое сиротство. Потом вдруг судьба разрывает их смертями, отъездами, мало ли чем. И тогда оказывается, что всё можно простить, был бы рядом, был бы жив. Только поздно...

Как же нужно, нужно, нужно, чтобы он был жив! Потому что пусть мы даже по-разному думаем о главном, но ведь он не подведет, не предаст, не окажется среди злобствующих хозяев жизни. И уже по одному этому он – родственник и брат. Я не могу ни о чем думать, пока не прояснится, не выяснится, что же там с ним происходит, будет ли он жить на этой земле. На этой чужой, чуждой, враждебной планете, которая так любит мрак и так не любит света, так любит устраивать одну жизнь за счет другой, а устроив, фарисейски внушать живым, что это плохо, и стыдно, но не говорит, не подсказывает, как жить иначе...

Как сразу сместились все акценты! Неважное стало совсем крохотным, даже странно, что можно было уделять ему внимание. Важное стало не то чтобы еще важнее и главнее, а больше, величественнее, масштабней, бесконечней. Эпичность? Эпичность за счет смерти. Смерти друга. Смерти дорогого человека. Хорошего, доброго, благородного, честного. Смерти – и всего того, через что он к ней пойдет. Ведь он пойдет один. Мы не можем идти с ним. Мы не можем идти с ним, чтобы ему было не так страшно. Мы всё равно вынуждены будем покинуть его, оставить его одного наедине с тем огромным и ужасным, что его ждет... Как же мы можем бросить его? Что делать, чтобы не бросать? Любить? Я люблю. Но моя любовь его не спасет.

«Господи, – молилась я в те страшные дни, – я не ропщу против воли Твоей. И сейчас даже больше, чем обычно, предаюсь Тебе. Принимать Твою волю... что это значит сегодня? Как смириться с не моими страданиями, принимать не свою смерть? Ведь это не я, это Учитель должен принять ее сейчас и смириться с нею. Помоги ему, сотвори с ним чудо, пожалей его, Господи, пожалей.

Я не знаю, как молиться. Да будет воля Твоя – да, да, пусть будет по Твоей воле, но помоги ему, сжался над ним, подари ему жизнь, я не знаю, за что, просто так, подари, Господи, пожалуйста!

Почему Ты сделал нас такими беспомощными? Почему Ты не позволяешь нам помогать друг другу? Почему в самый свой час, в самый страшный свой час человек должен остаться один, без друзей, без любящих? Почему между ним, умирающим, и нами, еще живыми пока, сразу возносится стена? Зачем это, Господи? Чтобы человек оказался лицом к лицу с Вечностью, с Тобой? Чтобы он подготовился, да? Да? А как же остальные? Как же мы, живые? Ведь Ты же сам учишь нас, что надо помогать друг другу. И вот оказывается, что помогать мы можем только в малом, в пустяках, в мелочах. А когда становится *так* плохо, то сразу – стена и беспомощность.

Сколько человек умерло от рака... Как только произносился разговор – все не хотели, не соглашались, всем было страшно, все надеялись и просили о чуде. Им же не помогло! Какое право мы имеем просить? А как можно не просить?.. Господи! Помоги услышать волю Твою и суметь принять ее. Помоги, мы не сможем сами...

Пусть моя любовь к Учителю поможет ему. Благослови меня спасти его. И если я не могу спасти, благослови разделить с ним его судьбу...»

Учитель умирал долго, очень долго и очень мучительно. Он прошел через тяжелую и бесполезную операцию, о которой хирург сразу говорил, что поздно, что оперировать не надо. Настояла жена. Я судила ее. За то, что требовала операцию. За то, что плохо ухаживала, за

то, что жалела себя, а не его. Но я была неправа. Просто к тому времени, когда для меня весь этот ужас только начинался и было еще много свежих сил и свежего сочувствия, она уже устала и сдалась...

Нет, я не отказалась от своей жизни (этого никто и не требовал), не отказалась от самого важного в ней для меня (и этого никто от меня не требовал). Но каждый день я ходила к Учителю и ухаживала за ним. Я звонила человеку, свидания с которым пропускала. Просила потерпеть, подождать, как если бы я была в командировке. Он понимал, но страдал от невозможности нашего общения и даже возревновал к больному. Однажды он закричал в трубку отчаянно: «Я был бы счастлив быть на его месте! Но я умру в одночасье!»

Время от времени я писала ему из больницы:

«Ты не понял, дружок. У постели Учителя надо сидеть не для того, чтобы общаться с ним, а для того, чтобы его обслуживать. Он может поворачиваться с боку на бок. Больше пока ничего. Он не может ни встать, ни сесть. Не может есть и пить без посторонней помощи. Не может взять себе питье или еду. Он ничего не может. С ним надо сидеть. Надо разговаривать. Надо делать для него простые и не всегда приятные вещи. Кормить его из ложечки. Держать его голову, пока он пьет из стакана. И этот стакан нужно держать тоже. Разминать ему руки и ноги. Растирать спину. Обмывать его тело влажной теплой тряпочкой. Помогать ему поворачиваться. Укладывать его на резиновый круг, чтобы не появились новые пролежни. Всё это входит в круг моих обязанностей, когда я дежурю. Еще нужно смазывать раны – пролежни – мазью. А кроме того, беседовать с ним, шутить, отвлекать, развлекать или просто быть рядом, когда он спит, и дожидаться, пока что-то потребуется. Еще нужно следить за капельницей, когда ему делают вливание крови, глюкозы или плазмы. И вовремя позвать сестру, чтобы сменить бутылки или отключить систему. Всё это я делаю впервые и не слишком умело».

«Все зависит сейчас от Учителя. Когда ему становится чуточку получше, во мне оживают надежды, и сама я оживаю, хоть и понимаю, что это не выздоровление, а просто кратенькое просветление. Но когда состояние его ухудшается, когда он только стонет и мучается, горит его тело, уходит всё, кроме страха, тогда и во мне всё – страх и отчаянье, и жалость, и невозможность поверить, отдать его смерти.»

«Вчера, в воскресенье, был у меня срыв. Еще в субботу вечером ему стало хуже. И на меня нахлынуло отчаянье и затопило меня. Тем более что я осознавала свою вину. Потому что, если все те дни энергия была сконцентрирована у меня в пучке и направлена на него, если я каждую минуту знала, что держу изо всех сил его дрожащую ниточ-

ку и чувствовала, что и во мне всё дрожит от напряжения, так крепко я держала ее, то потом я разом расслабилась. Сил у моей души не хватило, что ли. Только я сама знала, что сила напряжения моего постепенно ослабла, я испугалась, но ничего не могла сделать. И сразу – ухудшение. В воскресенье я дошла, кажется, до предела отчаянья. В первой половине дня мы были в больнице, хлопотали, со мной была Б. Л. (жена), и я держалась. А всё остальное время только плакала, спала, тосковала и мучилась – поочередно и всё сразу. Сегодня ему чуточку лучше. Так сказала Б. Л. Я не очень ей верю, но проблеск надежды загорелся сразу, ему же много не надо...»

Это был раковый корпус Одесского онкологического диспансера. Это было страшно и безнадежно.

«Господи, Господи! Помоги Мише! Помоги Мише. Помоги Учителю. Помоги Абраму Михайловичу. Помоги Федору Григорьевичу. Помоги им всем в этой палате, во всех этих палатах. Помоги им всем, больным и страждущим в этой больнице, во всех больницах. Помоги всем, во всех уголках нашей земли и во всех землях, где есть существа, которые мучаются и страдают. Помоги всем, Господи!

Господи, как мне жалко этих больных! Как мне жалко всех людей на свете! Всем больно, всем плохо. Не мое дело судить, за что и почему они мучаются. Когда я вижу, как им плохо и больно, могу ли я рассуждать, за что им эта боль. Я могу только любить их, могу только до разрывания сердца жалеть их, могу только быть с ними, улыбаться, держать за руку. И молиться. Так, чтобы Ты слышал, Господи, а они не слышали.»

Это тогда, в один из тех дней, я взмолилась отчаянной и, может быть, кощунственной молитвой: «Господи, пусть это будет и со мной. Если они так мучаются и умирают в муках, а я ничем не могу им помочь, я хочу разделить это с ними».

Этой молитвой я молилась, когда мне показалось, что Миша, один из больных, может умереть от перитонита, не дождавшись следующего восхода солнца. Я молилась и просила, просила, просила о помощи Мише, всем Мишам, всем маленьким, страждущим, немощным, страдающим Мишам. Потом вспомнила, что две недели назад уже молилась такой же молитвой – и так же горячо. Только тогда эта молитва начиналась «Господи, помоги Федору Григорьевичу», потому что тогда другой больной, Федор Григорьевич, был где-то на грани, и мы не знали, чем кончится для него день, а всё остальное было такое же. Точно так виделись мне бесчисленные страдающие, стонущие, и всех я любила остротой жалостью. И я поняла тогда кое-что о любви ко всем людям.

Нет, неправда, не поняла ничего. Но в самые страшные мгновения, в самые критичные мгновения, когда одному человеку так больно, так плохо и страшно, в самые особые моменты жалость захлестывает тебя так, что ты не понимаешь, а ощущаешь, что не этому одному, а всем так же больно, страшно, плохо, одиноко. И ты жалеешь всех через этого одного. И любишь всех сильно-сильно – до желания умереть за них. И тебе всё равно, хорошие они или плохие, потому что все они для тебя в это мгновение страдающие. А любовь твоя – жалость, но такая большая, такая острая! И любовь эта ко всем в те минуты не абстрактная, не пассивная, не спокойная. Не знаю, похожа ли она на любовь отшельников. Думаю, что нет. Но она очень энергичная и сильная, очень жаждущая действия (молитвой, или лекарством, или и тем, и другим). И «все» – не абстракция. Потому что *все* в эти минуты – это много страдающих конкретных людей. Это бесконечный ряд стонущих Абрамов Михайловичей, или Миш, или Федоров Григорьевичей, или тех седых женщин, которые гуляют пока по коридору больницы, дожидаясь операции...

А потом это отступает, утихает. Душа не выдерживает такого напряжения. И опять я, как раньше, не могу понять, что значит «люблю всех», как это возможно, и не означает ли это «никого не люблю»...

Люблю всех – это очень-очень жалею всех. Люблю всех – это так люблю и жалею одного, так понимаю, что он – каждый, что люблю каждого. А «каждого» и «всех» – это уже из одной области.

Не всегда это одинаково. И в обычном своем состоянии я не могу, не умею так. Это бывает только в моменты каких-то немислимых, невероятных по напряжению взлетов души. Но, может быть, старец Силуан именно так любил всех и молился за всех не в особые минуты, а в обычной своей жизни?..

Как сочетается это всё? Как сочетается это радостное весеннее солнце, праздничные цветы, птичий щебет, голубое небо – жизнь, радость, ликующая молитва – с существующими в то же время, в то же самое время страхом, кровью, гноем, беспомощностью и безнадежностью, стонами больных и слезами родственников в больничных палатах с их специфическим запахом? Там, где тяжело больные люди, запах ужасный. А еще есть запах тюремных камер. Запах голода, и грязи, и смерти, и убийства, и преступлений, и несправедливости, и... Господи, как это сочетается? Как вместить это в себе? Как вместить это в себе одновременно?!

Любить тех, кому плохо, – а плохо всем. Любить тех, кому это нужно, а нужно это всем. Жалеть всех. Как всё это ясно в моменты молитвы! А потом? А потом я узнаю, что жена Учителя съела его зав-

трак, который мы ему принесли. Съела, хотя у него не было другого, и он болен, а она здорова, позавтракала в столовой и может купить себе много еды в буфете. И я понимаю, что нельзя ее судить за это, что она не со зла, что она, наверное, свихнулась немножко, и надо ее жалеть. Но как при этом любить одновременно и ее, и его? Что-то внутри меня даже это знает. Но что-то другое во мне знает, что надо оберегать его, защищать его от нее, хотя она не враждебна ему. И снова я начинаю делить людей на «хороших» и «плохих», а любить всех можно, когда они не «хорошие» и «плохие», а *страждущие*...

Ты был мудрее меня. Ты понимал, что спасти Учителя уже невозможно и призывал меня не пытаться разделить его судьбу. Ты говорил мне тогда: «Дай Бог, чтоб твоя любовь к нему оказалась сильнее этой уводящей силы, чтоб она помогла тебе перевести его за эту разделяющую черту, осветить его последние дни». Может быть, так оно в какой-то мере и получилось. Может быть, для умирающего Учителя я была тем, чем были Герасим и сынишка Вася для Ивана Ильича у Толстого. Не знаю, так ли это, но если так – это очень хорошо. Для него хорошо, потому что ему было от этого легче. И для меня хорошо: это большое счастье, когда тебе выпадает такое...

Не знаю, о чем спрашивал Учитель мысленно Бога, жаловался ли на свою участь. Вслух – никогда. Он вел себя как мужественный человек. Услуги и уход за собой принимал и стеснялся сначала, но это же так понятно. Старался лишним не напрягать, утешений не требовал. И даже сам порой становился для нас утешителем.

Он хотел жить, хотел. И ни разу не заговорил о своей жизни как о «бессмысленной и гадкой». Он не жалел, что прожил ее так, а не иначе. Нет, не жалел. И не сказал бы о ней, как Иван Ильич сказал о своей: «Всё было не то». Он не плакал и не кричал: «Не хочу!». И лицо его было измучено болью, но не «нравственными муками», как в повести Льва Толстого.

Он умирал мучительно, но тихо. Очень старался помочь нам проводить его. А когда умер, лицо его изменилось, стало светлым и умиротворенным. Видел ли он перед смертью Свет? Не знаю. Понял ли он, как Иван Ильич, как Болконский, что смерти нет, что смерть – пробуждение? И этого я не знаю. Но взглянув на его лицо после смерти, я сказала: «Ему сейчас хорошо».

Свой последний урок Учитель послал мне уже *оттуда*. Мы ходили к нему на кладбище на «открытие памятника». Все стояли и о чем-то говорили, а мы с ним смотрели друг на друга через ограду могилы. Фотография очень плохая, но глаза на ней – его: живые, большие, мудрые и серьезные глаза веселого и доброго человека,

способного многое понять. Он смотрел на меня, и вдруг глаза его заулыбались, засмеялись. Они изменились, честное слово, стали веселые, даже озорные, даже лукавые чуть-чуть, будто он хотел подмигнуть мне. Вот тогда-то он и шепнул мне что-то очень хорошее и радостное. И я тоже сразу стала радостная, потому что услышала то, что он шепнул мне. Я не знаю, как передать это словами. Может быть, «умирать тяжело, умереть – прекрасно»? Это звучит кощунственно, и все-таки я поняла, что ему теперь хорошо, что он – счастливый и радостный, совсем не такой, каким был, когда мучился от болезни. И это хорошо, что он *там*. Мне тоже стало светло и радостно. Но ведь ужасно так думать, получается – «хорошо, что умер»? А я знала, что не ужасно. И Учитель знал, что не ужасно, а наоборот, хорошо, светло и радостно, и религиозно празднично. Но рассказать про это словами нельзя.

И я помолилась возле могилы Учителя, и мне показалось, что это мы с ним вместе молимся:

«Господи – беззвучно шептала я, – я знаю, что просить сейчас можно об одном: *сохрани Небо*. Я знаю, что если будет Небо, то будет и всё, о чем можно и хочется просить, на что можно и хочется надеяться. Будет Небо – будет всё хорошо, и все хороши, и всем хорошо. Будет Небо – будет возможность и умение обнять всё и всех, неся всем любовь и радость и никому – темноту, тяжесть и боль.

Может быть, об этом нельзя просить, потому что мы сами должны пронести Небо, сами должны помочь Тебе сохранять Небо. Мы понесем сами, Господи, мы не испугались, но без Тебя нам не удержать Его. Пожалуйста, помоги нам сохранять и держать Небо, помоги нам помогать Тебе».

...Я поняла, что раньше путала две вещи: Свет и радость. Поняла это, потому что в тот момент, помолвившись на кладбище вместе с Учителем, я обнаружила в себе Свет, но очень печальный. Печальный Свет – это всё равно Свет, как и тихий Свет, как и радостный Свет. Я радовалась тому, что Свет пришел ко мне, хоть и окрашенный в грустные тона. А дальше я долго молчала. И Учитель молчал тоже. И никто не торопил нас. Мне очень хотелось, чтобы этот тихий Свет бесконечного лился в нас обоих, переходя в полет и паренье. Потому, наверное, Небо сжалилось над нами и запело свои небесные песни. И как хорошо, как светло, как высоко это было. Такая тишина и такое молчанье! Так надмирно-небесно, будто попала и я в те выси, в тот горный воздух, где пребывал Учитель.

Как рождается этот Свет посреди всего страшного и трагичного? Как рождается тишина?

Когда я всем существом своим знаю, как я счастлива, когда в ответ на вопросы людей, счастлива ли я, отвечаю: «Да, очень, очень», — я не могу объяснить им, почему я счастлива. И ведь так хорошо понимаю тех, кто говорит: «Стыдно быть счастливым». Стыдно, конечно, стыдно быть счастливым посреди горя, страданий, несправедливостей, пороков. Но и несчастливым быть стыдно. Это легко объяснить. Я не могу быть несчастливой, потому что есть Бог. И я люблю Его. Повторяю: потому что есть Бог. И раз есть Бог, то стыдно быть несчастливым. Невозможно быть несчастливым. Но как рассказать об этом? И получается тайна...

«Господи! Благодарю Тебя за то, что дал мне узнать о Тебе в этом страшном мире, где не знают Тебя, смеются над Тобой и теми, кто любит Тебя. Позволь мне быть орудием Твоим, сделай меня мостиком между Тобой и людьми. И спасибо, спасибо за милость Твою, за Твою любовь, Господи.»

А помолившись, я пошла к маме и папе. Они на том же кладбище похоронены. И там опять чему-то хорошему научилась. Над их могилой стоит большое вишневое дерево. И мама с папой лежат как будто под воздушным зеленым зонтиком. Потому там всегда покой и тишина. И то, чему учили меня тогда мама и папа, было другим, следующим уроком. Ведь Учитель все-таки был еще немножко здесь, и радость его была земная чуточку, а глаза его искрились совсем здешним лукавством, хоть и светлым очень. А у мамы с папой — покой уже нездешний. Но об этом совсем нельзя говорить...

ВОЛОДЯ

Хорошо помню, как увидела его в первый раз. Это было на занятиях драмкружка, куда я пришла провести Валентину Семеновну. Сидел ребенок, очень живой, очень симпатичный, готовый в любую минуту засмеяться беззаботно и радостно. Я смотрела на него и думала: «Девочка или мальчик? То ли мальчик с длинными волосами, то ли девочка, подстриженная под мальчика». Дитя улыбнулось, и я решила: «Нет, девочка, конечно, девочка». И в это время Валентина Семеновна сказала: «А это наш Вовочка приехал».

Вот так это всё начиналось в Одессе. Для меня, по крайней мере. Мы с Володией многое запомнили по-разному. Годы прошли, да и видели мы всё это с разных сторон. Валентина Семеновна рассказала мне, что приехал Володя к отцу, но тот его не принял, сыном не признал и отвел в милицию. А уже оттуда его привели к ней, так сказать, «на опознание». Она его опознала, конечно, и вот теперь решал-

ся вопрос, что же с ним делать. Оставить в Одессе? Но тогда надо, чтобы кто-то его усыновил, а мать лишили материнских прав. Отправить к матери? – А вот я расскажу вам, как она посылала мальчика в Одессу. За достоверность не ручаюсь, но историю эту помню по рассказам с тех самых пор.

Вовочка был, наверное, не самым легким ребенком. Своенравным, непослушным, озорным и баловным, хотя и не избалованным. И еще он очень любил лимонад. Однажды мама купила пару бутылок лимонада и поставила в холодильник. А Вовочка потихоньку отпивал и отпивал сладенькую водичку, а потом аккуратно закрывал бутылку крышечкой. И когда мама захотела попить... ну сами понимаете. И это, видимо, стало последней каплей в ее возмущении сыном. Она купила ему билет в Одессу и сказала, что в Москве будет пересадка. Так пусть он подойдет к какой-нибудь тетеньке, чтобы думали, что он с ней. В Москве его, разумеется, задержали, потому что не может такой маленький мальчик лететь один, да еще с пересадкой. Так он попал в детприемник. Это был заменитый Даниловский детприемник, расположенный в Даниловском монастыре. В свое время его называли детским ГУЛАГом, через него прошли тысячи мальчиков и девочек – беспризорников и детей репрессированных. Порядки там были вполне тюремные. К счастью, Вовочка этого тогда не знал и на себе не испытал. На дворе был 1966 год, и нравы уже изменились. Тем не менее, наиболее вероятной была отправка к матери или в детдом. То, что его все-таки послали в Одессу, до сих пор никто объяснить не может. В Одессе он пошел по адресу, который дала ему мама, сказав, что это адрес отца. Позже Володя вспоминал об этой встрече с отцом: «Вышел человек. Посмотрел на меня. Сказал: ‘Я тебе не отец’. И захлопнул дверь».

Вот просто взял и захлопнул дверь. И оставил за этой дверью двенадцатилетнего мальчика, которого, конечно, узнал. Понимал ведь, что ребенку некуда больше идти. Отец или не отец, бросил мальчишку в младенчестве или нет, этого я не знаю, но что дверь перед ним захлопнула и больше его судьбой не поинтересовался, – это правда. И правда эта обернулась для нас с Вовочкой долгой дорогой длиной в 51 год, которой мы шли с ним вместе до того самого дня, когда последний раз посмотрели в глаза друг другу, а потом он закрыл свои, отдыхая от боли, задремал, да так и ушел...

А тогда решался вопрос, что же делать с мальчиком. Я хотела и готова была усыновить его, но это было невозможно по многим причинам. Я старше Володи всего на двенадцать лет. В то время ему было двенадцать, а мне двадцать четыре. Я не была замужем. Жила в однокомнатной квартире – печально известной хрущевке. У меня

был маленький доход. И этих причин было достаточно, чтобы отказать мне в усыновлении. Ну и самое главное: как можно было лишать материнских прав мать, хорошую или плохую, но родную, родившую его женщину? И мы были счастливы, когда удалось оформить Вову в одесский интернат, не лишая мать ее прав, но и не отправляя его к ней.

И стали мы жить с ним в Одессе, где я работала, а он учился в интернате номер пять. Оттуда он приходил ко мне по пятницам после уроков на субботу и воскресенье, на каникулы, на болезни. Мы читали с ним книжки. И если сначала он хвастал: «Я три книги прочел!», а времени-то прошло почти два месяца, то скоро начал читать запоем, полюбил книги, почти как музыку. Мы ездили с ним в оперный театр и покупали самые дешевые билеты на галерку. Мы гуляли с ним по улицам любимого нашего города, волшебной и неповторимой Одессы, ходили к морю. Нет, ничему я его не учила, да и не могла специально научить, даже если бы хотела. Я только жила рядом, разговаривала с ним открыто, не скрывая от него собственной школы, где была не учителем, а учеником.

Каким он был тогда, этот ребенок, познавший за свои двенадцать лет детские дома и интернаты, но не познавший домашнего уюта, семейного тепла и надежности маминых рук. Ребенок, над которым в младенчестве не ворковали любящие голоса родителей и близких, которого по долгу службы кормили и пеленали чьи-то чужие руки. Каким он был, этот никем не любимый мальчик, никому на самом деле особенно и не нужный?

Я привыкла думать, что все плохие люди становятся такими от недолюбленности. И вообще, всё плохое от этого – от недостатка любви или от уродливой, извращенной любви. Вовочка, сам того не зная, начисто разбивал эту мою теорию. Он приходил всегда веселый, всегда радостный, всегда жизнелюбивый, готовый пошутить и побаловаться, будто не из сиротского приюта приходил, а из какого-то светлого мира, полного искрящихся фонтанов, сказочных происшествий, музыки и цветов... Откуда он знал всё это? Кто научил его, проходя со мной мимо цветочного базарчика, сказать: «Минуточку, подождите, пожалуйста», отбежать куда-то и возвратиться действительно через минуточку со счастливой сияющей улыбкой влюбленного пажика и маленьким букетиком тюльпанов в руках.

Нашкодничать? Подразнить? Поозорничать? Скрыть плохие отметки в таблице? Обмануть? Пожалуйста, сколько угодно! Да и кто не грешил этим в детстве? Но откуда эта невероятная тяга к музыке, да не просто к музыке, а классической, да не просто классической, а к вершинам ее, – откуда? Откуда так стремительно взлетевшая страсть к чтению? Откуда готовность пожертвовать любыми мальчи-

шескими развлечениями ради тихой прогулки у моря и серьезных «взрослых» бесед о том, как и ради чего стоит жить? Откуда детская мечта создать формулу жизни? Кто научил любви этого детдомовца?

Тринадцать учебных и воспитательных заведений прошел Володя, пока получил, наконец, аттестат о среднем школьном образовании – тринадцать! Дом малютки, дошкольный детдом, просто детские дома, интернаты, школы. В Одессе, в Алма-Ате, в Караганде – и опять в Одессе. Аттестат о среднем образовании получил он в Караганде, где одновременно учился в вечерней школе и профтехучилище – или, как их тогда называли, в ремеслухе, – которое неожиданно для себя самого окончил на все пятерки. Да и школу тоже окончил неплохо. А в университет все-таки не попал. То ли по конкурсу не прошел, то ли двойку за сочинение на вступительном получил. И остался работать в том же университете лаборантом в химической лаборатории, чтобы в будущем году поступать снова, уже не как школьник, а как так называемый «стажник». Со стажем работы поступить было бы полегче, да и то, что он в университете работал, помогло бы. Но... видимо, не судьба была.

Шел 1974 год. В это время я работала в Кировограде, в педагогическом институте. А Володя, которому было почти 20 лет, писал мне в Кировоград письма.

Я только что прочел журнал «Октябрь». Борис Дьяков «Повесть о пережитом». И в это время пришло Ваше письмо. Немного раньше мне удалось прочесть «Один день Ивана Денисовича». Я причастился к людям, которые воюют, не зная конца и финиша, не зная результата их победы либо поражения. Это трудно, но без этого я теперь себя не представляю...

Я очень многого не знаю, не умею, и от этого у меня ничего не выходит... Я ничего не знаю о Солженицыне, о Китае. Может, это не стоит писать, но меня сейчас волнует этот вопрос. Я пытаюсь что-то узнать о Пастернаке, но никто ничего не говорит. Либо не знают, либо боятся, либо повторяют то, что пишется в газетах. Иногда первое и третье. Я ищу Анатолия Кузнецова. Мне удалось прочесть только его «Бабий яр». И мне кажется, что человек, написавший такую книгу, должен иметь очень веские причины, побудившие его покинуть СССР. Но я не знаю этих причин. Я прочел Быкова «Сотников» и Айтматова. Я начинаю вглядываться в людей, мне иногда кажется, что вся моя прежняя жизнь является как бы предисловием к книге, которую я призван написать. Как Ромен Роллан своего «Кристофа». И вот, заглядывая иногда в окна душ людей, невольно начинаешь анализировать их поступки, и даже не сами

поступки, а причины, побудившие их поступить так, а не иначе... эволюцию характеров...

Я чувствую в себе какую-то чужую силу, заставляющую меня держаться на поверхности, а не падать вниз, эта сила исходит не только от Вас, но и от Бога. Меня как бы что-то поддерживает, не дает упасть.

Я чувствую себя сильным, чувствую, что могу превозмочь все препятствия. Но также знаю, что когда преодолею их, у меня не будет той силы.

Я жду от Вас с нетерпением писем.

Письмо было отправлено 14 марта 1974. Прошел месяц со дня высылки Солженицына из СССР. Меня, как преподавателя, студенты спрашивали о нем и его произведениях, и при всем желании соблюдать осторожность я не могла говорить им официальную ложь. Были у нас и другие беседы, за которые могли призвать к ответу. Меня предупреждали, что затевается что-то непонятное и недоброе; оно уже и не только затевалось, уже всю шло следствие со сбором порочащей меня информации, хотя я еще об этом не знала. На меня уже было заведено дело. Но между студентами и КГБ могла ли я выбрать не студентов?

Володино письмо в то время само по себе было бомбой. Меня могли посадить просто за одно это письмо. В нем было всё: опальный Пастернак, антисоветчик Солженицын, невозвращенец Анатолий Кузнецов, слова подростка о причастности к людям, которые воюют, просьба помочь ему определиться, явное сочувствие инакомыслящим... И что же мне было делать? Не отвечать на это письмо или отвечать на него «лояльно» я не могла. Может быть, это и спасло бы меня от того, что уже готовили мне в КГБ, но в моих и в Володиных глазах это было бы бесчестьем. И опять-таки, между ними и Володиной я не могла не выбрать его.

А потом было то, что было. Со мной провели «профилактическую работу» органы госбезопасности. В ходе этой профилактики меня дружно обсуждали и осуждали за антисоветчину на заседаниях кафедры, Ученого совета и профсоюзной организации. Меня сняли с работы по статье КЗОТ и послали в ВАК ходатайство о лишении меня степени кандидата наук.

Вова был в Караганде, когда к нему неожиданно пришел на работу представитель КГБ и стал расспрашивать обо мне. Это было 12 мая, и уже был подписан приказ о моем увольнении. Приказ гласил, что я «проявила политическую незрелость, допускала факты извращения советской действительности, что фактически способствовало

распространению враждебных взглядов, и отрицательно влияла на воспитание студенческой молодежи в духе советского патриотизма и пролетарского интернационализма». Доброжелатели объяснили мне, что я должна была быть счастлива и благодарна органам госбезопасности за то, что они ограничились профилактическими мерами и не отправили меня в лагерь.

Всего этого Вова не знал, но понял, что со мной что-то случилось, всё бросил и полетел в Одессу. На знак беды. Этот знак – своеобразный маркер. Люди реагируют на него одним из трех способов. Первый – прочь, подальше от этого знака, чтобы не заразиться бедой. Второй – жалко, конечно, но что же я могу сделать. У меня своя жизнь, свои проблемы. Я должен жить свою жизнь. И третий. Броситься. Рвануться. Беда? – Значит, я должен быть там. Это была реакция Володи. 22-23 мая, когда Володя прилетел в Одессу, я была уже там и тщетно пыталась найти хоть какую-нибудь работу. Что мог сделать Володя? Чем он мог помочь мне? И понимал ли он тогда, что общение со мной для него опасно? Впрочем, если и не понимал или не думал об этом, то ему всё объяснила Валентина Семеновна, руководительница драматического кружка, которая, собственно, и познакомила нас когда-то. Она сказала: «Не ходи к ней. Держись от нее подальше». Да только выводы он сделал прямо противоположные. Стал приходиться каждый день ко мне на работу, которую я все-таки отыскала, достаточно неприятную и малооплачиваемую, чтобы взять на нее такого изгоя, каким была я тогда. Каждый день приходил поболтать, погулять, пошутить, посмеяться... Что можем мы сделать друг для друга, чем можем помочь? А ничем. Только обнять или рубчик дать. Рубчика у Володи не было. А обнимал он меня щедро. И вот ведь сколько лет прошло, а я до сих пор помню, что в эти первые страшные дни и недели он был со мной почти всё время, не давая впадать в отчаянье, – лаской или насмешкой, сочувствием или иронией, баловством или серьезными беседами, – да как угодно. Ах, Вовочка-Вовочка, спасибо тебе!

Ну и пошла обычная жизнь. Володя работал. Летом в пионерском лагере, потом поступил на стройку. Потому что эта работа давала прописку, без которой в то время в городе жить было нельзя. А в 1976-м решил поступать в пединститут.

Пединститут не был случайным выбором для него. Конечно, он любил математику, любил физику, любил химию. Но больше всего он любил учить детей, быть с детьми. Думаю, он был рожден учителем. И дети каким-то необъяснимым чутьем безошибочно угадывали в нем это. И в пионерских лагерях, и в деревенской школе, где он учительствовал, и в городской, где подрабатывал ночным сторожем, и

даже в институте, где он не учил, а учился, — всюду Володя оказывался окруженным детьми и подростками, которые шли к нему, стремились к нему, влюблялись и готовы были слушать и слушаться бесконечно.

Это его и подвело. А впрочем, если бы не это, подвело бы другое. Разве можно было на нашей советской родине зарекаться от суммы да тюрьмы? Да еще имея острый ироничный ум, насмешливый характер, «длинный язык» и беспечную непуганность? Он задавал «каверзные» вопросы на лекциях по научному коммунизму и атеизму. Его предупреждали: «Ты институт не окончишь». И правда, не окончил.

Вовочку арестовали накануне последнего госэкзамена. И началось... Следствие, адвокат, передачи, тревоги, надежды, отчаяние, страх за его судьбу, за то, что с ним могут сделать, безнадежность и невозможность помочь, желание биться головой об стенку от несправедливости и абсурдности того, что происходит, от того, что опять побеждает и торжествует зло.

Адвокат с первой беседы определила его дело как безнадежное. Что он невиновен, ей стало ясно сразу, но так же ясно было и то, что помочь ему невозможно. «Ему дадут четыре года. Максимальный срок по его статьям пять лет. Один год они подарят, чтобы вы не думали, что зря платите мне деньги. Больше я сделать ничего не смогу.»

Но она сможет — и очень много.

Ей, конечно, не под силу спорить с КГБ, она не может уменьшить срок или повлиять на условия содержания, но она становится «еврейской мамой» для него и для нас. Она несет нам и ему столько тепла и участия, сколько бывает лишь у близких людей и родственников. Она ведет нас по новой для нас и еще не знакомой нам дорожке, рассказывает, что и как делать, что готовить для него, а когда ходит к нему на встречи, носит ему наши письма и вкусные передачи, беседует с ним на нормальном человеческом языке, в котором и сочувствие, и тепло, и материнская ласка. Она не может изменить его судьбу, но облегчить ее на время своей работы она может и хочет. Спасибо ей за это. И ведь это единственная живая связь, ниточка, тянущаяся через нее от него к нам и к нему от нас.

Я посылала ему через нее записочки:

Мой родной, мой любимый, дорогой мой Вовочка! Я все время с тобой. Я держу тебя за руки, глажу твою головку, утешаю тебя, когда тебе особенно больно или обидно. Ты держись за меня, уходи в меня, прячься в меня. Я не знаю, могу ли помочь тебе чем-нибудь

больше, чем этим. Но ты, пожалуйста, знай, что я с тобой. И весь наш мир, весь наш Свет с тобой тоже, знай это, мой маленький.

Он отвечал:

«Как мне Вас не хватает. Какой дорогой Вы для меня человек. Я молюсь обо всех наших, и мне становится легче. Держитесь и Вы.»

«Берегите друг друга, не отчаивайтесь. Я постараюсь выжить во всех смыслах.»

«Милые мои, берегите друг друга. В любом случае не отчаивайтесь. Будьте живы и здоровы. Я люблю – и, следовательно, жив. Будьте мужественны. Молитесь за меня, а я за вас. Мне трудно, мне очень трудно, но иначе не могло быть: карма. Мне еще предстоят самые тяжелые испытания, но я держусь и молюсь.»

«Я не знаю, каким я выйду и выйду ли вообще, но хочу сохранить в себе все самое дорогое и любимое.»

Как я тогда его любила! Он всё больше и больше становился моим ребенком. Выросшим, повзрослевшим, с серьезными и страшными бедами. И в моей любви к нему тоже что-то изменилось, выросло, стало старше. Я ждала того времени, когда можно будет посылать ему письма. Не знала еще, какие слова буду писать ему, о чем буду говорить с ним. Но мне казалось, что во мне есть то, что ему нужно, то, что поможет ему выжить, то, что поможет ему услышать музыку Баха там, где он тогда находился. «Если это правда, – думала я, – то мне не придется выбирать слова и темы для писем к нему, потому что, если это правда, то в самой моей любви к нему всё это присутствует. И оно проникнет к нему, о чем бы я ни говорила. Как в стихах. О чем бы они ни были, они всё равно об одном – о Главном, о несказанном...»

А дома уже смотрел на меня Вовкиными глазами его трехмесячный сынишка.

*Знаешь, мы слушаем Моцарта, – писала я своему другу в то время. – За это надо сказать спасибо маленькому Давиду, Вовиному сыну. Оказывается, мне уже есть за что его благодарить. Я вообще-то не очень люблю таких маленьких деток. С ними нельзя общаться. Они еще какие-то бессмысленные, что ли (или потусторонние? Может быть, они еще там больше, чем здесь? И не умеют общаться в **здесь** – так же, как мы не умеем в **там**, где не нужны слова и мысли, и даже сознание?). Но с этим ребенком у меня начинает появляться какая-то ниточка. Дело, конечно, не в том, что он неотрывно смотрит на меня: я понимаю, что в свои три с половиной месяца он глядит бессмысленно. И ничего того, что я про него*

придумываю, в нем, конечно, нет. Хотя я не совсем шучу, когда говорю, что Вова передал ему по наследству привязанность ко мне. И все-таки дело не в этом. Я даже не знаю, люблю ли я его. Мне нравится, когда он улыбается и смеется, я люблюсь, умиляюсь оттого, что он такой крохотный, как игрушечный, но ведь это не любовь. Но вот оказалось, что мне захотелось поставить ему Моцарта, захотелось, чтобы он в будущем любил Моцарта и Баха, а Пугачеву и Леонтьева не любил. Мне захотелось, чтобы в будущем он был мне родным, и для этого я поставила ему Моцарта. Оказалось, что я мыслю его будущее где-то рядом со своим и ощущаю свою ответственность за него. И свою обязанность по отношению к тому человеку, который вырастет из этого червячка. Оказалось даже, что я и перед этим ребенком обязана жить и не кончаться... Понимаешь, это у меня на словах получается так длинно, глупо и слащаво. А на самом деле это было меньше мгновения. Когда я вдруг ощутила, что этот ребенок мне как Вова был, когда был маленький. И что я от этого ребенка никуда не уйду. А люблю ли я его, я не знаю. Мне не свойственны обычные женские чувства: никакого стремления пеленать, качать, кормить, одевать и т. д. Хочется быть с ним. Точно так было когда-то, когда был маленьким Вова. Я и кормила его, и что-то еще такое, но это было неважно и не запомнилось. А вот что я была с ним (то есть была при нем Дома – и его впускала и даже приглашала), это запомнилось и отозвалось нашей с ним, видимо, все-таки долгой связью. И теперь вот моей связью с его сыном, связью, которая еще не скоро осуществится, но сейчас во мне зарождается.

Через что проходил Володя? Каково ему было там? Мы тогда ничего не знали. Ни о попытке самоубийства, ни о болезнях, ни о тех ужасах, которые не просто грозили ему, но стояли рядышком, поджидая удобного момента. И потому таким шоком было увидеть его на первом заседании суда. Я рассказывала тогда об этом в письме другу:

Пока мы с тобой ссорились из-за Вовы, он бился о койку тюремной больницы в припадке, которого мы не видели, о котором даже не знали. И возле него, беспомощного и больного, были чужие враждебные люди, уверенные в его преступности, не жалеющие его, а только торопящиеся поставить на ноги ко дню суда. И они его поставили на ноги у скамьи подсудимых и начали задавать самые простые, самые безобидные вопросы о дате рождения, месте рождения... Но он уже не мог стоять на ногах и поэтому трясся всё сильнее и сильнее. И амплитуда этой пляски становилась всё более угрожающей.

И я, глядя на это, решила, что это не с ним, а со мной что-то происходит. Что мне кажется то, чего нет, потому что иначе его немедленно прервали бы, усадили бы на скамью, дали бы воды или капель. Но нет, всё идет своим чередом как ни в чем не бывало. Значит, я ошибаюсь. Я оглянулась на задние лавки, чтобы убедиться в этом. Но увидела расширенные Аллины глаза, смотрящие на Вову, и сразу несколько потоков слез на ее щеках. И поняла, что не ошиблась, что это происходит на самом деле. А он трясся всё сильнее и ужаснее, и я боялась, что он сейчас упадет. До сих пор не понимаю, как он не упал. Он потому только не упал, что, наверное, не мог остановить эту тряску тела на неподвижных ногах. Малюсенький, крохотный, светло-пепельного цвета, он изо всех сил старался отвечать на их вопросы четко и напряженно-спокойно. А я знала, что мне нельзя плакать, потому что он может посмотреть на меня в любую минуту. И я кусала свою руку, чтобы не заплакать, и совала милиционеру таблетки валерьянки для него, и сдерживала собственную тряску.

Понимаешь, он сейчас на своем самом страшном, самом крайнем пределе. Он уже не выдержал физически и нервно. Он уже сорвался, его организм уже сдал. 10 дней больницы – ничтожно малый срок для такой болезни. От нее лечатся месяцами – и не в таких условиях и обстоятельствах. Он измучен физически. Измучен ожиданием приговора. Он страшно боится, так что даже не может это скрыть. И при этом, как только появляется возможность контакта (что за возможность – микросекунда, в любой момент ее можно прервать, через чужих людей или при чужих людях, через решетку, на расстоянии), он говорит не о том, что происходит, не о своей судьбе, не о судебных делах, не о надеждах и пр. Он говорит всё время одно и то же: «Я люблю вас». Это первое, второе, третье, десятое, что приходит в него и исходит из него при любой возможности сказать фразу, прошептать ее, произнести беззвучно губами. И это значит для меня, что «я люблю» для него важнее всего, главнее всего, главнее страха, главнее решетки, главнее конвоя, судьи, прокурора, срока, лагеря, – главнее всего. Это его спасение.

Сейчас ему очень тяжело, и он плох. Он физически, нервно, психически плох. Но если он выдержит, если он донесет свой крест, если он не сломается, не утратит себя, то всё это уйдет рано или поздно. Уйдут бледность, худоба, нервность, затравленность, болезнь. А любовь останется. Она родит Свет. У него уже сейчас есть Свет, потому что есть любовь. Любовь спасет его.

Люби его. Люби жалостью. Люби за несоразмерность его вины

с его бедой и страданиями. Верь в него. Люби его, потому что он, может быть, не герой, но страдалец он, безусловно. И потому, что так отчаянно сопротивляется мраку, тьме, темным безднам. И за то, что в страдании рождает любовь и ею спасается. И потому, что он маленький и беспомощный. И потому, что судьба так жестко его трет и месит. И потому, что ему надо проходить через такие горнила. И потому, что он брат твой по любви ко мне. И наш брат по желанию родить Бога. И потому, что он – мое дитя. И мне бы обвить его собою. Уложить в сумку, как кенгуру своих деток. Так, пожалуйста, люби мое дитя, как свое, люби со мной, родной мой, возлюбленный мой...

Нет, не смогла я уложить Вовочку в сумку, как кенгуру своих деток. Не смогла уберечь от беды и несчастий.

Мне приснился тогда страшный и тоскливый сон. Будто я в детской больнице. Но я не больна, просто пришла туда. Там много детей, а у одной женщины – больной котенок. Зачем-то эта женщина ненадолго отлучилась и попросила меня понянчить котеночка. Котеночек очень маленький, очень нежный, трогательный (котятя все очень нежные) и очень больной. Я кутаю его в какие-то тряпочки, ношу на руках и ласкаю его серую шерстку, как это часто бывает в жизни с больными детьми. А он то закрывает, то открывает глазки и дышит тяжело и хрипло. И мне так жалко его, я его убаюкиваю.

Всё это длится довольно долго. И он засыпает. А я люблю его, как только можно любить крохотное беззащитное больное существо. И всё ношу его на руках, и качаю, и поглаживаю, чтобы он спал и не мучился. Но тут приходит медсестра с огромной цепочкой детей. Все они что-то несут, а она громко и грубо орет на них, чтобы они не разбили, не сломали... От ее крика просыпаются больные дети и мой котеночек. Приходит его мама, но он всё равно убежал. От страха ли, просто от баловства ли, я не знаю. Он убежал, этот маленький больной котенок. И мы уже хотим пойти искать его. Но в это время мимо нас пробегает огромный лохматый черный кот. И мама котеночка ужасно пугается. Бросается за ним и от растерянности кричит ему: «Стой! Стой!» Ведь это нелепо кричать лохматому: «Стой!» Но он бежит гораздо быстрее нас. Наконец мы догоняем его, потому что он забился под какие-то шкафчики и столики. Мы пытаемся вытащить его шваброй, но он не идет. А во мне уже поднимается эта тоска. Потому что я понимаю: всё ужасное уже свершилось. Когда мы отодвигаем шкафчики, то оказывается, что этот лохматый негодяй утопил нашего серенького котеночка в тазике с грязной водой... Глупый сон? Нелепый? Мне снились нежность, жалость и любовь к маленькому и беззащитному. И

тоска от беспомощности, от невозможности защитить его, удержать. И снова тоска от того, что страшное всё же случилось...

Когда суд был окончен и Володю перевели в лагерь, его жена съездила к нему на свидание и привезла нам «приветы». Только тогда мы узнали то, что он хотел рассказать нам и о СИЗО, и о лагере. Я писала ему:

«Детка моя родная, мальчик мой, дорогой мой! Изю всех моих сил я держу твою ниточку и молюсь о тебе. Я молюсь, чтобы ты выдержал, и выжил, и сохранил всё, что было в тебе, и то, что родилось в твоей душе недавно. Я молюсь о тебе и знаю, что молитвы наши встречаются, и, значит, мы тоже встречаемся, только бы малое и суетное не заслонило Большое и Вечное.»

«Я верю, что мерзость, низость, оскорбления, – всё то, чего я и представить себе не могу, и что ты вынужден переносить ежедневно, – всё это не измелчит тебя, что ты вырастешь и возносишься, что не останавливается работа твоей души.»

«Да хватит у нас мужества, сил, достоинства, высоты и духа. Я очень тебя ждó. И я поняла, что не только я держу твою ниточку, но и ты держишь мою. Возьмемся за руки, будем помогать друг другу. Возьми мою любовь, возьми мою веру в тебя, мою веру в то, что ты – под самым высоким покровительством. Да хранит тебя Бог. Да внушит Он тебе столько любви и света, сколько сможет вместить твоя душа.»

Он отвечал:

«Ваши молитвы доходят, они действительны. Они чудотворны. Когда-нибудь я расскажу Вам об этом. Я тоже молюсь по-своему. И за Вас, и за тетю Лизу, и за всех, мною любимых и дорогих. И очень хочу верить, что в тетином 'чуде' (а почему кавычки? без кавычек) – чуде – есть и моя капля.»

«За что мне было ниспослано счастье увидеть Свет, познать доброту, познать жизнь в ее лучших проявлениях? Я смотрю на своих сотоварищей, слушаю их рассказы о своей жизни, вижу и чувствую их мировоззрение и не понимаю, почему и за что мне так повезло. В биологии есть термин 'импринтинг', то есть первое запечатление. Если новорожденному цыпленку показать вместо матери мяч, он будет считать мяч своей матерью. У меня импринтинг сработал на доброту, любовь (пусть они и выражались порой в антагонистической форме, но он сработал). И никакие силы не заставят меня изменить ему, это невозможно. Но каково им – не верящим, сомневающимся, да и просто отвергающим эту жизнь. Проходящим и не видящим, не думающим. Каково им? Я счастливый, мы счаст-

ливые. За что им – такая кара? Разве они не достойны другой доли, доли духа. А я... Я всего-навсего уравниваю чашу весов. Съедаю яблоко познания добра и зла. Мне некого винить, не на кого обижаться. Напротив, я благодарен Ему.»

«Вы пишете о помощи – что, кроме любви, веры и дружбы... Да ведь это же самое, самое материальное, самое главное. Ведь говоря ‘я живой, я выживу’, – я имел в виду душу, и только ее. Что касается физического существования, то всё в воле Его. Я живу, думаю и люблю. Разве этого мало?.. Страшно – но ведь и это естественно.»

Я писала ему:

«Вовочка, прости меня. Прости меня за то, что не уберегла тебя от всего этого, за то, что не спасла, не увела, не спрятала. А если бы увела? А если бы спрятала? Если бы уберегла? Нам было бы хорошо. Мы наслаждались бы небом и музыкой. Но весь этот мир, который нам так ужасен и отвратителен, который так нас пугает, – весь этот мир не исчез бы. Люди живут в нем каждый день. Что делать? Я не знаю. Любить. ‘А разве любовь помогает там?’ – спросят меня? – А разве у них есть любовь?’ У тех, у кого она есть, помогает. Потому что я верю: тебе помогает любовь. Если бы у других была любовь, она помогла бы и им. Любовь не совместима с насилием, грубостью, развратом, цинизмом, издевательствами. Она сильнее всего этого. Этот кошмар потому и возможен, что не хватает в мире любви, не хватает людям любви и умения любить. Господи! Но какое же я имею право на такие слова, если я, ‘сытая и довольная’, сижу в тепле и благополучии и даже поверить не могу в то, что это происходит на самом деле. Ни на что я не имею права. Ни на что. Только на любовь. И я люблю. И буду любить. И благодарю Бога, что даровал мне это. Прости меня, Вовочка. И да хранит тебя моя любовь. И пусть у каждого человека на земле, у каждого униженного и обиженного, у каждого болящего и одинокого, у каждого, каждого, каждого, будет хранящая его любовь. Пусть хранит она своего любимого от всего мрачного и темного, грубого и оскорбительного, пусть ведет его к свету и добру – или хотя бы к стремлению к добру и свету. И пусть это будет дано всем на земле. А тебя пусть хранит моя любовь. Пусть она не допустит, чтобы с тобой случилось страшное, пусть она обратит в добро всё, через что ты прошел и через что тебе еще предстоит пройти. Пусть она проведет тебя через всё, как через очистительный огонь, пусть хранит тебя моя любовь, Вовочка. Пусть хранит тебя моя любовь, пусть хранит тебя моя любовь... Как бы я хотела посадить тебя в нашей кухоньке. Как бы хотела говорить с тобой долго-долго, не боясь чужих глаз и ушей. Это еще будет у нас. Доживи только. Всё будет

*у нас. Всё самое лучшее, что может быть у людей, всё самое свет-
лое и Божье будет у нас. И только так можно жить. И только
этим помогать миру и земле, но об этом потом, потом. Вовочка,
Вовочка, ради Бога, пусть с тобой ничего не случится!»*

Я писала это Володе, но молилась не только о нем, но и о болею-
щей тете Лизе, и о близких, и о друзьях, и о незнакомых людях. Но о
нем отдельно, о нем особо. И пусть моя любовь к нему, к тете, к
друзьям, к возлюбленному и к детям разная, одно ее объединяет: она
хочет и может хранить любимых, каждого особо, каждого отдельно,
и того больше всех, кому сейчас больше всех нужно, кому сейчас
больше всех страшно или опасно. Да хранит моя любовь тех, кого она
может хранить! Да пошлет Господь остальным хранящую их любовь!

Я думала о том, почему это возможно на земле. Почему одни
люди хотят мучить и унижать других, почему они получают удоволь-
ствие, издеваясь, избивая, калеча? Почему? Всё то, что происходит в
тюрьмах и «на зоне» в самой уродливой и гнусной форме, как под
увеличительным стеклом, показывает то, что происходит и здесь, «на
воле», среди взрослых и даже детей. Как огорчает меня проявление
жестокости у моих ребят в школе, как я мучаюсь оттого, что они
выбирают не добро, а силу и власть, и грубость, и насмешку! Как мне
хочется проявлений человеческого в людях!

И как мне жалко эту жертву — человека, которого только что
избили, изнасиловали, издевались над ним и унижали всячески.
Просто так, от нечего делать! Но ведь вчера он делал то же самое! И
завтра, если дать ему возможность, будет делать то же самое с дру-
гими! Кого же я жалею? Они все готовы поменяться местами.
Униженная сволочь — разве она лучше унижающей сволочи? Стоп.
Вот ведь до чего я договорилась. Я их ругаю. Я их ненавижу? Да. Я
их ненавижу. Я их ненавижу, я их ненавижу! Но, Боже мой, я ведь не
только ненавижу их, я их люблю!..

Сколько же ты перенес всего, мой бедный малыш! Сколько ты
всего перенес, бедная моя детка, родной мальчик мой, сколько ты
перенес и сколько тебе еще предстоит. Но ты выжил. Ты не погиб, не
сломался и выжил. Господи, спасибо Тебе за это. Выжил, и очистил-
ся, и вырос. И ты спасен, ты спасешься, только бы хватило сил физи-
ческих, сил телесных, только бы хватило!.. И как же ты был одинок
там, один среди всего свалившегося на тебя, как ты был одинок. Ты
был один там, Вовочка? Один? Мы не смогли быть там с тобой? Ни
я, ни сын, никто на свете? Но, может быть, все-таки и не совсем так,
может быть, мы все-таки были с тобой? Помнишь, как в дни суда я

кричала тебе через решетку об Армении, о Моцарте и о Бахе, а ты отвечал из клетки: «Я слышу Моцарта, слышу Баха». Значит, они были с тобой, Вовка! Может быть, они и спасли тебя? Может быть, ты поэтому и выжил, что есть Бах, есть Моцарт, есть любовь.

Бог послал людям Моцарта после того, как они распяли Христа, но они не раскаялись, а продолжали его распинать и распинать других Его именем изо дня в день, из года в год. Послал Моцарта, значит, простил? Распятого Сына простил? А если не простил, как же мог появиться Моцарт? Как? Откуда? Откуда в человеке после всего того, что творили на свете люди, могло появиться и найти выражение то, что мы зовем музыкой Моцарта и что следовало бы называть иначе – Бог? Моцарт – прощенный? Но его музыка, она – наша, а мы – непрощенные, мы делаемся всё хуже и хуже с каждым веком, с каждым годом. Как же так, что нам дана музыка Моцарта?

Но, может быть, эта музыка и есть Мессия, а люди опять не узнали? Может так быть, Вовочка?

А знал ли ты, чувствовал ли, как я была с тобою, ощущал ли мою руку? Знай, пожалуйста, знай каждую минуту своей жизни, что именно сейчас, именно в этот момент, как и во все остальные моменты, я припаяна к тебе прочно – и до самой смерти. Когда будет трудно, когда будет обидно, когда отчаянье заполнит тебя до краев, когда захочется умереть, – всегда, всегда знай, что я крепко держу твою ниточку и молюсь о тебе, и живу на свете – и, значит, ниточка твоя жива. Всегда знай, всегда держи меня при себе, столько, сколько тебе нужно...

Краткое свидание нам все-таки разрешили, а длинное было не положено: наше родство с ним нигде не было зарегистрировано, и формально мы оставались чужими друг другу.

И я поехала к Вове.

Приехала и стала ждать, и осматриваться среди многих других – и таких же растерянных, кто, как и я, приехал впервые, и более опытных, уже знающих местные порядки.

В три часа дня нас стали заводить. Свидание проходило по телефону. Мы находились на расстоянии 30-40 см друг от друга, но нас разделяли два стекла. В моей кабине была трубка, и я всё время слышала Володю, а он слышал меня. Длилось свидание два с половиной часа.

Каким я его увидела? Он успокоил меня, порадовал и обнадёжил. Он был таким, каким бывал в самые высокие, в самые лучшие свои минуты. Он был таким, каким я всегда мечтала видеть его. Он был светлым, спокойным, абсолютно не привязанным к суетному мельтешению всех земных мирских бед, непристойностей, трудностей – всего того, что копошилось вокруг нас весь этот день ожида-

ния. Господь услышал мои молитвы. И я даже не удивилась тогда. Я обрадовалась этому, как ожидаемому, как будто знала, что иначе и быть не может. И действительно знала, потому что весь этот день был таким, вся моя дорога к нему и весь день ожидания были такими, будто сам Отец наш небесный наблюдал за нами сверху, и вел нас за руку, и помогал нам во всем. В такой день, когда так много Бога было, когда не мы делали, а с нами делалось, в такой день и не могло быть иначе. Ведь не могло же быть, чтобы Бог вел меня к Вове, а Вову в это время не держал за руку, ведь не могло же?

В первые несколько минут руки у Вовы немного дрожали, он все-таки, видимо, волновался. Но даже и в эти минуты он был очень светел и светился радостью – хорошей, не телесной, а нежной, нематериальной. Он всё время будто подсвечивался изнутри – и тогда, когда смеялся и шутил (юмор его вовсе не был интернатским, а был опять-таки светлым, моцартовским), и тогда, когда говорил о плохом и страшном (он мало говорил о страшном, и почти всё время получалось, что трудное – смешно, что страшного нет, что всё у него хорошо и что жизнь у него вполне хорошая). Может быть, мне только так казалось, но он был очень моцартовским, мой Вовка, очень светлым, спокойным, не вибрирующим, не лихорадящим, отстраненным от всего мирского и как будто немного приподнятым над землей.

Я тоже растерялась в первые минуты и почувствовала, что не могу сказать ни слова и не знаю, с чего начать. Что хочу просто сидеть и молча смотреть на него. Пожалуй, было бы хорошо так молчать и дальше, но ведь нас прослушивали и могли решить, что нам либо не о чем говорить, либо мы переговариваемся каким-то недозволенным способом. Могли бы и прекратить свидание. Я начала поздравлять Володю с днем рождения – официально, торжественно и немного напыщенно, – нам стало смешно и неловко, мы засмеялись, разговор потек сам собой и больше уже не затухал до той минуты, когда нам велели заканчивать и прощаться.

Моя догадка оказалась верной: его действительно пытались вербовать в стукачи. Но в тот день я *знала* (это знание шло не от меня), что всё каким-то образом обойдется, что ничего ужасного не будет, что окончится и разрешится эта ситуация благополучно. Я сказала об этом Вове. А он ответил спокойно и серьезно, что тоже это знает. Рассказывал, что подружился с хорошими людьми. Говорил, что они не пьют, не курят, не сквернословят, что они почти единственные, кто сохранил здесь человеческое достоинство. По рассказам Володи получалось, что жизнь на зоне не так уж страшна, то есть совсем не так страшна, как это кажется на воле; и что самое

трудное там – сохранить человеческое достоинство. Человеческий облик, душу свою сохранить. Но если не страшна жизнь, то почему люди теряют свою душу? Позже, уже после свидания, я поговорила с капитаном – командиром отряда. Среди прочего капитан рассказал, что Володя подружился с человеком, о котором известно, что он – баптист и даже пресвитер. И его беспокоит, как бы Володя не вошел в секту. Я уверила его, что Володя всегда был чужд всяким сектам и группам.

На свидании Вова сказал, что у него работа легкая и оставляет много времени для размышлений, чтения и отдыха. Что работает он не в группе, а со сменщиком-напарником – и хорошо, что не в группе...

Сказал, что еще с утра знал о моем приезде, потому что давно загадал, что если увидит меня во сне, то всё будет хорошо. Загадал еще в дни суда, но тогда ему ни разу не удалось увидеть меня во сне, а в эту ночь я приснилась ему, и он уже не сомневался, что сегодня меня увидит.

Сказал, что не ждал ничего от прошедшей амнистии и сейчас не ждет: чувствует, что еще не готов. Что-то должно произойти в душе, но пока не произошло. И до тех пор, пока оно не произойдет, он не будет готов выйти на свободу. Я ответила, что мне кажется, это будет уже очень скоро. Что скоро он будет готов. Потому что он очень вырос, очистился и поднялся за это время.

Таким было наше свидание, таким я увидела в тот день своего мальчика.

Позже, когда всё было позади, Вова опять говорил, что было ему легко, что он не видел особой разницы между зоной и детскими домами или интернатами. Не видел разницы! Значит, всю свою жизнь, всё детство, отрочество, часть юности прожил, как на зоне; прожил, как заключенный, зэк. И тогда, когда стоял на проверке в настоящей зоне, и тогда, когда на интернатской линейке распевал «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!», и тогда, когда звонким голосом объявлял свои статьи, по которым его обвиняли, и тогда, когда декламировал стихи Маяковского на смотре художественной самодеятельности интерната.

Был ли он героем, мой маленький Вовка? Не знаю, судить не берусь. Но если и не был героем, то страдальцем был безусловно. И как отчаянно сопротивлялся он мраку, тьме, темным безднам! Как в страдании рождал любовь и ею спасался! Да, он был маленький и беспомощный. И судьба так жестко его терла и месила. Но почему ему надо было проходить через такие горнила – младшему моему брату по желанию родить Бога?

...Когда Володя вернулся из лагеря, нам сначала показалось, что он в удивительном порядке, что все эти годы не сломали его. Но очень скоро мы убедились, что всё не так, что он истерзан и раздроблен на такие мелкие кусочки, что ни собрать, ни даже увидеть их не было возможности.

Говорят, что самые трудные годы – не тюремные, не лагерные, а первые после возвращения домой. Так и было. У него ничего не получалось. Пытался восстановиться в институте и досдать последний экзамен, чтобы получить диплом учителя. Ему объяснили, что никогда не допустят его к педагогической работе. Плохо было и дома. Жизнь с женой явно не налаживалась, семья была на грани распада.

И все-таки даже тогда, как и раньше, как при всех невзгодах и бедах, как в детдомах и интернатах, как в армии и на зоне, как потом на последней своей больничной койке, с которой он, умирающий, смотрел и видел океан, и чашек, и восход солнца, – всегда, всю свою жизнь, и в радости, и в горе он считал себя счастливым человеком.

В 1983-м он писал из лагеря:

Получил Ваше письмо. Да, я полностью согласен и присоединяюсь. Вы правы. «Несчастлив человек бывает от чего-то – от беды, от боли, от страха, от горя, от неприятностей. А счастлив он бывает только от ничего, то есть от всего.» Это «открытие» я сделал еще в детстве, когда ходил по улицам, пел, прыгал и был счастлив просто так, хотя и были в это время свои горести и беды. Вдруг – как окошко в черных свинцовых тучах, через которое проник луч солнца. И ты становишься такой счастливый, радостный, блаженный. Счастье рождается внутри тебя от воздуха, от неба, от зеленой травинки – или даже без всего этого. У меня и здесь, и сейчас бывают такие моменты... Помните Кабирию? Почему она так улыбалась? Она этого не знала. И никто этого не знал. Да и откуда можно было кому-нибудь знать, как можно было догадаться о ней, совсем не похожей на жителя Рая? Но вот тогда, в тот момент, когда, всё потеряв и утратив, обиженная, оскорбленная, одинокая, ничья и ничего не имеющая, она шла по этой земле, а вокруг веселились люди, вот тогда Кто-то пожалел Кабирию. Кто-то сжалился над ней. Он подарил Кабирии не блага земные, не деньги, не дом, не мужа и возможность переменить жизнь, не... Он подарил ей вот ту улыбку. Он подарил ей ничего (здесь, на земле) – и всё, – потому что улыбка эта не земле, а Богу. И значит, Он защитил Кабирию, и спас ее, и унес ее отсюда туда. Он сотворил вокруг нее волшебное поле, где в горе, в оскорблениях, в мучениях плачут, но и улыбаются той улыбкой. Вот почему я знаю, где была тогда маленькая Кабирия,

бедная Кабирия, счастливая Кабирия, избранная кем-то Кабирия. И вот почему я так радуюсь Вашему сходству с этой актрисой, именно в улыбке это сходство находя и видя.

В 1987-м Володя решил на выезд. Он использовал израильский вызов, но ехать хотел не в Израиль, а в Америку. Так оно и случилось. Прощаясь, мы были уверены, что больше никогда не увидим друг друга. Он уехал в 1988-м. Пробыл какое-то время в Италии, потом оказался в Нью-Йорке. Началась новая жизнь. Но это уже была совсем другая история.

Здесь, в Америке, он повзрослел и вызрел. Он остался верен себе. Ни разу не изменил своему главному. Та же безудержная щедрость, готовность отдать последнюю рубашку и не заметить этого, готовность помогать всем и каждому без просьбы и напоминаний. Та же глубина. Та же способность услышать и почувствовать близкого и ближнего. И радость жизни. И любовь к ней в большом и малом. И способность смотреть в небо.

Здесь, в Америке, к нему пришла любовь. Здесь родились и выросли две дочурки.

Если веровать в то, что у каждого человека есть своя миссия на земле, то можно ли сказать, что Володя эту миссию выполнил?

«Я к смерти готов», – говорил он мне. Он был тогда смертельно болен, но жизни в нем еще оставалось немало. «Я к смерти готов.» Что он имел в виду? Что сделал всё, что мог и должен был сделать в этой своей жизни? Что ответил на все главные вопросы, не имеющие ответов? Что примирил непримиримое? Что вырастил свою душу до предела, возможного для одной жизни?

После Володиной смерти Женья – один из самых близких и любимых его друзей – написал о нем: «Он коснулся наших жизней бережно и серьезно. Вовка жил по-серьезному. Я знаю, что он смеялся охотно и весело, это верно, но смеялся он, как смеется сатир, – как будто подразумеваемая нечто серьезное. Он был серьезным в том смысле, в котором серьезные философы. Не современные, которые занимаются логикой, а древние, которые спрашивали, зачем живешь и важно ли Богу, как ты себя ведешь и как любишь. У него было серьезное отношение к жизни. И он заражал этим других. Он, конечно, не выбирал той серьезной жизни, которая на него упала, – с сиротством, школами, математикой, шахматами, учительствованием, переездами, допросами, спаньем на полу, арестами, увольнениями, бедностью, книгами, любовями, классической музыкой, тюрьмами, поэзией, эмиграциями, болезнями, детьми, инвалидностью, смертями, дружбами. Но что бы ему ни выпадало, он проживал это серьезно. И еще

смело. Ибо он и смерти не боялся, это было видно в его последние дни, – а если не боишься и смерти, так чего там еще?..

Он был сократической фигурой в моей жизни и, подозреваю, в жизни многих других. Он и выглядел, как Сократ. В Одессе у него была, по-моему, всего одна пара сандалий, которую он носил везде и в любую погоду. Думаю, и в Нью-Йорке тоже. И как Сократ, он задавал вопросы, на которые нет ответов. Но он их всё равно задавал и оставлял тебя мучиться над ними. И так уже на всю жизнь. Он дал моей начальное ускорение, которое всё еще толкает; поставил ее на рельсы, по которым она всё еще катится. И еще он давал списки книг, которые надо было прочесть. И классические произведения, которые надо было прослушать. И он, конечно, хорошо знал, как знал и Сократ, какое магическое влияние он имел на нас, крутящихся в его орбите. Он, например, несколько лет скрывал от меня, что курил, потому что знал: увидев это, и я закурю. Я всё равно закурил, но на несколько лет позднее – благодаря его нежной осмотрительности. Он был бережный человек, и касался чужой жизни бережно. Он коснулся наших жизней бережно и серьезно, и его дети должны им по-настоящему гордиться, ибо Вовка был редким человеком. По-настоящему редким. Самым важным словом в его лексиконе было слово 'любовь'. Наверное, это от его названной матери, но он сделал это очень своим. И учил этому слову – и, главное, этой идее – всех, кто оказывался рядом. А перед смертью сказал о жене: 'Повезло мне с Неткой'. Повезло. 'Я ее люблю', сказал. Так и ушел. Не со страхом, а с любовью на устах. Вечная ему память».

НЕ НАБОЖНАЯ, НО БОЖЬЯ

Она твердит негромко и безостановочно: «Больно-больно-больно-больно». Потом набирает дыхание и снова: «Больно, больно, больно, больно». Тихонько, боясь обеспокоить кого-нибудь, а кто-нибудь – это я, потому что никого больше рядом нет. «Больно-больно-больно.» На одной ноте, почти шепотом, чтоб я не услышала. Но я слышу, конечно, и, сохраняя спокойствие снаружи, начинаю метаться внутри в поисках помощи: унять, уменьшить, заласкать, залюбить, забаюкать.

Иногда это мне удается. И она задремывает или даже засыпает в моих ласкающих руках. Но чаще – нет. И тогда мы терпим и ждем, пока боль устанет, и постепенно стихнет это «больно-больно-больно-больно».

Рак поджелудочной железы – вещь безжалостная и безнадежная. Говорят, что это болезнь невысказанных обид и не выпущенных

наружу стрессов. Может и так. Мы дружили несколько десятков лет и много времени проводили вместе, но за все эти годы ни разу не слышала я ее упреков в чей-либо адрес, не говоря уже о ссорах или скандалах.

Мы с ней ссорились дважды – и оба раза по моей вине. В первый раз на мой вопрос, не обиделась ли она, ответила смущенно: «Не обиделась, но не могу на тебя смотреть». Она имела в виду, что ей неловко, стыдно, а я поняла, что это – от негодования или отвращения, и ужаснулась: «Что же теперь делать?».

Вторая ссора была еще короче. Я капризничала, пользуясь ее безответностью, пока вдруг не увидела ее огорченное лицо. И бросилась к ней утешать, просить прощения. Но ведь обидела же сначала!

А Мира не упрекала, держала в себе. Значит, и я внесла свою лепту в сегодняшнее «больно-больно-больно».

В первый раз я увидела ее давным-давно, жизни две или больше назад. Помню точно, потому что это был день моего рождения, мне исполнилось тогда 25 лет. Я приехала в Киев не ради нее, конечно, я ведь ее еще не знала. И даже не ради той, с которой на следующий день тоже познакомилась. Приехала я ради своей троюродной сестры Инны, в которую давно была влюблена, а потому хотела молиться ей и дарить все миры свои. Да только ей не нужны были мои миры, а нужны были ее собственные. Инна повезла меня к своей подруге на работу, где показывали фильм о Сарьяне. Там-то мы с Мирой и встретились. Обменялись двумя-тремя фразами об Одессе. Она сказала, что в Одессе бывала, но город ей не понравился, а я ехидно-вежливо ответила, что не каждому дано увидеть красоту и прелесть нашего города. Продолжения не было, и о Мире я забыла. Позже я снова увидела ее на чьем-то дне рождения. Домой возвращались вместе, и я пригласила ее с сестрой в Одессу, а она пригласила меня съездить с ней летом в Ясную Поляну. Я не отнеслась к приглашению серьезно и забыла о нем. Но летом Инна передала мне, что Мира спрашивала обо мне. Конечно, мне хотелось бы поехать не с нею, а с самой Инной, но... я согласилась. С этого всё и началось.

Причем началось прямо сразу. Уже на вокзале в суеде проводов с шуточками и советами, напутствиями и обещаниями, бутербродами и конфетами появилось какое-то предчувствие радости. Перед отправлением поезда, в вагоне, в суматохе прощания, последних объятий и поцелуев это предчувствие стало отчетливой. Уже через несколько минут после отъезда началось несказанное. Мы выехали из Киева чужими людьми. Я почти ничего не знала о ней. Так, попутчица, подруга сестры. Нас ожидала интересная поездка в Ясную

Поляну, в отпуск. Почему бы и не съездить? Хотя для меня это был подвиг – поехать куда-то с чужой женщиной. Я стеснялась ее, боялась, к тому же она была старше меня на тринадцать лет. И я собралась было отстаивать свою независимость – как вдруг оказалось, что ничего не надо отстаивать. А еще через несколько минут я поняла, что и не хочу ничего отстаивать, наоборот, хочу всё сложить к ее ногам. Но почему? Что случилось? Ну, сидели мы вдвоем в купе. Ну, ели ветчину с помидорами. Ну, делила она свои припасы не как с чужим человеком, а как с близким, подкладывая мне лучшие кусочки. Ну, расспрашивала меня о моей жизни. Так что же? Не в этом же дело. Все делятся, все расспрашивают. Только у нее всё было не так, как у всех. А как? А так, что когда она кормила меня ветчиной, мне казалось, что ей очень важно и хочется, чтобы мне было вкусно и сытно. А когда расспрашивала, то не из вежливости, а заинтересованно, готовая поверить в мое хорошее. Но откуда этот интерес? Чем я заслужила? Кто я ей? И от этого во мне расцвела первая волна нежной благодарности и желания служить этой женщине, ухаживать за ней, заботиться о ней...

Я ничего не сумею о ней рассказать. Сколько бы я ни говорила, всё сводится к одному: она хорошая. Позднее стала называть ее «святая». Ведь это о ней я сказала словами героя «Моби Дика»: «Не набожная, но Божья».

Потом я стала говорить, что Мира – самый лучший человек на свете. Я и сейчас так думаю. И думаю, что если говорить о Спасении, то ближе всех нас к Спасению была она. Потому что она поступала и жила по Божьим заповедям, не зная этого, не думая об этом, не учась этому. Жила на уровне природы своей, как пчела трудится над медом, – естественно, как шелкопряд, муравей, цветок или дерево, – и не умела иначе. Мне кажется, что выше этого не может подняться человек в делании добра... Но при этом Мира была абсолютно взрослая. Она жила взрослой жизнью, выполняла взрослые обязанности. И духовное в ее жизни было вторично. Оно следовала за материальным (накормить отца, убрать в квартире, подготовиться к уроку в школе. Это всегда было необходимо – и всегда забирало по кусочкам время и силы. Но это долг. И ему, как правило, отдавалось предпочтение перед духовным, которое постепенно потеснилось, перестало казаться ей не то чтобы важным, но имеющим такое же право на существование... А может быть, ей это просто не было нужно? Зачем ей размышлять о добре, если она сама – воплощенное добро?)

Как мне нарисовать ее живой портрет? Например, рассказать о том, что она чиста и целомудренна, как юная девушка, но абсолютно

лишена ханжества. Что она добра, скромна, бескорыстна, самоотверженна. Что ее самоотверженность безуильна и естественна, а потому незаметна. Что у нее мягкая благородная любящая душа. Что любовь ее целомудренна и застенчива. Что она подкидывает подружкам деньги, если чувствует, что это необходимо. Что подкармливает ребятишек в школе, когда у них нет с собой еды. О том, как легко принимать от нее эти деньги, и эту еду, и любые ее «одолжения», которые вовсе и не одолжениями становятся, настолько они естественны. Как весело знать, что она любит тебя и, любя тебя, любит твою радость. Как рассказать о том, что она всегда готова отойти в сторону, уступить свое место без ревности, сожаления или зависти. О том, как она принимает гостей, как ведет их в свою квартиру, как кормит, как при этом стесняется. О том, что каждый ее ученик относится к ней почти как к маме, потому что убежден: как и мама, она существует ради него. А ведь это большая редкость. Это совсем не то же самое, что просто любовь к учителю...

Нет, никогда не получается рассказать о Мире. Но, может быть, мне удастся объяснить, что означает «не набожная, но Божья». Сейчас многие люди хотят «сделаться лучше». Вступают в религиозные общины. Много трудятся над своим усовершенствованием, читают книги, думают, стараются, анализируют свои поступки. И после упорного напряженного труда достигают каких-то успехов в борьбе с себялюбием, жадностью или другими недостатками. Радуются и гордятся собой.

А она не радуется и не гордится. Наоборот, считает себя не очень хорошим человеком. Но только от рождения она уже обладает всем тем, чего мы так пытаемся достичь. И мера ее обладания настолько выше всего того, чего мы можем добиться с помощью упорного труда, что даже в глубочайшем своем падении она неизмеримо выше наших самых высоких достижений. Ей не надо учиться, потому что она родилась такой. Не надо учиться доброте, поделчивости, не надо бороться с жадностью, завистью...

Представьте себе такую школу, где разные существа учатся летать. Все они изучают теорию, потом тренируются и добиваются определенных успехов. Но если среди них есть птица, им никогда не достичь ее уровня полета, его гармоничной врожденной естественности.

Вот Мирочка и есть та самая птица...

«Больно-больно-больно-больно», — начинается снова тихим перестуком, и опять: «Больно, больно, больно, больно».

Я беру ее за руку. Какой она стала худенькой! Держу ее за эту худенькую ручку и рассказываю о нашем первом с ней совместном

путешествии. О том, как мы жили в Ясной Поляне, как заезжали в усадьбу Тургенева. О том, как нам было хорошо, тепло и ладно вместе. Ведь только час или два провели вдвоем в поезде, а казалось, что родные, что навсегда. О том, как я уже тогда знала, что навсегда. Грустила, когда поездка подходила к концу, что скоро нам расставаться. А она утешала меня, говорила: «Это всегда так в путешествиях. Кажется – друзья на всю жизнь. Вот приедете домой, захлестнет вас рутинная каждодневность, и всё забудется». Она тогда еще не знала, что это на всю оставшуюся жизнь. Что у нее появилась еще одна сестра. И никого не будет роднее...

Вернувшись из путешествия, я написала ей письмо, исповедуясь во всем, чего стыдилась и в чем каялась. А вслед за письмом и сама поехала в Киев, потому что ждать в неизвестности было невыносимо. Она тогда взяла меня за руку, в другую взяла письмо, а потом порвала его на маленькие кусочки и сказала: «Вот видишь (тогда мы и перешли на «ты»), я рву его и бросаю кусочки в унитаз. А теперь сливаю воду. И всё. И нет ничего. И больше никогда не думай об этом».

Она не подарила мне разделенности в Главном, но озарила мою жизнь добротой, чистотой и святостью.

У каждого человека любовь – одна. Своя, свойственная лишь ему одному любви. Я знала это всю жизнь. Когда-то я говорила, что одинаково люблю женщин, мужчин, стариков и детей. Я могла бы добавить – и животных, и растения. Дело вовсе не в том, кого любишь. Дело только в том, любовь это или нет. То, что было у нас с Мирой, было, конечно, любовью. Она внимательно и участливо выслушивала все мои размышления и философствования, которые были ей совсем не нужны и совсем не близки, но любила я ее не за это. И ничего, что на фоне этой любви, не снижая ее накала и интенсивности, рождались и другие любви, в том числе и главная, вершинная любовь моей жизни. Дело в том, что Мира была святая. И всё, что исходило от нее, не могло быть ничем иным. Только Светом, Чистотой и Высотой.

«Не праведными делами человек делается праведным. Если человек праведен, и дела его праведны.» Это сказал за меня Лютер. Вот ведь как хорошо всё объяснил! Не человек праведен, потому что делает добрые дела, а дела его – добрые, потому что он праведен. Я это знала и чувствовала всегда, только не могла выразить словами.

Мира была воспитана атеисткой, как и все мы в то время, и не веровала в Христа как в Бога. Но была от рождения праведна, и потому все дела ее и поступки любовью порождались и были праведны.

...Вот мы снова путешествуем вместе, на этот раз в Армению. Вот мы подходим к подвесному мостику. Речка, хоть и бурная, с камнями и валунами, но узкая, а мостик, хоть и без перил, но довольно широкий. Она проходит по нему, чуть-чуть побаиваясь. А я со страхом смотрю, как мост пружинит под ее ногами, и не иду за ней, как будто не понимаю, что ходить по нему не опасно. Или как будто мне было бы легче, если б она погибла у меня на глазах, а я стояла бы на берегу. Всё это ужасно нелепо. Она несколько раз проходит туда и обратно и смеется надо мной совсем беззлобно, не обидно. Просто ей весело смотреть, как я упираюсь, боюсь и не могу заставить себя сдвинуться с места. Несколько раз пускаюсь в путь, каждый раз делаю на пару шагов больше, но всё равно останавливаюсь и возвращаюсь. Вот дохожу до половины и все-таки возвращаюсь, а она стоит на другом берегу и смеется. Наконец, от отвращения к собственной трусости обретаю решимость – единственное, чего мне не хватало. И прохожу через мостик быстро и легко...

...Может быть, у меня гипертрофия чувств? Меня с детства ругали за то, что у меня всё «слишком». Увлекаюсь слишком, влюбляюсь слишком. И тоскую слишком. Может быть, другие так не тоскуют? Так не привязываются к своим друзьям и любимым? Ведь она тоже любила меня. Но как ей было странно, что я звоню ей просто так по междугороднему телефону несколько раз в неделю! Это потом она привыкла, а сначала удивлялась. И приездам моим в Киев удивлялась. Я тогда часто приезжала, ведь я была свободна.

А там, в Армении, я радовалась всему. И белоснежному Арарату, и соборам, и разноцветному туфу, и монастырям, и тому, что дорога к ним такая длинная. Мы шли по тропинке, а где-то журчала вода – то ли ручей, то ли горная речка. И радуясь, что не надо придумывать умные слова, а можно просто журчать вместе с этим ручьем или речкой, не думая ни о чем, ничего не желая, ни о чем не тоскуя, ничего не стыдясь, не стесняясь, а только отдаваясь вот этому потоку воздуха ли, музыки ли, воды ли, я болтала и болтала, не останавливаясь, – зная, что меня слушают, меня принимают, меня не осмеют, не осудят...

Когда-то давно мы жили не здесь, – говорила я тоном сказочника, а сама улыбалась и радовалась. – Мы жили не здесь. И не были мы тогда людьми, а кем же мы были? Не знаю. Может быть, мы были растениями. Может быть, мы были каким-то цветком, который жил в реке или в море. И течение несло его и несло – то спокойное, то бурное. А он лежал в воде, отдаваясь потоку. И в этом было

его назначение. Он доверился своей воде, этот цветок. И лежа в воде, он всё равно был в космосе – а потому был космическим цветком. За это Бог дал ему душу... А может быть, мы жили не в воде, а в небе. Мы были облаком – облаком, но не птицей. И ветер нес нас, куда ему хотелось. А мы только отдавались потоку и смотрели по сторонам, и видели, сколько вокруг Бога... А музыка? «Английские сюиты» звучали тогда в нашем небе? Звучала там музыка? Или только тишина звучала там? Я не помню. А ты?

А может быть, мы были горой? И миллионы лет молились неподвижно и бессловесно единой молитвой?

А может быть, мы были музыкой? Или сразу всем: и музыкой, и горой, и травкой, и облаком? А может быть, мы были всем этим не когда-то, может быть, всё это происходит прямо сейчас? Может быть, мы всегда были и музыкой, и цветком, и горой, и облаком, и человеком, и землей, и деревом? Землей обязательно. Потому что, знаешь, я еще землю очень люблю. Не планету Земля, а просто землю – ту, что можно взять в руки, – породу, грунт. Я смотрю на нее и чувствую, что люблю-люблю ее, как живое существо. Почему? Не знаю. За что? За то, что она видится мне живой, видится частицей космоса. И земля, и камни... Мне хочется ее целовать, ласкать в руках, гладить. Ах, почему, почему я так чувственно люблю землю? Помнишь, как я целовала армянский камень, прижималась к нему щекой?..

А она, слушая, улыбалась тоже. И ведь сама никогда не стала бы так говорить или думать, но всегда готова была разделить чью-то радость, признать чью-то мысль, чью-то точку зрения, отличную от ее собственной.

А в другой раз, теперь уже не в Армении, а в России, я видела, как больно ей было слушать дурацкие шуточки экскурсовода и туристов, когда мы рассматривали фрески Феофана Грека. Мы стояли, как завороченные. Я была уверена, что рукою Феофана Грека писал фрески сам Бог, что это Он водил рукой мастера, и мы видим это, ощущаем. Потому что Господь Бог разговаривает с нами так: кистью Дионисия или Грека, музыкой Моцарта или Баха...

Потом мы приходили туда еще раз. И долго-долго стояла я в пустом храме. Даже ее не было рядом. Она ушла вниз, оставив меня одну. Понимала, что мне нужно побыть наедине с фреской. А когда я, наконец, спустились, показала мне, что есть еще много фрагментов, которые мы не видели в прошлый раз, и ушла наверх. И это был целый большой мир, целое большое событие, потрясение.

До нашей встречи я была, как собака без хозяина. Я не выдерживала одна, шла к людям, потому что без них не могла, тыкалась в каждого, ошибалась снова и снова, но шла. Я мечтала о дружбе, любви, братстве, но никто не хотел так дружить со мной. И потому я чувствовала себя сиротой. Сама не знаю, как тогда выжила. Я ведь думала, что никто никогда – до самой моей смерти – не захочет стать для меня родным. Из одного чувства благодарности я готова была отдать жизнь за человека, который был бы добр ко мне...

Когда Мира приняла меня не из снисходительности, а как... не знаю, как это назвать, она ведь тоже очень долго не верила в постоянство моей привязанности. Но все-таки она приняла как нечто ценное, и мне хотелось умереть от благодарности к ней. Будто она меня из бездомной собаки произвела в человека... А потом я поверила, что нужна ей, и расслабилась. Стала считать ее своей родной сестрой.

Она часто приезжала ко мне. Приедет, дохнёт, продышит надо мной лаской, нежностью, ангельской своей святостью и чистотой, заглянет в мое лицо любящими ласкающими глазами, улыбнется, опечалится – и уедет. Сидит в поезде в своем купе и тоскует обо мне, от разлуки со мной. А я не понимаю, как этой святой могу быть нужна я. Зачем я ей? Как она может печалиться, разлучаясь со мной? И мне стыдно, будто я самозванка или обманщица...

Мне всегда мало было того времени, которое мы проводили вместе. Но и ей тоже было мало. Она говорила: «Хочу, чтобы мы были в одной комнате. И чтобы каждый занимался каким-то делом, читал свою книгу, например». А что это значит? Что наше *вместе* так надолго, так *навсегда*, что можно позволить себе просто *быть* вместе – читать разные книги, не смотреть друг на друга, не разговаривать, не делать что-то совместное. Просто быть...

«Больно-больно-больно-больно, – потом вдох и снова: – больно, больно, больно, больно.» Господи, как мы беспомощны! Как ничего не можем сделать друг для друга!

Когда-то я совершила очередное небольшое, но печальное открытие. Про ниточку жизни. Я ехала в автобусе и тревожилась о своем любимом. Мысленно я разговаривала с ним, и вдруг меня пронзило: а как же с ним может что-нибудь случиться, если я держу его ниточку? Почему же я так тревожусь? Разве не верю в ниточку? Верю. Или меньше люблю его в эти дни? Нет, наоборот, напряженней, чем в другие, обычные. Значит, я и ниточку держу крепче, чем обычно, надежнее, чем обычно? И тут я поняла, что тревожусь не зря, что я действительно любила его в тот момент сильнее и острее – взрывом тоски и боли, но любила-то эгоистично, *не ему, а себе* люби-

ла. И ниточку его, конечно, при этом ослабила, потому что *за свою* двумя руками ухватила. Это и было мое открытие. Значит, дело не только в том, чтобы любить, и помнить активно, и создавать защитное поле. Дело не только в силе и в напряженности любви. Этого мало. Дело еще в том, *как* любить. Не всякая любовь создает защитное поле. Не всякая любовь держит ниточку жизни. Вот у меня ниточку ослабила эгоистичная направленность моей любви. А ведь могут быть и другие причины. Я вспомнила, что рассказывала своей знакомой о ниточках, и она сказала: «Если это правда, то почему же такое случилось с моим мужем?» Тогда я растерялась, а потом ответила: «Но это же как раз и подтверждает мои слова. Что было бы с твоим мужем, если бы ты не держала его ниточку?» Это ее убедило. Потому что он и в самом деле только ее усилиями на этом свете держался. Но у меня остался осадок. Я знала, что она очень любит мужа. Но знала и то, что она никогда не спасет его, как не спасла любимого сына. И тогда я поняла, что при всей своей сильной любви она всё же не держит ниточки своих любимых. Потому что любит не так, как им надо. Она – сама самоотверженность. Ее любовь не эгоистична. Но ее любовь неразумна. Я не могу сказать, как следует любить на ее месте. Но я знаю, что так, как она, любить не надо, нельзя, неправильно.

Может быть, сначала надо понять, что единственно важное и возможное на свете, что могут сделать человеки друг для друга, – это любить. Но поняв это, нужно, наверное, научиться понимать и другое: наша любовь несовершенна. Надо учиться любви. Это не только очень важно для нас, но и очень ответственно, потому что в этом залог надежности нас как держателей ниточек жизни.

Тогда-то я и осознала, что порой не могу удержать ниточки самых близких, самых любимых (а ведь была уверена, что не отпущу никогда, ни на секунду!) – и это стало для меня страшным открытием. Чью жизнь я смогу удержать, если самых любимых из рук выпускаю?..

И опять – «больно, больно, больно, больно».

А ведь я давно знала, что случится что-нибудь такое. Еще тогда, в Ясной Поляне, еще в Армении.

Мы гуляли с ней по двору Собора. Было солнечно и тепло. Потом сидели на скамейке, и что-то давило меня изнутри. Господи, как мне было грустно. Говорила ей какие-то слова и сама удивлялась тому, что произношу именно эти, а не другие. Говорила: «Я чувствую себя частью горы, чувствую себя частью этого собора, частью этой букашки, которая выползла из земли по своим делам. Чувствую, что

я – часть Единого Целого. И не только я, все люди, всё живое, вообще – всё. Но если это так, то почему нам так трудно понять друг друга? Почему я не могу понять тех, кто строил этот собор и молился в нем? Почему не могу понять муравья? Господи! Как трудно, как тяжело жить! Всем ли так тяжело, или это только мне выпало? И если мне, такой счастливой, так тяжело, то как же тяжело другим!..»

Сегодня мне кажется, что тогда, в Армении, странное предчувствие настигло меня. Предчувствие беды? Предчувствие собственно-го предательства?..

Считается, что все мы получаем то, что заслуживаем. Значит ли это, что Мира заслуживает свое «больно-больно-больно»? Не могу так думать. Помню о Божьей воле. Но может ли Бог хотеть, чтоб я безропотно принимала ее страдания, не попытавшись помочь, спасти? Если это ей испытание и урок, то и мне тоже.

До сих пор помню ее лицо, когда доктор в больнице сказал ей о страшном диагнозе. Она вздрогнула, помолчала секунду и сказала, в общем, спокойно: «Ну что ж... теперь остается только достойно умереть». И всё. И сразу пролегла черта между нами. Мы остаемся – она уходит. Мы можем любить ее сколько угодно – но она не может остаться с нами. А мы не можем с нею уйти.

Если мы миримся с мыслью о неизбежности смерти, если так смиренно принимаем факт, что каждый человек непременно умирает, что умерли Будда, Иисус Христос, Моцарт, Пушкин, Шекспир, миллионы хороших и плохих людей, старых, молодых и совсем юных, почему так невозможно душе принять неизбежность скорой смерти близкого человека? Почему так тоскует и мечется душа, так ищет выхода, мучается от безвыходности и не соглашается, не может, не хочет принять то, что ей предстоит. Это нелогично, бессмысленно, парадоксально. Но это правда...

Мне хотелось защитить Мирочку от этого «больно-больно», но как спасти, как уберечь? Если бы я была героем волшебной сказки, я бы сделала свою любимую неуязвимой для стрел, пуль и жал врагов. Я создала бы вокруг нее особое поле, проникнуть через которое не мог бы никто. Она жила бы внутри этого поля, будто внутри прозрачного шара. Шара, который нельзя увидеть, нащупать, порвать. Всё враждебное, чуждое, не замечая этого шара, устремлялось бы к ней, но останавливалось, наткнувшись на невидимую непроницаемую преграду. А внутри этого шара были бы только прозрачно-хрустальный горный воздух, не загрязненный враждой или смутой, только звенящая тишина, только свет, только покой...

Правильно или нет, что я всё время молчу – не заговариваю с ней о том, что тревожит и мучает, что невозможно принять? Всей душой, всеми силами души желая продлить ее жизнь, я все-таки понимаю, что ей – мирать, а мне – жить. И смерть ее мне предстоит пережить – и жить дальше. А ее нужно будет отдать. Как недавно Учителя отдала. Как раньше маму и папу. Я ей в глаза гляжу, слушаю каждое ее дыхание, но я *за нее* боюсь, а она *за себя*. Как же *она* боится! Ведь это *ее* ждет. Для меня это – трудно и страшно, но я не умру с нею или вместе с нею! Значит, между нами уже стена? Значит, она заранее знает, что я ее отпущу, предам?

Нужно ли Богу, чтобы я думала сейчас о смерти? Я думаю о ней очень много – по-разному и с разных сторон. О своей. О ее смерти. О смерти каждого отдельного незнакомого мне человека...

Нельзя роптать. Я не только знаю это, но мне и незачем это помнить: ропота нет в душе моей. Умирают все. Учителю не исполнилось и шестидесяти. Моя тетя Лиза, которой уже 75 лет, может быть, носит в себе смертельную и мучительную болезнь, что само по себе – «дело житейское», случается со многими и в гораздо более молодом возрасте. Значит, ее скорая смерть – это естественно, так, что ли?

Если мне рассказывают о чужих, посторонних, умерших на 76-м году жизни, я ведь не ужасаюсь, правда? Почему же так невозможно, невыносимо жалко тетю Лизу, почему? Почему было жалко Учителя? Почему мне сейчас так невозможно, невыносимо жалко умирающую Мирочку? С одной стороны, эта сжимающая, скрючивающая, давящая, душащая жалость, а с другой – и почти одновременно! – понимание, что умрет, а я буду жить дальше. Умер папа. Потом умерла мама. А я не только живу, но самые счастливые минуты, дни, годы моей жизни, самые главные открытия и достижения – всё это было со мной после их смерти. И значит, я заранее знаю, что переживу и ее смерть. Сначала мне будет плохо, а потом легче, а потом я, может быть, опять буду очень счастливой. И это даже правильно, потому что нормальное состояние для религиозного человека – состояние счастья. А она в это время будет мертвая. Ее не будет. Как нет сейчас мамы и папы.

Я – предатель? Я предаю ее? Предала маму, папу и тетю? Всех предаю, уходящих? Нет! Это лукавство. Это ложь, лицемерие и лукавство. Мы не можем остановить смерть, мы не можем уйти с каждым любимым. Предательства в этом нет. Но оно есть в другом...

Когда-то давно мне приснился сон.

Мы гуляем с Мирочкой по лесу. Тишина неба. Наше молчание. Должно быть, мне снится единение. Единение деревьев, кустов, трав,

палых листьев, грибов, насекомых, зверушек и птичек. Единение всего этого и чего-то еще, что только всё вместе и составляет лес. И наша к лесу причастность. Наши с ним единение. Мы молча бродим по тропинкам, наполненные любовью к лесу, любовью друг к дружке и к голубому небу над зеленоватым кружесом поющей листвы. Ветра нет. Кажется, и листок не шелохнется на деревьях, а все-таки мы слышим мелодию леса. Мелодию кустов и деревьев, мелодию птичек, мелодию травы... Покой... Гармония... Благодать.

Выходим к опушке, а оттуда на широкий пустырь, который должен вывести нас к какому-нибудь транспорту. Справа видим большой дом – безликое кирпичное здание современной застройки без балконов, с одинаковыми занавесками на окнах. Дом этот, похожий на общежитие, напоминает тот огромный безликий зарешеченный дом, в котором жил мой Володька, отбывая «химию». Мне даже кажется, что я вижу в окнах бритоголовых парней. Парни что-то кричат. Я не различаю слов, но понимаю, что это похабщина. Я понимаю это, но во мне еще жива гармония леса, и я как бы не слышу этой похабщины, не воспринимаю ее: тревоги нет.

Мы идем по направлению к дому, полагая, что за ним – дорога и, значит, мы как-то выберемся в город, домой.

Парни продолжают что-то кричать, и я уже понимаю, что это относится к нам, но не успеваю подумать об этом, потому что навстречу выбегает толпа женщин. Они бегут мимо в панике, увлекая нас за собой, и вот уже мы бежим вместе с ними прочь от дома к краю пустыря. Я пытаюсь расспрашивать их на бегу, но они только машут руками.

Мы резко сворачиваем вправо и прижимаемся к стене дома, стоим в нешироком проходе, а женщины пробегают мимо нас, их преследуют мужики. Стоим, выжидая, и начинаем уже надеяться, что они пробегут мимо, но один из парней оглядывается и возвращается к нам. Подбегает и прижимает меня к стене выставленной вперед рукой. Рука эта у самого моего подбородка держит меня, как решетка. Другой рукой он хватает и придерживает сестричку. Я смотрю на него. Молодой светловолосый парнишка с вполне симпатичным лицом. Начинаю его уговаривать. Говорю ему невесть откуда взявшиеся спокойные и даже ласковые слова. Смотрю ему в глаза и говорю человеческим голосом человеческие слова, направленные человеку. Мирочка молча дышит рядом. Я чувствую, что мальчик слышит меня, и моя речь становится всё более материнской. Так мама уговаривает своего ребенка. В глазах светловолосого появляется колебание, и я вижу, что между нами возникла и медленно укрепляется ниточка, связующая людей. Теперь мы трое связаны какими-то чело-

веческими отношениями, и я ощущаю, что мальчику будет уже нелегко причинить нам вред. Мы перестали быть абстракцией для него. В это время появляется какая-то девица. Толстая неопрятная девица с пустым лицом и белесыми глазами, в которых сейчас — хищная радость победителя. Она что-то быстро тарахтит светловолосому на непонятном мне языке, побрызгивая слюной и сладострастно хватая и потряхивая то меня, то сестричку. Я не понимаю ее речи, но отлично осознаю, что уговорить ее невозможно, что человеческого контакта с этим пустоглазым существом быть не может, что сейчас — ее сила и, значит, мы пропали.

Светловолосый достает две черные полотняные блузы и велит нам надеть их. Девица возмущенно выхватывает из его рук одну блузу и заменяет ее на серую. Протягивает ее сестричке, и та, покорная, послушно надевает ее. А я не хочу! И хотя не понимаю, что означают эти уродливые блузы, но изо всех сил сопротивляюсь. Девица что-то кричит, мальчик смотрит растерянно, и в суматохе им как-то удается натянуть на меня черную блузу.

Нас ведут в толпе женщин, я стараюсь держаться поближе к сестричке, и в то же время упрямо сдергиваю с себя ненавистную черную блузу. Почему-то мне кажется, что главная опасность, главное оскорбление именно в ней. «Сними, сними», — кричу я Мирочке. И срываю с себя эту мерзость. И тут же, освобожденная, хочу помочь сестре, но за эти несколько секунд нас уже развело, и я с ужасом чувствую, что разводит всё дальше. Я больше не могу ни схватить ее за руку, ни протиснуться к ней. Кричу и зову ее, потому что знаю: нам ни за что нельзя разлучаться. И тут резким ударом мой светловолосый конвоир толкает меня в сторону. Я спотыкаюсь, чуть не падаю и, удержавшись все-таки на ногах, обнаруживаю себя уже не в толпе пленниц, гонимых неизвестно куда, а в бурлящей, но неподвижной толпе наблюдателей. Светловолосого я еще успеваю разглядеть впереди, но Мирочку, сестричку мою, подгоняемую пустоглазой девицей, покорную мою сестричку, такую добрую и послушную, всегда готовую отдать всё и себя впридачу, всегда выручавшую и спасающую меня, любимую мою, родную мою, ту самую сестру мою, с которой только что вслушивались в тишину леса и впитывали благодать единения, я не вижу ее, не могу разглядеть в толпе, а толпа уходит всё дальше...

Я проталкиваюсь к потоку гонимых. Кричу от отчаянья что-то вроде «отпустите ее», или «это ошибка», или «отдайте мне ее», или «пустите меня к ней». Кто-то толкает меня, кто-то бьет, кто-то хватается за руку и оттаскивает в сторону.

Потом вместе с другими людьми я слоняюсь по пустырю, ожи-

дая неизвестно чего. Вижу, что сбежать невозможно. Пробраться сквозь решетчатые ворота, куда угнали мою сестричку, тоже невозможно, потому что они прочно закрыты, а за ними, метрах в пяти, – еще одни ворота и высокий забор. Мы томимся и ждем. Мы не знаем, что происходит там, за воротами, но мы ждем.

Утром вижу малыша лет пяти. Он играет на нейтральной полосе между заборами. Я называю ему имя моей сестры и прошу подождать ее к забору или что-нибудь узнать о ней. «Можешь?» – спрашиваю я его. Он молча кивает. «Ты не понял меня? Ты не хочешь?» – снова спрашиваю. Сосредоточенно хмурясь, он роется в лотке. Потом встает и протягивает мне коричневый бумажный пакетик. Я знаю, что в нем. Я беру пакетик в руки. Это пепел. На пакетице – имя, фамилия и возраст моей сестры.

Проснувшись, я думала о том, что и без того знала: из всех билетов она вытащит самый трудный, из всех диагнозов – самый страшный. А если вы летите с ней в самолете, и самолет терпит бедствие, а у вас только один парашют на двоих, то будьте уверены, что парашют достанется вам. Если вы старше, то по старшинству, а если моложе, она обязательно скажет: «Я уже пожила, а тебе еще жить и жить, бери парашют, спасайся».

Нет, я не думала тогда о предательстве, да ведь и не была еще предателем, наоборот. Как только она заболела, мое первое движение было – в кассу за билетом на самолет, а рассуждения потом. Когда я забирала ее из Израиля к себе в Америку, ее подруга спросила меня: «Ты действительно на что-то надеешься?» Я знала уже, что такое рак поджелудочной, но я правильно поступила тогда, забрав ее к себе. Я подарила ей два счастливых месяца. Они были полны боли и, наверное, страха. Но они были полны и любви. Много боли было у нас тогда, а любви все-таки больше. Она жила на берегу океана, смотрела на него каждый день. Мы ходили гулять, пока она еще могла. Океан был волшебным, особенно в сумерки, когда зыбь будто приближала его и казалось, что он подбегает к нам. А одновременно с этим – не знаю, почему нам так виделось, – над водой тоже струился океан. Он приподымался над собой и парил в воздухе, но не неподвижно, а бежал по воде к берегу, только не *по* воде, а *над* нею. Мы брели вдоль океана, а потом сидели у воды, у самой кромки. И было молчание. Долго сидели мы, ничего не говоря, не думая словами, но всем существом своим зная, что полноты жизни в нас не меньше, а больше, чем обычно. И были мы очень вместе и очень едины. Не за руки, не обнявшись, хотя и за руки, и обнявшись тоже, просто были единым существом. И я любила ее нежно и тихо. Молча сидели мы,

обнявшись и покачиваясь, слушая волны и тишину. Молча и неподвижно. И ничего не было нам нужно – ни слов, ни мыслей... А потом мы плыли на катере. И снова был океан. И была Тайна. И наше признание этой Тайне. И наше удивление оттого, что из почки, из клетки вырастает цветок, целое дерево или человек. И что всё это, значит, есть уже в той клетке. И, конечно, это легко объяснить научно, но как же не удивляться, ведь это всегда такое таинственное чудо... И были сумерки – время, когда всё видится обнажено и остро, будто души всех деревьев, домов, океана вышли нам навстречу. А вечерами океан молился. И мы молились. И не могли вместить того, что исходило от него в нас. И я любила ее, сидящую рядом со мной, прекрасную, близкую, родную. Знала, что это прощание, и я ничего не могу, ничего не могу с этим поделать... Мы гасили свет и сидели молча в комнате или на балконе, глядя на океан. Опускалась Тишина. Или это мы поднимались к ней? Это странное чувство: как постепенно отходит, отступает житейское – все вибрации, вся суета. И подходило Оно – большое, важное, единственное, ради чего живем на земле. Подходило, обнимало и поднимало ввысь... И Вечность впускала нас.

Порой на закате океан был совсем необыкновенным. Широкая серебристо-перламутровая прибрежная полоса сияла таинственным светом. Потом серебристость темнела. И при том же перламутровом сиянии – изнутри сиянии! – океан становился темно-фиолетовым, черно-фиолетовым. Очень печальным, космически-печальным. Даже цвет этот фиолетово-черный – космический. Таким мы представляли себе космическое пространство. И эта печаль, эта величественная печаль всё нарастала, нарастала... а океан всё темнел... и вдруг сразу, мгновенно, моментально, без подготовки всё обрывалось и превращалось в свет, в радость, в блеск, в сияние, в ликование. И мы радовались. Несмотря ни на что радовались и чувствовали себя счастливыми.

А потом ей становилось хуже и хуже. Я старалась делать всё возможное. Пробовали альтернативную медицину, японскую медицину, ствольные клетки. Да только не судьба была. И когда стало совсем плохо, сестры потребовали, чтоб я вернула ее домой в Израиль. Я и повезла. И это был конец всему. А потом – больница. И в этой больнице – всё страшнее, страшнее, страшнее. И это «больно-больно-больно» – всё чаще и всё ужаснее. И я молилась: «Господи, сохрани ее, самого доброго, самого бескорыстного, самого лучшего человека, сохрани Свою дочь, святую, утомленную и сломленную жизнью. Помоги ей, помоги ей, Господи!»

Она была очень терпеливой. Но обезболивающих уколов, которые ей давали раз в шесть часов, было недостаточно. Она мучилась. Она тряслась от боли. Я была рядом с ней, я всё время была рядом с

ней, я тогда еще не была предателем – и даже не знала, что стану. Но черное пятно внутри меня уже появилось и расплзлось. Я любила ее так же, как раньше, а может быть, еще больше, неистовей, острее, отчаянней. И так же, как раньше, жалела ее. Но я была совершенно беспомощна. Она приходила в себя и видела мое лицо рядом, и брала мою руку, и, может быть, ей становилось спокойнее. А я улыбалась ей и делала вид, что мне совсем не страшно. А потом, когда она засыпала после очередного укола морфия, я ходила по улицам и коридорам, по двору больницы и говорила сама себе какие-то слова. И в какой-то момент поняла, что не выдержу, что уеду, потому что больше не могу. Мой мальчишка, мой взрослый мальчишка кричал мне в трубку: «Не уезжайте! Это дело дней!» Все остальные были спокойнее. Они говорили: «Ты не можешь. Тебе надо на работу. Ты не можешь потерять работу». А я знала, что работу не потеряю. Ну, будут какие-то неприятности; ну, снимут у меня часть зарплаты. Какая разница? А если бы даже и потеряла... «Не уезжайте, это дело дней!» Моя подруга сказала мне: «Лучше бы тебе остаться. Но если ты не можешь выдержать...» И ей единственной я ответила: «Не могу выдержать. Уеду». И уехала. Сестры пытались обманывать ее. А потом она поняла. И сказала только: «Мася улетела». Это она меня называла Масей. В это время я была уже дома и знала, что оставила ее. Через две недели она умерла.

«Если мы любим друг друга, то и Бог в нас пребывает.» Но я оставила ее в беде, оставила умирать. Значит ли это, что Бог не бывал во мне, значит ли это, что я ее не любила?..

Не любила? С этим я не могла согласиться.

Значит, моя любовь не была хранящей?

Но как учиться, как научиться любви, той любви, в которой пребывает Бог?

Научи меня, Господи! Научи любить. Пусть вся жизнь моя, все мои мысли, поступки, всё-всё, что составляет мою жизнь, рождается любовью. Помогите мне, благослови меня, Господи...

ТЕТЯ ЛИЗА

Боль постепенно стихает. Лежу, боясь пошевелиться, чтоб не «разбудить» ее. Надеюсь, что обойдется без настоящего приступа. Три часа утра. Рано еще. Хорошо бы уснуть. Тогда время побежит быстро, и боль уляжется. Начинаю проваливаться в пяти-, десяти-, пятнадцатиминутный сон, даже сны успевают присниться. Всё почему-то о детстве, о Новом годе, о елке – там, в Одессе, в квартире на Пушкинской,

где я выросла. В квартире, которая тогда казалась такой большой и просторной, с длинным праздничным столом по диагонали комнаты...

...Елку мы ставили каждый год. Папа укреплял ее веревками-растяжками, а стояла она на полу в ведре с мокрым песком. Игрушки были не очень дорогие, но каждый год подкупали немножко новых. Мы с сестрой собирали на это деньги. И мама давала. Поход за игрушками всегда был событием. Толпа, очередь, трудно пробиться к прилавку. Но, пробившись, выбирать – еще трудней. Всё хочется купить. И этот шарик, и этот дождик, и эту снегурочку!.. Мама нас сдерживала, и приходилось выбирать. Например, либо один дорогой стеклянный велосипедик (он потом долгую жизнь прожил, до самой моей эмиграции, вот только не припомню, взяла ли его в Америку), либо три шарика и снежинку.

Украшали елку все вместе. Так что сюрприза – такого, чтобы войти в комнату и ахнуть, как это описывается в книжках, – у нас не было. Зато было ожидаемое завораживающее действие установки (главный – папа) и украшения (главные – мы с сестрой).

А вот самую встречу Нового года я почти не помню. Помню только начало. Как все затихали, прислушивались к радиоточке-тарелке. Телевизоров тогда еще не было. Куранты. Голос Левитана. Поздравления... Потом все радовались, обнимали друг друга. Первый тост, как всегда, за товарища Сталина. Не знаю, почему взрослые так поступали. Считали, что так нужно? Или боялись друг друга? Тост произносил дядя Андрей, друг нашей семьи. И после этого тоста начиналось веселье. Но его я уже не помню. Может быть, засыпала вскоре. Помню только коронные угощения. Винегрет – красивый, разноцветный. Холодец. О нем больше помню, как его готовили накануне. Как освобождали мясо от костей, которые мы с сестрой с восторгом обсасывали, как потом заливали кусочки мяса чесночным бульоном, как украшали тонкими ломтиками моркови и крутого яйца, как торжественно мама и тетя Лиза несли на вытянутых руках на балкон тарелки, где холоду положено было застывать: холодильников тогда еще не было. Ну и торт «Наполеон». О котором рассказать невозможно, хотя и сейчас еще во рту вкус того крема, остатки которого нам с сестрой выпадало вылизывать, когда мама и тетя заканчивали процесс священнодействия...

...Смотрю на часы. Ой, совсем мало времени прошло. Так ведь ночь никогда не окончится. Может быть, попробовать поменять позу, боль вроде уже совсем слабая. Нет, пока не получается...

А с подарками на детских утренниках всегда были проблемы. Подарки эти чаще всего покупали сами родители, т. е. вносили деньги родители, а вручал Дед Мороз или администрация. Мы, дети, всего этого, конечно, не знали. Хотя помню, что мне объяснили четко: «Ты уже большая, должна понимать. У этих детей на приглательном билете есть печать. Они получают подарки. На твоём билете печати нет. Как же можно дать тебе подарок? Поняла?»

Нет, не поняла. Но мне было противно и стыдно, будто я попрошайка. Будто я второсортная, беспечатная. Гораздо ближе и понятнее этих объяснений было поведение другой обиженной девочки, которая сказала: «Ну и подумаешь. Мне мама еще лучше купит!» Или мальчишки, которого попросили отойти в сторонку, а он заорал: «В гробу я видел ваши подарки! В белых тапочках!» — и подставил ногу пробежавшему мимо пареньку, спешившему занять очередь за подарочными пакетами. Сама-то я редко бывала среди обиженных: мама старалась этого не допускать, хотя нас было двое, и ей это было нелегко.

А еще были замечательные подарки в Доме медицинских работников, куда я ходила в драматический кружок. Эти подарки выдавались нам несколько раз: после каждого сыгранного новогоднего спектакля или концерта. И были это не какие-то там кульки с конфетами и печеньем, а книги. И мы могли выбирать их сами.

Книги раскладывались на столе. Ты заходил в заветную комнату, где уже стояли директор клуба и любимая, самая любимейшая на свете руководительница драмкружка Валентина Семеновна. Они улыбались тебе, поздравляли, хвалили твою игру на сцене. И ты верил, что действительно играл хорошо. И вот теперь тебе вручают подарок — немножко и в самом деле новогодний подарок, но немножко и приз за твое участие в представлении (а роль была — архисерьезная; например, в костюме белочки выбежать на сцену и произнести: «Новостей сегодня — воз». Тут «зайцы» кричали возбужденно: «Говори!» И я-белочка отвечала: «На елку в гости едет дедушка Мороз». Ну и всё в таком же духе).

Ты подходил к столу и рассматривал книги, выбирал, какую возьмешь сегодня. Книги лежали аккуратными стопками, и ты видел, что «Повести о детях» Артюховой уже заканчивались, осталось всего три экземпляра, как и красочные «Русские народные сказки» с картинками. А вот «Собор Парижской Богоматери» возвышался над всеми стопками, его можно было оставить на потом. И после долгих колебаний и разглядываний ты брал, наконец, книгу. Тебе ее тут же подписывала Валентина Семеновна, а директор ставил круглую печать. Теперь это был именной подарок «За участие». У меня до сих

пор этот «Собор» на полке стоит. И много книжечек оттуда пополнило мою домашнюю библиотечку. И «Повести Белкина», и Паустовский, и Гайдар. Так как я выбирала не самые популярные книги, часто мне предлагали взять две, и я, разумеется, не отказывалась.

...Пытаюсь встать. Получается. Значит, становится лучше. И приступа все-таки не будет. Выхожу в коридор прогуляться. Иду к елочке. Она сейчас совсем одна, все спят, никого вокруг. Игрушки на ней все американские, но убогость вполне советская. Бедная ты моя, бедная... И в лесу ты не родилась и не выросла, а сделана была где-то на фабрике. И игрушки на тебе не престижные. Но я тебя всё равно люблю.

Под елочкой стоят игрушки. Деда Морозы, Санта Клаусы, снегурочки разные, зверушки, куклы. Одна из них привлекает мое внимание. Это целлулоидный пупс, совсем простая игрушка. Кукла с согнутыми ножками и ручками. Я смотрю на нее: откуда она здесь? И наплывает воспоминание, будто Дерево снова показывает мне фильмы...

Мы идем по Дерибасовской. Мама, тетя и я. Мы идем, они разговаривают о чем-то, а я размышляю, что вот у всех детей мама и папа, бывают еще бабушки или дедушки, а у меня мама, папа и тетя. И, наверное, тетя тоже любит меня, как мама и папа. Поэтому у всех по двое родителей, а у меня – трое. В это время тетя вдруг отпускает мою руку и ныряет в магазин, мимо которого мы проходим. А через несколько минут возвращается и протягивает мне пупса. Вот такого же, как сегодняшний под елочкой. Я не хотела этого пупса, он не нравился мне. Мне тогда нравилось не с куклами играть, а ползать с пистолетом по полу под столом, воображая себя партизаном. И я смотрю на нее растерянно, а она радостно улыбается, протягивая мне игрушку, и мне становится так жалко, так жалко ее, что вот ведь она думает, что обрадовала, а я... и я хватаю куклу, и целую ее, и говорю какие-то восторженные глупости...

Отношения мои с тетей Лизой складывались по-разному. Я знала ее с самого рождения и воспринимала так же естественно, как маму и папу. Только мама и папа уходили на весь день на работу, а тетя Лиза была с нами – со мной и с сестрой. Иногда она казалась мне доброй, когда водила в магазин и мы стояли с ней в очереди за сахаром, мукой или керосином, и она отвоевывала мое право: «Как это не давать на ребенка! Ребенок отстоял очередь!» Иногда я злилась на нее, если она ябедничала маме, что я опять плохо себя вела и была «плохой девочкой». Тогда у мамы начинался сердечный припадок. Она лежала без движений и только молча стонала, мы прикладывали

ей к сердцу холодную мокрую тряпку, и я обмахивала ее газетой или журналом, замирая от страха, представляя, что может сейчас произойти с мамой по моей вине...

Снова усилилась боль. Я возвращаюсь в палату и ложусь. Во рту и в горле вдруг становится горячо, как почти всегда бывает, когда я обнимаю Дерево.

– Ты зовешь меня? – спрашиваю молча.

Ложусь на спину и пытаюсь расслабиться. Сначала вибрации во мне не хотят успокаиваться, лежать неловко, всё время хочется поменять позу или погладить болящее место. Но постепенно это проходит. Плотность начинает уменьшаться. Я лежу с закрытыми глазами, слушаю отсутствие звуков и...

– Ну хорошо, – говорю я Дереву, – ты много показываешь из того, что со мной было. Ты, может быть, просто вынимаешь это из меня, активируешь своей энергией и показываешь мне. Но ведь оно и так жило где-то в моей памяти, в моем подсознании. А можешь ли ты показать мне то, чего я никогда не видела? Покажи мне то, чего я никогда не видела, Дерево!

Сначала появилась вода. А может быть, не вода, но что-то похожее на потоки воды – то небольшие, то совсем маленькие, льющиеся сверху вниз плоские потоки чего-то серебристо-прозрачного. Потом началось струение неоформленных полутеней, а может быть, полупятен неярких блеклых тонов с преобладанием сизого, блекло-свекольного – очень темного, но не переходящего в коричневый. Потом поплыло что-то вроде тумана голубовато-сизого цвета, почти прозрачного. Потом началась пляска множества геометрических фигур, почти как в калейдоскопе, но там они цветные и яркие и складываются в неподвижные узоры, а здесь они были неяркие, расплывчатые и без остановки танцевали – плавно и не слишком быстро, но не останавливаясь ни на миг. Потом из них выделились фигуры цвета ночного беззвездного неба. И я увидела...

Кукурузное поле волнуется, будто понимает, что происходит что-то ужасное. Кукурузное поле волнуется и прячет, прячет, прячет девчушку лет девяти или десяти, которая скорчилась, обняв себя ручками и уткнувшись головой в колени, и трясется, трясется, трясется от страха, и не может закрыть глаза, не может оторвать их от того, что они видят, и не может остановить свой беззвучный вопль, свое отчаянное «мамочка, ма-а-ма!» Мама не смотрит на нее. Мама стоит на крыльце с младшеньким на руках, и на лице ее те же ужас, и страх, и мольба, и отчаянье. Но что за дело до ее ужаса и

мольбы этому черному в шинели и папахе с косой красной лентой посредине? Разве остановят они его шапку? И в восторге от своей ловкости и умелости он разрубает их обоих одним махом – маму с младенцем на руках одновременно...

На какое-то время девочка теряет сознание и не видит, что происходит на крыльце, – и на улицах их местечка. Не видит бегущих врассыпную испуганных людей, не слышит их гортанных криков, не видит восторженных победителей и еще теплые трупы убитых. Когда она приходит в себя, ее первая мысль – папа. Папа в кузнице. Надо к нему. Он спасет, защитит, спрячет. Она бежит по уже опустевшим улицам, не осознавая, что это опасно. Не помня себя, бежит она к папе. Удача сопутствует ей. Никто не остановил, не избил, не надругался. Она прибегает в кузницу. Посредине в кроватке луже лежит ее отец с перерезанным горлом. Рядом несколько трупов. Она снова теряет сознание...

В тот день Лизочка забыла, как люди разговаривают. К ней обращались и на идиш, и на русском, и на украинском. Она молча смотрела расширенными глазами, и никто не мог сказать, понимает ли она, что ей говорят. Из семерых детей этой семьи выжило трое. Лизочка бродяжила какое-то время. Потом ее взяли в детский дом. Старшая сестра пришла к ней. «Я уезжаю в Америку, – сказала она. – Но я вернусь за вами, за тобой и за маленьким Гейнихом. Слышишь меня, Лизочка?» Лизочка смотрела на нее и ничего не отвечала. Так и расстались.

Доктор успокаивал сестру, говорил, что это нервный шок, что он пройдет, и со временем девочка снова заговорит. А пока пусть поживет в детском доме. Вот только учиться она, конечно, не сможет.

Закрываю глаза. Не хочу этого видеть. Не хочу знать, что люди так поступают друг с другом. Не хочу этому верить. Дерево, отпусти меня, зачем ты показываешь мне это?!

Я много раз думала: почему, когда обнимаю свое Дерево, а потом открываю глаза, у меня возникает ощущение, что я не возвратилась в наш привычный мир, а попала в иной, хотя ничто вокруг меня не изменилось, и вижу я вроде бы то же, что и раньше. Та же трава, те же деревья, те же дома. И все-таки изменилось всё. Это иной мир...

Лизочка жила в детском доме, ни с кем не разговаривая, ни о чем не прося и не спрашивая. Она не ходила в школу. Не плакала. Не жаловалась. Постепенно речь вернулась к ней, но в себя она так и не пришла. Стала покорной и пассивной. Когда к ней подошла какая-то тетя и предложила взять «в дети», она согласилась. И стала жить у

нее. Старшая сестра выполнила свое обещание. Она не приехала сама, но прислала людей из еврейской общины. Младший брат решил ехать. А Лизочка не знала, как поступить. И когда тетя, у которой она жила, сказала ей: «Не уезжай. Мы к тебе уже привыкли», – она послушно осталась. Хотя тетя эта не столько баловала ее, сколько заставляла работать в своем заведении «Воды».

Там-то она и встретилась с моей мамой. Которая тогда еще не была мамой, конечно, а была девушкой из бедной еврейской семьи, отправленной к дальней родственнице помогать ей по хозяйству – ну и откормиться слегка. Дружба оказалась крепкой. На всю жизнь. Вместе потом уехали в Одессу. Жили в Одессе в одной квартире. Мама училась. Лиза работала в пекарне. Там и встретила своего мужа. Они поженились 18 апреля 1941 года. А когда папа стал эвакуировать семью, мама твердо сказала, что без Лизы никуда не уедет. И папе удалось достать талон на эвакуацию и для нее. Может быть, тогда они впервые объявили себя сестрами.

Муж писал Лизе письма с фронта:

«Лизочка, я тебе послал уже писем десять или двенадцать и не могу понять, почему я до сих пор без письма от тебя. Я думаю, что ты связь со мною не потеряешь, а наоборот, будешь писать часто, ведь я, будучи в армии, также не забываю, что имею самого близко друга жизни. Это ты, моя прекрасная жена...»

«Лизочка, теперь, когда ты уже знаешь мой адрес, я думаю, что будешь писать чаще, чтобы я меньше волновался и трудился на благо нашей родины для быстрого разгрома гитлеровских людоедов и чтобы снова мы могли зажить с тобой хорошей счастливой жизнью. Лизочка моя милая, нет терпения, так хотел бы уже тебя видеть. Уже прошло два года нашей разлуки.»

«Здравствуй, моя дорогая жена Лизочка. Пишет тебе твой Генрих. Могу писать, что здоров, чего желаю тебе, Лизочка, милая... Благодарю тебя за то, что ты помогла мне найти моих сестер и братьев. Я теперь еще раз убедился, что ты есть хороший друг и любимая жена, так что хотелось бы уже быть вместе с тобой и друг другу помогать в дальнейшей жизни.»

«Дорогая моя Лизочка, мне каждый раз снится, что ты приехала ко мне, и я вижу хорошо черты твоего лица.»

Последние письма датированы 1943 годом. А потом пришла похоронка: «Эвакогоспиталь 1692 сообщает, что Ваш муж, Гейних Михайлович Гофман, 1912 г. рождения, умер 1/1-44 от туберкулеза легких. Похоронен: г. Курск, Московское кладбище, могила № 65. Делопроизводитель А. Беляков.

Р. С. Напишите точно место призыва в РККА.»

«Хватит, Дерево, — сказала я тихо. — Мне страшно. Перестань это показывать. Давай теперь я покажу тебе свою тетю.» И когда стало горячо во рту и в горле, я тихо — без слов и без звуков — стала рассказывать Дереву о тете Лизе. Это было легко. Нужно было только хорошо увидеть ее внутренним зрением, и Дерево сразу начинало видеть вместе со мной. Я показала ему сначала совсем молодую тетю — такой я помнила ее только по фотографиям. Красивую, в длинном платье и с сумочкой в руке. А потом постарше. И, наконец, уже ту, которую знала сама, — старенькую и больную. Дерево смотрело со мной, а потом я и не заметила, что мы остались с тетей вдвоем, и было в этом много света и грусти, но грусть уже не была тяжелой.

Когда было мне лет одиннадцать или двенадцать, я спросила у мамы:

- Мам, тетя Лиза — моя родная тетя?
- Да.
- Значит, она сестра твоя или папина?
- Моя.
- Тогда почему же у вас разные фамилии?
- Это фамилии по мужу.
- Нет, у вас и девичьи фамилии разные.

Так я узнала тайну нашей семьи. И так впервые полюбила тетю Лизу не той естественной врожденной детской любовью, которой любят дети всё то, в чем живут, что составляет их мир, их семью, их жизнь и безопасность, а той человеческой любовью, которой любят и жалеют страдальцев и мучеников, той любовью, которая не только принимает заботу и защиту, но сама стремится защищать и заботиться.

Тогда я начала расспрашивать ее о детстве и о людях, которые ей встречались. И она рассказывала мне о них разное. И о тех, кто прятал ее на ночь в те страшные погромные дни — и даже уговаривал погромщиков: «Оставьте ее, оставьте, пожалуйста. Зачем вам она? Она маленькая». Но на следующий день все-таки говорили: «Иди дальше, девочка». Очень уж было им страшно... И о тех, кто в ответ на просьбу: «Дайте хлебушка, тетя» — отвечал: «Вымой полы, дам хлеба». И о том, какой недолгий срок, меньше трех месяцев, выпал ей жить своей отдельной, не зависимой ни от кого жизнью, быть женой и хозяйкой маленькой, только что родившейся семьи. А сейчас вот она жила с нами. И я знала, что у меня трое родителей: мама, папа и тетя.

В то время я еще не умела понимать, что семья, в которой две женщины и один мужчина, непременно столкнется с проблемами, трудностями и испытаниями. Я не умела понимать, что маме бывало трудно всегда оставаться при третьем, вернее, третьей, что она не

могла ни побыть с мужем наедине, ни пойти с ним погулять или в театр вдвоем, а ведь они были еще молоды. Я всегда принимала только тетину сторону. Потому что она страдалница. Потому что ей плохо. Она одинока и несчастна. Ее никто, в общем-то, не любит так, как папа любит маму или оба они – меня и сестру...

И когда мамы не стало, а тетя какое-то время продолжала жить с семьей старшей сестры, я ревниво и зорко следила за тем, не обижают ли мою тетю Лизу. И когда решила, что обижают, немедленно забрала ее к себе.

С этого дня и началась ее новая жизнь. Потому что, если до сих пор она была недолюбленной, в каком-то смысле слова приживалкой при семье моей матери или сестры, то теперь она сделалась главой нашей маленькой семьи, состоящей из двух человек: ее – первой и главной, и меня. И не было для меня счастья большего, чем показывать ей всячески, как она необходима, востребована, хороша и любима, любима, любима!

Она преобразилась, моя тетя Лиза. Стала улыбчивой, радостной и дарящей радость. Обрела уверенность в себе. В ней стали проявляться новые чудесные свойства: она умела превращать в праздник даже самые простые вещи. Вот принесла я зелень с базара. Ну и что? Надо варить борщ. Что ж тут такого? Но глаза у тети Лизы делаются сияющими и счастливыми. Улыбаясь, вынимает она из корзины пучки шпината, укропа и петрушки, будто букеты прекрасных цветов. И в доме начинается праздник. Тетя Лиза не варит борщ, а чудодействует. Она предвкушает, сколько удовольствия подарит близким, и от этого сама становится всё радостней. Как волшебную палочку, держит она в руке ложку. Еще одно прикосновение, еще чуть-чуть соли, еще немножечко чуда – готово! Такой борщ нельзя есть просто так. Для праздника нужны гости. И тетя Лиза начинает выбирать, кого бы пригласить на борщ в этот раз. Выбрав, звонит по телефону: «Приходите! Я дам вам такой борщ, вы такого еще не ели!» Она говорит это ликуя и торжествуя, а на другом конце провода слышат: «Приходите! Я подарю вам праздник!»

– Тетя Лиза, – звонит ей из Нью-Йорка бывший одессит, а ныне учитель бруклинской школы. – Тетя Лиза! Я проголодался! Я приеду к вам летом, пожарьте мне блинчики!

– Тетя Лиза! – названивает московский студент и молодожен. – Мы приедем к вам с Леночкой. Научите ее готовить икру по-одесски из синеньких!

– Тетя Лиза, – ластится врач-офтальмолог из института Филатова, – я испекла шарлотку точно по вашему рецепту, но у меня получилось совсем не так, как у вас. Вы чего-то мне не сказали?

Она сказала ей всё. Но как рассказать рецепт чуда? Как научить превращать простые стеклышки в волшебные хрусталики, семейные обеды в веселые торжества, обычные беседы в сокровенные таинства? Этому не учат. Это дарят. Если, конечно, умеют сами.

Боже мой, что же творит с человеком любовь... Как изменилась, как расцвела моя тетя Лиза! Откуда появились у нее и женское кокетство, и осознание себя не принимающей, а дарящей, и щедрость дарящего? Одна из моих подруг даже написала о ней заметку в газету: «Бывают такие специальные люди, вся жизнь которых принадлежит свету. Они сами не всегда об этом догадываются, просто живут, делая обязательные дела жизни и не делая того, что против совести. Тетя Лиза, или бабушка, как называет ее мой младшенький, – именно такой человек. Безошибочно хороший. Светлый. Согревающий окружающих. Ее, маленькой, с седыми тоненькими волосами, с цепкими худенькими пальцами, привыкшими к утомительной кухонной работе, хватает и на меня, вечно замотанную, забывающую бытовые надобности, и на моего сына, недоверчивого, знающего, что сначала всегда трудно и больно, и только потом, как награда, может быть хорошо. А может и не быть. Так вот, бабушка Лиза – это всегда хорошо. Будет. И поэтому мы с ним любим ходить в дом, где живет бабушка-тетя Лиза. Только редко получается. Но, приходя, всегда попадаем в круг света, любви, покоя и тепла».

А потом тетя начала болеть. Это было страшно. И я поняла тогда, что тетя Лиза – мой земной корень, последний и единственный после смерти мамы и папы. Тот корень, благодаря которому я могу существовать на земле, существовать в этом мире, существовать в нашей с ней квартире, в нашем с ней городе. Благодаря этому корню приобретают какой-то смысл и какое-то оправдание все мои земные проявления в этом чужом мире – зарабатывание денег, хождение на работу, на рынок и в магазины, выполнение всяких маленьких дел и обязанностей. Без нее всё земное лишается оправдания и смысла. И это плохо и страшно, потому что, воплощенная, я ведь живу на земле...

Мои друзья трогательно заботились в эти дни о нас с тетей. Они кормили ее, кормили меня (я ела только то, что они приносили), Витя бегал в аптеку и почти весь день провел под больничными окнами, Алла помогала мне переворачивать тетю, отвлекала ее разговорами. А главное, они не оставляли меня, всё время были рядом. Хотели сменить меня, но я отказывалась. Мысль о том, что кто-то другой, не я, будет сидеть с тетей, казалась мне странной. Мне говорили: «Вы долго не выдержите, если будете дежурить круглосуточно». Но я не

верила. Мне совсем нетрудно было находиться возле тети день и ночь. Я не дежурила, а просто жила рядом с ней какой-то необычной, сконцентрированной жизнью. И ночи без сна не казались мне тяжелыми. Да и не были они совсем бессонными, эти ночи. Иногда я спала на свободной кровати. Спать в то время я могла даже стоя.

Витя все-таки устроил мне небольшую передышку. Принес книжечку стихотворений Петровых и буквально заставлял читать, как раньше заставлял съедать принесенную им еду.

Есть что-то очищающее в ночной больнице. Какое-то странное сочетание святости и цинизма в деловитых мальчиках, спокойно выполняющих свои обязанности, спокойно копошащихся с клизмами и капельницами, равнодушных и сострадающих мальчиках. Им велено поставить укол в вену, и они ищут, колют, трудятся над плохими тетинскими венами, и это помогает ей, но и мучает сверх необходимого от их неумелости. Они все (или большинство) – хорошие мальчики, хотя плохие медбратики и еще никакие врачи. Я их люблю, и жалею, и хочу посадить на диванчик, как своих деток, и рассказать им то, о чем сама думаю, а они пока еще нет; разбудить их, помочь им проснуться. Но у нас ситуация противоположная: сейчас не я им, а они нам помогают. И потому они – старшие. А я, заискивая, могу только смотреть: попал в вену или опять не попал? Тот мальчик, который ставил тете клизму в нашей первой больнице, когда ночью ее хотели оперировать, тот мальчик, молоденький Сережа в джинсах и кроссовках, совсем не стеснялся ставить эту клизму, и очень старался, и ставил во второй раз, когда не помог первый, и не стыдился, и не видел старого тетинского тела, так странно обнаженного перед ним. И как он огорчился, когда не помогла вторая. И обреченно сказал мне: «Ну всё. Теперь операция. Теперь бабушке будут делать операцию». Он знал, что это значит для бабушки, и от этого ему тоже было плохо. И второй мальчик, который ему помогал, тоже покраснел и огорчился. Но через несколько минут они уже разговаривали о другом, беззаботном, юношеском, хотя всё еще были рядом с нами и этой грядущей операцией, и это было естественно, я понимала. Но и неестественно тоже. Только что так искренне огорчались – и сразу так же искренне забыли... Но ведь и я по-настоящему страдаю только за тетю, а остальных жалею, но не так – не так, как ее. И тоже не умираю от того, что вот эту женщину из нашей палаты завтра переводят в онкологическое отделение.

А утром у тети повторилось кровотечение. И врач, который еще вчера собирался выписывать ее из больницы на амбулаторное лечение, сегодня сказал, что у нее в животе две опухоли – слева и справа – и что это распад тканей. Я ему не поверила. Но поверила в начало конца.

Это был ужасно тоскливый день. Что нам предстояло? Мне было

страшно. И, до невозможности выдержать, жалко тетю. И стыдно перед ней, что вот она уходит, а я остаюсь. Если бы я могла говорить, я говорила бы о любви к тете, о ее жизни, о коротеньком детстве, так безжалостно прерванном тем погромом, о сиротском отрочестве у чужих людей, о коротком замужестве, из которого ушел на войну и в смерть ее любимый, не оставив ей даже ребеночка. И о долгой жизни «на вторых ролях» в семье, где растила не своих дочерей – нас с моей старшей сестрой. И об обидах. И о жизни, не знающей своего счастья, а только нашу жизнь и наше счастье. И вот теперь ей предстояло умереть в больнице среди чужих людей, со мной, не умеющей оказать помощь, и врачом, не желающим ее оказать.

Следующая ночь была особенно тяжелой. Может быть, Бог хотел приучить нас к неизбежности скорого конца. Тетя вела себя мужественно. Я восхищалась ею и преклонялась перед ней. К утру ей стало лучше. И она сразу обрела «человеческий» облик. Ей хотелось разговаривать о жизни и строить планы на будущее. Приходили люди. Приносили лед. Алла ходила к врачу, который наблюдал тетю. И снова появилась надежда. Я стала лихорадочно верить, что тетя выживет. Но как только гости ушли, снова была рвота кровью. Черной, как мазут. Больные и медсестра успокаивали, что это старая кровь, старое кровотечение... Господи, какое у нее было лицо! И как я его любила! И как необходимо оно было мне для жизни!.. «Прошу Тебя, Господи, – истово молилась я, – сохрани и продли тетину жизнь. Не дай ей умереть. Сделай так, чтоб она еще пожила на этом свете. Сохрани ее, старенькую, слабую, больную, капризную, как ребеночек. У нее была такая страшная и такая унижительная жизнь, что просто невозможно не ‘побаловать’ ее хоть на старости лет. Сжался над ней, помилуй ее, благослови ее. Не принимай в расчет ее слабости и грехи, не принимай в расчет мои грехи и слабости. Продли ее жизнь, останови то страшное, помоги ей, Господи, помоги ей!»

Впрочем, молилась я тогда в основном без слов. Но молитва была, по-моему, слышимой. Весь этот страшный и тяжелый период я как-то особенно ощущала присутствие Бога и свою... не могу подобрать слова. Всё внутри меня было напряжено и насыщено Им. Я вверялась Ему и просила Его о тетиной жизни. Я знала и понимала, что всё должно быть и всё будет по Его воле – и принимала это безропотно и покорно... Нет, не так, не совсем так... Скорее, это была не безропотность и не покорность, а... всем существом своим я ощущала тогда Бога любящим, заботливым и всемогущим Отцом, который никогда не оставит, всегда защитит, спасет, поможет. И Он держит нас с тетей в руке своей.

Вот одно из немногих моих больничных писем того времени:

Скоро мы узнаем, есть ли у тети опухоль. Я знаю, что всё будет по воле Божьей. И прошу Его не оставить тетю Лизу, хранить ее.

Я перестала лихорадочно бояться за себя, жалеть себя, успокаивать себя. Теперь мне редко приходят в голову мысли о моей судьбе в связи с тетиной болезнью, и от них легко отмахнуться. О тете я тоже думаю мало, то есть я очень много о ней думаю. Но я перестала считать дни, прикидывать, прогнозировать. Мы живем. Пока можем, ходим на прогулки, живем обычной жизнью, любим друг друга, стараемся (я), чтобы ей было хорошо, спокойно, по возможности радостно... не знаю, как будет дальше. Но сейчас ни лихорадки, ни экзальтации в нашей жизни нет. Есть какой-то новый для меня и потому не выразимый словами покой. Может быть, потому что мы не одни? Может быть, это потому, что не мы идем, а нас ведут? И мы доверились ведущему нас?

В эти дни (сколько их? две ночи и два дня?) вместились очень много, но говорить об этом не могу, может быть, смогу позже. самого важного мы еще не знаем: отчего у тети было кровотечение и что для нас из этого следует. Пока мы вернули ее с дороги на тот свет, т. е. в ближайшие дни, сегодня-завтра, это не должно случиться. Что же касается будущего – ничего нельзя сказать. Вплоть до самого страшного, что наиболее вероятно, всё возможно. Хороших вариантов, кажется, нет. Есть плохие и еще более плохие. Операция грозит тоже. Но это всё потом, хоть и очень скоро. Сначала надо вывести тетю Лизу из состояния полужизни. Сейчас она потеряла много крови и обезвожена, плохо с сердцем, с кровью, с давлением – со всем организмом. Питание она получает почти исключительно в вену – капельницей. Посмотрим. Но ты не думай, что все эти два дня и две ночи были сплошным страхом без передышки. Передышки были. Первая, когда тетю уложили, наконец, на кровать в палате. Было поздно, все спали. И вдруг стало как-то странно легко, нет, не легко... я не подбираю слова. Облегчено и спокойно. Как после молитвы иногда бывает, если молитва – не только слова. Это и было после молитвы. Молитвы веры и доверия Богу. Хорошо и спокойно было ввериться (т. е. вверить себя и тетю) Богу. И стало... как если бы кто-то прикрыл своим легким крылом и успокоил. Может быть, Господь послал своего ангела-утешителя? И до трех часов ночи, пока тетя лежала под капельницей, мы сидели в ночной спящей больнице какие-то религиозно спокойные, просветленно опустошенные... нет, слов не знаю. Но было. Может быть, этому способствовало то, что мы привезли, наконец, тетю туда, где начнут помогать...

Никогда в жизни – ни кому-то, ни себе самой – не смогу я рассказать словами, передать ту ночь, ту самую страшную в моей жизни

ночь с воскресенья на понедельник. Могу сказать только, что, входя в эту ночь, я была убеждена в том, что тетя не доживет до утра. Всю ночь я ожидала, что это случится сейчас или через несколько минут. Я уже отпускала ее и, молясь, просила не о жизни для нее, а о прекращении страданий. Мы уже попрощались с нею. И... нет, не могу говорить об этой ночи. Но Бог сжалился над нами. И вернул тетю Лизу оттуда, куда нам не приходилось еще заглядывать.

В этом должен был быть какой-то неведомый мне смысл. Случилось же так, что тетя стала для меня человеком необходимым, как сама жизнь.

В детстве, когда болен и слаб или ищешь защиты, или просто хочешь укрыться от страшного и чужого, как хорошо держать маму за руку! Тетя Лиза была лишена этого. Не было для нее маминой руки, не было маминой тревоги и ласки. Даже еще хуже: сначала были, а потом...

Но ведь не только в детстве, всю жизнь мы держимся за чью-то руку, когда нам трудно, больно или тревожно. Держимся за руку, дарящую нам покой. Руку любимого или любимой, руку друга, руку старшего. И сейчас, когда тетя Лиза заболела так страшно, так безнадежно, моя рука стала для нее той, маминой. Может быть впервые после тех ужасных дней погромного кошмара. А я впервые осознала, поняла, что чувствует эта рука, успокаивающая, дарящая облегчение от боли, снимающая страх. Что делается с маминой рукой, с самой мамой, когда она перетекает в больного, в слабого, в ребеночка – покоем и защитой. Как ей самой при этом тревожно, и страшно, и больно. Я узнала это, когда легла рядом с больной стонущей тетей, положив руку ей на голову. И когда тетя затихла под моей рукой, я видела, чувствовала, что ей уже не так страшно. Она думала, что я спокойна, а в это время я боялась и тревожилась за двоих...

И началась наша долгая жизнь на грани. Жизнь, когда переходы от отчаянья к надежде и обратно стали рутиной.

Я вела тогда свои «медицинские» – да и не только «медицинские» – записи.

«Пятый день без рвоты кровью. Ночью обнаружилась новая опасность: хрипы и кашель. Я растираю ей спину спиртом, и кашель и хрипы могут пройти. А может быть, это начинается отек легких, как опасается лечащий врач. Тогда снова смертельный ужас. Ждем и смотрим.»

«Мои друзья снабжают нас всем, что нужно, – едой, питьем, лекарствами. Дежурят возле тети, чтобы я могла пойти на работу. До чего трогательно они окружают ее заботой – как родную тетю или бабушку.»

Человек часто неверно оценивает то, что с ним происходит. Когда мы в первый раз приехали в больницу, мне было как-то спокойно, будто мы уже избежали опасности. Я думала, что тетя в руках врачей, и они спасут ее. Между тем, она была на волосок от смерти. И спасло ее Чудо, Господня воля. Когда мы ехали в больницу во второй раз, мне казалось, что я везу ее умирать. У меня на руках был диагноз, приговор. Врач скорой помощи шумел, кричал, суеился и уверял меня, что у нее снова кровотечение, а ведь меня предупреждали, что нового кровотечения она не перенесет. Рвот было много, очень частые. Тоска была такая всепоглощающая, что даже для страха не оставалось места. Между тем, это было началом ее спасения.

Вот тогда в больнице с умирающей тетей, когда я еще не знала, сколько минут или часов ей осталось жить, вот тогда, может быть, и наступил мой предел. И поэтому Бог сжалился и дал нам передышку. Все понимали, что тетя выжила чудом. Наташа сказала о тетином спасении: «Это награда за любовь», – имея в виду мою любовь к тете. А я думала, что это Бог снизошел к моей слабости...

Так мы и жили с тетей Лизой, зная, что осталось ей совсем немного. А она и тут удивила всех. Врач говорил о неделях или месяце, а она прожила еще 16 лет. 16 лет счастливой жизни в любви, чувствуя себя любимой. Ей было 84 года, когда она уехала в эмиграцию. И еще шесть лет жила в Америке.

Нам было хорошо с ней. От постоянной угрозы близкого конца чувства наши обострились до предела, и мы любили друг друга именно как перед смертью. Когда-то я не могла понять этого, теперь понимала. Каждый день был для меня как подарок, как праздник.

В последние ее годы, наполненные болезнью и предчувствием конца, в нашей жизни было много счастья. Счастье возникало от чего угодно, от большого и малого, от совсем незаметного, а точнее – от любви.

От подаренного ей букетика ландышей.

Я купила их утром, когда ходила за продуктами. Белые капельки небесного света. Я увидела их на цветочном рынке. И уже нельзя было не взять. Я сразу решила, что подарю их тете Лизе, поздравлю с праздником.

Господи, что делается с человеком, когда он берет в руки маленький букетик ландышей! Да еще знает, что сейчас подарит их, – и тем самым тоже получит их в подарок. Сколько любви разливается в человеке, сколько нежности к этим беленьким небесным капелькам и ко всему миру...

Я вошла тогда в квартиру. Тетя была на кухне. И я – любящая, счастливая, ландышная – протянула ей букетик. И сразу с ней сдела-

лось чудо. Она вся засветилась улыбкой, словно кто-то дунул на нее волшебным светом. И вот такая, волшебная, спросила: «Это – мне?». Как влюбленная девушка. Как девочка из сказки. Как будто всю жизнь прожила в небесном, светлом домике любви, радости, нежности, тишины. И она взяла у меня цветы. Стала целовать меня и говорить о том, чтобы мы еще долго жили, чтобы я могла еще много цветов ей дарить... Но какое чудо совершили эти маленькие небесные капельки сначала со мной, а потом с тетей! Как хорошо, что в них, таких нежных, столько любви и чуда таится. И как я верила тогда во всё хорошее, как любила тетю, маленькую старенькую детку, которая в конце своей жизни чуть ли не впервые почувствовала себя любимой, и от этого в ней, старушке, проснулась и расцветала робко и смущенно улыбающаяся девушка.

Да разве только ландыши!

Сколько было счастья от рубинового кулончика на золотой цепочке, который я как-то вручила ей к Новому году вместо привычных за долгие годы тапочек и халатов.

Или от неожиданно случившегося отдыха в санатории. Какое счастье было смотреть на тетю-курортницу! Впервые за долгое время отдыхала она по путевке, впервые разделась до купальника, впервые вошла в воду и надышалась морским соленым воздухом. Как прекрасны были ее смущенная улыбка, ее застенчивое счастье, ее стыдящаяся радость! Какая она была маленькая, какая беззащитная, как нуждалась во мне и как трогательно обо мне заботилась. Как легко оказалось подарить ей этот праздник, как я радовалась этому...

Когда мы поняли, что рак возвратился... Кто знает, что это такое, тот поймет меня и без слов, кто не знает... пусть не узнает подольше, а лучше никогда. Любые слова – страх, тоска, отчаянье – не в состоянии это передать. Но Бог снова сжалился над нами, снова дал нам отсрочку. Я не знала, надолго ли, но ведь в таком случае любая отсрочка – счастье. И это не слова. Я переживала тогда состояние острейшего экзистенциального счастья от сознания, что тетя Лиза жива, что она есть на свете, что она ждет меня дома, что я могу позвонить и она услышит меня и ответит. Я делала вид, что живу повседневной жизнью, но не была способна на будничность, потому что тетино существование всё превращало в праздник. Я помнила об этом каждую секунду, чем бы ни занималась, с кем бы ни разговаривала, о чем бы ни думала. И как хорошо, как любовно мы с ней жили тогда! Разве это не счастье? Разве не самое лучшее, что могло быть даровано нам? Разве любовь, какая бы она ни была, к кому бы ни была обращена, не есть Бог? Господи, как хорошо с Тобой!

Я писала тогда друзьям в Одессу:

Вы хотите помочь нам с тетей и не знаете как. Я могу вам сказать. Пожалуйста, не отдавайте ее. Не считайте, сколько ей лет, не говорите: «Ну что же, она прожила долгую жизнь, грех жаловаться», не прикидывайте, сколько было ей даровано прожить в радости или смертельной болезни, не надо. Лучшее, если можете, просто хотите, чтобы она пожила, только хотите этого, большие ничего не нужно.

Совсем недавно заболела другая старушка. У нее большая семья, но как-то так получилось, что никто особенно не любил ее, никому она не была нужна. И когда она заболела, никто не испугался, не встревожился, не стал просить Бога или Судьбу, чтобы она еще пожила на свете. И стала она умирать. Мне об это рассказал Володя, потому что мы оба знали эту старушку. И когда он рассказывал о том, как ни сын, ни дочь, ни зять, ни невестка, ни внуки не пытаются держать ее, я сразу представила себе картинку детскую, но вполне страшную. Будто старушкин ангел-хранитель просит Бога не забирать ее еще – пусть поживет, ведь и болезнь у нее не смертельная, и не мешает она никому, и радоваться, вроде, не так давно начала. Вот он произносит эти или другие какие-нибудь слова, а Бог отвечает: «Ну хорошо, я могу ее еще на земле оставить, но кто из людей просит за нее? Дети не просят, внуки не просят, правнуки не просят. Не просит никто из друзей, знакомых или хотя бы соседей. Зачем я буду оставлять ее на земле, если никто, совсем никто не просит об этом?»

И как только я поняла, что умирает эта старушка не от болезни и не потому, что срок пришел, а потому, что никто-никто не держит ее на земле, не хочет держать ее, я сразу взмолилась о ней, мне из всех сил захотелось удержать эту бабушку, чтобы она еще пожила и порадовалась. Она так хорошо умеет радоваться всяким большим и маленьким вещам и событиям.

Вы только поймите меня правильно. Этого нельзя по заказу, по приказу, по чувству долга. Это – как любовь: или она есть, или ее нету. И тут ничего не сделаешь. У меня до разговора с Володей любви к этой бабушке не было, и ничего с этим поделать было нельзя. Но в ту минуту, во время разговора мне смертельно захотелось, чтобы она пожила еще. И стала я держать старушку и просить о ней Бога.

Это не притча, это происходило и происходит на самом деле. Бабушка эта еще в больнице, и никто не знает, чем это закончится, хотя ей получение вроде. Но рассказываю я вам об этом не потому, что... нет я не хочу, чтобы вы делали что-то нарочитое и неестественное. Но каждый человек может другого немножко держать на

этой земле, а может немножко подталкивать к краю. Если можете, держите со мной мою тетю Лизу. Своим желанием, чтобы она еще пожила, своей верой в то, что это возможно, будь только на это Воля Господня. Просите Бога о ней. Просите Бога о нас. Если же не можете или не верите, что это возможно, не подталкивайте ее к краю. Вот и вся помощь, которую каждый может нам оказать. И я думаю, что помощь эта велика, очень велика, больше и быть не может...

Почти девяносто лет прожила тетя Лиза на этом свете. Последние двадцать пять лет ее жизни были наполнены любовью до краев. Любила ли она так же сильно, как была любима? Не знаю. Это не имеет значения. Важно только одно: могут ли эти двадцать пять лет из ее девяноста перевесить те горькие – сиротские, бездомные и безлюбивные?

После ее ухода я совсем осиротела. И наступила такая мертвая пустота... Мне казалось, что душа моя умерла и никогда не откликнется на зов Оттуда.

Я слышал про старость. Страшны прорицанья!
Рук к звездам не вскинет ни один бурун.
Говорят – не веришь. На лугах лица нет,
У прудов нет сердца, Бога нет в бору...*

Так случилось и со мной. И очень, очень нескоро посреди этой онемелости, посреди мертвой оледенелости стали появляться сперва махонькие и робкие, как ландышевые цветочки, а потом всё больше, всё чаще – радость и свет, свет и радость от ничего, «потому что Бог». Тетя вернулась ко мне. Не так, как раньше, совсем по-другому. Но с тех пор мы с ней не расстаемся.

ХРАНЯЩАЯ ЛАДОНЬ

«Я люблю тебя, я люблю тебя, я тебя люблю...»

Повторяю эти слова, бормочу их, единственные, которые приходят в голову сейчас, когда ты плачешь безостановочно и сама, будто не слыша моих беспомощных, так же беспомощно бормочешь: «Я хочу к нему, мне надо к нему, я должна быть с ним». И я знаю, что ты права, что тебе надо быть с ним, твоим взрослым сыном. Тебе надо быть с ним, потому что ему плохо, потому что страшно за него, потому что ты и сама не знаешь, что будешь делать, но знаешь, что должна быть с ним, должна быть рядом, должна спасти его или разделить с ним его

* Пастернак, Борис. Воробьевы горы. Избранное. – Москва: Эксмо, 2002.

судьбу, должна сотворить чудо, которое не могут сотворить врачи, а иначе... «Зачем мне жить, если я не могу помочь ему? Зачем мне жить, если я, мама, не могу быть с ним!»

Ты права, и я знаю, что ты права. Но знаю и то, что нельзя пускать тебя к нему, потому что он – молод, он может выздороветь, преодолеть этот безжалостный вирус*, а ты – нет, тебе не справиться с ним. И если ты заболеешь тоже, это будет катастрофой для всей семьи, потому что, ухаживая за тобой, твои дети будут рисковать своими детьми, твоими внуками. И я бормочу всё это тебе, понимая, что ты даже не слышишь моих слов, но, может быть, слышишь, как мне жалко тебя, как смертельно мне хочется помочь тебе, и ему, и всем вам, и всем... И моя беспомощность сливается, перемешивается с твоей, и ты затихаешь на время в моих руках.

«Дай мне всю свою боль, – шепчу я, – весь свой страх отдай мне, родная моя.»

Кажется, ты задремала, сломленная рыданиями и слезами, отчаяньем и безнадежностью. Понимаю, что это ненадолго, что очень скоро ты опять начнешь биться и рваться к нему, но пока ты затихла, чуть всхлипывая и постанывая, и я держу тебя, боясь пошевелиться, чтобы не нарушить этого хрупкого забытья. Смотрю на тебя и вспоминаю. Вспоминаю нашу с тобой жизнь.

Когда-то давно я пригласила тебя в свой мир, и он понравился тебе, и ты захотела в него войти. С этого всё и началось между нами.

А что началось?

Первой была Цветаева. Помнишь? Я читала ее тебе взахлеб, а ты взахлеб слушала. К тому времени Америка уже давно стала твоим домом, а я мечтала о возвращении в Одессу.

У тебя было благополучное время. Все близкие были с тобой. Дети выросли и тоже были благополучны. Ты легко болтала по-английски, но почему-то тебе остро не хватало русского. Русской культуры, русских книг, русского духа.

У меня было горестное время. Пережив две смерти самых близких и нужных мне для жизни людей, которых я называла своими корнями, земным и небесным, я считала себя умершей, не надеялась на воскресение, а может быть, и не хотела его.

И тогда появилась ты.

Ты приходила почти каждый день и говорила, что приходишь

* В марте-апреле 2020 года Нью-Йорк стал эпицентром коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах; каждый день в городе умирали сотни людей.

потому, что у меня много русских книг. Рассматривала книжные полки, выбирала то, что казалось особенно интересным. А потом мы пили чай и читали вслух Цветаеву.

Вот с этого совместного чтения всё и началось. И дело не в том, что после Цветаевой были и другие. Помнишь, когда ты уехала отдыхать во Флориду, я часами читала тебе по телефону из Нью-Йорка стихи Пастернака и Мандельштама, а ты слушала и что-то говорила, и из этого «чего-то» начинала виться беседа, а из беседы – что-то неруководное и несказанное, от чего мы становились ближе друг к другу.

Меня восхищала твоя открытость, готовность узнавать и познавать. Тебе мало было прочесть, тебе хотелось думать о прочитанном, ощущать его на себе, забирать себе и для себя, для своей последующей жизни.

Ты была как открытая галактика, всегда готовая вобрать в себя что-то новое. Вобрать, переработать и сделать своим.

Мои друзья удивлялись: «Что у тебя с ней общего? Вы же такие разные».

Мы и были разными. Ты – безудержная и неуправляемая стихия, полная энергии и жизни, не способная усидеть на месте без дела, без действия, без стремительного бега. Я – поглощенная своими утратами, оцепеневшая, застывшая сирота, забившаяся в комнатку-келью со своими книжками, воспоминаниями, мечтами.

Ты – благодарная Америке и полюбившая ее. Я – со своим «спасибо Америке», но добавляющая при этом: «Благодарность не заменяет любви».

Ты – с верой, радостью и надеждами смотрящая вперед. Я – уверенная, что жизнь уже позади.

И все-таки что-то тянуло нас друг к другу. Что это было? Мое одиночество после всех утрат? Твоя потребность в русских книгах, как любила ты тогда говорить?

«Что тут удивительного? – сказал мне Володя, единственный из моего окружения, кто сразу принял тебя. – Она же для Вас – кусочек тети.»

«Кусочек тети»? Кусочек моего земного корня, без которого я осталась такой сиротой?

Но тогда ты – спасение мое, потому что человек – как дерево, умирает без корня.

Ты приходила и спрашивала с порога: «Не ждали?» И я отвечала вежливо и растерянно: «Ну почему же... Ждали...» И начиналось волшебное действие. А что в нем было волшебного? Чай? Беседы? Чтение вслух или совместные просмотры русских фильмов? Нет,

конечно, хотя всё это тоже было. Было, но добавилось что-то еще, чему ни ты, ни я не знали названия, но что постепенно стало не только неотъемлемой частью наших вечеров, но и самой главной их тональностью.

Тебе нравилось вести меня за руку по земле. И брать на себя ответственность. И помогать. И тащить мою ношу, если она казалась тебе тяжелой. Но и слушать мои бесконечные «философствования», но и непременно обсуждать что-то прочитанное или «открытое», но и вдвоем и только вдвоем ходить в музеи или на музыкальные концерты. Ты сама не заметила, как изменилась твоя речь, когда ты говорила о прочитанном, продуманном или увиденном.

Кем стали мы друг для друга? Подругами? Да нет, тут было что-то другое. «Ты – член моей семьи», – говорила ты. Член семьи? Не знаю. Но не зря же «глубокими родственниками» называли нас друзья...

Ты вздрагиваешь и открываешь глаза. И они сразу же наполняются слезами. Будто говорят мне: «Почему ты не видишь, как мне страшно, почему не прячешь, не защищаешь, не успокаиваешь?» И снова я начинаю бормотать слова не утешения даже – ну как тут утешить, – но слова присутствия, слова разделенности, совместности, общей беды: «Ты сейчас маленькая и слабая. Прислонись ко мне, спрячься за меня, пожалуйста, отдай мне свою боль, тебе нужно поспать или поплакать».

Я говорю и говорю, и глажу тебя по голове, и утираю твои слезы, а сама чувствую, что больше не могу выдерживать вместе с тобой этот страх, это отчаянье, эту беспомощность. И, не останавливая своего бормотания, не останавливая плавного покачивания, продолжая автоматически гладить твою голову, я всплываю в полудрему, а потом и в сон, который принимаю за явь и продолжаю жить в нем.

Маленькие дети бежали из лагеря ли, из тюрьмы ли, а может быть, из больницы, не помню. Но откуда-то, где было плохо. Я не знала их, их было много, но среди них не было никого из близких. Я увидела, как они бегут один за другим. Двое хромых детей бегут, припадая на ножку. И тогда я побежала рядом с ними. Не знаю, что я собиралась делать. Я бежала с ними, но это всё же был сон, и меня не удивляло, что некоторые дети выглядят странно. Там были мальчики и девочки, были две матрешечки, они катились по мостовой, была одна бабочка. Я понимала, что должна помочь этим детям, но как? И тогда я взлетела. С трудом, боясь упасть при взлете, – но мне же нужно было им помочь. Я не могла помочь каждому, хватала их – то одного, то другого, самых уставших, – переносила на

какое-то расстояние, а потом они бежали дальше. Мы были у троллейбусной остановки, когда погоня настигла нас. Детей снова забирали туда. Я просила: «Тогда и меня. Я хочу с ними!» Какой-то начальник очень насмешливо объяснял мне, что сейчас я еще... но там буду такая, как все. И рассказывал, как мне там будет. И, рассказывая, почему-то подчеркивал не самое трудное, а самое оскорбительное. Он хотел, чтобы я сама отказалась. Мне очень не хотелось туда – но не могла же я отпустить детей! И начальник «смиловился». Он обещал, что если в моем личном деле найдут что-нибудь компрометирующее (а не найти невозможно), то меня возьмут завтра...

Я просыпаюсь. Просыпаюсь от ужаса. От того, как это было буднично, как покорно уходили дети.

Вот только что они бежали, задыхались, хроменькие хромали, матрешечки катились, бабочка подпрыгивала. Все такие худенькие, грязные, ободранные. Они бежали, как бегут дети, без точного плана, сами не зная куда, наудачу. Почему-то во сне я не догадалась рассыпать их в разные стороны, спрятать от погони. А если бы их побег удался, что бы я стала с ними делать?.. Сон окончился, зачем же я продолжаю мучиться оттого, что этих детей забрали, вернули туда?

Ты тоже проснулась. И я что-то жалобно твержу то ли тебе, то ли самой себе о том, что все наши любви – любовь к матери, к ребенку, к другу, к возлюбленному, – все они – ОДНА ЛЮБОВЬ, что-то вроде «инкарнации», той единственной, бесконечной. И что моя жалость к этим деткам из сна и наша любовь и жалость к ее сыну – это одно, одна любовь. Ты слушаешь меня, как ни странно, слушаешь, хотя мысли твои далеко. И я замолкаю, и не говорю о том, что у нас обеих сейчас на душе, что тревожит, и мучает, и страшит. И мы обе понимаем, почему пришел ко мне этот ужасный сон, в котором не можешь, не можешь, не можешь... никому не можешь помочь.

Постепенно мне стало казаться, что я начинаю догадываться, зачем Бог послал мне тебя, а тебе – меня, чему нам следует «научиться», какими мы должны быть, какими Он нас хочет видеть. Мне казалось, я начинаю понимать, что надо и как надо сделать, чтобы всё совместить, не отвернуться от Бога ни в душе, ни мыслью, ни поступком, ни чувством при всем том и радостном, и трудном, и страшном, что, может быть, ждет еще нас в жизни. Я не знала, смогу ли я, сможешь ли ты. Но уже поселилось во мне чувство, что связка наша надолго, не на время – на жизнь. И очень надо бы смочь. Чтобы быть «достойным того, в чем живем и что с происходит с нами». Очень надо бы смочь.

Мое горе было во мне. Ты была рядом. Мы не говорили о моем горе, об утратах моих. И ты не призывала меня к жизнерадостности и жизнестойкости. Но в какой-то момент я почувствовала, что душа моя устала от смерти. Ей захотелось жить. Как ты сумела это сделать? Это было как в сказке, и я до сих пор не перестаю радостно удивляться. Я помолилась вечером, а утром уже почувствовала, что душа начинает оживать. Она еще быстро уставала и засыпала, как после болезни. Но прочитанная вместе страничка Вознесенского о Пастернаке, но музыка мандельштамовских строчек, но наши с тобой бесконечные разговоры о том, что было для меня важным и главным, понемногу возвращали мне живое дыхание и жажду жизни. И я начала надеяться, что это не смерть, а просто в душе происходит важная, трудная и большая работа. Жизнь постепенно возвращалась ко мне.

А ты не догадывалась о том, что со мной происходило. Но что-то тянуло тебя ко мне, и ты приходила после работы почти каждый вечер, и засиживалась допоздна, и всё просила читать тебе вслух или рассказывать что-нибудь интересное. Я рассказывала. Вернее, просто размышляла вслух при тебе, потому что ты слушала жадно и заинтересованно:

«Мне кажется, я знаю, как надо жить. Надо жить, слушая в себе и в мире голос Бога, безмолвный голос Бога. И больше ничего. А придем мы туда, куда нам уготовано и положено прийти...»

«Мир такой большой, а я такая маленькая. Я не могу вместить всего. Но даже и не всего. Вот я стою у моря. И я не могу вместить того, что исходит от моря. Но ведь одновременно с этим я не могу вместить любви, которая бесконечно больше меня. Любви к Богу. Это одна бесконечность. Но и к Мирочке, прекрасной, любимой, близкой. Но и к соседке, которая рассказывает, как опасно принимать гормон, потому что он целебен для одного, но опасен для другого. Но и к тете Лизе, которая так смущенно радовалась морю, купанию, отпуску. И я не могу вместить этого — и всего того, чего не назвала здесь, но что есть, есть, есть... И я не могу ничего сказать, потому что и это... частности. А есть еще Нечто, бесконечно более важное...»

Ты должна была бы посмеяться над моими наивными размышлениями, но ты почему-то не смеялась. Только шутила часто. Ты очень любила шутить, шалить и дурачиться. Но как ты умела слушать, если мы говорили о Главном! И как ты умела отзываться! С удивлением и радостью я стала замечать, что жду тебя по вечерам, что эти встречи стали нужны и дороги мне.

И я приняла тебя в свою душу. Я приняла тебя в свою душу. Это было необратимо и нисколько не отнимало твоей свободы. Ты могла

радоваться моей душе или забыть ее. Я приняла тебя. Со Светом и с тьмой, с верой и с безверием, с надеждами и с отчаяньем, с любовью и с равнодушием, с добротой и со злостью. Я приняла в себя твои болезни и страхи, слабости и соблазны. Мы могли видеть друг друга каждый день или никогда в жизни, мы могли делить все земные заботы, печали и радости, а могли прожить свою жизнь врозь. Это ничего не меняло. Потому что я знала уже: с какого-то волшебного момента и до тех пор, пока жива моя душа, твоя будет обитать в ней.

Думаю, и с тобой произошло что-то подобное. Иначе чем объяснить всё то, что было с нами потом? Чем объяснить, что мы так безудержно бежали навстречу друг другу, так заражались делами и увлечениями друг друга. Что никакие наши конфликты – а было их много, и это понятно, ведь мы с тобой такие разные, – не могли разлучить нас надолго.

Звонит телефон, ты вскакиваешь. Это невестка. Говорит, что стало немножко лучше. «Он делал дыхательные упражнения, и кислород поднялся. Сейчас он отдыхает, спит.» Ты улыбаешься. Спит. Ему легче. Кислород поднялся... Передышка. А может быть, всё будет еще... ничего себе. Может быть, это начало хорошего, и теперь он начнет выздоравливать. И сразу ты становишься бодрой и деятельной. Нужно найти способы лечения. Нужно посоветоваться с хорошим и умным доктором. Нужно позвонить дочке и узнать, как у них, все ли здоровы. Теперь ты в своей стихии – ты действуешь.

А я продолжаю вспоминать.

Твоим языком общения в те времена был, в основном, английский. Каждый вечер, уходя от меня, ты говорила, прощаясь: «I love you, bye». Меня корбила эта фраза, потому что я понимала, что за английскими словами «I love you» ничего не стоит. Однажды я предложила тебе: «А теперь скажите мне это по-русски». Ты решила, что речь идет о переводе с английского, и бодро начала было: «Я...» И осеклась: «Ой, по-русски я этого сказать Вам не могу».

Не смогла? Вот и хорошо. Значит, уже немножко любила...

А потом в нашей жизни появился Шарон Спрингс, помнишь? Мы ничего не слыхали о нем, пока ты неожиданно не купила там дом. Этот дом – деревенская гостиница, в которой до нас каждым летом отдыхала еврейская община вместе со своим раввином. Когда мы попали туда, Шарон Спрингс был в запустении. Много брошенных и полуразрушенных домов, да и сами источники в плохом состоянии. Но что-то неразрушаемое было в нем и вокруг него. Что-то такое, что заставило меня назвать его «храмом под открытым небом». Там не нужно было ходить в храм. Достаточно было выйти

на веранду нашего дома и сесть в любое кресло. Тишина сгущалась над тобой почти моментально. Бессловесная молитва начинала твориться сама собой, безуильно и произвольно. В этом была какая-то тайна, которую объяснить невозможно, но почему-то все хорошие люди сразу влюблялись в это удивительное место.

Может быть, это от целебного горного воздуха так легко становилось здесь вашему сердцу. От целебного и волшебного воздуха. Вам хотелось смотреть в небо. И вы видели в нем что-то очень похожее на счастье – счастье просто так, без причины.

Или от целебных источников? Вы приходили к ним с кружкой, зачерпывали водицы и медленно пили, не замечая, когда же это случилось, когда лужайка перед источником превратилась в пересечение иных миров, обернулась входом в иные миры?

Что-то происходило с людьми в Шарон Спрингс. Им хотелось быть добрыми и великодушными. И они становились добрыми и великодушными, по крайней мере, на время. Все дружили со всеми, никто ни с кем не ссорился. Идиллия?

А ведь люди приезжали такие разные. И по-разному воспринимали они этот чудесный шаронский воздух, вернее, шаронскую атмосферу. Я многое помню. Как взялись за руки религиозные еврейки и стали все вместе молиться о здравии заболевшего гостя. Как приехала после страшной болезни другая гостья из Бруклина и, попав впервые на местный водопад, вдруг ахнула, закричала, скинула с себя одежды и устремилась в бьющую воду. Как подолгу сидели многие из нас на скамейках или на валуне посреди лужайки, то ли медитируя, то ли уносясь в иные пространства.

Космичность этого места ощущали многие. Мы не знали, откуда появлялось это ощущение иномирности и космичности, но оно захватывало нас, и мы растворялись в нем.

Как это бывает? Вот приехал человек из города, привез в себе тяжесть, горечь, неприкаянность. Смотрит по сторонам недоверчиво, исподлобья. И вдруг, без всякой подготовки, мгновенно, моментально, словно кто-то выключил один клапан и включил другой, человек этот **видит** и тишину вокруг, и серебристую хрустальность воздуха, и дом – простой деревянный, деревенский, но любимый и живой дом, слушающий сейчас тишину вместе с ним, человеком, и мягкую ласковость июня или сентября, теплого, без жара, или звенящую знойность июля. И всё это, и во всем этом – Бог.

И человек уже не понимает, как он мог быть капризным и недовольным, когда мир такой Божий и так много Бога вокруг. И всё в нем – радость, молитва и благодарность. И всё в нем – любовь к Богу. Он идет не в церковь, не в синагогу, а просто по улице, но улы-

бается и любит. И почему такая благодать? Ведь не знал, что появится, а она появилась. И не звал ее даже, а она сама пришла. Как могло такое случиться? Это тайна.

И ведь это ты, энергичная и деловая, подарила мне небо и космос Шарона. А я, безбытная и беспомощная в повседневной жизни, стала помогать тебе в твоём новом деле, да так, что оно сразу перестало быть делом, а стало нашим общим любимым детищем. Как мы любили его и друг дружку! И не только мы, но и многие наши гости, которые стали ездить к нам ежегодно, быстро превратившись из клиентов в приятелей, а потом и в друзей.

*Всё было в Шароне волшебным, наполненным волшебством. Воздух зачарованный и чарующий. Деревья, до трепета полные внутренней жизнью своею. Часто бывало там грустно, особенно осенью. Но дело не в том, грустно это было или весело, а в том, что Бога много, жизни много, много **главного**. Вот ты выходишь на безлюдную деревенскую улицу. Мокро, сыро, на земле листья желтые. Сумрачно. Но внутри сразу начинает звучать музыка. И я знаю, что эта музыка – отзвук той музыки, что живет внутри... чего? Листьев? Сумрака? Воздуха? Осени? Не знаю. Только знаю, что уже не могу быть при этом «никакой». Все поднимается во мне и тянется туда, в космос, откуда – нет, не откуда, а где – живет эта осень, эти деревья, эта грусть, этот трепет. Да, грустного много. Но и много жизни – жизни не суетной, но вечной. А когда живет жизнь вечная, тогда начинается Свет. А Свет рождает радость и праздник...*

Радость, праздник, друзей и много-много Света подарил нам Шарон. А еще – общую нашу совместную жизнь, сплавившую в себе Землю и Небо, Дело и Молитву, соединившую, слепившую нас друг с другом.

Хозяйка большого дома, ты должна была отвечать за всё, решать все проблемы, устранять все недоразумения и неполадки. Я помогала, конечно, но не мне, а тебе удавалось создавать атмосферу не курорта, не гостиницы, а вот именно что семейного дома, в котором собирались близкие, любящие друг друга люди. Не зря тебя называли душой этого места, ты и была ею. И как любовно говорили о тебе наши гости!

Для тебя не было чужой беды, чужих проблем, чужих неприятностей. Мы все с ужасом и жалостью смотрели на твою умирающую подругу, но это не мы, не муж ее, не родители – это ты поехала на прием к лечащему врачу и потребовала, чтоб не прекращали лечения, не бросали ее раньше времени на произвол судьбы. Ты требовала от врачей чуда. И чудо свершилось. Три года были подарены этой женщине благодаря тебе. Три года жизни.

А помнишь свою американскую подругу Тони, к которой ты ездила в любое время суток, чтобы сделать ей укол и хоть немного облегчить страдания?

А когда я тонула у самого берега, захлебываясь волной, и волны сбивали меня с ног, и я не могла сделать тот единственный шаг, необходимый, чтобы выбраться из воды на сушу? Полным-полно людей было вокруг, и никто не обращал на меня внимания. И только ты, по воле судьбы гулявшая неподалеку, в одежде и обуви рванулась в воду и протянула мне руку. Только и надо было, что руку подать. Но ведь никто не подал. А ты подала. И спасла.

И как чувствовала ты чарующую тайну Шарона, тайну нашего дома! И не только чувствовала, но, может быть, немножко и сама сотворяла ее.

Ах, как хорошо мы жили с тобой! Много трудностей было у нас. Много нужно было преодолевать, в том числе и в самих себе. Но как много было радостного! Как радостно и с готовностью учились мы вместе и друг у дружки. Ты была рядом со мной, когда мне было тяжело и горько. Я была с тобою, когда тяжело и горько было тебе. За многое я была тебе благодарна. И очень надеялась, что и твоя жизнь стала лучше, чем была бы без меня.

Такого высокого неба, такого разреженного воздуха, как в Шароне, не было больше нигде. Разве что в Швейцарии. Помнишь, как мы ездили на гору Пилат? Мы поднимались по канатной дороге всё выше, выше, минуя первое небо, минуя второе... Я не помню уже, где нас высадили, – может быть, между вторым и третьим небесами? Между третьим и четвертым?.. Ты, конечно, пошла с группой, а я, конечно, не пошла. И стояла на краешке, и смотрела на другие вершины и на небо между ними. И всё хотелось прыгнуть, как в море, и лечь на воздух, и поплавать в нем от вершины к вершине. А еще лучше не прыгать, не ложиться, не плыть, а только вот так смотреть на них, вбирать в себя, созерцать... И Домом были тогда все эти вершины. И Домом было тогда небо и воздух между ними. И прекрасны были горы, как молитва. Они сами были Храмом Божьим, Домом Божьим. Они молчали, они пели молчание, пели молитву. Над ними было небо. И на фоне этих гор, под этим небом, на кончике широкого плато стоял храм. Маленький, легкий, как птица. Стройный, как гармония. Светлый, как улыбка.

А потом нас посадили на фуникулер и повезли вниз по горе, прямо по горе вниз, будто мы всегда были частью этой горы, и этого леса, и этих камней, и животных, и птиц. И мы с тобой ахнули, и схватились за руки, и как раскрыли рты от удивления и восторга, потому что не видели еще такой красоты, да и не могли

никогда увидеть, так и забыли закрыть их – и только перебежали от одного окошка к другому. И это был Дом наш. И небо, и воздух входили в него, и не было ни тесноты, ни противоречий...

Опять звонок. И опять новости о сыне. Но на этот раз всё трагичнее. Кислород снова упал. Температура очень высокая. Ему становится всё хуже и хуже. Он задыхается. Его увозят в больницу.

Болезненные судороги жалости и отчаянья скрючивают меня, но на тебя сообщение, как ни странно, действует успокаивающе. Ты веришь, что теперь он в надежных руках. «Его спасут. Его там спасут», – твердишь ты безостановочно. И непонятно, меня ли, себя ли ты пытаешься заговорить. «Когда он был маленький...» – возбужденно и полусознательно рассказываешь ты мне историю, которую я давно и много раз слышала. Но ты не в себе. Тебе нужно говорить и рассказывать, и я слушаю тебя:

«Когда он был маленький и заболел, он никого не подпускал к себе. Он говорил: ‘Скоро придет моя мамочка. Она меня вылечит’. И я приходила и вылечивала.»

«Он был в детстве такой послушный. Он верил в меня. Он знал, что я всегда спасу его, всегда помогу. Как же он сейчас без меня там...»

«Если бы я была рядом с ним, с ним ничего бы не случилось плохого...»

Как мне жалко тебя, как всех жалко. До боли, до острейшей, физической боли жалко.

Какие мы были глупые, какие нетерпеливые, как обижали жизнь нашу! Как не делали ничего, чтоб не утратить самого лучшего и самого главного из того беззаботного радостного праздника, которым была наша жизнь! Праздника, которого у нас, возможно, больше никогда уже не будет.

Что с нами со всеми происходит? Обратимо ли это? Что мы способны принести в жертву, чтобы вернуть этот праздник, чтобы победить беду, настигшую всех нас?

Как мучаются люди! Одни жалуются, другие нет. Одни страдают от самой болезни, другие от страха перед ней – и страха за близких. Как всем тяжело! Почему Зона пропускает одних и не пропускает других? Я знаю, что в любой момент она может не пропустить. Может быть, наш ад еще впереди. Может быть, он настигнет нас через минуту, и мы даже представить себе не можем те муки, которые нам еще предстоят. Зона может уничтожить нас. Она может убивать нас всех вместе или поодиночке, может убивать одних, а другим даровать долгую жизнь. Она может сотворить такое, что мы не в состоянии сейчас вообразить. Думал ли об этом Тарковский, когда создавал свой

фильм? Знал ли он о том, что проживаем мы сегодня, когда создавал другое, последнее свое творение, в котором именно в жертвоприношении видел спасение от катастрофы, от Апокалипсиса? Герой этого фильма** был готов на многое – лишь бы всё вернулось на круги своя. И он свершил свое жертвоприношение во имя спасения мира. А мы? На что готовы мы? Что можем мы отдать для спасения нашей общей жизни? Что могу я?

Страшно сегодня жить в этом мире. Страшно за завтрашний день. Страшно за людей.

На кого или на что нам надеяться? На Бога? А чем ответим мы Ему? Нашей любовью? Какой же будет она, если души наши – как загнанный зверек, если они готовы впасть в отчаянье каждую минуту, если тоскуют и боятся, капризничают и сиротствуют?

Но я смотрю на тебя, смотрю, как в мучениях и страхе ты остаешься матерью, мамой, готовой на всё во имя любви, и знаю, что ты не одна такая. Что в каждом доме есть такая мама, каждого из нас взрастили ее любящие руки...

«Он знал, что я приду и спасу его. Если б я была рядом, с ним ничего бы не случилось плохого...» – твердишь ты.

И я повторяю свою молитву, которая родилась во мне когда-то давно:

«Господи, – шепчу я, – пусть у каждого человека будет любовь, хранящая его. Пусть он даже не знает об этом, но пусть она будет у него. И пусть это будет дано всем на земле. Спаси нас, Господи!»

(окончание в следующем номере)

* Тарковский, Андрей. «Сталкер» (Мосфильм, 1979)

** Тарковский, Андрей. «Жертвоприношение» (Svenska Filminstitutet, 1986)

Марина Гарбер

Нежное кромешное

* * *

За окном, где ангелы и голуби
бьются в клетке комариной сетки,
птичка-невеличка голос пробует,
тянет от распевки до распевки.

Чудо неказистое и мелкое,
как могло бы показаться вчуже,
от бессонницы и горя лекарем
издавна на голой ветке служит.

Ропщет на летучего, а пешему,
заглушая перекрестный клёкот,
напевает нежное кромешное,
болеутоляющее что-то.

Сад остолбенел, как в землю вкопанный,
соловьи молчат осоловело,
но слова парят вокруг да около
твоего, уже чужого, тела.

Сей язык не доведет до Киева,
лишь одно понятно в темной песне
слово ...ово ...ово – отпусти его
вверх на самом интересном месте –

как себя обманывал и как ты сам
был да сплыл охотником и дичью,
зернышком бессмысленного замысла,
перышком бескрылого величия.

* * *

Как на меня, падчерицу дракона,
следуя букве лирического закона,
многоголово, наверняка, всецело
город навел крест своего прицела.

Знать, суждено змиевой уроженке,
где б ни жила, видеть на белой стенке
то, как с горы кудыкиной тянут выи
Чоколовка, Ушинского, город Киев.

Если бы я родиться могла в Стокгольме,
прыгала бы впритирку, патрон в обойме,
вдоль Кабнекайсе на заводном Саабе,
нюхала эдельвейсы, молилась аббе.
Кабы в Париже, городе света, – мне бы
осточертел гогольный моголь неба, –
чуя родство с чоканьем электрички,
чур, укатилась к черту бы на кулички.

Или, допустим, выросла в Петербурге,
дьявольский глаз мигал бы в моем окурке,
в белом фасаде мнилась бы позолота,
а за оградой – сплошь пластилин болота.
Или же, предположим, жила бы в Риме,
лихо сменив фамилию (но не имя), –
я бы сошла с ума от камней и пиний,
точечной смерти, тонких любовных линий.

Если бы предок мой гарцевал ковбоем,
нынче Рокфеллер-центр брала бы с боем,
или пила мартини у барной стойки
в «Данте» и «Самоваре», то бишь в Нью-Йорке.
Выросла бы в Лас-Вегасе, свет-Неваде, –
как бы сейчас грешила за бога ради,
а не томилась ночью в скрипучем кресле,
сороговоря: если бы, если б, если...

* * *

Сизигиум, микония, хурма, –
как будто взят отсчет и скоро запуск –
акация, пандан, элиокарпус, –
твердил ботаник, счастлив от ума.

Взлетало дирижерское весло
и плюхалось на озера подушку,
где рыбы души, взятые на мушку,
пузырились и – дерево росло.

Оно росло, как брошенная в печь
лучина, — речь, замешенная в глине,
покуда лодки тщились пересечь
ствол — не срубить, так хоть располовинить.

Он говорил: у дерева есть ось,
в нем всё — расчет, дотошный, многолетний, —
и в целом был сторонником симметрий,
а не ветвей, растущих вкривь и вкось.

Распластывало руки по воде
и распрямляло скрученную в крючья
чужую жизнь: меж пальцами — паучью,
воронью — на ладони ли, в гнезде.

Он цифры приводил (оно — росло),
сам поражаясь их бесспорной силе:
три триллиона в мире, а в России —
трехзначно-миллиардное число.

Сплошной чертой, плашмя под облака
ложилось в небо — с кучевыми вровень,
пока его многоугольный корень
точила муравьиная тоска.

О функциях корней, коры и крон,
о спящих почках и сестринских штамбах,
но ничего — о светляковых рампах,
нацеленных под музыку ворон

на дерево, что плыло над водой,
покуда снизу пробивался лучик,
в чьем тусклом свете меркнул мой попутчик,
всезнающий ботаник молодой.

* * *

Раз свет не вяжется к рассвету,
то ветра слышится виват, —
когда бы грек увидел эту
игру то в кукол, то в солдат,
когда идет игра в лошадки
под новогоднюю картель

и тополиный всадник шаткий
над крышей поднимает меч.

Цепная связь: иголка, пальчик,
зерно граната и подвал,
где целлулоид пупса мальчик
соседский трижды целовал,
где нас дразнили, тили-тили,
как нарушителей табу,
и куклу Таню хоронили
в цветном ленвестовом гробу.

Пока над городом Чайковский
звучал, среди кирпичных тел
фонарь, как ушлый волк тамбовский,
в упор на вывеску глядел,
но, музыку переиначив
под уменьшительный мотив,
мы слышали, как Таня плачет,
сердечко в речку уронив.

Был пойман свет подземный, впрочем,
была в неволе воля к ней,
к ошибкам новогодней ночи,
всех утр грядущих мудреней,
к молчанию на грани звука,
давившему со всех сторон,
пока нас дворничиха-злюка
метлой не прогоняла вон.

А дальше – маг универсальный,
часов мушиное це-це,
урок и лабиринт подвальный –
всей географии в конце,
где чуду здешнему учили
и ходу тихому, ничком
по краю, как по карте Чили,
внизу изогнутой крючком.

Когда осыпались иголки
и елку тащат за порог,
жизнь умещается в коробке
из-под изношенных сапог.

Куда уплыл кораблик утлый?
Кто нам сказал, что это лишь —
забава, похороны куклы?
Не плачь, малыш.

* * *

Вдруг запестрит и встанет во весь рост,
мешаясь в хронологии порядка,
конец восьмидесятых, танцплощадка
и лампочки сельклуба паче звезд,
где музыки не оценён зачин,
и тихо так, что грека внемлет раку,
сон прибирает присягнувших Вакху
в стенах вахтерской выпивших мужчин.

Присмотришься — и женщины плывут,
что лодки из капрона или ситца,
их лиц не разглядеть, но память длится
под высверки плечей, волос и губ:
там до сих пор, пока шуршит игла,
они плывут, нежнее и немея,
и та, которой я тогда была,
еще танцует соло, Саломея.

Но потряси картинку — поменяй
местами остановки и осколки,
застынь у елки, где глазают волки
из-под ветвей, и ловко, не по дням,
а поминутно правду красит ложь,
топорно так, как можно только в детстве,
где ты, который тот, в карман кладешь
мое, в фольгу обернутое сердце.

Как переливчато сыпается мука,
как свысока снег набирает скорость,
как сладкой пудрой присыпает хворост
на кухне мама — вот ее рука
и марля платья, то есть облака...
Пусть Бога нет, но я — чудес копилка:
всяк мертвый воскресает, жив курилка,
и водку пьет, сражаясь в дурака.

Перевернешь – увидишь оборот,
косую подпись автора и даже
название села, и день, и год,
в котором слышно громкое «вперед,
к победе» неразборчивого дальше –
под музыку, под океанский гул
внутри ракушки актового зала...
Но кто тогда вошел и повернул
меня к себе, чтоб всё запоминала?

* * *

«Сладко умереть на поле битвы»,
слаще – дома: свечи, клавишин,
а в саду левкои тоньше бритвы,
чище флейты, – как писал Кузмин,
зарекаясь бритвой настоящей
вены вскрыть и кончить дело, но –
умер грациозно и изящно
сероглазый мальчик в кимоно.

Сладко умереть, когда не к спеху,
и покуда тридевять смерть,
очень мало нужно человеку,
чтобы мед-да-сахар умереть:
домочадцев шёпоты в гостиной,
вялый всхлип, брэнчание молитв,
бабочка торшерная с повинной
траурной отметиной болит.

Сладко без хитона и сандалий,
руки накрест, видеть из окна
магний эвкалипта, ливня калий,
будто древних римлян имена,
или – одуваемые метели,
рыбака у озера валет...
Жаль, мы сладкой смерти не хотели, –
как почти обмолвился поэт.

Жаль всю эту мишуру и праздник,
пройду-жизнь, наряженную в смерть, –
так в закат палач на место казни,

маску сняв, приходит поглазеть.
Вот и призрак на домашней тризне
чутко спит и, чувствуя тесней
дорогую бесполезность жизни,
горько-горько расстается с ней.

* * *

Мы отступали долго, года два,
двоился город, будто Улан-Батор,
раздваивались тени, трын-трава,
и шут, и паж, и даже император.
Мы проживали год в едином дне,
как товарняк, во тьме тащился скорый,
где некому сказать: дай руку мне, –
всё на земле аукалось повтором.

Всё умножалось на два, чёт и чёт,
над челядью, проснувшейся едва ли,
стрижи и чайки на переучет
небесную контору закрывали.
Поставщики известки и белил
работали синхронно и попарно,
а император, властвуя, делил
под улю-лю и блатняки о главном.

Где он стоял на выступе холма,
линейной жизни неживое лого, –
лес пятился и спятил, а дорога
сошла по склону медленно с ума.
Симметрия царила во дворце
и в хижинах... А наведешь подсветку –
на зеркало пеняй: в своем лице
я узнавала прыткую соседку.

Год напролет я пряталась в других,
напропалую их в себе хранила,
и высшей канцелярии стропила
спасали от намерений благих.
Закрытый человек, как черный вход,
в конце концов выходит в неизвестность,
растерянно осматривая местность,
где жил один весь монотонный год,

и видит то, что быть должно бы, но
быть не могло, — так надпись на заборе,
вперяясь в помраченное окно,
волнуется, преображаясь в море.

И некому, и нечего, и не
спросить, ответить, вымолить, отныне
мы плавимся, но в медленном огне
мерещатся фигурки ледяные.
Не разобрать, где пристань, где вокзал,
кого пустыми обхватить руками,
куда нам плыть, и кто тогда сказал:
смотри, как резво ласточки на камни

слетаются, как будто что-то есть
живое в этой местности скалистой?..
О, император, есть благая весть
в ночных сиренах, криках, пересвистах, —
не свет, не упоение в бою,
не тот покой, который только снится,
а будущего смятая страница
на сгибе с раздвоившимся «люблю».

Лас-Вегас

Евгений Чигрин

Смотрящий за сновиденьем

* * *

Не ангел и не призрак, третий кто-то
Срывает с черной розы лепестки,
И видит, как в глазах у звездочета
Планеты пьют сгущенное с руки.
...Раз лепесток – она тебя полюбит,
Два лепесток – отправит к Сатане,
И усмехнется в преисподней Гумберт,
С которым Минос на одной волне.
Не ангел, не фантом, а – третий кто-то
Махнет Гекате, ведьма снимет плащ:
В ее мирах ты не отыщешь брода,
Огонь демонологий говорящ.
Три змея держат над богиней нимбы,
В нечетком дыме атмосфера та.
Три зверя в масках распевают гимны...
Ты в зазеркалье прибыл неспроста,
А вот зачем – не скажет и смотрящий
За сновиденьем. Может третий? Кто
Стоит за всем? Как будто говорящий
О розе «Black» в бессовестном пальто.
Как ты сказал? – не призрак и не ангел?
Заснул в своей постели звездочет,
В слоях видений видит лунный кратер,
Пасется в небе красно-бурый скот.
Всё объяснить, открыв портал фантазма? –
Ты лучше сам, под лампой ведьмы, сам
Закрой ворота тучного маразма...
Тяни курсор к молочным берегам.

* * *

«...А тот, кто умер, снова ищет тело», –
Сказала ты и крылышки надела,
И вылетела в первое окно.
Расплылся сумрак мятою вороной,
Монах с клюкою показался сонный,
Закрыв собой распахнутое дно

Шестой реки Аида: сновиденье
 Таковую видит в матовом подземье:
 Не понарошку демоны живут.
 А ночь нежна ленивою постелью,
 Не так ли, Фицджеральд? Какому кхмеру
 Открыть глаза – видения убьют.

Ты улетела в первое... жива ли?
 В небесном мире ангелы щелчками
 Сбивают монструозных малышей:
 Близнята так похожи на папашу, –
 Какой иголкой к вашему пейзажу
 Кошмарик в рисовалке миражей

Пришпилить, а? Не умерла, не умер?..
 Окраска ночи – оберштурмбаннфюрер:
 В проявке демон сущий Айсман Курт.
 Всё в беспорядке: в космосе и дома,
 У ангела от вечности саркома,
 А в горлышке ангина и абсурд.

Ландшафты сновидений, ветки совы,
 Обмякшие от точной пули дрофы:
 Впадаю в сны, а – подхожу к черте,
 В которую стучатся волны Леты
 И бьются в дебаркадер Яндекс-ленты,
 Но нет о крылышкующей вестей.

ПЕСНЯ

«Похититель верблюдов и золота спит на песке...»,
 Вот напишешь *такое*, но видишь – за окнами выюга
 Распускается кобрами, тянет позёмку к реке,
 Желтоватый фонарь смотрит желтым на желтого друга.
 Всё становится белым, и контур бумажной луны
 Размывается и – вот и спряталась в космосе спектра.
 Как персидские лампы, включаю бессонные сны,
 Те, что жили в холодное, слишком холодное лето.

Чем пределы снегов не пустыня? Сахара к стеклу
 Прилипает, попробуй ее оторви, амфибрахий!
 То ли я с караваном иду в невозвратную мглу,
 То ли мгла подает похитителю черные знаки?

«Похититель верблюдов и золота спит на песке...»
И в мешках и в карманах его золотого немало.
Это песня о желтом металле, синице в руке,
О подарках маридов, смотрящих куда-то устало.

...Где-то в Северной Африке я обретаюсь сейчас.
Дромадер по гамаде уходит в закатное пламя,
Караван похитителя тащит богатство для нас.
Открывайся, пустыня, по строчкам Омара Хайяма.
Это ветры иллюзий? Реальность? Смотрю как идет
Снег песочного цвета и व्यогой навьюжен мехари.
Будет золото бедным. И праздник. И парусный флот.
Корабли марсиан. И феллахские песни Сахары.

* * *

Сходил июнь. Стихала детвора,
На парашютах опускалась мгла,
Срывая маски с мятого заката.
Провинция старела. Мальчик жил
Совсем не так, как пресловутый сыр,
Что с маслом завсегда запанибрата.

Не столько в дружбу с мальчиками, он,
Скорее, в книжный рай был вовлечен:
При книгах был, как варвар при фетише.
Над ним сивиллы ворожили сад
Когда бывал он сновиденьям рад,
Как позже бы сказали «выше крыши».

И музы потоптались у дверей...
Июнь, июль... а дальше сентябрей
Хватало на виолы и печали,
Чтоб умирать хотела вся листва,
И в жутком фильме падала дрофа
С глазами цвета дымчатой эмали.

И кто-то шел повторно биться за
Святой Грааль, оружием грозя...
Сомы дряхлели в мутноватом Буге.
И здешний черт крутил винил с утра:
«Locomotiv GT» от сентября
До «выше крыши» слышался на юге.

Сивиллы, музы, нимфы местных вод,
Кто нашептал мальчишке звездный ход
И память сердца, что рассудка глубже?
Возможно безотцовщина и – знак
Мифических подруг? Наверно так.
...Разбитая листва темнеет в луже.

* * *

С холодами тельхины заходят погреться в квартиры,
В те, что мечены цифрой зверюги-кота Бегемота.
Ласторукие демоны любят простые каминь,
Тот, который второй (было двое), с башкою койота,
Объяснял, почему под водой сероватого Стикса
Жизнь животных и прочих существ неотчетливо снится,

«Жизнь людей» – я пытался два слова добавить в потоки
Фантастической речи... Молчанье повисло на люстре.
И в потемках сознания морские невзрачные боги
Надевали на шею веревку стареющей музе...
Что еще? Всё смешалось, как в Ясной Поляне когда-то...
За окном голубые снега обнимала лопата.

Потешался тельхин с головою койота и, слезы
Вытирая платком, произнес: «Этот синий платочек
Подарил мне Харон, чьи капризы, вернее запросы,
Переходят все нормы: давно бы и без заморочек
Речнику подарили венок, только кто согласится
Одиноко работать от берега к берегу Стикса?..

Ох, морозно вокруг. Но – прекрасно у вас, в самом деле,
Малахитовый чай так и дышит драконом Китая
(Возникают и тихнут вулканы в тельхиновом теле).
На сто первом участке от двери молочного рая
Начинается праздник, такой, о котором ни завтра,
Ни сегодня сказать не могу, не хочу до инфаркта...»

Тот, который молчал и держал свои лапы в камине
(Не сгорали обвитые тиной и чем-то пахучим),
Что-то нервно сказал, и соткалось чужое в квартире,
И расплылось по стенке, и в зеркале свилось паучьим,
И исчезли тельхины за стенкою двенадесатой.
...Слышишь, как снеговик эту ночь зарывает лопатой?

* * *

Уже фонари приукрасили, как сумели, в столице, затем,
 Что праздник рисует застолье в мозгах. Волхвы, говорят, в Вифлеем
 Отправились, чтоб чудеса подогреть, напомнить слепым о звезде,
 А в городе шастает белая Смерть. Ты спросишь:

«Не близко?» – «Везде» –

Ответит, смеясь, нарастающий смерч. Ну ладно, не смерч, а – пурга,
 В которой теряется всякая речь. «До смерти четыре шага» –
 Не рэпер, старуха с косою поет. Тут фанов не сыщешь с огнем,
 С билборда глядит аль-пачиновский черт, а в башне Других астроном
 Поддал и забыл, что смотреть на Восток положено даже в метель
 Вседневно-всенощно, проснись-ка, дружок,

открой запредельную дверь,

Иначе волхвы позабудут, зачем куда-то идти в холода,
 И рухнет на голову всем Вифлеем, и дьяволом станет звезда.

ГODOVЩИНА

В забытом фильме* Влади упыря
 Заговорила – пристально смотрела...
 За окнами рассыпалась заря,
 Селена по-монгольски зажелтела.
 Затем пошел предновогодний снег,
 А в кадре распалились вурдалаки:
 То языками щелкали, то смех
 Из телика звучал, фантомы-страхи
 Как будто перешептывались. Ей
 Хотелось одиночеством креститься.
 Хоть волком вой, и – волк среди теней
 Стоял на лапах аллегорий... Пицца
 Нетронутой осталась, как и то,
 Что наливалось в рюмочку вначале
 Несложной ленты. За окном мертво,
 Темнее, чем на неживом вокзале.
 ...Ей снились облака, в которых бы
 Недурно разобрался б доктор Зигмунд,
 И кто-то выходил из скорлупы
 Навстречу то ли мухе, то ли тигру.
 Семь слоников с комода бы ушли
 В ту сторону, где Индия с Непалом,
 Когда она, не видя ни души,
 С его душой спала под одеялом.

* «Пьющие кровь» (1991) – экранизация повести А. К. Толстого «Упырь».

НАКАНУНЕ 26 ДЕКАБРЯ

...Каждую зиму она превращается в ведьму,
 Видит в нескромных мечтаниях шабаш-парад:
 Тянется стерва к учителю-дьяволу, ведь у
 Падшего ангела в вечной смиренности ад.
 Каждую зиму Морена ей шепчет три слова,
 Может, четыре, откуда мне тонкости знать,
 Ветер с Востока шумит по ночам бестолково,
 А по утрам наползает снежистая рать.
 Спутник ее, без сомнения, подозревает
 О трансформациях, то есть он знает про всё.
 Тьмущая тьма темноту в города разливают,
 Аллегоричное катит с небес колесо.
 Спутник сидит у окна в ожидании чая,
 (Чай из Бутана с древесною ноткой на вкус),
 Мыслит: попал не на шутку – чудовище, майя...
 Смотрит затравленно в полночь, где стаи медуз,
 Ну, не медуз, а созвездий, подумаешь, спутал,
 Нет под рукой телескопа и, в общем, зачем?
 Месяц глядит на него каменеющим спрутом,
 В колер светила на блюде нетронутый джем.
 Каждую зиму она превращается в эту...
 Мнится ему космодром на Фортуне-горе,
 Белый корабль, что летит на другую планету,
 Опустошенных уносит в каком декабре?

* * *

На планете Гекаты в фаворе огромные псы,
 То ли демоны, то ли... ну сам назови, если знаешь,
 И другие страшили природы, и тоже тузы,
 Посмотри им в глаза – от прицельного страха растаешь.
 Там в солдатах – скелеты, не те, что в шкафу у тебя,
 Вся галактика им – пофиг дым, в командах старуха,
 Та, что носит в мешке, как подарки родным, черепа,
 На котором сидит в черном платье безносая кукла.

Вот картинка из тех, что фламандцы смогли срисовать
 С гримуара небес? Может статья, с подземного царства?
 И тебя приколоть к страшной сказке, покуда в тетрадь
 Залетают слова и Геката в приливе коварства

Подтянулась к окну. Раскрывает с подбоем пальто.
Что там дальше? Всмотрись: в небесах между монстрами бойня?!
Я хотел сочинить. Не впервые сложилось не то...
В грозовых облаках потешается темная мойра.

КХАДЖУРАХО

...о снеге азиаты говорили:
«Земля соединяется с драконом».

Я стихи Кхаджурахо читал в переливчатой мгле,
Мне казалось, индийская муза сравнима с тростинкой.
Мы от холода прятались в вязком большом декабре
Между белой Москвой и мерцающей в космос глубинкой.
Я стихи Кхаджурахо «мохнатому золоту» пел,
В них пылало светило в котельной далекого юга.
На каком языке я тебе говорил very well? –
С 4 до 6 на каком мы любили подруга?..

Мы однажды с тобой полетим в кхаджураховый рай,
Прикоснемся телами к сакральному миру. Ты хочешь?
Между белой Москвой и провинцией – не отвечай:
С 4 до 7 ты любимые фишки отточешь.
...Заметает везде, не расслышать, как сосны шумят,
В 7:15 в окне, кроме мрака, табачного цвета
Не стихает луна, и ветра до небес не молчат:
И валторну гобой обвивает в проулках сюжета.

В забеленном краю накрывает нескучная мгла:
Апельсиновый чай заварю до зеленого счастья
И разрежу гуаву и манго. И так до утра –
Кхаджурахо-слова и другие заморские яства...
И душа поплывет за индийским драконом. Земля
С длиннохвостым созданием сплотится под именем Бога...
В сновиденье каком нашу тему закроет зима?
На часах... – всё равно. На губах – свежесваренный мокко.

Москва

Валерий Черешня

ЗНАКОМАЯ ОСТАНОВКА

Вот она подплывает, знакомая остановка,
электричка мягко сбавляет ход:
россыпь домишек, парковка,
сброд
местных псов у двери магазина
сладко зевает, вываливая липучки языков,
в ожидании, когда выйдет продавщица Нина,
дивно пахнущая колбасой.

Это у нее я брал бутылку, хлеб и спички,
направляясь к другу, и читал
расписание автобуса на выцветшей табличке:
вокзал – кладбище – вокзал.
Вот мы и проехали честно
весь извилистый кольцевой маршрут,
слово к слову ладили тесно, –
плёвый наш, легкий труд,
не приносящий корма
освободительный слог...

Вот она вновь подплывает, платформа,
зернистая память бесчисленных ног.
Кто там мелькнул в знакомом костюме,
кто вздумал так глупо шутить?

И вдруг вспоминаешь: он умер,
и незачем здесь выходить.

ОБНАЖЕННАЯ

...тело лишь прекраснее тогда,
когда ты ничего о нем не знаешь,
но вот стоишь у черного окна
и ртутным светом улиц отливаешь.

Невидимая осень за углом,
шурша по законным переплетам,

пытается прикинуться зверьем,
ломаю руки деревьям-уродам,

но тоненькая... Всё же, упаси,
в такую ночь не в комнате, а в стуже,
и руки, прикрывавшие соски,
хватают плечи, замыкая ужас

представленный... Спасение себя
уютом самозамкнутого тела –
стон против мира за спиной стекла,
покорности его окоченелой.

Там всё необходимо решено:
чтоб хрусткую листву настигла кара,
чтоб молодое светлое вино
играло – зрело – становилось старым.

Так на каком настояна вине,
откуда эта странная свобода:
всей кожей – по крахмальной простыне,
и одеяло взять до подбородка,

коснуться кнопки лампы, чтоб легли
из-за неплотных штор полосы света
на опушённый край ее щеки
и локоть, на подушке косо вздетый.

Но погоди, продлись, еще постой,
придуманная мной у занавески
с такой полузабытой чистотой,
что мне слепит от избытка блеска.

ЗАВЕТ

Откуда взял – туда пусть и вернется.
Ты отпускаешь нынче с облегченьем
слепое пляшущее пятнышко колодца
и бабушкино крохкое печенье.

Ты отпускаешь тинный запах моря,
его покатым плеском порою штиля,

и детское отчаянье историй
с русалочки звучащим словом Лиля.

Не впасть бы только в грех перечисленья
и не обеспокоить словом эти
на дне души уснувшие селенья, —
им хорошо в давно погасшем свете.

Пусть в беспредельной шири растворится,
что оболочка глаза отражала,
а всё, чему положено случиться,
лишается пронзительного жала.

* * *

Проснешься ночью — и убит
внезапной правдой о себе
дурным отчаяньем кричит
душа-ребенок в темноте
над нею животом навис
косматый груз невнятных сил
он тьму полночную кулис
опасной бритвой заточил
он книгу ночи распростер
чтоб ты внимательно следя
как полыхает звездный хор
приметы мелкой жизни стёр
всей сутью в чтение уйдя
одолевая древний страх
себя впечатав в темноту
перебирая истин прах
нашел единственную — ту

* * *

...а деревья в саду
так стоят одноного,
словно цапли в пруду
в ожидании Бога.

Бог плеснет ветерком,
ветви вспыхнут кипеньем,
илиадным копьем
их прохватит волненье

и затихнут, покой
обретая, как новость,
всей листвою, всей собой
воплощая готовность

отозваться легко
плотью шумного стада,
вплоть до гибели, до
листопада.

ПАМЯТИ ОТЦА

1

Это – театр старика:
вечер, лампа вполнакала,
донесет его рука
ложку супа? – расплескала,
растаскала по годам
память – вредная старуха,
что копилось по слогам,
но не доросло до слуха,
что сгноило по углам
времени пустое брюхо.

2

Русло для соленых влаг,
плоти драные обои,
жизнью вырытый овраг
в ока море голубое.
Этих черт застывший вой,
проступивший оттиск сердца –
с чем сравнится это, мглой
века сыгранное скерцо? –
разве с радужной искрой
на стекле буфетной дверцы?

3

Чем ненадобней, тем чище
сокровенных мыслей вздор.
Нищета в два пальца свищет,
выметая жизни сор.

Слабая полуулыбка
рембрандтовских стариков,
всё на свете слишком зыбко,
сплетено из смутных снов.
Смертного забвенья зыбка
вместо надоевших слов

4

Время – старый рэкетир –
всё до сути ободрало.
На прощанье видишь мир
без цветного покрывала.
Свет колеблемый свечи,
дрогнувших теней учетчик,
вырастающих в ночи.
Смерть, как опытный наводчик,
ищет нужные ключи.
И включен Господний счетчик.

НОВЫЕ ВРЕМЕНА

Мы выстроим большие умиральни,
где в равенстве все будут умирать,
устроим в них веселые игральни
для тех, кому захочется играть.

А умники, которым не по нраву
суровой справедливости приют,
пусть пьют изгойства стыдную отраву,
пускай под нашей тяжестью сгниют,

пускай забудут свой язык насилья,
с шекспирами своими лягут в склеп,
покуда мощно расправляет крылья
погромного косноязычья рэп.

Санкт-Петербург

Евгений Брейдо

Театр Аустерлица*

10 глав с подзаголовками

Глубоко в черномраморной устрице
Аустерлица забыт огонек.

О. Мандельштам

О, как шагает этот юный Бонапарт!
Он герой, он чудо-богатырь, он колдун!

А. В. Суворов

ЛОВУШКА

Чего он никогда не умел, так это заключать надежных мирных договоров. К чему идти на компромисс, если можно выиграть еще одно сражение?! А проиграть с такой армией он не может. Амьенский мир был хорош для французов, но хватило его всего на год. Слишком мало оказалось согласия и сильна взаимная злоба. Англичане не были разгромлены, как австрийцы, не хотели ничего уступать. Войне нужна была свежая кровь, и они сумели впутать русских, а надеялись еще и на пруссаков.

Одним махом перепрыгнуть Ла-Манш не удалось – адмиралы ни на что не годны, и война погнала армию в другую сторону – к Рейну. Его ворчуны дошли туда за три недели, а еще через две он поймал в хитрую паутину своих корпусов жирную муху – 85-тысячную армию Мака. Самоуверенный доктринер до самого конца не верил, что со всех сторон окружен – он проводил стратегические маневры, в его заполненной пустыми схемами голове неприятель был отрезан от линии коммуникаций и уничтожен. Зато генерального сражения удалось избежать; запертая в Ульме армия сдалась, и крови пролилось меньше, чем обычно. Но война на этом не кончилась, одной победы оказалось мало.

* После сражения при Аустерлице 2 декабря 1805 года Священная Римская империя, основанная в 962 году германским королем Оттоном I, перестала существовать.

Теперь русские соединились с австрийцами возле крепости Ольмюц, у них прекрасная позиция и больше войск, чем у него. Атаковать глупо, а выжидать опасно – время работает на них. Нужно как-то выманить их оттуда.

Его мозг, созданный для военных головоломок, жадно набросился на новую задачу. Перед глазами возникла местность с прямоугольниками войск союзников, потом праценское плато и окружающие долины, занятые собственной армией. Войска пришли в движение: поскакала кавалерия, ровные пехотные линии затрещали залпами, синие каре двинулись вперед, голова содрогнулась от грохота пушек и в ней внезапно стали появляться неясные еще картинки будущего сражения. Одни он тут же отвергал, на других останавливался подробнее, и они становились яснее, но потом тоже уходили; наконец, несколько последних завладели его сознанием, перекручивались в воображении так и эдак, и он стал уже проборматывать имена командиров, номера корпусов и дивизий. Мысль стремительно летела вперед и была точна – кажется, он поймал за хвост эту жар-птицу. В такие моменты – а он знал их хорошо – всё суетное отступало, мелкое тщеславие и безбрежное честолюбие его больше не имели значения, так же не было смысла ни в победе, ни в поражении: маленький смирный Наполеон просто следовал за мыслью, как послушный ученик. Важна была только она одна, решение уже существовало объективно – как данность, как предмет – стена или стол, – и больше никак от него не зависело. Выходило очень просто.

Для обхода и атаки, как ни крути, недостаточно войск – так пусть союзники сами атакуют. Молодой царь грезит военной славой. Ну что ж, придется пока побыть пугливым Дарием, чтобы он почувствовал себя всамделишным Александром перед Гавгамелами. Недолго, всего один вечер, утром поменяемся местами.

Они, скорее всего, захотят отрезать его от Вены, т. е. окружить правый фланг, но при этом неминуемо оголят центр, по которому он как раз и нанесет главный удар: прорвет его, выйдет им в тыл, сомнет, раздавит левый фланг врага и превратит их маневр в свою победу. Ему нужна сокрушительная победа, чтобы одним ударом закончить войну.

А если они поймут, что это ловушка? Останутся в Ольмюце, будут ждать подкреплений? Его одолевали сомнения. Сколько еще может подойти русских – 100 тысяч? Больше? Если поспеют из Италии эрцгерцоги Иоанн и Карл с 80 тысячами? Тогда ему останется только считать мертвецов, и незачем было хвастаться в письме Жозефине: «Займусь теперь русскими – им конец».

Нет, царю нужно сражение – как иначе раздобыть славы?! Говорят, юноша ангельски красив и воспитан не хуже прежних фран-

цузских королей. Жаль, если с ним что-нибудь случится в бою. Лазутчики доносят, что всю армию на походе заставил идти строевым шагом. Печатать шаг, не сгибая ног, по моравским дорогам – ох, вряд ли солдаты будут ему благодарны. Похоже, что военное искусство – не его стихия.

Там два императора и ни одного командующего. Дивная комбинация, но они могут ждать и станут от этого только сильнее – к ним подходят подкрепления. А у него их почти нет. Зато есть удача и доблестная армия, которая верит в своего императора почти как набожные крестьяне в Господа. Да, через шесть дней годовщина коронации. Хорошо бы к этому времени выиграть битву. Империя оказалась отменным рецептом от террора. Бурбоны убедились, что нет никакого смысла в адских машинах, – его смерть ничего им не даст. Французы хотят монархию, только совсем другую. Справедливые законы, дворянство несомненных заслуг и орден Почетного легиона для самых достойных – вот что нужно французам. Люди готовы умирать за этот маленький кусочек серебра с позолотой. А ведь никто не верил. Нарушает принцип всеобщего равенства. Ну и что?

РАЗГОВОР С КАРНО.

ЛИБЕРАЛИЗМ ИЛИ РЕСПУБЛИКА?

Вот кого жаль было отпускать в отставку. Вряд ли у него еще будет такой военный министр. Великий человек с лицом фабричного рабочего: водянистые глаза, большой нос, всклокоченные волосы. К тому же оспины на лбу и по щекам. У любого капрала в гвардии вид поавантажней. Ни военного опыта, ни образования, однако лучшего организатора для армии не найти. Видит сразу и лес, и каждое дерево. У Карно не бывает мелочей: всё важно. Убедился в этом не раз и не два, пока готовили итальянский поход. К тому же знаменитый математик. Когда по делу о взрыве адской машины Фуше внес Карно в список заговорщиков – тут же его вычеркнул: «Карно не заговорщик, а вы сумасшедший, Фуше». Непреклонный республиканец, но ему можно простить.

Карно сидел у него в кабинете в огромном покойном кресле, обитом красным бархатом с золотыми пчелами, как раз под часами, а он вскакивал и вышагивал перед ним, заодно посматривая на эти часы, – вот-вот должно было начаться заседание Госсвета. Каждый говорил о своем – друг друга они не слышали. Карно будто остался в прошлой эпохе и всё еще беседовал оттуда с революционным генералом Бонапартом.

– Вы опираетесь на восторг черни и любовь солдат. Только чернь капризна, ее восторги переменчивы.

– Но эта чернь и есть французский народ. Несколько сот депутатов, адвокатов и журналистов не в счет. И вы не хуже меня знаете, что сделано за три с половиной года. Революцию нужно было очистить от воровства и грязи, отмыть от крови. Из громких лозунгов получился Гражданский кодекс, из неглупых и честных людей – отличные чиновники. Страной уже четвертый год управляют префекты – первые консулы в миниатюре.

Родись он в другое время, ни за что бы не стал воевать. Бесстрашие – не одна только храбрость в бою, но и отчаянная смелость мысли, не знающей преград, и решимость додумывать всё до конца.

– О, поверьте, я отдаю вам должное. Во Франции никогда не было такого реформатора. Но вы живете ради славы и власти, ваше честолюбие не знает границ, поэтому всё висит на волоске. А французский народ по большей части – крестьяне, мелкие буржуа. Солдаты-то ваши в основном из деревни.

Как бы объяснить ему, что у всякой страны, как у человека, своя судьба. Здесь не Северо-Американские штаты. И некому уступить власть, потому что больше нет никого, так же идеально созданного для власти, умеющего ею так же отлично пользоваться и в чьих руках от нее будет меньше всего вреда.

– Я честолюбив, верно, но мне ничего не нужно для себя. Моя единственная цель – сделать французов счастливыми, а Францию – первой державой в мире. Буржуазия богатеет, крестьяне тоже за меня – теперь они владеют землей по закону. Что до солдата, то после пары сражений он уже просто солдат и больше ничего. Неважно, кем он был вчера. И, кстати, солдатская преданность надежнее всего на свете.

– Чтоб платить за эту преданность, вы и создали орден Почетного легиона по образцу рыцарских орденов. Блестящая, конечно, штука, но в основе ее неравенство. Возникает как бы новое дворянство, люди же по природе равны.

– Люди равны только перед законом. Искусственное равенство так же несправедливо, как феодальная иерархия. Необходимо честное соревнование. Орден Почетного легиона – волшебная палочка, которая из обычных людей делает героев. Попробуйте придумать другую. Если не уважать заслуг, не будет ни свободы, ни достоинства.

Как удивительно, что он не понимает таких простых вещей – при его-то уме?! Что это – ограниченность, сила революционной догмы?

Карно верил в равенство. Не в то, что все люди одинаковы, тут он точно знал, что никто не разбирается, скажем, в геометрии так, как он, даже этот военный гений, который удивил его когда-то решением

старой задачи о треугольниках. Но пусть это останется внутренним, личным делом каждого, не нужно напоказ награждать, возвышать, а то одни снова захватят власть над другими, восславят ее подлыми красивыми словами и будут передавать потомкам из рода в род.

– Поэтому вы возвращаете изгнанных из Франции аристократов?

– Я возвращаю только тех, кто не воевал против нас. Сейчас, когда феодализма больше нет, аристократия безобидна. Но она необходима. Это сословие воспитано в понятиях чести, им не нужно объяснять, что такое величие, слава или милость к побежденным. Иначе нам останется узнавать про благородство разве что из трагедий Корнеля или поэм Оссиана. Хотя вы правы, между нами нет сходства. Мои ворчуны, возможно, даже лучший пример для подражания. Они доблестны. А для чести французской нации нет ничего важнее чести французской пехоты.

Да, больше всего империя нужна его ворчунам – все-таки он солдатский император.

– А конституция? Что вы с ней сделали?

– Поменял на Конституцию X года. Разве что-то случилось? Слышали, как теперь шутят в Париже: «Что дает Конституция X года? – Бонапарта». Смешно. Кодекс Наполеона – вот что важно, форма правления не имеет значения. Что вам нужнее – либеральные принципы или демократия?

– Мне нужно то и другое. Десятилетнее консульство, теперь пожизненное. Пожалуй, еще не поздно стать Вашингтоном, но если всё же станете Кромвелем, когда-нибудь жестоко за это поплатитесь.

– То и другое вместе пока невозможно. На нас всё время нападают. Теперь понятно, что война с Англией продлится долго и втянет в себя много стран и народов. Кроме меня, вести ее некому. Я не боюсь войны, хотя не начну ее сам. Чтобы жить в мире и согласии с соседями, мы с ними должны быть похожи, значит, Гражданский кодекс должен завоевать, по крайней мере, Европу. Хотя, думаю, что даже испанские колонии в Америке скоро последуют примеру Франции. Тут нужны военное счастье и твердая рука, а у меня еще и легкая – всё, к чему прикасаюсь, удаётся.

– Единая Европа – утопия. Удача может в любой момент отвернуться, и тогда вы упадете в прикрытую цветами пропасть.

ИТАЛЬЯНСКАЯ КАМПАНИЯ

Тот портной в Венеции верно подсказал про серый плащ к треуголке. Или двуголовке? Черт знает, как называется эта дурацкая шляпа. Их все разнашивает Констан – может, он знает? У камердинера огромная голова.

Серый цвет хорош – броскость вульгарна. Ему нравится серый. Или темно-синий – цвет их шинелей. В темно-синем был при Маренго. Тогда появились челка и скучные волосы в скобку – вместо длинноволосого романтика времен Арколя и Яффо. Интересно, каким его запомнят? Как сейчас – в сером плаще с треуголкой и звездой Почетного легиона на мундире? Запомнят ли? Пожалуй, да. Для победителя при Лоди, Кастильоне, Пирамидах, Ульме должно найтись место в Истории. Он угадал свое предназначение и жертвует ему всем – и счастьем, и любовью. Всем, что для любого человека и есть единственный смысл жизни. Только не для него. Впервые понял это в Италии. Ту кампанию не превзойти, не повторить. Он был влюблен, свободен как ветер, служил родине и себе самому. Из отчаянных оборванцев, кажется, одним рывком воли создал грозное войско, перемалывал с ним бесконечные пьемонтские, австрийские армии, а в голове царил Жозефина.

И всё было впереди. Ах, как ему тогда везло! Судьбе никогда и нигде не устоять перед его волей, но с той кампанией ничто не сравнится. Всегда в меньшем числе, нападал и разбивал неприятеля наголову повсюду, где только мог найти. Там, при Кастильоне, родилась его стратегия, там он впервые заморозил солдат своим военным счастьем. Самая большая честь – быть первым в атаке, самое большое несчастье – разочарованный взгляд генерала. Когда честь превышает все, сила натиска неодолима.

Нет ничего невозможного, слово «невозможно» нужно выбросить из французских словарей. Оно развращает. И нет ничего важнее дерзости замысла – конечно, если можешь этот замысел воплотить.

Теперь время легенды. Нужно создать добротную, чтоб хватило надолго. Его империи не нужен живой Наполеон, ей нужен герой, миф. У Наполеона могут болеть ноги или живот, у императора никогда ничего не болит, он никогда не устает и почти не спит. Наполеон изредка делает ошибки, император непогрешим и знает всё наперед. Например, план этой кампании он, конечно, составил еще в Булони, когда собирался переправиться в Англию, и уже там точно указал место, где разобьет врага. После битвы пусть об этом напишут во всех газетах.

В Италии ничего похожего еще не приходило в голову, тогда он просто любил Жозефину и мечтал о счастье. Но и честолюбие не отступало. До сих пор помнит наизусть свои письма 96-го года: «И дня не прожил без любви к тебе. И ночи не провел, не сжимая тебя в объятиях. Чашки чая не выпил, не проклиная честолюбие и славу, которые держат меня вдали от тебя». Сколько их было! «Природа дала мне сильную решительную душу, тебя же соткала из кружев и

газа.» Днем побеждал, по ночам писал ей. Без этой страсти не было бы Итальянской кампании. Родился мечтателем, чувствовал, что будет его черед, но тогда впервые догадался, на что способен. Оттуда же пошла легенда – первая ступенька к трону. В Италии стал героем, а теперь вырос в императора.

Его рисует Давид, этот всё понимает, как надо: на Сен-Бернарском перевале, прямо под облаками, в пурпурной тоге, на белом вздыбленном коне, с рукой, указывающей невесть куда. Если бы не в Альпах, а хоть в манеже он поднял на дыбы самую смирную лошадь, та бы сбросила его в ту же секунду. И была бы права – ему легче управиться с вражеской армией, чем с лошадью. Но для империи именно так и нужно. Постепенно человек в нем до того слился с императором, что не разобрать, где кто.

САВАРИЙ.

КАКОВО РАБОТАТЬ АДЪЮТАНТОМ ИМПЕРАТОРА ФРАНЦУЗОВ

Придется разыграть спектакль – убедить врага, что слаб и станет легкой добычей. Это должно быть несложно – корпуса разбросаны на расстоянии суточного перехода и перед союзниками стоит сорокатысячная армия против их почти девяностотысячной. Он придумал и опробовал этот способ в Итальянскую кампанию – ловить противника сетью наступающих корпусов. Как только неприятель обнаружен – сеть затягивается, корпуса подходят один за другим: дальше только ломать горло врагу. Пусть союзники пока думают, что у французов в два раза меньше войск, – тем более, что их и правда немного меньше. К чему пугать раньше времени? В этом представлении у него будут благодарные зрители и верные помощники – люди охотно верят тому, во что хотят верить. А он постарается быть убедительным – например, уйдет с Праценских высот. Но должны помочь и зазорные теории войны из австрийского гофкригсрата: после двух кампаний их планы читаются как с листа, а теперь придется еще и научиться направлять мысли в нужную сторону.

Император позвонил, вошел дежурный адъютант.

– Савари, вы сейчас поедете к императору Александру. Пишите: «Сир, я посылаю своего адъютанта генерала Савари, чтобы поздравить Ваше Величество с прибытием к армии. Поручаю ему выразить Вам мое глубочайшее уважение и заверить Вас, что больше всего на свете мне хочется снискать Вашу дружбу».

Наполеон нетерпеливо махнул рукой: «Допишите сами – что я восхищен его добротой, хочу быть приятным, что-нибудь в таком духе. Еще пару этикетных фраз. Поезжайте немедленно. Передайте

на словах, что я не хочу войны, у нас нет никакой причины воевать. Если будет задавать вопросы, вы знаете, что отвечать. Возвращайтесь и доложите, как он вас принял».

Савари вышел. Он служил адъютантом Наполеона с предыдущей, австрийской, кампании – почти пять лет. Вряд ли в то время где-нибудь существовала должность более хлопотная. Адъютант императора был обязан не только доставить приказ, но действовать по ситуации, например, при необходимости возглавить любой отряд, вплоть до армейского корпуса. Полномочий и боевого опыта хватало, все они были генералами. Адъютантам приходилось бывать послами, министрами, квартирмейстерами и бог знает кем еще. А в случае надобности уметь наколоть дров и приготовить курицу. Задачей Савари было, конечно, не только вручить письмо, но разобраться, кто задает тон в окружении молодого царя и что думают его приближенные о предстоящем сражении. Статный кавалерист с бездонными синими глазами и большим, изящно очерченным, чувственным ртом казался созданным для любви или, на худой конец, сцены, а не для замысловатых императорских поручений. Но за внешностью оперного певца скрывались врожденная интуиция и проницательность сыщика. Он раскрыл заговор Кадудалья – самый опасный за время правления первого консула. Правда, он же арестовал несчастного герцога Энгийенского, который был виноват лишь в том, что родился Бурбоном, и устроил над ним скорый и неправый суд, но тут сказала другая черта Савари – нерассуждающая исполнительность.

АЛЕКСАНДР

Ура, наш царь!

А. С. Пушкин

В русской Главной квартире царили самонадеянность и эйфория, как будто не только сражение было выиграно, но Наполеон и его империя больше не существовали. Заводилой придворной молодежи был князь Петр Долгоруков, энергичный белокурый красавец, отважный, но заносчивый, и больше дерзкий, чем разумный. Службу он начал сразу с капитанского чина и в 21 год стал генералом, ни разу не побывав в бою. Другие генерал-адъютанты – Волконский, Ливен, Винценгероде – тоже отличались храбростью и лихим напором, но не военными талантами. В Петербурге вельможная молодежь успешно задвинула сановников прежних двух царствований, теперь военная молодежь отодвинула екатерининских генералов. Диспозицию сражения поручено было составить генералу Вейротеру, теоретику той

же школы, что и ульмский герой*. Это был высокий пятидесятилетний человек с внешностью строгого школьного учителя. Больше всего ему доставало палки или длинной линейки. Провалов в его карьере было много, победы ни одной, однако высокая заумь речей и запальчивая самоуверенность производили магическое действие на неискушенных в военном деле фрунтовиков-венценосцев.

Савари прибыл на аванпосты перед городком Вишау и был отправлен в штаб Багратиона. На следующий день в 8 утра его привезли в городок Ольмюц и проводили в дом, где стоял главнокомандующий. Это был просторный купеческий особняк, выкрашенный в ярко-желтый цвет: в первом этаже располагался штаб, во втором были апартаменты Кутузова, а третий остался хозяевам. Командующий предложил оставить депешу ему, но адъютант сказал, что в таком случае должен будет воротиться назад. Михаил Илларионович не стал настаивать и предложил дожидаться. Вся Главная квартира была в движении: по поведению и словам офицеров ясно было, что армия вот-вот выступает в поход. Савари смотрел и слушал. Ждать ему пришлось недолго. Не прошло и четверти часа, как внезапно возникли суматоха и общее замешательство: опытный придворный, он сделал вывод, что прибыл царь. Так и оказалось. Савари видел, как искалочно согнулся генерал Кутузов, из командующего армией на глазах превращаясь в раболепного придворного. Через секунду вокруг были только согнутые спины.

Александр был высок ростом, голубоглаз, с правильными, как у античной статуи, чертами лица, но несколько женствен. Глаза, мягкий округлый подбородок и склонность к полноте достались ему от бабушки Екатерины. Адъютант императора представился, передал пакет. Александр жестом велел всем удалиться. Потом сам вышел с пакетом из комнаты и вскоре вернулся назад, почему-то держа конверт адресом вниз. Савари перевернул его и с удивлением прочел вместо «Наполеону, императору французов» неожиданное обращение: «Главе французского правительства».

— О, я не придаю значения этим мелочам, — пояснил Александр с очаровательной улыбкой. По-французски он говорил без всякого акцента безупречными академическими фразами. «Я не призываю вас верить мне, — читалось в этой улыбке. — Мы оба всё понимаем, просто играем в одну и ту же увлекательную игру.» И добавил словами, как бы с сожалением пожимая плечами: «Всего лишь правила этикета».

* Генерал Карл Мак (1752–1828), австрийский фельдмаршал. Во время войны, в 1805 году, Мак во главе австрийской армии потерпел поражение у города Ульма, был окружен и капитулировал с 20-тысячным войском.

– Уверен, что император именно так и поймет, – ответил Савари. Он не оценил искусной игры русского императора, поскольку предпочитал формулировки простые и ясные. – В Итальянскую кампанию у генерала Бонапарта в подчинении было немало королей, но дорожит он только доверием французского народа, избравшего его императором.

Александр ответил утонченной улыбкой, как бы поддержав ее коротким наклоном головы. Это могло означать согласие или что угодно. В манерах молодого императора преобладали изысканность и аристократическая сдержанность.

Миссия была выполнена, Савари тотчас откланялся. Александр остался один.

Почти никто не понимал, почему он ввязался в эту войну. Даже приближенные, которые стояли за борьбу с Наполеоном, – из собственных ли видов, как князь Адам Чарторыйский, из выгоды быть заодно с государем или просто из неколебимой преданности, – вряд ли смогли бы сказать, что им движет. Знает только учитель, Лагарп. Хотя и в письмах у них это не прямо – между строк. Быть Наполеоном и стать императором – какое чудовищное падение! Как он смешон в желании быть обычным монархом! К тому же ничего не смыслит в монархизме. Но не в том дело – почему ему удастся одерживать все эти победы, совершать перевороты, менять политический строй, принимать кодексы законов?! Он мал ростом, вульгарен и, говорят, бывает по-солдатски груб. Однако все им восторгаются, как античным героем, у него всё выходит, ему всё разрешено, и даже теща Амалия, баденская маркграфиня, приводит его в пример зятю. Да что теща, половина двора – бонапартисты. А он, Александр, не совершил пока ничего. Проклятый корсиканец забрал его подвиги, его славу и успел уже сделать всё то, о чем он только мечтает. Стать благодетелем человечества, устройтелем счастья народов, любимцем Европы и всего света – всё это невозможно, пока есть *он*. Только Лагарп понимает. И мечтает о дивной и высокой судьбе для своего ученика. «Россия Вас десять веков ждала», – когда-то написал ему учитель.

В Европе нет места для них обоих. Один должен уйти. Кто? Провидение разберется. Но у него, Александра, есть миссия. Это то, к чему он предназначен, – уничтожить выскочку. И, кажется, сейчас для этого самый удобный момент.

ВИШАУ. СОВСЕМ МАЛЕНЬКОЕ СРАЖЕНИЕ С БОЛЬШИМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ

Пока Савари беседовал с Александром, русская армия шла вперед. У Вишау на ее пути стояла небольшая гусарская часть генерала

Треяра. Бригадой она была только по названию, поскольку насчитывала едва ли треть состава. Завидев тысячи всадников и пехотные колонны, гусары вскочили на коней и бросились вон из городка. Долгоруков во главе 12 батальонов пехоты первым вошел в Вишау и пленил эскадрон, застигнутый в пешем строю. Казаки и павлоградские гусары изрядно побили конных егерей, прикрывавших отход Треяра, — тем дело и кончилось. Успех был небольшой, скорее перестрелка, чем сражение, но произвел необычайное впечатление на окружение Александра и на самого императора. Долгоруков, герой дня, говорил, что сейчас дело не в том, как побить французов, а как их потом ловить. Теперь он больше всего опасался, что Буонапарте уйдет. Государь объехал поле боя, посмотрел в лорнет на убитых и раненых: его мутило от вида крови. Не стал ужинать и весь следующий день был болен.

ПРИМАНКА.

ЕСЛИ РЯДОМ БЕСПЛАТНЫЙ СЫР, ОГЛЯДИСЬ ВОКРУГ —
НЕ В МЫШЕЛОВКЕ ЛИ ТЫ?

Наполеон остался доволен докладом Савари. Повертел в руках бумагу, усмехнулся: «Главе правительства». Н-да-а.

— Савари, раз уж вы свели знакомство с русским императором, стоит его продолжить.

Он был в хорошем настроении.

— Поезжайте к нему снова и скажите, что завтра я хочу с ним встретиться. Мир можно заключить сейчас же и на самых умеренных условиях. А пока договоримся о перемирии на 24 часа. Отправляйтесь немедленно.

Перемирие было нужно, чтобы успели подойти корпуса, стоявшие на расстоянии одного перехода.

Теперь Савари приняли в русском лагере хуже. Александр был сух и встречаться отказался, но предложил вместо себя Долгорукова. Это была дерзость, однако император, не задумываясь, согласился: русский царь, сам того не понимая, ему подыгрывал. Пусть его считают слабее — значит, больше надежды, что будут атаковать. И он незаметно подскажет, где именно.

Чем тверже Наполеон казался окружающим — а за двадцать лет походов никто ни разу не застал его растерянным или хоть чуть неуверенным в себе, — тем больше сомнений и страхов точили его изнутри. Да, он выманил союзников из Ольмюцкой крепости. Только что дальше? Будут ли они и впредь следовать его плану? А если вот прямо сейчас, без всякого перемирия, всей силищей ломанутся впе-

ред, когда в каждой части еще полно отставших, которые подтянутся только к самому сражению, и не подошли ни Бернадотт, ни Даву с Фрианом, ни остальные?..

Хищным военным разумом он сразу видел опасность. И в подтверждение тут же чувствовал ее телом: мышцы ног пронзала нестерпимая боль, словно сквозь них пропускали сильный электрический ток. Внезапный разряд выкручивал каждую, они переплетались, как веревки в клубке, ноги подкашивались, становились тряпичными, и тело готово уже было мягко осесть, будто пустой мешок, но в следующее мгновение боль проходила, оставляя мерзкий привкус трусости и малодушия. Лицо ухитрялся держать непроницаемой маской, чтобы не выдал ни один мускул, только пальцы сжимались за спиной в кулаки. Баталий не выигрывают без риска, а боль, даже такая, — отнюдь не смерть.

Маршалы думают, что Працен — ключ ко всему сражению. Ну и хорошо, значит, австрийцы и русские думают так же. Из этого ключа получится отличная приманка — кому достанется, сразу почувствует себя победителем. Правда, нужно еще победить. Послезавтра будет кровавый день, а пока он устроит балаган с переговорами и отступлением. Если всё получится как задумано, победа должна быть полной, и еще можно спасти несколько тысяч жизней. Тысячи молодых мужчин, мужей, любовников, детей, отцов, которых привели сюда долг, желание славы или страсть к наживе, привычка драться или покорность судьбе; отважных, осторожных или даже трусливых; вояк, крещенных огнем, и юнцов, не нюхавших пороха. Он представлял их себе очень легко, как четырехугольники каре в синих мундирах, — да зачем их как-то представлять, они же тут рядом, перед глазами! Только нужно знать, как вставить этот ключ, — там замок с секретом, никто этого не понимает — ни противник, ни его маршалы, а он знает, как. Они пришли раньше и, естественно, заняли высоты, тактически безукоризненно; теперь он отступил в страхе перед неодолимой мощью врага и освободил их — картинно, напоказ. Русским ничего не остается, кроме как принять этот дар. Сейчас у союзников есть возможность маневра, а ему нужно, чтоб они заняли Працен и спустились оттуда, пытаясь окружить его правый фланг, тогда он сможет рассечь их центр и ударить с тыла.

Есть такая шахматная задача: чтобы победить, нужно пожертвовать ферзя. Здесь что-то подобное. Ему обязательно должно повезти. Они сделали уже столько глупостей, что сделают и еще одну ошибку.

Он дал им разбить Трейяра — а что было делать? Раз уж так слаб, для правдоподобия русские должны одержать хоть крошечную победу. Авангардным частям приказано отступать без боя при наступлении неприятеля. Пусть Александр порадуется.

Мюрат в развевающемся золотом плаще со свисающими, как на театральном занавесе, кистями и в расшитом золотом камзоле примчался к нему вчера, пылая праведным гневом, – бригада Трейяра была из его резервной кавалерии:

– Сир, прикажите атаковать! С десятью эскадронами я буду гнать эту сволочь до самой Сибири!

Он остановил принца движением руки:

– Пока не нужно ввязываться в сражение. Еще не время.

Иногда полезно слегка поднять боевой дух врага, особенно когда понимаешь, чем всё кончится. Русский император должен быть уверен, что Буонапарте – так, кажется, они его называют между собой на итальянский манер – боится союзников и делает глупости: отступает при первом движении противника, уходит с ключевых высот, не рискует ответить ударом на удар. Иной боевой генерал задумался бы, а теоретики вроде Вейротера и лошечные адъютанты примут за чистую монету. Он сыграет не хуже, чем в Комедь Франсез, – зря, что ли, они его считают итальянцем, любой итальянец прирожденный лицедей. Завтра приедет на переговоры любимец царя принц Долгорá – кто может выговорить эти русские фамилии?.. Посмотрим, с чем. Он готов заключить мир на разумных условиях – с русскими нужен союз, а не война, австрийцы же побеждены и будут сговорчивы: в конце концов, его войска стоят в Вене. Но это вряд ли. Резвая молодежь хочет его разгромить.

Что ж, пусть попробуют. Он дарует им право первой атаки. Они же не знают пока, что она будет единственной. А если русские не уйдут с Працена, поставят там пушки и будут расстреливать сверху его войска? – Так бы поступил он сам, так и поступит сразу, как только снова будет наверху. Тогда не будет ни поражения, ни победы – он не станет их штурмовать. Нет, они уйдут – им нужна слава, русский император с придворными уверены, что послезавтра вдребезги разобьют старого глупого Наполеона. Конечно, он стар – ему уже 36, а тому 28. Завтра увидим, так ли всё это, как кажется. Долгорá должен не просто поверить, а прочувствовать до конца и убедить своего господина. Дело того стоит – он постарается. Працен – ключ ко всему, хотя даже Ланн, самый талантливый из маршалов, ничего тут не понимает.

Если будет сражение, оно покончит со Священной Римской империей. Германские государи пойдут за победителем.

ПЕРЕГОВОРЫ

Около полудня Савари вернулся в штаб Наполеона, располагавшийся на небольшом постоялом дворе по дороге в Брюнн:

– Сир, принц Долгорá ждет на первом посту.

Не успел он договорить, как император уже мчался туда с такой скоростью, что взвод охраны едва поспевал следом. Он всегда передвигался стремительно, нетерпение гнало вперед, а тут еще подстегивала сумасшедшая мысль: «Вдруг царь, наконец, понял, что для войны нет причин, и удастся заключить достойный мир?»

Высокому, белому, лощеному Долгорукову, воспитанному в пышной и медленной церемонности русского Двора, был неприятен сам вид этого смуглого, слишком быстрого человека с резкими порывистыми движениями. В нем не было византийской царственности, надмирного величия василевсов, он даже не был аристократом, т. е. равным, принадлежал к другому и непонятно какому кругу. Его сюртук и треуголка тогда еще были внове в Европе, она оценит их чуть позже, под гром пушек завтрашнего Аустерлица, Йены-Ауэрштедта и Фридланда, сегодня же этот странный наряд и залепленные грязью сапоги совсем не понравились русскому князю. То ли дело золотые, генерал-адъютантские, с императорским вензелем эполеты и сапоги, в которых послушно отражается грязное небо этой никому не известной деревушки.

Наполеон был естественен и любезен, в Долгорукове не к месту проснулась древняя спесь удельных государей:

– Франция должна вернуться к своим исходным границам. Вы должны оставить Италию, Бельгию и левый берег Рейна.

Сама его поза – гордо откинута голова, выпяченная грудь, отставленная правая нога – куда больше подходила трагическому актеру, чем переговорщику. Наполеон слушал с возрастающим изумлением. Эта речь, произносимая менторским, не терпящим возражений тоном, была, скорее, упражнением в декламации, чем реальными мирными предложениями.

– Как, и Брюссель я тоже должен отдать? – спросил он тихо.

Долгоруков подтвердил.

– Но мы с вами беседуем в Моравии, милостивый государь, а чтобы требовать Брюссель, ваша армия должна стоять на высотах Монмартра.

Князь никак не отреагировал на это замечание и продолжил заготовленный монолог. При этом он старательно избегал какого-либо обращения к французскому императору.

– Также должны быть возвращены все наследственные владения австрийской монархии, и в первую очередь Вена. Тогда французская армия сможет беспрепятственно уйти восвояси.

На этом терпение Наполеона закончилось:

– Уходите, сударь, и скажите вашему господину, что я не намерен сносить оскорблений. Уходите немедленно!

Этому Долгорá всё же удалось испортить ему настроение.

– Италия! Бельгия! – бормотал он. – Они хотят Италию! А что бы они сделали с Францией, если бы я был разбит?! – при каждом слове в ярости разбивал кавалерийским стеком комья земли под ногами.

Тут он заметил на часах старого солдата Антуана – помнил его еще по Египетскому походу.

– Они считают, что нас осталось только слопать, – сказал обиженно, обращаясь к часовому. Для этих он был не императором, а маленьким капралом, «стригунком» – прозвали так за то, что был коротко стрижен. Антуан взглянул на него, спокойно набивая трубку, и невозмутимо ответил:

– Да ну! Мы встанем им поперек глотки!

Наполеон улыбнулся – к нему вернулась утренняя веселость.

Царь решил пошалить – послал этого юного хлыща, чтобы тот его отчитывал, как боярина, которого хотят сослать в Сибирь. Ох, шалунишки, ничего, через пару дней вы узнаете цену своих милых проделок, но это будет кровавый урок и запомнится он надолго. Потянулся дернуть Антуана за ухо – делал так всегда, когда человек ему нравился, и отдернул руку: мочки не было.

– Где ты ее потерял?

– При Маренго, – ответил старый солдат с прежней невозмутимостью. – Я был в авангарде Дезе, в девятой бригаде.

– От нее почти никого не осталось, – помрачнел император. — Это была славная атака. Кто не видел, как дрался Дезе под Маренго, тот вообще ничего не видел. Я уже проиграл битву и выиграл ее, когда он пришел на грохот канонады и, как вихрь, ворвался в бой. Жаль Луи – сейчас был бы лучшим из маршалов.

– Еще как жаль – генерал всегда был лучшим. Он погиб в 31, а мне уже 37 – и я всё еще жив.

– Без Дезе мы бы проиграли. Помнишь, его похоронили на самой высокой альпийской вершине, чтобы горы стали подножием могилы. Если бы только мог обменять ту победу на его жизнь, не задумался бы ни на секунду.

– Да, помню, как ты плакал.

– Всё, что мне было нужно, – обнять его после битвы. Но сейчас другая война.

И неожиданно закончил:

– Через 48 часов их армия будет разбита, я тебе обещаю.

– Теперь попробуй только не сдержать слово, – отозвался Антуан.

РОКОВАЯ ОШИБКА

Он слеп, упрям, нетерпелив,
И легкомыслен, и кичлив,
Бог весть какому счастью верит...

А. С. Пушкин

Долгоруков доложил царю, что больше всего на свете Буонапарте боится сражения, и достаточно одного нашего авангарда, чтобы его разгромить. После этого атака на французов была окончательно решена. Кутузов робко пытался возражать, но его никто не слушал.

Князь Петр с детства знал, что русская армия непобедима. О чем тут еще рассуждать?! Вежливость корсиканца была для него признаком слабости, стычка у Вишау казалась настоящим сражением. А главное, он очень хотел, чтобы Буонапарте боялся, а он, Долгоруков, был бы признан стратегом и заработал бы новую славу, чины, ордена и еще большую царскую признательность – хотя куда уж больше. На место Буонапарте он ставил, естественно, себя самого, только этот Долгоруков-Буонапарте был глупее, трусливее и во всех отношениях хуже, чем он сам, и поэтому, сражаясь с собой худшим, лучший Долгоруков всё время у себя выигрывал. Молодой князь был этим чрезвычайно доволен.

Весь день 30 ноября и следующий русская армия продвигалась вперед, перепутываясь колоннами, меняя на ходу командиров, чтобы занять позиции, предписанные по плану Вейротера. В день проходили от силы километров по десять, зато строевым шагом. Устали и вымотались смертельно. Генералы рыскали в поисках своих частей.

Вечером 1 декабря в штабе у командующего был военный совет. Долго ждали Багратиона, уже за полночь от него прискакал адъютант сказать, что князя не будет. Кутузов приказал начинать. Вейротер скучным профессорским голосом объяснял диспозицию. На лице у него блуждала презрительная улыбка мученика, который должен учить дикарей исчислению бесконечно малых. Крепко сбитый белокурый Буксгевден слушал стоя, оттопырив к Вейротеру ухо и сложив ладонь рупором. Маленький Дохтуров смотрел на карту, записывал и каждую минуту просил ему что-нибудь повторить. Сообразительный Ланжерон искал и находил в диспозиции слабые места. Кутузов вначале сладко дремал, а под конец по-настоящему заснул, подперев голову небольшой пухлой ладонью. Остальные просто молчали. Часам к трем разошлись и каждый в темноте поехал к своим.

ИЛЛЮМИНАЦИЯ: «ВИВАТ ИМПЕРАТОР!»

На императорском биваке пили вино и спорили о стихах. Жюно-буря, успевший как раз к сражению примчаться из Лиссабона в надежде на удачу и маршальский жезл, декламировал из «Федры»:

Как он явился в мир, чтоб заменить Геракла,
Напомнить, что средь нас геройство не иссякло;
Как истреблял он зло*.

Наполеон, хорошо понимая, кому адресована эта лесть, возразил: – Ну, отец трагедии всё же Корнель. И он по-настоящему государственный человек! Хотя «Сиду» и не хватает политической идеи. Но время трагедий отнюдь не прошло.

Савари поддержал его:

– Они – вечный источник сильных эмоций. Как будто им не хватало эмоций в жизни.

– А сюжетов теперь не меньше, чем раньше, – добавил Коленкур. Потомок королей-крестоносцев, прямой и пылкий, он сам был под стать героям классической трагедии.

– Расин – ученик и преемник Корнеля, – согласился Жюно. – В «Сиде» же сильна идея монархическая – что, может, даже важнее.

Его прозвали в армии «Бурей» за бесстрашие и неотразимый напор. А Наполеон обожал храбрецов. Буря стал адъютантом генерала еще в Тулоне.

– Сир, а может быть, Вы что-нибудь прочтете? Например, из Оссиана, – просьба была неожиданна, Жюно и сам удивился собственным словам.

Оссиан – это было из той, первой, Итальянской кампании, когда всё начиналось. Сражение при Лонато, где он получил шесть сабельных ударов в голову, Арколь, поездка в Париж с захваченными австрийскими знаменами, путешествие с Жозефиной из Парижа в Милан, стремительный роман с госпожой К. Генерал читал тогда Скальда ему и другому адъютанту, Мюирону. Военственные романтические песни кельтского барда были написаны будто про самого Наполеона. Просто он опоздал родиться на полторы тысячи лет. И они с Жаном-Батистом влюбились в обоих. Под Арколем Мюирон заслонил генерала своим телом.

Савари, Коленкур и остальные присоединились к Жюно: «Сир! Пожалуйста, Сир! Просим!»

* Расин, «Федра» (Перевод М. А. Донского)

Крохотная иголка кольнула Наполеона в сердце. Просьба Жюно тоже всколыхнула в нем память об Итальянской кампании, неистовой любви к Жозефине и письмах, которыми были полны его карманы. Самые страстные так и остались неотправленными – он их стеснялся. Потом, уже в Египте, именно Жюно, вернувшись из Парижа, рассказал, что у Жозефины есть любовник. Может, и не вошел бы в чумной барак, если бы не узнал. Хотя нет, всё равно бы вошел: нужно было поддержать солдат. Но почему он не погиб тогда, в битве у Пирамид или под Акрой? Провидение хранило его для другого. Однако рвался в Париж не только за властью. Тогда не смог ее отпустить, но постепенно разлюбил... Иголка выскочила так же внезапно, как и вошла.

– От Оссиана был без ума один молодой генерал, господа. Одно время мы с ним дружили, теперь это в прошлом. Но я прочту.

На секунду задумался. Ну конечно, «Картона»:

Друзья! мы будем жить великими делами!
Так! имя храброго наполнит целый свет;
Покажет поле битв следы моих побед,
И буду я внимать в надоблачных селеньях
О подвигах своих в бессмертных песнопеньях.
Утешьтесь, о друзья, героя торжеством,
Да чаша пиршества обходит нас кругом;
Да радость чистая вождей воспламеняет!
О други! Звук побед в веках не умолкает...*

Генералы отчаянно, изо всех сил заплодировали. Однако дело было не только в исполнителе.

Чтобы годами заниматься войной, т. е. разрушением, уничтожением, не зная никакой другой работы, выучиться не щадить ни своей, ни чужой жизни, постоянно сражаться и всё равно ненасытно мечтать о новых подвигах, принося в жертву этой мечте сложившийся обустроенный быт, любовные и семейные отношения, воспитание детей, т. е. обычно самое ценное, что есть у человека, не любить по-настоящему ничего и никого, кроме славы, нужно чувство принадлежности к чему-то великому – героический миф, могущественный, зажигательный и заодно отпускающий все грехи разом. Потому они так любили рассказы Оссиана. Перед завтрашним сражением, где любой из них мог быть убит или ранен, еще раз услышать их необходимо было каждому.

Русские и австрийские офицеры на своих биваках тоже читали сейчас про Картона и Фингала, гадая о том, что будет с ними завтра.

* Джеймс Макферсон, «Картон» (Перевод А. А. Никитина)

Может быть, никогда и не бывало настолько похожих друг на друга врагов.

Внезапно император поднялся:

– Пойдемте-ка посмотрим гвардию.

Чуть отдалившись от свиты, он боком, незаметно подошел к биваку гвардейских grenадер и осторожно извлек из тлеющих углей печеную картофелину. Пока перекидывал с ладони на ладонь и дул на нее, остужая, услышал недовольный голос: «Сейчас вот возьму хвостину и покажу тебе, как картошку воровать».

Голос, впрочем, был несколько фальшивый: служивый узнал «маленького капрала».

– Господь велел делиться, – весело ответил Наполеон.

– Вот пусть сам и делится, – сказал grenадер мрачно. – А картофелину на место положь.

– С Маренго со мной? – спросил император, не сомневаясь в том, что его узнали.

– С Итальянской, не помнишь, как я тебя знатно послал у моста возле Арколя, когда ты нас поднимал в атаку? – солдат чуть вышел из тени, чтобы быть различимым в свете факелов. Огонь осветил растянувшийся в ухмылке рот и седые волосы.

– Марсе-е-ель, – протянул Наполеон. – Да тебя не узнать, старый вояка! Был черный, как сапог. Но почему ты еще капрал? Я же тебя произвел в сержанты после перехода через Сен-Бернар в 1800-м.

– Поседел. Меня тогда ранило, попал в госпиталь, а нашивки на мне были старые, капральские. Когда вернулся, от нашей роты почти никого не осталось. Так что некому было сказать, что я сержант, так и остался в капралах. Да и не всё ли равно, в каком чине драться?

– Ладно. – Император обернулся.

Жюно уже вытащил откуда-то перо, лист бумаги и лихо, пописарски, выводил своим знаменитым каллиграфическим почерком приказ.

– Грамотный?

– Кюре в нашей деревне научил читать и писать, а считать я сам выучился.

– Отличишься завтра – эполеты твои. Я перед тобой в долгу.

– Да сегодня же годовщина коронации, – вспомнил grenадер. – Год назад, когда снимали трехцветные кокарды с шапок и прикрепляли новые, с орлом, я сказал Ксавье из 96-го: «По правде сказать, никто больше нашего Le Tondou не заслужил императорских почестей». И он согласился со мной, а Ксавье головастый парень.

Наполеон в ответ улыбнулся благодарно и весело. Всем что-то от него нужно, только солдаты любят просто так. Подергал Марсея за

ухо, тот задохнулся от счастья: не только чин или орден, а десять лет жизни отдал бы за этот миг.

Вдруг вспомнил, что пару дней назад получил из дому письмо-похоронку. Изабель умерла. Еще в сентябре. Значит, пока писали, пока оно скакало за ним на почтовых по всей Европе – прошло три месяца. Свадьбу они сыграли аккуратно на день Доблести в 97-м, это по-революционному какой же месяц? И не поймешь. Хорошо все-таки, что император вернул прежние названия. С Итальянской-то пришел в марте – жерминале – героем, в капральских нашивках. Рассказывал о сражениях, о генерале, привирал, конечно. Изабель была тоненькая, большеглазая – похожа на итальянку, с которой крутили любовь в Венеции. В конце сентября женился. Но дома не сиделось, через год снова пошел воевать. Получается, сколько они прожили вместе? Лет восемь. Да что толку, возвращался только в отпуска по ранению – то на три месяца, то на пять, потом снова в полк. Жена его жалела, лечила. А сама... От чего хоть умерла? Надо бы перечесть письмо. Посмотрел вслед уходящему Наполеону. Сколько же раз говорил со стригунком? Пожалуй, раз пять, а может, и семь. Эх, знать бы, что будет завтра. Только бы ногу не оторвало или руку. Тогда лучше уж сразу туда, к Изабель.

Он сказал – эполеты. В новеньком мундире показаться дружка-нам – самый смак. Ну и что, что седой. Тридцать пять – не старый, может и до капитана дослужиться. Говорят, вроде, ему ровесник. Еще бы звездочку Почетного легиона и баронство какое-нибудь. А что? Мишель вот из шестой роты получил. Про письмо Марсель снова забыл.

Император быстро пошел дальше, но тут же споткнулся о какую-то корягу. Коленкур едва успел поддержать. Гренадеры, слушавшие разговор, вскочили и стали скручивать факелы из соломы, на которой лежали. Это их действие словно сигнал мгновенно передалось по всей линии – как от вспыхнувшей вдруг искры вокруг запылала огни. Кто-то воскликнул: «Виват император!» Крик тут же повторили несколько сот луженых глоток, и одинокий восторженный вопль мгновенно стал победным боевым кличем.

Они шли по огромному лагерю, растянувшемуся на десяток километров от Кобельница до Сантона, останавливаясь у каждого бивака. Всё кругом было освещено зажженными пучками соломы, надетыми на солдатские пики. Эта самодельная иллюминация выглядела дико, нелепо и в то же время величественно. Снующие во все стороны языки пламени подсвечивали задубелые суровые лица, непривычные к выражению чувств, зато искренность их была неподдельной. Все эти Антуаны, Марсели, Мишели, Ксавье и Жаки обо-

жали его как идола, непобедимого бога войны, и в то же время любили, как своего стригунка, с которым можно поболтать, переброситься нехитрой шуткой. Что для него ничего нет невозможного и ему нигде не поставлено предела, они-то знали лучше всех, только понимали не умом, а ногами, руками, задницами, не вылезаящими из приключений. Дерзость и отвага его замыслов оплачивалась их кровью. И всего-то хотели в награду, чтобы маленький капрал всегда был с ними, как сейчас. Ведь кем бы он ни стал, всё равно был одним из них – у них не было другой жизни, кроме войны, и у него тоже. Вокруг грохотало: «Вперед, врукопашную! Ударим в штыки! Веди нас прямо сейчас к славе!» Они повторяли друг другу как мантру: «Смотри, как он счастлив!» А он, правда, был счастлив и не скрывал этого.

Вспомнил о лагере Фридриха под Лигницем, где тот провел огнями Дауна и Лаудона, и подумал, что сейчас должно твориться в лагере врага. Или они решат, что мы уходим, или что прямо сейчас пойдем на приступ, или что армия взбунтовалась. И ни за что не догадуются, что происходит. Довольно рассмеялся – пусть волнуются, противника нужно держать в напряжении.

Хоть и кричал: «Успокойтесь! Думайте о том, как заточить на завтра штыки!» – смешно притворяясь строгим, счастье переполняло его. Шли дальше, и везде повторялось то же: «Битва будет в семь, победа в полдень!», «Веди нас к славе!», «Виват Наполеон!» Солдатская любовь бескорыстна: золотые эполеты, именья, маршальские жезлы достаются другим. Они же просто умирают за него, ничего не ожидая и не требуя взамен.

А сам он на это способен? Погибнуть в бою – конечно, если нужно, рискнет жизнью не раз и не два, поведет их в любую атаку, – но уйти безмолвно, неизвестным, неузнанным, стать просто лишней писарской единичкой в списке потерь? Он совсем не уверен, что сумеет. И оттого восхищался их верностью и доблестью еще сильнее, понимая, что ничем не может им отплатить за любовь.

Жак из 5-го Уланского спросил: «В твоём сегодняшнем приказе прямо сказано, что ты будешь завтра делать, как атаковать. А если об этом узнают враги?»

– Они всё равно не поверят, – ответил беззаботно. – А вы должны знать. От вас у меня нет секретов.

Он лукавил. Точно и сам не знал, перебирал в уме сценарии завтрашней битвы. И как всегда, боялся до предательской боли в ногах: а если русские все-таки не уйдут с Працена? Придется на ходу придумывать другой план. Все зависит от направления их атаки.

Было уже половина третьего, когда император вернулся в палат-

ку. На единственной кровати, безмятежно похрапывая, во всю длину растянулся Констан. Наполеон пристроился на стуле рядом – и едва успел сказать себе, проваливаясь в сон: «Может, у меня будет еще десяток хороших лет, но вряд ли будет лучший вечер».

Проснулся от легкого прикосновения – над ним стоял Савари: «Сир, противник передвинул большой корпус в район Ауэзда. Я решил разбудить Вас».

Наполеон мгновенно открыл глаза: «Спасибо, Савари. Велите седлать коней. Сколько времени?»

– Четыре часа, Сир.

Он с минуту подумал, продиктовал адъютанту новый приказ и вышел из палатки. Ночь была холодной и безлунной. Объехал левый фланг, собирая рапорты передовых постов, и прискакал на правый, к Сульту, – ему придется труднее всех в сегодняшнем бою. Повсюду лежал легкий рассветный туман. В восьмом часу он начал рассеиваться, в долинах еще оставались влажные облака, но стали отчетливо видны вершины праценского плато и покидающие их войска. Они маршировали вправо, по направлению к Кобельницу.

Ему стало легко. С любым даром предвидения нужно еще, чтобы просто везло. Военный гений процентов на восемьдесят состоит из удачи. Груз этих дней вдруг свалился с плеч, и будущее сражение сложилось в голове совершенно ясно, в мелких и точных деталях, словно только закончилось. Сомнений больше не было. Всё так и выйдет, как задумал. Он даст им спуститься вниз и взять в кольцо то, что они считают его правым флангом, – на самом деле, войска Сульта сдвинуты влево от направления движения колонн, они ударят по пустому месту; потом как ножницами, он взрежет их центр, разгромит, выйдет в тыл, перенесет фронт на левый фланг, окружит его, прижмет к озерам и уничтожит. Судьба правого зависит от русских командиров – у него не хватит войск для одновременной атаки, – если успеют вовремя отступить, могут спастись. Но главные силы врага – на левом.

– Сульта, сколько вам нужно времени, чтобы захватить эти вершины?

– Двадцать минут, Сир, – ответил тот не задумываясь.

– Что ж, подождем еще четверть часа, пусть противник закончит маневр, не нужно ему мешать.

Небо было в сероватых разводах медленных тяжелых облаков. Как вдруг один, потом другой острый веселый луч пробился сквозь мрачную серьезность зимнего утра. Он озорно улыбнулся этому неожиданному раннему солнцу. Кажется, всё было готово. Осталась сушая безделица – выиграть битву.

Нью-Йорк

Владимир Яськов

Амнистия

РАСПИСАНИЕ

слова венозную мякоть
перетираешь во рту
стыдно, и хочется плакать...
скользкую серую ртуть

тяжко роняет прозрачный
сад на зеленый газон
выдался год неудачный,
дачный окончен сезон

ижица жизни усталой
к празднику упразднена
катится поезд к вокзалу
посланный господом на...

все прибывают в итоге
вовремя, как ни крути,
в пыльные эти чертоги
зла на запасном пути

...где только губ шевеленье
напоминает порой
сдобренный негой и ленью
сердца мгновенный покой

ПО ТУ СТОРОНУ

...и наступает утро когда рука
не попадает в рукав когда Андрея
вдруг называешь Костей когда строка
значит не то что значит... слова старея

приобретают выправку отставной
их породившей одушевленной глины...

всё что назавтра сбудется со страной
со мною уже случилось наполовину

вот она та прореха какой заткнуть
нечем в ночном пейзаже: ни дождь ни ветер
только песок и мусор когда-нибудь
но не на этом свете...

...тошно – как будто сутки зубрил устав
или душа на ощупь во сне кололась
чтобы припасть бутылке раззять уста
надо прочистить горло проверить голос

надо не в масть партнеру пойти с бубей
или колоду на пол одним движеньем
надо во тьму без дрожи сказать: убей
надо суметь услышать в ответ: уже...

ЗА ЧТЕНИЕМ ИСЭ-МОНОГАТАРИ

ну хорошо: допустим я поставил точку
и некий высший судия вот эту строчку
не исправляя не читая пустил на ветер
что из себя я представляю? китайский всер?

оплаканный дождем рукав? росу на травах?
ну хорошо пускай я прав и все мы правы
но что до этой правоты нелепой вчуже
тем кто на тщательность тщеты глядит снаружи?..

...я помню как за пядью пядь я в детстве люверс
тонул, не зная прошептать кому люблю вас
а нынче кто вообразит поймет оценит
тех чувств стремительный транзит ту жизнь без цели?

кто ночь за ночью день днем и год за годом
играет радостно с огнем при всех погодах
на что-то жалуясь грустя смеясь судача?..
то – мы забытые в гостях на чьей-то даче

скулим оставшись в дураках сидим за чаем
как истлеваем на глазах не замечаем

поем во тьме как нахтигаль над бездной рея
...и нас когда-то настигал позёмки веер

уже разжалась та рука что нас держала
уже распалась как смогла скопцов держава
и всё что вышло в неглиже на авансцену
вполне ничтожную уже имеет цену

NEVERMORE

1

полноте государи мои полноте
полностью оттремели бои; полночью
пожелтев облетела листва начисто
облысев количество перешло в качество

вновь ничейными стали точней – привычными
(точно сами себя из пейзажа вычли мы)
стадионы парки, поля за городом –
как мундиры с которых погоны спороты...

всяк здесь гол раздет разоблачен разжалован
сам себе смешон и наверно жалок вам
старики инвалиды – одна компания
кандидаты в прощайте не до свидания...

это – осень: ноябрь темнота распутица
кто скажи за кого здесь и как заступится?

2

...неужели мы были однажды молоды
а потом зачем-то в муку размолоты?
жизнь была – как дом где все были рады нам
как мундирам с погонами да наградами

в том дому угощали вином и вишнями
не пойму – почему мы там стали лишними?
только помню: там было легко и весело
никакая боль ничего не весила

только лучших людей там всегда встречали мы
не считались с болезнями ни с печальми

жизнь манила — как ночью костер на острове
и лечила — как сон на крахмальной простыни

и в том праздничном сне собирались часто мы
и бывали прекрасны честны и счастливы

3

и казалось всем — будем вместе вечно мы
и не знал никто что мы все засвечены
что не спят в ночи стукачи да вороны
что лежит нам путь на четыре стороны

...и грачи прокаркав слова английские
покидали харьков как наши близкие

* * *

Б. Кенжееву

1

страстотерпец угрюмый угодник
полусхимник на треть огородник
он капусту — и ту поливал
точно сеял разумное с добрым
но в итоге верблюдом двугорбым
в том игольном ушке застревал

что-то было не так в фанатизме
в бахчеводстве аскезе и схизме
всё сбило двоилось плыло
не спасали ни пост ни капуста
и тогда вместо веры искусство
отщепенца брало под крыло

2

это — то что случается с каждым
просыпаешься утром однажды
в том что родиной люди зовут
в чем-то белом льняном домотканом
и лежишь — таракан тараканом
и дыхание спирает в зобу

мелкий крестик по савану вышит
кто-то ропщет но явно не свыше
пётр не телится савл не мычит
всё куда-то не движется медлит
и какие-то странные петли
распускаются в скушной ночи

3

мир разрушит утрата привычки
разорвет как цитата – кавычки
а потом разнесет на куски
все мы – люди станка и прилавка
но не зря же раздавленный кафка
насекомую смерть испытил

что ж поддержим и мы эстафету
восходящую к блоку и фету
мимовольно пьянея от слез
чтобы в полуразрушенном теле
что-то вроде души-пустомели
напоследок как моль завелось

HOMMAGE

за окном февраль, – не достать чернил
не объесться груш не заплакать
и в руках с утра – то ли иск вчинил
то ли мертвых душ перелапал

сколько было их – не узнать теперь
дураков разинь ротозеев
кто в аид сошел кто уехал в тверь
на руси народ не трезвеет

вот и пей бурду а потом рассол
в зеркала смотришь по-бараньи
подойдешь – кацап отойдешь – хохол
приглядишься – вошь на аркане

наша жизнь и впрямь первосортный кокс
антрацит с огнем бурый уголь

загребут гуртом постригут под бокс
а потом... потом спишут в убыль...

...то ли дождь замерз то ли снег промок
только сорок пять – не пятнадцать
помиришь с собой соберись в комок
перестань уже распинаться

* * *

по напеву ее ты узнаешь ее
как по траченной временем карте
но недвижна рука и строка коротка
дотянуться до цели в азарте

как в японском кино завернись в кимоно
сядь на корточки чаю отведай
ты вернулся домой – всем сраженьям отбой
насладись если можешь победой

но победа твоя та что добыл в боях
в трубных звуках у стен ерихона
угасает в ночи как огарок свечи
и на ширмах – драконы драконы

где он тщетный азарт вещих лощей и карт?
ужас машет руками как шива
не меняйся в лице слушай смерти фальцет
беззаботный победный фальшивый

* * *

чем дороже тем скорей на слом
прошлого лишая
и не защититься ремеслом
от веселых шаяк
вызревает новая мораль
в подростковых кодах
так что нам с тобою не пора ль
превращаться в облак?
выдернуты корни из земли
и пожухла крона

потопила вечность корабли
и паром харона
позабывший дружбу и вражду
жизнью раскулачен
не прошу не верю и не жду
видишь? – и не плачу
бесталаный более внутри
чем нелепый вчуже
даже если снова сотворить
никому не нужен
жизнь и смерть как черствый бутерброд
вечность не насытят
видно кончился запас щедрот
у тебя спаситель
но гудят о чем-то провода
в темноте над нами
видно впрямь прощенья без труда
не поймать руками

Харьков

Михаил Рабинович

* * *

Мальчик, двигаясь по кривой,
замедляет шаг у реки,
и мотает он головой,
и непарны его носки,
и мороженое в руке
не растаяло – сладок вдох,
и собака – на поводке.
Отпускает он поводок,
и собака уже – везде,
от воды убегает прочь,
прибегает опять к воде.
Это – утро, и будет ночь

Ну, допустим, что жизнь – река,
горный шлейф или темный лес,
или то, что издавека
не понять. Подойдешь – исчез –
нет, качаю я головой,
и непарны мои носки.
Мальчик, двигаясь по кривой,
ускоряет шаг вдоль реки.

* * *

Звездное небо августа музыку льет,
дождь отшумел, а сверчки – о своем, о вечном,
мол, бузина в огороде... Такой уж год:
вышел из комнаты только домашний кот,
сделав ошибку – лучше считать овечек.

Август глаголами жжет, да и сам – глагол,
вроде «устал», «не уснуть»... Или он – наречие
эллины в песне барда, – тот чтит Алгол,
в Киева дядька живет, а в степи – монгол.
Речи ведут – при виртуальной лишь встрече.

Август, устав от июля, сентябрь ждет,
по-человечьи так, что куда сверчку-то...
Жгучую музыку августа небо льет.
Медленно входит в комнату мокрый кот:
мартовским был, а уже – октябрем окутан.

* * *

Обходит владения мыслей,
глядит на часов циферблат
не то чтобы полностью лысый,
а даже частично ушат,
не весь растворяясь в тумане,
под солнечным светом – не весь,
он мыслью, которая манит,
обманет себя – но не здесь,
не каждому гусю – товарищ,
не каждой сестре – по серьгам,
да что же ты там вытворяешь,
и даже к тому же не там...
Дорогу усилит автобус,
кибитка, ковер-самолет.
Он старую песню про глобус
другими словами поет,
что связывают пантомиму,
и дождь, что стучит по часам,
места, из которых ушли мы,
и время, пришедшее к нам.

* * *

Осторожно, чтоб не присниться,
(осторожно – вначале)
расширяет свои границы
от любви до печали
город птах и укравших воздух,
не нашедших слово,
для которых еще не поздно
попытаться снова
в этот век – сквозь ветки и ветры
пробиться, присниться,
обменяться славой посмертной
с безымянной птицей.

* * *

Уж лучше б человек считал ворон,
чем находил различия с другими,
такими же неправыми, как он,
то правыми, то левыми такими,
то с формой носа, явно не такой,
а кто не свой и сед – тот тайно лысый.
Одни едва махнут другим рукой,
а третьи от четвертых так зависят...
Те песни непонятные поют,
тем дважды два – не так, но трижды – этим,
те молча дома сеют неуют,
у тех – кричат и взрослые, и дети.

Хоть человек – один, со всеми он
в мороз – замерз, а на работе – потный.
...Нечетное количество ворон,
несчитанное, повстречалось с четным.

* * *

Время сейчас такое, что лучше на часы не смотреть.
хотя бы на минутную стрелку – а только лишь на века.
Доктор Сьюз написал всё, постарел и успел умереть,
и то, что нам близко теперь, – он-то видит издавека,
не понимая: выяснилось, что он рисовал не так –
зеленые яйца, пять тысяч пальцев, и в шляпе – кот,
«Если я убегу из цирка», «Если сбегу в зоопарк» –
От себя-то не убежать, а надо бежать вперед.
Время такое – но всё же, хоть и не рай, но и не ад,
неужели я даже себе сказать об этом боюсь:
не виноват доктор Сьюз ни в чем сейчас, не виноват,
не виноват доктор Сьюз.

* * *

По снегу, тающему тихо,
бредет собака,
хлебнул ее хозяин лиха,
молчит, однако,
а соловей на ветке серой
выводит трели,
как будто преисполнен верой:
придут апрели.
На смену боли и испугу –
страх и обида,
но разве назовешь пичугу
певцом ковида...
Откуда сила в птичьем теле,
душа – откуда?
У человека есть апрели,
и это – чудо.
С собакой смотрит он на небо,
и даже выше,
она бредет себе по снегу,
но тоже – слышит.

Нью-Йорк

Борис Ильин

* * *

легко дышится
снег новый ложится

пышет воздух остер
ледяной костер

звук ничего не слышит

тяжело звук льется
как стакан на поминках пьется

входит извне
как гусиная кожа под летнее платье

в этой внутренней тишине
не слышать как плачется

как орется

* * *

пора закругляться
старые сглаживать углы
смазываться как одеяло

а как же влюбляться?
а как же голову терять от любви?

Слово *пора* и есть то
что от любви отделяло

и новая торопливость
скорее растерянность

как птичья пугливость
живой породы рассеянность
как жизнь будто своя

но на самом деле
уже ничья

УТЕШЕНИЕ ЗВЕРЕЙ

выходит слон
морщинистый он
а у слона прудом слюна
и треугольный рот под хоботом
улыбается и всё кончается хохотом

осел выходит
сонный и в подковах
дрожит ноздрями челюстью косит
и тень его в аллеиных и парковых
углах огромным облаком висит

и кувыркаются вдвоем как акробаты
и граждане с веселостью свыкаются
улыбки их щербаты
всё более похожи на урывки

вот как осла веселье и слона —
отчаянье оградившая стена

* * *

как недостаточен бывает человек
расскажет всем его сердечный приступ
вот он уже сгорел как фейерверк
и темноте запомнился искристым

но те воспоминания не те
а вот не надо было даже пробовать
запоминать пустое в пустоте
жизнь не про память и вообще не проповедь

ДИАБЕЛЛИ

На новый год соседка вяжет свитер,
на новый год сосед скупает снедь,
а дочь перевирает Диабелли.
Ее черты заметно огрубели
за прошлый год и есть чему грубеть
на будущее. Строгий репетитор

совсем не строг. Он просит: между строк
читать не нужно – эта сонатина
всего лишь упражненье. В до-мажоре
вполне возможно обозначить горе;
волненья прочь, придет еще твой срок.
Нестройное гнусавит пианино

и четвертными паузами вышит
в ключе басовом тайный ключ к тоске.
Но Диабелли прост и механичен
и шанс на горе безусловно вычтен
на этот раз. Дочь, исполняя, дышит,
а дрожь, как тень, крадется по руке.

Всё будет: новый год, и чувство – как-то
напомнившее счастье. И еда
разыщет сиротеющие рты;
и пить до дна, и петь – до хрипоты,
жить – между строк, и за чертою такта –
всё будет вновь. Всё будет как всегда.

* * *

здесь держит надежда
что жизнь безмежна
как чужая
не по размеру одежда

*как держать тебя?
держи меня нежно*

и это как утешение тешит

прислушаешься
глаза сужая:

что-то там в темноте забрешет
что-то там виднеется страшное

в своей наготе

Нью-Йорк

Василий Львов

Зеркало заднего вида, или Дневник ковидного года

Философская поэма

ПРОЛОГ

Середина апреля.

Испанский Гарлем. На улице

...ну что?.. свои сорок дней я высидел... сорок сороков... грусть-тоска меня съедает... съедает мебель, жену, страх войны... и *какая* тоска!.. уж лучше таскаться по улицам...

...да все сейчас тоскуют поневоле... или по неволе?.. все сейчас нос-таль-ги-ру-ют... буквально: νόστος – возвращение домой, άλγος – боль, печаль... ха! вот только не по дому, а – от! прочь, прочь от дома!.. и тогда уж не άλγος, а алкос!.. жаль Похлебкин не дожил, вписал бы новую главу в историю водки... а по-английски еще лучше – homesickness: подплываешь к своей итаке, а тебя тошнит... от дома... или от повторения? от себя?.. бя-бя-бя! что за дикое слово!..

(Ковидческий герой шарахается в сторону от вывалившихся из-за угла подростков – галдят, штаны и маски приспущены; сворачивает на Пятую авеню, продолжает двигаться на юг.)

...а, Эмпайр! виден с любой точки... сейчас, поди, пустой, а тогда конца не было очереди... на площадке пробыли минут десять от силы, околенили... там наверху еще есть сувенирная лавка... чуть не купил там в подарок стеклянный шар с Эмпайром, да денег пожалел...

...прекрасный, между прочим, образ!.. мир пошатнулся – и сыплется снег... и сыплются болезни... слова... нули-единицы... вообще так изображали глобус – в пухленькой ручке младенца Иисуса... глобус как держава... а для мальчика – мячик... и чем сильнее запустить в землю, тем сильнее отскок... Большой отскок... в невидаль... в небыль... в будущее...

...будущее... этот город столько раз являл его, это будущее, что оно заранее наскучило...

...да, ты воплощал футуристические грезы... urbi et orbi... был юдолью утопий... топью и хронотопью юдолей... и постапокап...

тьфу! пост-а-по-ка-лип-ти-ческих! тоже, конечно... ты *был* город будущего... а будущее уже давно уехало в Сингапур, Шанхай, Токио... впрочем, и здесь есть островки, осколки... всякие Hudson Yards с прозрачными небоскребами... вот это-то и есть будущее – потому, что его не увидеть... глядя на эти небоскребы, видишь лишь отраженье настоящего... верней, наставшего... проходящего... прошедшего... «мир никогда уже не будет прежним»... гм! ой ли?.. мир всегда – прежний, прежнее прежнего, прежнее мы только и видим... особенно сегодня, когда можно смотреть не дальше собственного носа и созерцать мирозданье на экране... нам что-то такое рассказывали в школе о галактиках, которых уже нет, но непонятно, потому что до нас долетают их световые изображения... как дым от погасшей спички... я потом не раз зажигал одну за другой, чтобы сразу задуть, и представлял себе...

...бедный, новый Йорик!.. ты весь у меня на ладони!.. ты отражаешься в этих небоскребах, как в зеркале, – зеркале заднего вида, прямо по Маклюэну: мы едем вперед, а всё внимание на этом зеркале... чую, вот сейчас он выйдет из-за угла: «He knows nothing of my work!» ...в будущее мы пятимся... несемся к нему спиной, как ангел истории у Беньямина... ветер истории наполняет крылья-паруса, а ангел истории не видит, куда летит... лишь то, что уже пролетел, и перед ним – руины... и я такой же обломок...

...мне страшно ...все замедлилось, как в сверхскоростном самолете... и я как будто пытаюсь разглядеть себя в проносящихся мимо зеркалах... а потом

– все нормально, и как легко дается the new normal, в действительности же не такое уж и new... но всё это странно... странно, странно, странно! я настаиваю!.. уже третий день я отказываюсь слушать новости, смотреть сериалы, проверять ленту... я не хочу паяльаться в зеркало заднего вида!.. только что все эти слова? мысли? ассоциации? не то же ль зеркало?.. когда I am, я глух и нем!.. и теперь меня тошнит – от себя, от дома... I'm homesick!.. скорее, скорее в парк!..

(Сворачивает в Центральный парк и вскоре видит вдалеке белые шатры. Через мгновение понимает: это полевой госпиталь, разбитый для тех, кому не хватает койко-мест в городе.)

ШТАММ № 1. ЧУМА

*Середина – конец марта.
Вашингтон – Нью-Йорк*

Город залит светом, свежо, на солнце даже жарко. Студенты испещрили лужайки Колумбийского университета, как при commens-

ment exercises – пикникуют, играют во фрисби, перекидываются дынеподобными мячами – золотой стереотип. Занятия только что отменили. С каждым днем все всё серьезнее, а пока люди вокруг меня преимущественно без масок. Еще через пару дней на улицу без маски уже не покажешься. А когда я выезжал в Вашингтон к родным (было это в День Св. Патрика), Таймс-сквер совершенно обезлюдела.

Пишу это сейчас в пустом автобусе на полсотни мест, на обратном пути. Нью-йоркские улицы тревожны, неладны, а в Вашингтоне почти идиллия – двадцать семь градусов, не слышно машин-грузовиков, на детских площадках резвятся белки, расчирикались птицы, и цветут всюю розово-снежные сакуры, магнолии. Вспоминается Алексеевич, «Чернобыльская молитва»... *Omnia mea mecum porto* – мгновение, Ctrl + F, «яблони» – вуаля! Говорит один из героев: «...начал снимать цветущую яблоню... гудят шмели, белый, свадебный цвет... Опять же – люди работают, сады цветут... Держу в руках камеру, но не могу понять... Что-то не так! Экспозиция нормальная, картинка красивая, а что-то не то. И вдруг пронзает: не слышу запаха. Сад цветет, а нет запаха!»

Что-то подобное вот и сейчас происходит: выходят люди в магазин, видят кругом те же дома, деревья, соседей; на улице весна, благодать; только ходят все с той же опаской, что ребенок в темной комнате.

А вот еще у Алексиевич: «Спрашиваю у своих <...>, а нас было трое: ‘Как пахнет яблоня?’ – ‘Да никак не пахнет’. Что-то с нами происходило... Сирень не пахла... Сирень! И у меня появилось чувство: всё, что вокруг, – неправда».

Прервусь здесь и сразу поставлю вопрос ребром: вернул ли коронавирус нам чувство реальности? или теперь реальность отбивает, как нюх? С одной стороны, лодка любви села на быт и карантаны больших городов стали радоваться простым вещам – пище, домашней обстановке, вплоть до туалетной бумаги, как в дефицитные времена. С другой, запершись у себя дома, люди еще глубже погрузились в VR. Так на чьей же стороне коронавирус? На стороне правды или так называемой постправды современных средств массовой информации, когда годами нам показывают ужасы, которых мы, скорее всего, никогда не увидим и подлинность которых никогда не сможем установить? Да и что считать подлинным?

Но вернусь к Алексиевич; очевидец чернобыльской трагедии вспоминает в разговоре с ней: «Я – среди декораций... мое сознание это не в состоянии освоить, ему не на что опереться. Схемы нет!»

Вот, кажется, и найден диагноз – «схемы нет!» Не потому ли все мы ринулись проводить сравнения между коронавирусом и чумой? Ведь чума нам известна досконально, будучи важнейшей темой в

западной и мировой истории и культуре. Столкнувшись с новым (коронавирусом), мы только тогда успокоились, не без злорадства, когда обнаружили в новом – старое, в коронавирусе – чуму.

Ведь карантины и эпидемии похожи друг на друга. Только сходство отвлекает здесь от сути: чума, черная смерть, – это явление, ужасающее в своей реальности; чума – это горы, буквально горы смрадных трупов; чума – это опустелые дома, в которые боятся ступить, с едой, которую боятся съесть. А что же коронавирус? Болезнь, от которой умирают далеко не все, с шансом на выздоровление несравненно большим, чем при чуме в античности или средневековье; болезнь, которой многие могут даже и не почувствовать; коронавирус в развитых, компьютеризованных странах, для тех, у кого остался доход, а значит способность изолироваться, – это во многом приключение – затянувшийся *sleepover*. Так стоит ли обращаться к чуме, чтобы понять, что происходит с нашим миром сегодня?

По-моему, намного существеннее коронавируса – вирусная реакция на него в СМИ и соцсетях. Маклюэн, предвидевший логику Интернета, писал: средства общения, медиа, – это и буквально, и психически продолжение человека (в мире айфонов, кажется, мысль эта самоочевидна). В нашу эпоху электричества, утверждал Маклюэн, «человек расширил, или вынес за пределы самого себя, живую модель нервной системы». И действительно, те или иные изменения, сдвиги в нашем виртуальном мире отдаются во всем нашем существе – не только, когда мы узнаем какие-то новости, но и когда меняется интерфейс любимого сайта, когда, например, резко падает скорость Интернета и от злости и нервозности дышишь так, как будто не хватает воздуха. Всё это, конечно, смешно, вот только посмотрите на представителя поколения Z, да что там Z – заурядного миллениала, дня на два оторванного от Интернета...

Но этим – мыслью о средствах коммуникации как овнешнении нашей нервной системы – Маклюэн не ограничивается. Всякое средство общения, говорит он, как бы ампутрует тот орган, продолжением которого является. За примерами далеко ходить не надо: человек, настолько привыкший к очкам, что без них уже и не видит; настолько привыкший к навигатору, что сам уже толком не ориентируется; настолько привыкший к порнографии, что при виде реальной женщины оказывается импотентом; настолько привыкший к тому, что любую информацию можно посмотреть в смартфоне, что не помнит наизусть стихотворений, имен, телефонов родных... Специально привожу очень разные примеры и, как и Маклюэн, не подразумеваю оценочности. Природу не критикуют, природу наблюдают.

Но я писал об автоампутации, когда природные чувства челове-

ка продлеваются в используемом им оружии и переходят на него. Маклюэн усматривал автоампутацию в мифе о Нарциссе.

Как известно, прекрасный Нарцисс застыл перед собственным отражением, целиком ушел в него. Маклюэн обыгрывает это, ссылаясь на возможное этимологическое родство между словами «Нарцисс» и «наркоз»: «*ναρκάω*» по-гречески означает «я немею». Маклюэн говорит, что немеет мы от шока, травмы; ведь автоампутация – следствие травмы. Откуда же травма? От жизни, от выживания, конечно. Таким образом, автоампутация – ослабление и онемение чувств, загородившихся от действительности. Пишу и представляю себе онемевшего перед книгой или телефоном человека. Так вот, как и у Нарцисса, наша психофизическая деятельность переходит на оружие, которое отражает, преобразует и продлевает нас. Интернет, в котором мы и прячемся от коронавируса и постоянно пишем и читаем о нем, – наша нервная система, которая принимает на себя главный удар. Как наше отражение и продолжение, внешний рубеж наших тел и душ, как наша внешность (если, памятуя о Нарциссе, можно так выразиться), Интернет держит удар; он, кажется, удачно справляется с коронавирусом, и его иммунитет, наш иммунитет, стал еще сильнее. Вот только возникает вопрос: не может ли сам Интернет поразить нас как аутоиммунное заболевание? Это не риторический вопрос. Здесь придется много думать.

«Общества, – писал Маклюэн, – всегда больше формировались природой тех средств коммуникации, которыми пользуются люди, нежели содержанием общения.» И вот сейчас на фоне коронавируса мы пишем и читаем, говорим и слышим о возвращении к реальности; вроде бы мы и в кругу семей, и играем на гитарах и фортепьянах, и готовим сами, и ценим каждый моток туалетной бумаги, каждую капельку санитайзера – и жизнь наша стала содержательнее, – вот только вернулись ли мы к былым, привычным, ценностям? Или шагнули куда-то дальше, лишь по инерции, как под наркозом, прикованные к своим экранам, как к зеркалу заднего вида?

Реален ли, искренен ли наш призыв к реальности? И есть ли глубинная причина тому, что мы ищем аналогий между коронавирусом и чумой?

Почти сразу, как разбушевалась пандемия, интеллигентные люди кинулись читать «Декамерон», «Дневник чумного года» – «Пир во время чумы» и саму «Чуму», разумеется... Только зачем нам все эти сравнения? С одной стороны, ответ уже прозвучал: прибегая к таким параллелям, люди озираются назад – там путь, там сюжет; там люди ищут схемы в мире хаоса, знакомого в незнакомом, ищут товарищей по несчастью. Но, вместе с тем, с тех пор, как коронавирус поразил

не только физический, но и виртуальный мир, так что о нем одном только и говорят, меня не оставляло чувство, что одним этим дело не исчерпывается.

Наблюдая людей вокруг и самого себя, я всё больше убеждаюсь: мы не читаем о былых эпидемиях, чтобы успокоиться; мы как будто того только и хотим, чтобы, как любитель триллеров, испугаться еще сильнее; как писала Вера Павлова – «Жуть. Она же суть. Она же путь», – и читаем мы о чуме как будто с потаенной, то и дело прорывающейся радостью, при чтении Боккаччо или Пушкина стараясь забыть о всем том, что нас разделяет (в выгодную для нас же самих сторону), чтобы усугубить и без того непростую ситуацию и обрести... смысл.

А смысл – уже нечто большее, чем схема. Одной схемы, то есть понимания того, что коронавирус не целиком новая для нас ситуация, – одной такой схемы недостаточно. Схема – из категории фактов, смысл же – ценностное понятие, настолько, что, говоря о смысле жизни, ревностно отыскивая и утверждая его, сокрушаясь, когда он исчезает, мы, пусть и не все, не всегда, но практически каждый когда-нибудь, ставим смысл превыше всего остального. И раз мы столь часто ищем смысла в сравнениях между настоящим и прошлым, хочется понять, как же рождается смысл из того, что А похожа на В, как коронавирус – на чуму, холеру и прочие эпидемии. И коль скоро мы сопоставляем коронавирус с чумой, можно сказать, что мы заняты поиском смысла – смысла в истории.

Когда-то я уже размышлял на эту тему в одном эссе. Я писал, что склонен считать историю лишь значимой, но бессмысленной. Поясню на примерах. Чтобы понять и оценить такого полководца, как Александр Македонский, мы сравниваем его с Юлием Цезарем – и наоборот (так поступал Плутарх). Или, чтобы понять князя Мышкина, мы сравниваем его с Дон Кихотом, 1612 год сравниваем с 1812-м, воскресение Озириса – с воскресением Христа, а о параллелях, проводимых христианскими богословами между Ветхим и Новым Заветами, и вовсе молчу.

Сравнение – это уподобление; одно в нем означает другое; Александр означает Цезаря, и отсюда Цезарь черпает свою значимость. Изморозь на окне напоминает папоротник, но дорог нам не сам папоротник, а сродство. И точно так же вопрос о смысле – смысле изморози, Цезаря, Озириса, князя Мышкина самих по себе – замывается, уходит в тень, и мы довольствуемся значением, принимая его за смысл. На вопрос «каков смысл А?» мы отвечаем тем, что А подобна В, а когда нас спрашивают о природе В, говорим, что В подобна С, которая, в свою очередь, подобна А.

Это явление описано у Станислава Лема в «Звездных дневниках Ийона Тихого». В них говорится о неких сепульках; сепульки – неотъемлемая часть цивилизации ардритов с планеты Энтеропия; о сепульках среди ардритов знают все: о них поется в песнях, говорится в рекламе – вот только никто не хочет объяснить Ийону, что это такое – сепульки; это и так всем известно, а спрашивать об этом неприлично. Герой Лема находит определение сепулек в «Космической энциклопедии», но вместо *смысла* находит *значение*. Цитирую текст от первого лица: «Нашел следующие краткие сведения: ‘СЕПУЛЬКИ – важный элемент цивилизации ардритов (см.) с планеты Энтеропия (см.). См. СЕПУЛЬКАРИИ’. Я последовал этому совету и прочел: ‘СЕПУЛЬКАРИИ — устройства для сепуления (см.)’. Я поискал ‘Сепуление’; там значилось: ‘СЕПУЛЕНИЕ – занятие ардритов (см.) с планеты Энтеропия (см.). См. СЕПУЛЬКИ’». Так и мы: держим книгу истории, как энциклопедию, и читаем: «КОРОНАВИРУС – см. чуму; ЧУМА – см. коронавирус».

Но, может быть, мы ищем не смысла, не значения, а просто хотим знать суть – суть коронавируса? Зачем же тогда все эти сравнения? Впрочем, допустим. Допустим, что именно суть нас и заботит. Только вот суть коронавируса, как и суть дерева, в том, что коронавирус суть... коронавирус – такой-то и такой-то вирус, с таким-то и таким-то строением; равно как и дерево суть дерево (по словарю Даля, «самое крупное и рослое растение, которое выгоняет от корня один пенё или лесину и состоит из древесины, древесных волокон, придающих ему плотность и крепость»). Как поется в песне, *life is life*. Но это нас, конечно, не удовлетворит. Как и не удовлетворит нас вполне история Александра Македонского вне сравнений с другими полководцами, история одной великой войны вне сравнения с другой. Нет, не голая суть нас интересует. Так что же?

Если нам недостаточно того, что коронавирус – коронавирус, дерево – дерево, а Александр – Александр, чего же мы хотим? Очевидно, сознавать важность одного явления через его *соразмерность* с другим явлением, общепризнанно важным. Выходит, что мы хотим поднять значение коронавируса в собственных глазах, сравнивая его с чумой. Но, опять же, зачем?

Затем, что, подставляя чуму вместо коронавируса, мы... больше пугаемся, испытывая блаженный ужас от собственной значимости, – и чувствуем, что у наших бытовых неприятностей – высокий, ужасный, но благородный смысл. Да, чума отвратительна, в ней нет, конечно, ничего прекрасного, но она столь страшна, что вводит в оцепенение, внушает страх и трепет и ощущается как нечто... возвышенное.

Так я вышел на важнейшее в европейской эстетике понятие.

Эдмунд Бёрк противопоставлял возвышенное, the sublime, прекрасному, the beautiful, и определял возвышенное как «нечто, <...> пригодное для того, чтобы возбуждать понятия боли и опасности; то есть нечто в том или ином роде ужасное», являющее собой «сильнейшую эмоцию, которую способен чувствовать разум».

Чем ужаснее, а значит, чем менее подконтрольно нам творящееся с нами, тем оно возвышеннее. Зачем же нам возвышенное? Очевидно, чтобы, испытав эту «сильнейшую эмоцию, которую способен чувствовать разум», почувствовать собственное значение, очиститься страданием, от быта вырваться к бытию. В какой-то момент бытовая возня, со всеми ее ограничениями (часто оправданными, но ощущаемыми нами как абсурдные, когда не пройти просто так по свободным улицам, не полететь к родным в другую страну, когда, казалось бы, всё для этого доступно) – в какой-то момент все эти абсурдные с точки зрения инстинкта ограничения заставляют нас почувствовать бессмысленность жизни. Герой Киркегора пишет:

Что будет? Что принесет грядущее? Я этого не знаю, я ни о чем не догадываюсь. Когда паук, потеряв точку опоры, срывается в неизвестность последствий, он неизменно видит перед собой пустое пространство, где не за что зацепиться, сколько ни барахтайся. Вот так и со мною; впереди неизменно пустое пространство, а то, что гонит меня вперед, есть последствие, оставленное позади. Эта жизнь лишена смысла и ужасна, невыносима.

Но Киркегор же, в другом своем сочинении, указывает на путь к вере, к возврату смысла – через страх и трепет, а страх и трепет (то чувство, которое испытывал Моисей, говоря с Богом) – это и есть возвышенное.

Да, те из нас, кто в сравнении с людьми по-настоящему неблагополучными, не так-то еще успел пострадать от коронавируса, постольку обращаются к чуме, то есть к несравненно более худшему и страшному, поскольку это внушает страх и трепет, хотя, казалось бы, это так же противоестественно, как кролику искать удава... мы же ищем того, что всевластно над нами, тем самым всё сопрягая и сообщая всему смысл – так не Бога ли мы ищем?! Пусть и по инерции, пусть если и говорим и даже думаем, что в Бога не верим, но не выходит ли, что в основе наших уподоблений теологический инстинкт?

И если нет Бога, то, кажется, несчастья заменят его нам. И не потому ли Бог так мучает человека?

Если так, понятно, почему так нужно человеку, чтобы в мире были войны, стихийные бедствия, несправедливость и т. д. Сколь многие сегодня обрели смысл благодаря войнам, государственным

переворотам, тираническим законам, которые проклинают и от которых страдают! Подспудно мы не можем жить без этого, потому что нуждаемся в диктаторской силе, навязывающей голой, лишенной смысла сути – значение; это значение как будто не связано с человеком, оно, безусловно, угнетает человека, но своим существованием оно подтверждает столь чаемый человеком смысл, как черт доказывает реальность Бога.

Реальность – с нее я начал и к ней вернулся. Можно, конечно, пуститься в длинные рассуждения о том, что есть реальность – но не стоит. Здесь требуется не рассуждение, а экзистенциальное переживание. Нет, не в реальности, как таковой, дело, а в смысле: реальный смысл – значит такой смысл, который неподвластен нам и потому стоит выше нас, нас самих же и возвышая.

Таким образом, коронавирус – коронавирус как явление, равно как и любое другое бедствие (не только чума, но и холера, и испанка), – служит катализатором. Он заставляет нас всё дальше унести в киркегоровское «грядущее», где, «потеряв точку опоры», человек «срывается в неизвестность последствий», «где не за что зацепиться, сколько ни барахтайся», где человека ожидает жизнь без смысла – пока еще без смысла. Коронавирус – это катализатор нашей ностальгии и теологического голода, побуждающий нас искать аналогий с прошлым (в котором лучше всего помнится великое и ужасное) и тем самым заставляющий нас взглянуться в зеркало заднего вида. И приковывая нас к зеркалу заднего вида, коронавирус ускоряет, усугубляет наш переход к виртуальности, так что в наших умах, в нашем мироощущении и миропредставлении эта виртуальность одерживает убедительную победу над оффлайновой действительностью; и потому-то, чувствуя, как оффлайновая наша жизнь убегает, словно песок, желая сохранить хоть какое-то ощущение реальности, которую мы всё еще по старинке мыслим себе как то, что можно пощупать, понюхать, ударить, – мы, уходя с головой в виртуальный мир, пытаемся воскресить в коллективной памяти и прочувствовать те эпохи, когда ужас и страх, и трепет были столь нестерпимы, что жизнь не мерцала, как экран, который в любой момент может отключиться, потрескаться, обновиться, не оставив следа, а возвышалась, как скала – вечная, неколебимая, всё и вся собирающая и единая вокруг себя.

Все эти процессы нерасторжимо взаимосвязаны – связаны в человеке, сердце и разум которого – поле для битвы, битвы чувств. И в этом свете понятнее пушкинский «Гимн в честь чумы»:

Всё, всё, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит

Неизъяснимы наслажденья –
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обрести и ведать мог.

Здесь – и испуг перед ужасным, и тяга к нему как к возвышенному, и радость перед дарующей смысл чумой, и попытка отгородиться от этой действительности, то и дело выглядывая из своих убежищ, чтобы, не дай Бог, упустить ее.

ШТАММ № 2. ПОВТОРЕНИЕ

Май – июнь 2020
New York, New York

После трех месяцев, почти безвылазно проведенных за #stayhome, я, наконец, почувствовал, до чего современность устарела. «Дней бык пег. / Медленна лет арба. / Наш бог бег...» – это их современность, двадцатых двадцатого. А что я, что, с позволения сказать, – мы? Дней сник бег, медленна тел гурьба, Бог – jet lag – ну, и так далее... Скорость ведь – не как абстрактная единица, а пульс души – всегда выше на старте. (Недаром Европа больше тысячи лет жила инерцией античности.) Чем на поверхности быстрее, тем медленнее изнутри. Так, автомобиль медленнее велосипеда, а самолет – поезда. Наша скорость – скорость света в дисплеях, и это еще медленнее, чем электричество. С нарастанием скоростей быт всё замедляется.

Мой быт давно сбился со счета и врет, как оксиметр. Зато вирус точен как часы – for a thing made in China, it's surprisingly long-lasting, пошучиваю я с друзьями...

Пытался вести дневник – никогда бы не подумал, что будет так сложно просто-напросто записывать, что делал сегодня, чтобы не забыть к завтра вечера. Глаза разбегаются, как при наперсточнике. Заметил это, когда разговаривал с родными «по ту сторону пруда», как выражаются американцы: говорю по Скайпу и понимаю, что это мне только кажется, что я что-то спрашиваю и отвечаю; мозг при разговоре отсутствует (предпочитаю телефон: он сохраняет хотя бы намеки на аутентичность). Поэтому в быт я стараюсь вслушиваться...

...будильник – третий, четвертый, воды шипенье, бурленье, кипенье, шкварчанье сковороды, скрежет приборов, тараторенье новостей (так-так-так, так, так; один в ответ – так вот да так, а другой – вот так вот да так вот), после – пок, пок, пок, переходящий в клик-клик-клик, тук-тук-тук – вдруг гул, стол дребезжит... алло?... м... м-м... попрощались, а пальцы что-то почти беззвучно смахивают

вниз, и крутится шарманка – лайк, лайк, лав, сэд, кэр, лайк, – а ты, снаружи, хрум... хрум... хрум... а потом на улицу, на пять минут:

– a coffee and a salmon sandwich, please.

– a lemon?

– no, salmon.

– seven?

– SAL-MON!

(Типичный double-entendre при нашем-то маскарade.)

...опять дома и почти сразу ритмичный бульк Скайпа: yada, yada, yada – внезапно шум из окна: гудки, клекот и будто тысяча арестантов водит по решетке алюминиевыми кружками: уже семь вечера... и потом еще yada, yada, – а совсем вечером lol ситкома или lull сериала – под дружный чавк, а дальше, может, и чмок и даже ох да ах, а фоном – аквариум скринсейвера, и в завершение мирный – со стороны мирный – сап...

...и будильник, будильник, будильник!..

Так звучит повторение.

Каждое из этих действий в отдельности должно приносить уют, вносить порядок, доставлять радость, но действия накапливаются и начинают прокручиваться в уме по кругу, как фильм в старом кино-театре; дежавю сменяется дежавю, сменяется дежа-манже, сменяется дежа-куше – жизнь отвидена, отъедена, отлюблена, отсмеяна; сны отоспаны, потери отплаканы и отщучены, и редкие на фоне всех этих бессюжетных событий проблески умиления – отчувствованы. Так подступает хандра.

Повторение и хандра – извечные спутники. Неудивительно, что нашей самоизоляции впроу пришелся Бродский, – пожалуй, самый хандрический русский поэт из великих. (Ему-то, думаю, индивидуалисту до мозга костей, который, по собственным словам, поддержал бы и колхозы, если только Евтушенко против, – Бродскому, правда, ампула Ковидия едва ли понравилось бы, но это уже другой разговор.)

Нет, очень кстати, может быть, слишком кстати образованные люди вспомнили в начале самоизоляции стихи Бродского: «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку»; «За дверью бессмысленно всё, особенно – возглас счастья». Такой вот дидактический веночек (а сейчас все у нас дидактичны – впроу этот веночек вешать на наши запертые двери) – дидактический веночек из обобщенно-личных императивов и риторических вопросов: «Зачем выходить оттуда, куда вернешься вечером / таким же, каким ты был, тем более – изувеченным?» И в конце стихотворения – известное уже до оскомины (впрочем, Бродский не виноват): «Запрись и забаррикадируйся / шкафом от хроноса, космоса, эроса, расы, вируса».

Перечисление сих египетских язв нового века напоминает другие безрадостные перечни Бродского, особенно в «Fin de siècle»: «Мир больше не тот, что был / прежде, когда в нем царили страх, абажур, фокстрот, / кушетка и комбинация, соль острот». И, действительно, уравнив вирус и космос с фокстротом и абажуром, гораздо легче переносить первые – вот только невыносимей терпеть вторые, а иными словами – быт.

Несомненно, Бродский знает цену вещам; знает, до какой степени вещи самостоятельны. (Не пребывая вещи в себе, они бы многое могли рассказать – как у Андерсена, и сказанное ими, наверно, ужаснуло бы человека своей бесчеловечностью.) Бродский знает, что вещи не только опосредуют жизнь человека, но и детерминируют; меняются вещи – и меняется мир. «Теперь повсюду антенны, подростки, пни вместо деревьев»; «тиран уже не злодей, / но посредственность»; «и ребенок считает, что серый волк / страшней, чем пехотный полк» – всё это не разрозненные наблюдения, но части одного силлогизма.

Тайная жизнь вещей, о которой пишет Бродский, – одна из важнейших тем современности; последнее слово философии; о ней размышляют так называемые новые материалисты, а также последователи таких направлений, как акторно-сетевая теория и объективно-ориентированная онтология; всё это нынче очень востребовано и ново, хотя находится у прежних мыслителей. У Хайдеггера, например.

Когда, как ни сейчас, в эпоху коронавируса и Zoom-звонков, перечитывать хайдеггеровскую «Вещь», где говорится: «Куда раньше человек добирался неделями и месяцами, туда теперь он попадает на летающей машине за ночь. О чем в старину он узнавал лишь спустя годы, а то и вообще никогда, о том сегодня радио извещает его ежедневно в мгновение ока. <...> Предел устранения малейшего намека на дистанцию достигается телевизионной аппаратурой, которая скоро пронизет и скрепит собой всю многоэтажную махину коммуникации», – и наконец: «Малое отстояние – еще не близость. Большое расстояние – еще не даль».

Тайная жизнь вещей была также у Маклюэна, а еще раньше у Максимилиана Волошина в поэме «Путями Каина»; оба – и Маклюэн, и Волошин – показали, как из вещи, – например, огнива или меча, – рождается не только новая цивилизация, но и новая мораль.

Теоретики литературы тоже не прошли мимо этого, показав, как мы отчуждаемся у самих себя материальным миром, то есть перестаем ощущать себя хозяевами собственных чувств и мыслей, как будто уже и не вполне наших – бывает, вышел из гостей и вдруг понимаешь спинным мозгом: нацепил чужое пальто. Виктор Шкловский писал об этом: «К своей обуви я не испытываю особенной привязанности,

но всё же она продолжение меня, это часть меня. / Ведь уже тросточка меняла гимназиста и была ему запрещена. / Искренней обезьяна на ветке, но ветка тоже влияет на психологию».

Наконец, та же мысль владеет Линчем в «Твин Пиксе» (особенно последнем, третьем, сезоне, где электрический треск искрящихся проводов – главный герой), а это, опять же, пример того, о чем Маклюэн сказал: *the medium is the message*, то есть способ сообщения и есть это сообщение, когда важнее не *что* сказано по телевидению или в Интернете, а что сказано это *по телевидению и в Интернете*, с известными для нашего восприятия последствиями.

Из электричества у Линча возникает новое время, новое пространство, новые отношения между людьми, а Маклюэн как раз и писал, задолго до появления Интернета, что электричество сжимает наш огромный мир в одну глобальную деревушку, где индивидуализма станет меньше (так, в третьем сезоне идиллически-закрытый мир Твин Пикса разрушается), а сидения по собственным углам – больше, и где сиюминутность информации сведет на нет причинно-следственные связи (выстраивание которых требует отстояния – и во времени, и в пространстве).

В итоге окончательно уходит в тень доэлектрическая, книжная эпоха, с такими ее чертами, как объективность, дистанция частной жизни (побуждающая к взаимному общению), наконец, вера во все-силые логики – как видим по Фейсбуку, логика – больше не аргумент, потому что вместо одной Логики логик теперь много.

И вот на смену этой книжной эпохи уже давно пришло мгновенное и вездесущее электричество – с сиюсекундностью, в том числе сиюсекундностью эмоций, и непримиримостью бесчисленных сообществ, как то свойственно всякой деревне, в том числе нашей, глобальной, в которой мы страдаем от тесного, столь дистанцирующего нас друг от друга, соприсутствия в виртуальной действительности. Почему же только сейчас люди массово начинают говорить об этом? Инерция.

Бродский же сказал гораздо раньше и, будучи поэтом, гораздо лаконичнее: «Это, увы, итог / размножения, чей исток / не брюки и не Восток, / но электричество».

Безусловно, Бродский предвосхитил новый век. Это значит всего лишь, что он, в отличие от большинства, видел в настоящем – настоящее; пессимист вообще обречен угадывать – потому что ждет не дивного нового мира, а, напротив: поднаторев в искусстве ничему не удивляться, глядя на мир Чайльд-Гарольдом, видит в новом мире мир прежний, потому и не обманывается будущим, – в чем сказываются и проницательность пессимиста, и его ограниченность; религия песси-

миста, то есть человека не верующего и этим тяготящегося, суть повторение.

Первый философ повторения – Киркегор, по крайней мере, в Новое время. Повторению он посвятил одноименную книгу, написанную, как водится у Киркегора, от лица вымышленного рассказчика. Он начинает с вопроса: «Возможно ли [повторение] и каково его значение, выигрывают или теряют вещи от повторения?» Почти сразу же он попытается повторение определить и классифицировать:

...повторение есть исчерпывающее выражение для того, что у древних греков называлось воспоминанием. Греки учили, что всякое познание есть припоминание, новая же философия будет учить, что вся жизнь – повторение. <...> Повторение и воспоминание – одно и то же движение, только в противоположных направлениях: воспоминание обращает человека вспять, вынуждает его повторять то, что было, в обратном порядке, – подлинное же повторение заставляет человека, вспоминая, предвосхищать то, что будет. Поэтому повторение, если оно возможно, делает человека счастливым.

Простейший пример счастливого повторения – Новый год: мы хотим, чтобы он был новым, но таким же, как в детстве. Невозможность пережить тот идеальный детский Новый год – вот, возможно, первое разочарование в повторении. Герой Киркегора пытается пережить повторение, отправившись в Берлин, где испытал некогда необыкновенное чувство, – не получается.

Но это позднее, а пока рассказчик продолжает свою мысль:

...повторение, если оно возможно, делает человека счастливым, тогда как воспоминание несчастным, если, конечно, человек даст себе время пожить, а не сразу, в самый же час своего рождения, постарается улизнуть из жизни под каким-нибудь предлогом, типа: прошу прощения, забыл кое-что прихватить с собой.

Не о ветреных ли влюбленных только что было сказано? Во всяком случае, дальше у Киркегора говорится именно о любви – и не диво, ведь повторение – первый враг любви, когда, говоря словами Шкловского, автоматизация жизни (то есть то же повторение) «съедает вещи, платье, мебель, жену и страх войны», когда, говоря словами Маяковского, лодка любви разбивается о быт. А вот что о повторении и воспоминании пишет в связи с любовью киркегоровский рассказчик:

Один писатель сказал, что единственная счастливая любовь – это любовь-воспоминание или любовь, ставшая воспоминанием. Он, несомненно, прав, надо только помнить, что воспоминание сначала

делает человека несчастным. Единственная же поистине счастливая любовь – это любовь-повторение. В ней, как и в любви-воспоминании, нет тревог надежды, жуткой фантастики открытий, но нет и грусти воспоминания, в ней блаженная уверенность настоящей минуты. Надежда – новое платье, туго накрахмаленное и блестящее, его еще ни разу не надевали, и неизвестно, пойдет ли оно тебе и придется ли по фигуре. Воспоминание – сброшенная одежда, которая, как бы ни была красива, уже перестала быть впору, так как человек из нее вырос. Повторение – неизносимое одеяние, которое свободно и, вместе с тем, плотно облегает фигуру, нигде не жмет и нигде не висит мешком.

И еще:

Надежда – прелестная девушка, ускользающая из рук; воспоминание – красивая зрелая женщина, время которой уже прошло. Повторение – любимая жена, которая никогда не наскучит. Ведь наскучить и надоесть может только новое. Старое же не надоедает никогда; отдавшись ему, становишься счастливым.

Сравнения эти еще долго продолжают; всё, что говорит герой Киркегора, замечательно, только вот чувствуется, что путь, который он описывает, сам он не прошел, тем паче если мы обратимся к биографии Киркегора, который писал «Повторение», когда во второй раз бежал от любимой девушки, на жизнь-повторение с которой в браке так и не решился.

Завершается же этот отрывок прекрасным самоуверением, в которое из-за риторики не вполне веришь:

Да не будь жизнь повторением, чем бы она была тогда? Кто захотел бы быть доской, на которой настоящее ежеминутно пишет новые письма или эпитафии прошлому? Кто захотел бы поддаваться мимолетным, всё новым и новым впечатлениям, которые только балуют да соблазняют? Даже если бы сам Господь не желал повторения, мир никогда бы не создавался. Тогда Бог или довольствовался бы одними планами, замыслами, или уничтожил бы создаваемое, чтобы хранить его в воспоминании.

То, о чем пишет Киркегор, гениально-изящно решил Сент-Экзюпери в «Маленьком принце». Маленький принц был влюблен в розу, почитал ее единственным столь прекрасным на свете существом и вдруг, оказавшись на Земле, увидел множество роз – повторение своей, единственной, и засомневался в единственности, уникальности, первостепенности своей любви к ней – до тех пор, пока не понял, что незаменимость его розы и подлинность его любви к ней –

в том, что он именно ее выбрал, то есть в его поступке, в том, что он приручил себя к той розе на своей родной планете.

И это прекрасно, но озарение маленького принца – прорыв, тогда как повторение – вездесуще, как пески времени, как пыль (излюбленнейший образ Бродского) или как вода, которая, точно камень, точит наши сердца. Тогда мы чувствуем пошлость жизни. Пошлость самих себя. Одинакость и одинокость. Тогда мы хандрим. Тогда скучаем.

Впрочем, лучшее противоядие – притерпеться к яду. Так он даже может принести пользу, и, кажется, намного уместнее в нашу ковидную эпоху, чем стихи Бродского о вирусе и хроносе, его же «Похвала скуке», основная мысль которой – «Когда вас одолевает скука, предайтесь ей».

Альтернатива скуке, по Бродскому, – пустота. Вот цепь его рассуждений: «Если мы поделим историю нашего вида в соответствии с научными открытиями, не говоря уже об этических концепциях, результат будет безрадостный. Мы получим, выражаясь конкретнее, века скуки». Этим «жизнь, – добавляет он, – отличается от искусства, злейший враг которого <...> – клише. Поэтому <...> и искусство не может научить <...> справляться со скукой». Бродский замечает, что можно, конечно, саму жизнь обратить в искусство, но что это, увы, удел немногих, и дальше он уже говорит о судьбе большинства, которое предупреждает: «...можно ожидать, что скука вас настигнет, как только первые орудия самоудовлетворения станут вам доступны». И вот тут-то Бродский переходит к тем самым орудиям – вещам, с которых и началось это размышление. «Ввиду их назначения, – говорит он о вещах нашего быта, – помочь <...> позабыть об избыточности времени» в нашем мире, «где запись события умаляет само событие», в мире «видео, стерео, дистанционного управления, тренировочных костюмов и тренажеров, поддерживающих [н]ас в форме, чтобы снова прожить [н]аше собственное или чье-то еще прошлое: консервированного восторга, требующего живой плоти», где «человек, всаживающий героин себе в вену, делает это, главным образом, по той же причине, по которой вы покупаете видео: чтобы увернуться от избыточности времени». В заключение Бродский говорит, что скука – «окно на бесконечность времени, то есть на [н]ашу незначительность в нем», которой мы боимся, «склонны игнорировать до такой степени, что это уже грозит душевному равновесию», так что, «раз уж это окно открылось», неразумно упускать этот «наиболее ценный урок в [н]ашей жизни». Несмотря на кажущийся пессимизм, эти слова звучат более жизнеутверждающе, чем киркегоровские попытки примириться с повторением.

Эти слова Бродский обратил в свое время к студентам-выпускникам Дартмутского университета, и, если он не смог подарить им

веру, то подарил утешение, и немалое. И раз уж речь зашла о видео и технике, предлагаю читающему это отключиться от всего, всего-то на несколько дней, – это, вероятнее всего, вызовет жестокий приступ скуки, но почему бы не выдержать, хотя бы из любопытства, – посмотреть, что получится?

Да, орудия нашего труда и досуга норовят поглотить нас, отнимая у нас повторение, условием которого является перерыв на скуку, и оставляя нас вместо него с информационным диабетом второго типа, когда, подсаженные на binge-watching и scrolling фейсбуков и нэтфликов, мы не замечаем, как наша жизнь обратилась в binge-living. Ведь повторение – это проживание одного и того же, а проживание уже невозможно, когда жизнь превращается в постоянную буфферизацию жизни – как в нэтфликовском сериале «Russian Doll» – вариации на «Groundhog Day».

Но при этом, как отмечал Маклюэн, устарев, вещи, раньше тиранившие нас, создают антисреду по отношению к нашей повседневной, привычной – на настоящий день преимущественно виртуальной – среде обитания, и тогда, важно добавить, старые вещи несут с собой целительную скуку. Об этом – снова у Бродского, причем раннего, у которого мизантропии меньше, в его знаменитой «Большей элегии Джону Донну». Как известно, основная часть «Большой элегии» – бесконечное, кажется, перечисление вещей: «Джон Донн уснул, уснуло всё вокруг» – и вместе с ним спят «стены, пол, постель, картины», «стол, ковры, засовы», «бутыль, стакан, тазы», «хлеб, хлебный нож»... Еще очень долго после этого стихотворение продолжается и продолжает повторяться всё тот же летаргический лейтмотив: «Всё уснуло»; «Уснуло всё»; «Уснули арки, стены, окна, всё»; «Уснули двери, кольца, ручки, крюк»; «Уснули тюрьмы, замки»; «Спят весы / среди рыбной лавки»; «Спят свиные туши»; «Дома, задворки. Спят цепные псы. / В подвалах кошки спят, торчат их уши. / Спят мыши, люди. Лондон крепко спит». И хочется сказать вслед Бродскому: «Весь мир уснул», – но нет: наш мир, мир оголенного электричества, не спит никогда. Только в Англии семнадцатого века, в доме поэта Донна, вещи еще могут спать мерным повторением, когда долгота повторения кажется бесконечной, и именно тогда возможно чудо – диалог человека с собственной душой: «Но чу! Ты слышишь – там, в холодной тьме, / там кто-то плачет, кто-то шепчет в страхе»; «‘Кто ж там рыдает? <...>’», – и после долгих угадываний ответ: «...это я, твоя душа, Джон Донн».

Это было прозрением Бродского. Как колодец отвечает человеку его же собственным голосом, так скука – пустота повторения – отвечает пустующей душе человека, и тем самым преодолевает пустоту пространства, претворяя повторение – в длительность бытия. И тогда

горькие слова Бродского, сказанные в другое время и по другому поводу («Одиночество есть человек в квадрате» – и сколь сильно сегодня это звучит, когда всё наше общение свелось к компьютерным квадратам), – и тогда эти слова получают нелживое опровержение, потому что ты понимаешь: человек – это всегда, как минимум, двое, когда человек – болельщик собственной души.

ШТАММ № 3. ВНИМАНИЕ

Август – октябрь 2020.

New York, NY – Brooklyn, NY

Нельзя же глядеть не моргая, нельзя жить и никогда не смыкать глаз. Не может же человек всё время вести прямую линию.

Человек отрывается от реальности, как от ожога.

Но время не проходит. Проходит жизнь, как трансатлантический полет. Самолет садится, и ты опять не досмотрел кино. И так из раза в раз. И в следующий раз, через полгода, год, ты с теми же героями – мизансцены те же, еда та же, вот только мили не набавляются – наоборот, и когда-нибудь их не хватит, а ведь летаешь ты в кредит.

Затмениями, слепыми пятнами, железнодорожными туннелями, закрытыми иллюминаторами, малевичами разрубаются сцены: ВКЛ – ВЫКЛ – выколи глаз. That's how you switch between boarding zones, flight zones (each time from a different predator), war zones, as well as those climatic, time, and erogenous – until there's a zoning out, a passing out – or away.

Чувствуешь себя фигурой, пытающейся понять, кто она, по тому, как она ходит. (Здесь можно было бы изобразить шахматную доску; черные клетки – провалы в памяти, темнота; белые клетки – события, знаковые переживания; переход с клетки на клетку – комбинации.) Но всякий раз этой фигуре приходится отскочить в сторону – а разве так можно было ходить? Выходит, можно. И вот приходится гадать заново.

А все эти буквосила (пресловутые e2 – e4)? Условность. Самовольно положенный предел. Сеть, заброшенная в бесконечность.

А противник? Не видно, да и ты, чай, не Сюдов.

Есть только белое и черное – действие и бездействие, и есть между всем этим – я, и есть между всем этим – мы.

А что же я?

Я ВЕСЬ ВНИМАНИЕ

Пространство не дает нам испытать всего одновременно, а время – повсеместно; кто-то нам всегда ближе, а что-то, где бы мы ни были, – своевременней; и хотя прав Хайдеггер, говоря: «Малое

отстояние – еще не близость. Большое расстояние – еще не даль», – этим противопоставление не снимается.

Категории, через которые мы воспринимаем мир и живем им, неизбежно приводят к дискриминации, ничуть при том не позитивной: мы подвергаем ей мир, ведь априорное знание предвзято; ценности размножаются делением – от примитивных «вкусно» – «невкусно» до таких абстракций, как «прекрасно» – «безобразно» и «хорошо» – «дурно»; а мир, в свою очередь, подвергает дискриминации нас, потому что нельзя перепрыгнуть через категории – об этом см. антиномии Канта. «Разделяй и властвуй» – не руководство к действию, но приговор; об него разбивается гордыня покусившегося на то, чтобы во всем дойти до самой сути. *You can't always get all you want.*

Казалось бы, пространственные и временные ограничения можно преодолеть, когда понятия закреплены в языке. Но слова-наместники, состоящие на службе у одного значения, то и дело завоевываются другими или же сами перебегают под чужой флаг, не говоря уже о фактах, которые то и дело поднимаются против поставленного над ними слова-наместника. Языков так много, и так стремительно они меняются, что, даже если слово и удержалось у власти, едва ли границы его сохранились неизменными: или оно потеснило другие слова, или его потеснили, и зачастую сходство между тем, чем слово было и стало, такое же, как между Римской и Священной Римской империями. В итоге ни время, ни пространство не могут быть преодолены в языковом мышлении. (А кроме того, не должны, потому что язык как таковой ситуативен и событийен, а не вездесущ.)

Зато вездесуще, кажется, число, и еще одна попытка совладать со временем и пространством – заменить слово умным числом, передающим все оттенки смысла, а энциклопедию – архивом. Такова Вавилонская башня, возводимая цифровыми архивариусами нашего времени – возводимая, если им верить, через количество в качественно новую степень. Правда, среди цифровых архивариусов немало мудрецов, смиренных иронией, но есть и те, которые надеются и надеются созданием архива вывести нас из пустыни невежества. Последние – утописты, и наивны они не меньше, чем основатели империй, мечтавшие, что их империи вберут в себя чуть ли не весь свет и просуществуют вечно. Это, разумеется, не отменяет всех тех культурных и цивилизационных завоеваний, которыми человечество обязано империям, но, как известно, империи обрекали подданных и на великое множество бед, хотя бы уже тем, что, представляя собой единство непохожего, непременно распадались.

Объединение множества разрозненных фактов в энциклопедию, а затем в цифровой архив, уже помогло во многом разобраться и еще

поможет, только вот что делать с этим множеством? Во многих мудрости — много печали, и главное слово здесь не «мудрость», а «много». Так, вызывает недоверие ценз, проводимый в стране с миллионами нелегальных мигрантов, от которых зависит вся ее экономика, так что стоит мигранту ассимилироваться и получить легальный статус, как на место этого мигранта тут же заступает новый.

Едва ли нужно сегодня кому-то объяснять, что Big Data — столько же решение, сколько и проблема. Своих подданных такая империя давит необозримым пространством; над ней никогда не заходит солнце внимания, но это же значит, что, светя всем своим жителям, оно никогда не светит им одновременно; будь они подданными маленькой страны, у них было бы общее солнце (одновременность и современность внимания), а тут они поступились им во имя территориальной экспансии (во имя охвата внимания); чтобы освободиться от одного ига, они встали под другое.

Итак, время и пространство обратно пропорциональны, внимание же — результат недостачи и переизбытка одновременно, поскольку ресурс этот решительно у всех ограничен, вследствие чего бюджетный дефицит внимания компенсируется за счет инфляции внимания.

И наоборот, благодаря долговременному инвестированию, внимание возрастает в цене. Чем более долгосрочной является инвестиция, тем больше доля внимания — например, инвестиция в роман наподобие «Войны и мира». В этом отношении вкладываться лучше в прозу, являющуюся сплошной, нежели в поэзию, являющуюся фрагментарной. При этом важно помнить, что недочитанный роман — испорченная кредитная история. Придется платить штраф — внимания станет меньше, и всяческим отвлечениям тем легче будет поработать невнимательного человека. Как деньги любят деньги, так внимание любит внимание. И если внимание — золото, то высшая проба — скука. В особенности «скука» семейной жизни, как в «Старосветских помещиках» у Гоголя. Внимание многоамно и матримониально; внимание монотестично, а многолюбовство и многобожество — не более, чем финансовая пирамида. Такова экономика внимания — ныне область многочисленных исследований. Вообще же экономика и внимание — синонимы, ведь речь о распределении, о приоритетах, о дискриминации и, соответственно, о формах восприятия — категориях в их соприкосновении с действительностью... вернее, в их соприкосновении с хаотичными данными, из которых выстраивают нашу действительность.

Я САМ НЕ СВОЙ

Внимание всегда являлось главным ресурсом человечества, поскольку именно вниманием опосредуется мир. Вместе с тем, не

следует считать внимание силой, которая нами управляет, ведь вещи, предстая перед нами феноменами нашего восприятия, существуют и вне нас – в себе и для себя, как писал Кант. Сила, которая управляет нашей жизнью, именуется законом, – и то тогда лишь именуется, когда попадает в поле нашего внимания.

Здесь можно прибегнуть к этимологическому обоснованию, пусть этимологические обоснования и не намного доказательнее этимологических. В нашем языке родственны слова «внимание», «внимать» и «иметь», последнее же попало в древнерусский еще в XI веке и означало «владеть», «захватывать», «брать», то есть было связано с властью. Вся власть, как известно, от Бога, а значит и внимание – тоже. Богу, стоящему над людьми, внемлют, и всё, что ни делается, – творится его именем. Возможно, родственно этим словам и само слово «имя». Имя – власть, оно же – закон (ср. с греческими «νόμος» и «ὄνομα»). Имя Божье, «Аз Есмь», – новый порядок, возвешенный Моисею. Таким образом, внимание – установление закона имени.

Итак, чтобы сохранять полновластность, высшие силы, то есть такие силы, которые врываются в наше внимание, должны, вместе с тем, существовать и вне нашего внимания, то и дело оgoroшивая нас; так приоткрывает каждое новое из своих имен, знаменуя тем самым новую эпоху, иудеохристианский Бог, или, говоря по-простому, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Бог – высшая ценность именно тем, что превосходит наше внимание своим провидением, являясь нам в нашем внимании как высший закон, закон же – то, что – или тот, кто, – определяет нашу жизнь, то есть является по отношению к нам *другим*. Держава нашего внимания растет благодаря стремлению к другому, как росли европейские империи благодаря великим географическим открытиям.

Итак, внимание – абсолютный синоним главного в известный момент и в известных обстоятельствах ресурса; этот ресурс – не сам объект, а деятельное отношение человека к объекту – положительно-деятельное (когда, например, животное – источник насыщения), или отрицательно-деятельное – когда, скажем, дикое животное – угроза для жизни, отчего ценность жизни, то есть внимание, необходимое для ее отстаивания, обостряется, и акции внимания возрастают. С появлением языка внимание само по себе стало заметней – как солнечный луч благодаря тени. Сегодня же оно совсем обеспредметилось, воссияв во всей своей славе. Так, деньги, эта эмблема всех ресурсов, уже давно перестали быть ценны сами по себе: сначала отменили золотой стандарт, но можно еще было пощупать облигации, а теперь и этого всё меньше. А как быть с тем обстоятельством, что наша реальность всё более становится виртуальной?

Речь сейчас не о том, что «правда», а что нет. Виртуальность реальности важна тем, что в ней всего больше и всего доступнее, так что возникает ощущение, будто пространство покорено и время тоже, — и, конечно, ощущение это в высшей степени иллюзорно — ведь мы сидим на малюсеньком клочке пространства, вперившись в экран, устроенный так, чтобы всё свое *свободное* время мы жертвовали именно ему. Наивный пользователь! Ты не смотришь сериал — ты смотришь Netflix, ты не смотришь фотографии друзей и любимых — ты смотришь Instagram, и ты общаешься не столько с друзьями, сколько с социальной сетью. Интернет, по преимуществу кажущийся бесплатным, конечно, таковым не является: наш главный ресурс, внимание, обложено налогом, и поэтому его не хватает уже на самые обыкновенные фильмы, которые поколение Z всё чаще и чаще не досматривает, и видео, которые то же поколение любит проигрывать ускоренно. Между тем люди забывают, что паузы в речи мыслителя — как пространство между абзацами в эссе — зачастую содержательнее, чем сами мысли.

В результате мы компенсируем недостаток собственного внимания тем, что облагаем им других, — «подписывайся на мой канал», «поставь лайк под моим постом», а вот погляди на мои фотографии, мои stories и т. д. и т. д.

ПАН ИЛИ ПЕРСЕЙ

Чтобы понимать экономику внимания, недостаточно философа или специалиста по коммуникативистике — нужен психолог, ведь экономика внимания — экономика души. И кому, как ни Церкви, дело которой — внимать Богу, не поддаваясь мирским искушениям, кому, как ни Церкви, знать, как хитросплетения связаны с вниманием! Так, о. Сергей Овсянников пишет в «Книге про свободу»:

Как-то раз <...> я заметил, что читаю подряд все плакаты и рекламы, развешанные в метро. <...> Читаешь и, как пылесос, втягиваешь в себя всякий мусор, пока противно не станет. Но даже если и противно, всё равно нужно сделать усилие, чтобы остановиться и перестать автоматически поглощать «выгодные предложения». По такому принципу мы живем очень часто — отвлекаемся на то, что нас не касается, не можем главное отделить от второстепенного, тратим время и силы на то, на что не надо было, а потом мучаемся.

*Итак, если мы реагируем на события **не нашей жизни**, то в этом проявляется небрежение своей судьбой — тем временем не складывается наша судьба, поскольку была проглочена не наша информация и проживается не наша жизнь. Мы в себя попасть не можем. Хотя именно это и было нашей задачей, ведь это нам сказал Ефрем Сирийский — «войди в самого себя... вне тебя — смерть».*

Здесь можно было бы скаламбурить про смерть по невниманию или пошутить про человека, который пропустил Второе пришествие и лишился Царства небесного, проглядев его... Но приведу отрывок из книги о. Сергия до конца:

...момент первый – очень важно научиться отсекалть всё лишнее. Как правило, это даже и не лишнее, а просто «попалоcь на пути». Например, у меня это проявляется в вещах элементарных. Вот иду я на кухню, чтобы поставить чайник, а там мой ребенок по всему столу разметал грязную посуду. Появляется очень неприятное чувство испорченной красоты и желание сразу же всё прибрать. Желание понятное – это естественная тяга к чистоте и красоте. Но если я так и сделал, то, скорее всего, забуду, зачем я пришел и что вообще-то я сейчас пишу важное письмо, и уж точно забуду, что именно собирался написать.

Такая ситуация только кажется банальной. На самом деле, если мы не привыкнем не отвлекаться от скромных целей, то и путь к себе останется непомерно длинным. Начал движение, чтобы войти в себя, а встретил нечто, что от тебя очень далеко.

Главная мысль книги о. Сергия заключается именно в том, что внимание – средство приобретения свободы, а радость сосредоточения – ее показатель. Свобода же – бытие, когда человек чувствует и знает: «Вот – я, азъ есмь». И вот сегодня, когда разговоры о deep work, глубинной работе, популярны не менее, чем «ковёркинги» и психотерапевты, казалось бы, должно быть ясно, что жидкокристаллический экран дробит державу нашего внимания, дробит единое информационное пространство больше, чем какая-либо газета, журнал или комикс, и даже кино (ведь на цифровом экране мы можем одновременно смотреть фильм и читать новостную ленту).

Так почему же, понимая это, люди не хотят слезть с цифровой иглы? Вопрос не нов, как и ответ на него, – люди, не выдержавшие испытания скукой, всегда убегали и от жизни, и от самих себя в суету.

Жизнь напрямик страшна, как всякая стихия, – океан или дремучий лес, а она и есть все стихии, включая и нашу, – человеческий муравейник.

Из того, как пытаемся заглушить жизнь, – динамиками и динамиками, всяческой речью, особенно пустопорожней, только бы не молчать, – явствует: пуще всего мы боимся *самости* жизни, безответности жизни, ее незаинтересованности в нас, что пугает никак не меньше, чем всякие бедствия.

Борясь с бедствием – с ураганом ли, землетрясением, иноземным нашествием, – молишься, надеешься и, если спасаешься сам и особен-

но если спасашь других, обретаешь в награду небывалую сплоченность с людьми, обретаешь веру и дар жить настоящим. Но перед лицом жизни как она есть человек цепенеет, впадает в панику – в изначальное состояние человека, вероятнее же всего – пастуха, когда он оказывается наедине с безлюдной и бесчеловечной природой – миром Пана, отчего им овладевает *беспричинный* ужас, паника (такова этимология этого слова). Выдержать внимание природы, всеми своими шорохами и поползновениями направленной на тебя, оказывается страшно; человек рассеивается, теряется, расчеловечивается, превращается в испуганного зверя.

Может быть, в лицо жизни смотреть еще страшнее, чем в лицо Богу: в лице Бога можно прочесть себе приговор (закон), в лице жизни – не увидеть себя и собственную душу; мы боимся «развидеть» себя в ее лице и окаменеть, как от взора горгоны Медузы, и потому, по примеру Персея, смотрим на жизнь не в упор, но через щит, – экран, в котором она отражается. Только, сидя перед экраном, мы как раз и окаменеваем.

ЭПИЛОГ ПЕРВЫЙ. ЛИЧНЫЙ

В декабре от ковида в Москве умерла С. – бабушка, часть моей троицы, в которой мать, жена... В храме я видел три поколения перед бабушкиным гробом... За две недели до этого я ждал ее выздоровления, одновременно думая и не думая о ней; гулял по золотому от листьев и солнца Проспект-парку, переходя от одного джазового оркестрика к другому, поглядывал на матерей с малышами, а в какой-то момент залип у прудика: собака вбегала в него по уши и тут же выныривала и под восторженный визг отряхивалась перед детьми... Священник всё повторял: радуйся, радуйся... Если б только моей радостью можно было искупить мир...

* * *

Есть люди, которые по жизни обращены лицом к матери; в детстве она носила их к себе лицом; о мире они должны были догадываться и выработали умозрение; их счастье в смутных прозрениях веры. И есть люди, которые к миру обращены лицом, а к матери спиной; они видят мир как он есть, только этого мало, ведь им всегда недостает тепла и тайны оставшегося позади материнства.

Однажды дитя стало ребенком. Ребенку купили щенка. Росли погодками; потом щенок стал собакой, а ребенок еще оставался ребенком; и вот ребенок уже не ребенок больше, и у него старый пес, еще погода – уже совсем беспомощный, как в щеночестве. То же с

душой и ее человеком. Душа взрослеет с телом, а когда тело уже старчески немощно, душа заботится о нем, как о чаде, сострадая ему, rising to the occasion. В этом смысл старости.

Старость – зима жизни. Глобальное потепление – один из симптомов виртуальности, пик электрической цивилизации; впрочем, нет нужды настаивать на причинно-следственности в нашем симультанном мире. От зноя плавают мозги, об этом писал еще Сервантес – Дон Кихот. Реальность требует минусовых температур. Так смерть сбивает инфляцию жизни.

Путь по морозу и снегу всегда немного крестный. С реальностью приходит религия. Религия – ступенчатое построение для пирамидального восхождения души. Как скрипки в моцартовском «Реквиеме». Ныне. И присно. И во веки веков.

Амини и аллилуйи повторяются не повторяясь – как при счислении – к лику святых – накапливаясь в новое качество: во имя Отца, Сына и Святаго Духа.

Как скрипки в моцартовском «Реквиеме», как при счислении: религия – обстоятельство образа действия, по образу и подобию. И всё в ней *как будто*, ведь «как будто» – союз.

Но для начала должна быть душа. Женщине она дана от природы, с материнством. – Мужчине? Мужчина без женщины – голый, компьютерный разум (почти), разряд, неспособный, не заземлившись, осознать свое напряжение; Одиссей без сына и без Итаки; тело без души, хотя именно с тела для мужчины женщина начинается – будь то жена, будь то мать.

ЭПИЛОГ ВТОРОЙ. ОБЩИЙ СВОДНОЕ ВРЕМЯ – ARCHING TIME

...the ground stands without any help or it needs help.

Q. If you cut a hole in it?

A. That's correct. Nature does not like a vacuum, and if it stands you don't have the problem that you have if it will not stand. It's called arching time. Some ground will stand for two minutes, some will stand for a week. Some will stand forever.

New York Court of Appeals.

Theodore Fox vs. Jenny Engineering Corporation and Lozier Architects and Engineers, vol. I, 1986, 269.

Время московское

В Риме время древних времен отошло – разбрелось городами,

стерлось с дорогами. Когда-то живые – глаголы остаются в мертвой латыни, как люди и звери в Помпее, – в пепле и глине, на обочине истории, с богами ненужными, сброшенными, убогими. Как планета проходит по нашему небосводу, входит в каждый дом и выходит в энное число лет, так время проходит по дуге, касаясь истории; так надувался ветром и выходил из акватории Петров флот, пока не застыл камнем в бутафории Церетели. Благодать сошла с наших часов; как и прежде, на них падает луч – да не тот, не из тех, из которых часы, широт. И стоят, словно памятники, бездумно, – числа, ни к селу ни к городу, стоят себе на часах в нашем Метрополисе; и кидается еще кто-то переводить стрелки; думает, что сбрасывает с постамента чужое время и ставит свое; еще на что-то надеется, но это ложная временность. Наступил тайм-аут – выкидыш истории. Она снова на обочине и ждет своего времени. Можно жить в истории без времени, вот только – как быть? Но этот разговор можно отложить до времени.

Время нью-йоркское

No tempora nor mores roam Rome; the Rome of yore's no more; its law is lore – sad lex! its roads overgrown, worn down, effaced; its settlements roaming about nothing; no tempera not flaking. The verbs, aflutter once, are buried in Latin as men and beasts in the ash and clay of Pompeii, with extant and extinct gods loitering round on history's roadside. As a planet crosses our firmament, enters each house, and leaves on the umpteenth year, so arching time crosses history; so did Columbus, his ship flapping, luffing, billowing, now stranded on 59th Street. Grace has come off our lackluster dial, and the peering ray is of a foreign latitude. Numbers, mindless like monuments, stand watch in our Metropolis, round the clock, apropos of nothing. There still are some who rush to get the upper hand; who fancy to throw another's time from the pedestal and erect their own; those still pregnant with hope. But the time-out has set in: a miscarriage of history, and again, history is on the roadside, untimely, biding her time. And what about us? Time will tell.

Март – декабрь 2020

Нью-Йорк – Москва – Вирджиния – Мэриленд – Нью-Йорк

Андрей Грицман

* * *

Креозотом пахнет мое детство
метрополитеном, адлером, отъездом.
Никуда от этого не деться
маслянистым всё покрыто снегом

Шпалы пахнут дальним эшелоном,
Боже мой, Гремячьим иль Таловой.
Что мы знаем? Ни хрена не знаем,
так что хоть бы жизнь проехать снова

А начать – куда ведет разлука?
Та любовь, что жизнь переитожит.
Пахнет креозотом судьба-сука
двинуться со станции не может.

Вот хоть завтра – выйти на дорогу
на пустую утреннюю насыпь
и уйти по шпалам куда ноги...
или буераками и лесом.

Повстречаешь всех кого оставил
так давно. Не проявил заботу.
Где-то грохот дальнего состава.
Все слабее пахнет креозотом.

* * *

Всё ухает медленно баба копра
обычно под утро по темени.
Тащиться дворами во тьме по утрам
в урок бесконечный, вневременный.

Давно уж наполнен бассейн до краев,
труба бескорыстно всё гонит
в бездонный логически водоем.
И пересчитать перегоны

от города А до города Б
не хватит физтехомехмата.
И в зыбкую ткань остранинной судьбы
вонзается керн сопромата.

Но мне повезло и я избежал
Всю логику карцера счета.
Открытые скальпели тысячью жал
открыли мне смысл переплета

нейронов, синапсов, пульсаций узлов,
мерцанье их ада и рая.
Когда понимал я бессмысленность слов
по кости височной гадая.

* * *

Две пачки «Дерби», «три звезды»:
Отца загашиник в угловом серванте.
По книгам — память дачная листвы.
В двенадцать — неизбежные куранты.

Я рос за шкафом. Вроде счастлив был.
Морозным утром не ходить бы в школу.
Теперь, наверно, многое забыл.
Но не забыл столбнячного укола.

И не люблю собак. Котов люблю.
И сам, как кот, крадусь по закоулкам
своей души. И вижу наяву
из *булошной* поджаристую булку.

То слойка, калорийная, а то
калач московский — признак воскресенья.
Вот я уже стою совсем в пальто,
и бабушки летит прикосновенье.

Теперь душа издалека глядит
на обледенелую планету.
Сквозь атмосферу светит теплый быт,
курантов звон и «Дерби» сигареты.

* * *

Болотные огни
нижинами, лесами.
По пустошам, далеким городам.
Ех *nihilo* плывут они за нами.
Бессловный слог –
невидимый метан.

Так мы живем – по освещенным трассам
летим *ad hoc* неведомо куда.
Ночным болотом и горелым лесом
в отмеченные сроком города.

Над нами поднимается надежда.
Но это только будущего тень
и неизбывно манят нас, как прежде,
болотные огни печальных деревень.

ШЕЛКОПРЯД

Медленно, как нити шелкопряда,
дни идут не ведая себя.
Но судьба выносит мне со склада
курево, кусочек бытия.

Времени мне явно не хватает.
Хайдеггер нечитанный лежит.
И куда-то разлетелась стая.
Без нее мне стало легче жить.

Не вступать в бессмысленные споры,
не курить ипритных сигарет.
Но растут невидимые споры
непредвиденных, но очевидных бед.

Я теперь с тобой не унываю
Ведь плетет нам где-то шелкопряд
Легкое, в разводах, покрывало.
Но пустеет постепенно склад.

* * *

В. Ф.

Хотел успеть на пароход,
на голубой, на черный, белый,
Хотя, смотри, на кой мне черт!
Могу без парохода смело

пройтись по пристани, купить
платок нашейный, ожерелье
и, затерявшись там в толпе,
с народом разделить веселье.

И не жалеть, что пароход
куда-то уплывет, застрянет,
в какой там гумилевский порт
он неожиданно заглянет.

В таверне темной вдруг найти
таинственную незнакомку,
дыша ей в ухо, говорить,
в нее влюбиться ненадолго.

Но вот отходит пароход,
звучат последние сирены.
Немного горько на душе,
темно, но и освобожденно.

Освобожденно и легко,
что вновь упущен пошлый случай.
И где-то, очень далеко,
The King мычит besame mucho.

СЕРИАЛ. 73 СЕРИЯ

Неоновые светляки через овраг за лесом
окраиной за свалкой, за бугром.
Мерцание, под пасмурным навесом
мимо реки. Зброшенный паром

давно прибит. Болото дышит паром.
Идет тропа, крапива, бересклет,

к окраине, где можно жизнь задаром
отдать, начав безвременный полет.

Там на краю, последний в поселенье,
стоит кабак, таверна, Irish bar.
Фонарь горит, и волглый запах тленья
ведет в пустой неосвещенный зал.

В окне горит неоновое OPEN.
Мерцает мерно пару сотен лет.
К полуночи хладающая осень
зовет войти на тот лучинный свет.

Сижу один и думаю пора бы
еще одну допить и быть в пути.
Там светляки еще мерцают слабо.
Еще одну допить – и в жизнь уйти.

* * *

Ингибиторы обратного захвата
синими чернилами на белом.
Но она ни в чем не виновата.
Это всё в тебе самом созрело.

И чего теперь ходить по шринкам?
Ведь в тебе самом есть подстрекатель.
По опасным водит он тропинкам,
где давно повален указатель.

Что же до обратного захвата –
это, брат, совсем не разговоры.
Где-то есть, без номера, палата,
разливают там на глаз растворы.

Чисто, нет усушки и утруски.
Тихо и спокойно как в музее.
В том, где египтяне и этруски
ненавидят древнего еврея.

Знать борцам обратного захвата,
мастерам приема болевого –

сколько не откладывай зарплаты,
всё равно не оказаться дома.

Сколько ни прожить непобедимым,
втайне ингибитор принимая,
всё равно в далеком едком дыме
чудится личина Первомая.

И пока проходишь постепенно
коридором до своей палаты,
там по стенам тают пятна света
от зрачков дежурного медбрата.

ВСПОМИНАЯ ТАРКОВСКОГО

Всё больше тех вещей, что я забыл.
Но все они живут еще в сознании,
в глубинной памяти любви
и в осязании.

Где та любовь, где медленные танцы?
Где батники и узких юбок зовы?
Где «Лира», «Адриатика»? И мы – посланцы
из дальних и полузабытых снов.

Где булочки с корицей нашей мамы
и темный танк трофейного буфета?
Где черно-белый Хэмингуэй без рамы,
и в ящике Стрельцов и Игорь Нетто?

По темным комнатам, где медленные танцы
косит «Кометы» глаз на чудо зада.
Безумство пряди на щеке, о Джо Дассен, дым «Солнца»,
о Лафарет Мари и польская эстрада!

А за окном, где тихий снегопад
такси в разнос в Чертаново во мраке.
Но «Плиска» есть с собой и как судьба
снежинка на ее черненном веке.
Томбе ля неже и Амур пердю,
И душу рвет аккорд про ряд Каретный.

Отвертки у шпаны в электропоездах,
Один неверный взгляд и шаг неверный.

В Москве к полуночи ленивый снегопад.
В парадном тишь и гладь и подоконник,
где счастье обрести, невинность потерять,
расстаться с ней бесследно и бессловно.
Грохочет лифт, пора, мой друг, пора,
зажат в кармане рубль заветный.
Чтоб добежать, успеть и прыгнуть навсегда
в вагон случайный и последний.

Нью-Йорк

Михаэль Шерб

ЖЕМЧУЖИНА

Распылю по комнате духи,
Чтобы о тебе напоминали,
Сочиню настенные стихи,
Каждый час чтоб время отбивали.

Не стучали ритм минутам вслед,
А умели строчкой сутки мерить,
Вместо звона издавая свет,
Тот, который написал Вермеер.

Нет ни букв, ни цифр в моих часах,
Как в морзянке – лишь тире и точки.
Тихий свет колеблется в зрачках,
Как жемчужный маятник на мочке.

КАРАНТИННОЕ ДЕТСТВО

Подождите немного. Совсем ведь немного осталось,
И пройдут карантинные дни.
И уйдут неизвестность и страх, и вернется усталость,
И тогда мы поймем наконец-то, что были они
Из счастливейших дней нашей жизни, неожиданным наследством,
Неожиданным детством,
Когда неизвестный Большой
Разрешил насладиться последней бесснежной весной,
Повелел нам остаться в закрытом снаружи дому,
Опасаясь чего-то, понятного только ему.

И тогда, оказавшись как будто в далекой эпохе
Безнаказанных шалостей, мы
Под взаимные охи и вздохи,
Про себя восторгаясь, что пали бесплотные стены тюрьмы,
Возмущались притворно, грустили и били на жалость,
Но взахлеб наслаждались
Пестрой вольницей жизни. Избавлены от кутерьмы,
От сети обязательств,
От рваной котомки работы,
Мы бездумно бросались
В запретные водовороты

Наших снов сокровенных, подавленных наших желаний,
В полусонное счастье совместных закатных камланий.

Мы заплатим за всё –
За отсутствие пут и оков,
Мы заплатим за всё –
До зияющих ртов кошельков,
До шершавости рук,
Неспособных держаться за грани обрыва,
До потертости брюк
Мы заплатим – и скажем спасибо!

Мы заплатим за всё, и с лихвою заплатим – потом.
А пока пусть весна прорывается сквозь чернозем
Наших жизней, сквозь лица, сквозь наши нелепые сны.
Карантинное детство продлится. К концу карантинной весны
Мы почти что больны и едва ли способны ходить,
Но уже создаем миры, – и они высыпают, как сыпь
На сияющей коже грядущих неведомых дней.
Карантинное детство – взросление новых людей.

МОНОЛОГ ВНУКА

В 12 лет вместе со школой
Я был на экскурсии в Дахау, во время которой
В одном из залов
увидел свою фамилию, но отец сказал мне,
Что это ошибка, часто встречающаяся в иностранной прессе.
Коменданта Освенцима звали не Хёссе, а Хессе,
Вот дерьмо, ругался отец, там всё еще написано «Хёссе»!
Я им дважды писал, они обещали разобраться в этом вопросе!
Впрочем, путаница с «е» и «ё» происходит нередко.
Не волнуйся, сын, у нас не было такого предка.

Может, ему от деда отказываться было и больно,
Но он работал в дирекции завода «Вольво».

И бабка говорила, что она ничего не знала.
На ней нет никакой вины.
Дед был честный солдат, директор тюрьмы.

Только как-то нечаянно
Она проговорилась,
что теплицы находились совсем рядом с печами.

И, представьте, даже
приходилось отмывать овощи и фрукты от сажи.

Ничего не знала, ни о чем не догадывалась...

Но однажды, возвращаясь из пекарни,
Она увидела на новоприбывшем парне
Куртку, и курточка эта так ей понравилась,
Что она не справилась с искушением
И подала в комендатуру прошение...

Знаете, что для меня в этом самое страшное?
Эту курточку я в 70-х донашивал.

РЫБА-ФИШ

Закат стекал по черепицам с крыш,
И на столе стекались брызги в струйки:
Я рыбу потрошил на рыбу-фиш,
Сдирал с нее блестящие чешуйки.

Срывал скребком, как сотни покрывал,
Как тысячи прозрачных оболочек,
Потом от мяса кожу отделял:
Нервущийся серебряный чулочек.

Чтобы филе на фарш перемолоть
Бросал в комбайн, а там, вертясь по кругу,
Ножи рубили розовую плоть
И смешивали с золотистым луком.

Часы спустя, в кухонной полумгле,
Я догадался, где у смерти жало...

А рыба-фиш на праздничном столе,
Прекрасней, чем живая, возлежала!

ПИТЕР

Я помню отглаженный Питер,
Ходил вверх ногами там ветер,
Сдирая туманность с полыни,

И, может быть, ходит поныне
По шахматным доскам руин,
Фильтруя себя сквозь слои
Капроновой влаги морской,
Чтоб после вонзиться иглой
Каналу в стальное ушко.

Мне шоры отдернутых штор
И тонкой портьеры лишайник
На небо смотреть не мешали,
Гусиной покрытое кожей.
Казалось совсем невозможным,
Что сброшены звезды до кучи, –
Как будто разгрыз их Щелкунчик,
Живущий в напольных часах,
Чтоб время на всех парусах
Летело на черные скалы
Невидимой финской Валгаллы.

Пульсации ленинской польки
Неслись, поддавали под дых, –
Я страха лимонную дольку,
Достав из ночного бокала,
Совал под распухший язык.

И мнилось, что нас миновало
Молочное пенье сирен,
Пока не коснулся колен
Закрученный бивень нарвала,
Литой копенгагенский крюк,
И ныла душа, тосковала, –
Невинно побитый байстрюк,
И воздух, овальный на вдохе,
На выдохе резал ноздрю.

А смерть не таилась совсем, –
Садилась в промерзший трамвай,
И ехала вдоль по Неве,
Косой на стекле вырезала
Котел и горящий очаг, –
Писала заветное слово, –
Чтоб ад трансформировать в рай,

Как в сказке Алеши Толстого,
В последней, бездарной главе.

Полночных кошмаров рассадник,
Проулок срывался в пике,
И медный безжалостный всадник
Летел на коньке-горбунке,
Сквозь полупрозрачные стены,
В густую беззвездную тьму.
Как рыбные кости, антенны
Впивались под ребра ему.

Казалось, конец и начало
Слепились в бессмысленный ком,
И то, что уже закипало,
Внезапно покрылось ледком.
Чуть что – и гремющая проза
Бросалась – на стих ли, на тишь, –
Как коршун, хрустящий с мороза,
Сигает на теплую мышь.

Исчезли сочельника свечи,
Ныть сиротливых гитар;
Когда-то казавшийся вечным,
Исчез воробьиный базар.
Сбежала луна из загона, –
Смешное ее молоко
Из неевского липкого лона
Еще месяцами текло –
По фалдам голландского кроя,
По окнам дворцов и больниц.

И падала мертвая хвоя
На диски безжизненных лиц.

Пока над тобой «Никогда»
Сияет, как новое солнце,
К тебе не вернусь, но вода
Едва ль над тобою сомкнется.
И вряд ли цветное драже
С начинкой из тертого мела
Поможет в бессмертное тело
Вернуться сгоревшей душе.

ВСЁ БЫЛО

Всё было: и комнаты классные,
И скука, и недомогание
бегонии на подоконнике,
И глаз удлинённых, как гласные,
От резкого света моргание,
И осень, и запах антоновки.

Эпоха распада и тления,
Запретов объятия тесные,
И пола затей телесные,
Греховные переплетения,
Излишние, словно на вырост,
Как будто бы кто-то внутри
Другой мне на смену вырос,
И выйти стремился наружу,
Как бабочка, бился во рту,
Навек опустевшем для речи, —
Откроешь — январскую стужу
Он впустит в жильё человежье
И призрачность, и немоту.

С тех пор он, кори — не кори,
Живет в моей темной крови
И требует вдоха иного.
Он стрелкой дрожит меж людьми,
От южного полюса боли
До северного — любви,
И тычется теменем в горло,

Но он же — дарует мне легкость,
И он же — поддержит под локоть,
Поднимет, как утренний кофе,
Согреет не хуже, чем кофта,
И слово надежды запомнит,

А если меж душ или тел
Заметит малейший пробел,
То тут же его и заполнит.

Дортмунд, Германия

Владимир Торчилин

Тропинка на берегу

Соседи решили засыпать бассейн и сделать за домом лужайку. И то – сами уже сильно в годах, так что бассейн и ни к чему, дети по всей стране разъехались, и внуки выросли и на летние каникулы больше не приезжают. Для кого держать-то? А лужайка будет глаз радовать. Даже зимой – ведь не каждый год снег, а на зимнюю траву всё приятней смотреть, чем на грязно-синий брезент поверх закрытой на восемь месяцев в году воды. Про летний вид и говорить не приходится... Ну и засыпали; потом пришли какие-то то ли садовники, то ли ландшафтных дел мастера и долго что-то с хозяевами обсуждали, поводя руками во все стороны – им из окон хорошо видно. «Что они там такое затеяли?» – любопытствовала жена – «Лес что ли сажать собираются?» Но до леса дело не дошло. Посеяли что-то по осени. Первым летом ничего особенного не возшло – так, травка какая-то пробилась, да и всё. А вот следующим летом ровный серебристый ковер покрыл всю соседскую лужайку. А когда ветер подул и по лужайке настоящие серебряные волны пошли, он просто ахнул – неужели ковыль? Откуда тут? Или просто что-то очень похожее? Да и как им в голову пришло? Но смотрел, смотрел, смотрел... Оторваться не мог. Как замороженный. И уплывал по этим волнам в другое время и в другую страну... И вспоминал...

* * *

В Крым он в том году не собирался. Да и вообще никуда не собирался. Сидел дома, даже телевизор не включая, и каждый вечер лично напивался, мучая себя всё теми же, теперь уже абсолютно бессмысленными, вопросами: почему всё так закончилось? почему она меня бросила? что было не так? – Даже ничего толком не объяснила, а просто спокойным голосом объявила, что их отношения прекращаются, собрала вещи, вызвала такси и отбыла из его однокомнатной навсегда. То есть это он теперь знал, что навсегда, а тогда еще пытался понять, что же произошло, и через сколько дней, недель, месяцев она перестанет неизвестно на что злиться, позвонит, а потом и придет, чтобы занять свое привычное для них обоих место в его доме. Постепенно, однако, несмотря даже на состояние хронического под-

пития, в его голове начало проясняться, что, во-первых, ждать ее возвращения больше не приходится, а во-вторых, не таким уж и неожиданным было ее исчезновение. Если стать, наконец, честным с самим собой, то нужно признать, что к тому всё и шло: она совершенно перестала ходить с ним в гости, когда их приглашали его приятели, и даже не давала себе труда придумать какое бы то ни было оправдание, хватало простого «Не хочу!»; у них почти прекратились вечерние разговоры на диване – всё чаще после ужина она оставалась на кухне и просто сидела у пустого стола, глядя в окно и не глядя на него; да и просто любовью они занимались всё реже – и не то, что она что-то такое говорила, а просто ее движения, ее позы – как она выходила из ванной и ложилась в постель без всяких слов – исключали даже намеки на желание близости с ее стороны, а он, человек деликатный, только тяжело вздыхал, надеясь, что она обратит на его вздохи внимание. Его нежелание признавать очевидное, то, что он гнал от себя даже зарождавшиеся мысли о возможном разрыве, и привело к тому, что случившийся, в конце концов, этот самый разрыв показался ему таким неожиданным. Да, в общем-то, это теперь уже не имело никакого значения... Как и то, почему она ушла, – встретила ли кого другого или просто поняла, что он «не ее случай»... Просто тоска, от которой и водка не помогала, но, правда, и хуже не делала...

Так он и пребывал, забив на работу, да, похоже, и на себя самого, до той поры, пока, выйдя в магазин за пополнением запасов выпивки, случайно не столкнулся со своим хорошим знакомым Колей Сенцовым, которого, как и других, он уже век не видел. Коля был, повидимому, осведомлен о его бедах и, воздержавшись от обычных в таких случаях восклицаний: «Что тебя не видно? Где ты пропадаешь? Всё ли в порядке?», – сразу взял быка за рога:

– Привет, дружище! Ну нельзя же так! Со всеми случается, но это еще не повод доводить себя до такого состояния! Ты сам на себя давно в зеркало смотрел? Еще неделя такой жизни, – и Коля выразительно указал на подрагивающий пластиковый пакет, в котором тихо звякали бутылки, – и у тебя менты начнут документы проверять! – и, не давая ему даже слова вставить, продолжил: – Тебе надо хоть на пару недель обстановку сменить. Слушай, в Крым не хочешь съездить? У меня там родня в маленьком поселочке на южном берегу живет. Они сейчас в какой-то круиз отправляются, вот и звали меня у них в доме пожить. Я было собрался, но тут дела серьезные по работе закрутились – никак не получается. А домик-то стоит. И море рядом. Поедешь? В конце концов, пить и там можно, но зато воздух и вода. Хоть как-то скомпенсируют. Я тебе объясню, как добраться, а ключ у соседа будет. А?

И совершенно неожиданно для себя он вдруг согласился. А на следующий день, в абсолютном неудоении, зачем, собственно, он это делает, уже укладывал в дорожную сумку плавки и зубную щетку, заказывал билеты на самолет, такси до аэропорта и, так и не успев толком очухаться, с некоторым непроходящим удивлением осознал себя у выхода из симферопольского аэропорта.

В Симферополе с такси оказалось труднее, чем в Москве, – местные лихие водилы старались набрать полные машины попутчиков, чтобы получить по полной, а в сторону его поселка никто не ехал, и ему показалось, что даже таксисты не очень хорошо себе представляют, где, собственно, находится место его назначения. Постепенно всех вышедших с его рейса пассажиров разобрали, так что очередному подъехавшему водителю ничего не оставалось, как спросить его: «А вам куда?» Он объяснил. Водитель недовольно поморщился и громко крикнул в никуда: «Есть еще кто-то до...» – и он произнес незнакомое название, по-видимому, более крупного населенного пункта, в направлении которого находилось и его местечко. Совершенно неожиданно женский голос из-за его спины произнес: «Мне туда. Захватите?»

Он обернулся. К ним подходила странного вида девица. То есть, странного для него, а вообще, таких вокруг становилось всё больше – то ли хиппи, то ли металлистка, то ли байкерша – он в этой классификации разбирался не слишком: в черных кожаных лосинах, тяжелых черных ботинках со шнуровкой, в черной же кожаной куртке с какими-то непонятными изображениями спереди, с черно-фиолетовыми пучками волос, торчащими на голове в разные стороны, и, в довершение всего, – с пулей, вставленной в мочку одного уха, и с большим крестом в другом. Такой вот экземпляр.

В самолете он ее не заметил, разве что вошла в салон до него и сидела где-то в самом конце. Водитель явно обрадовался, что есть возможность получить с двоих, объявил свою достаточно высокую, но не запредельную цену, спорить с которой всё равно смысла не было, бросил сумки в багажник, усадил обоих на заднее сиденье и тронулся.

– И чего это вас в такое некурортное место несет? – поинтересовался таксист. – Да еще сразу двоих!

Они промолчали. Водителя это не смутило, и он принялся объяснять, в какую дыру их занесло. Из его рассказа, пересыпанного легким матерком, каждый раз смягчаемым «пardon», стало понятно, что едут они действительно в никуда. Название, которое водитель выкрикнул, привлекая пассажиров, относилось к населенному пункту домов на тридцать-сорок, а метрах в пятистах за ними под отдельным

названием стояло еще с десяток домов. Конечно, оба поселения находились на самом берегу моря – только этот берег представлял собой высоченную скалу, с которой до воды было спускаться и спускаться, а потом и подниматься обратно по той же крутой тропе, да и сам пляжик – крошечный и каменистый, почему семейные отдыхающие тут вообще не появлялись, и молодежи много не бывает – никаких развлечений, баров или танцплощадок нет. Разве изредка каких-то взбалмошных туристов сюда заносит, но и те долго не задерживаются. Правда, магазинчик в большем поселке есть, так что с голоду не помрут, если решат задержаться. Да, а еще дальше, за меньшим поселком, несколько отдельных домов разбросано, но шофер даже не уверен был, живет ли в них кто или стоят заброшенными. Говорят, что в одном из них какие-то чудики время от времени появляются, но про них уж точно никто ничего не знает и даже почему их чудиками считают, не слишком понятно...

Полтора часа дороги под разговор, точнее, под монолог таксиста прошли незаметно. По разбитой дороге они въехали в довольно убогий поселок, состоявший практически из одной улицы. Его попутчица вышла из машины, сунув свой взнос водителю, и они проехали еще немного по совершенным уже колдобинам до нужного дома.

– Ну, ладно, – с сомнением сказал, отъезжая, водитель. – Отдыхайте!

Он помахал вслед машине, потом посмотрел на небольшой аккуратный домик возле дороги и пошел к соседнему за ключами. На стук открыл крупный загорелый мужчина в тельняшке и с костылем.

– Здравствуйте! Мне бы Алексея Макаровича повидать.

– Здорово! А я и есть он самый. Или Макарыч, или дядя Леша – как захочешь. А ты кто?

– Да я вот к Сенцовым приехал пожить. За ключами к вам.

– Коля? Они мне говорили, чтобы тебя ждал.

– Да не совсем Коля. Я друг его. Он по работе заматался, приехать не смог. Вот, меня прислал.

– А по мне так всё равно – раз от своих, то всё в порядке. Пойдем в дом, я тебе ключ отдам.

Над ними пролетела, громко крича, чайка.

– Во какой мартын голосистый, – сказал мужик с костылем, как будто он эту чайку вырастил и голос ей поставил.

Они вошли в дом и оказались в большой комнате с высоким потолком и потолочным брусом.

– Ты табуретку-то поставь и с нее вон там за матицу залезь, – хозяин показал на потолочный брус, – ключ-то у меня там лежит, а мне с костылем неудобно. Когда прятал – без костыля был, а тут вот

ногу подвернул, ковыляю. Еще пару недель, говорят. Так что сам доставай.

Он залез на табуретку и в узкой щели между матицей и потолком нащупал ключи. Спрыгнул, поблагодарил Макарыча и направился на выход.

– Погодь, – сказал Макарыч, – дай я тебе что к чему растолкую. Особенно, если ты не на один день приехал.

Он послушно остановился и повернулся лицом к хозяину.

– Значит, так, – про печь ничего тебе не объясняю. Сейчас лето, так что топить не надо. Ну, а если сдуру захочешь, сам разберешься или ко мне за наукой загляни. Вода в колодце за Стефаном. То есть за домом Стефана через один влево от Сенцовых. Пожрать и выпить купишь в магазинчике в большом поселке у Ирки. Она там одна управляется, когда хочет – тогда и открывает. Так что ты с утра не ходи. А вот часа в три-четыре всегда открыта. С купанием у нас не ахти. Тропки вниз или из большого поселка, или сразу за моим домом, – правда, по ним ходить – только ноги ломать, вот, хоть на меня посмотри. Да и пляжик так себе. Только что народу никого. Да сюда купаться и не приезжают. Так, от людей отдохнуть... Ну а вдруг заскучаешь – ко мне стучи. У меня еще и квартирант есть. Женька. Евгений то есть. Из Сибири откуда-то. Вроде, нефтяник. Дрыхнет сейчас. Да он почти всё время дрыхнет. Та еще лында. Или только на отдыхе такой. Но если с бутылкой заглянешь – встанет! Вот теперь бывай...

Он поблагодарил за науку и пошел обустраиваться. У Сенцовых всё было незатейливо, но чистенько и уютно. Он бросил на пол сумку и посмотрел на часы. Как раз четыре. Он пошел в магазин, познакомился со слегка заторможенной Иркой, затарился, чем можно, – для деревенской лавки было не так уж и плохо – и хлеб, и сало, и консервы, и даже не совсем еще погибшие пельмени, а уж с выпивкой вообще полный ажур, – и отправился проводить свой первый вечер на новом месте. Плита с газовым баллоном была в порядке, так что с готовкой проблем не возникло. Пораздумывал, выпить или нет, решил, что это не повредит, усидел с полбутылки хлебного вина под пельмени, разобрал явно приготовленную специально для гостя постель и быстро заснул, успев только подумать, что, похоже, суэта этой неожиданной и быстрой поездки уже подействовала на него хорошо, поскольку еще прошлым вечером в Москве он добрый час тоскливо крутил головой на подушке, прежде чем смог как-то отделаться от дурных мыслей и уснуть.

На следующее утро, попив чайку и слегка перекусив, он решил пройтись – так, чтобы оставить оба поселка за спиной. Дорога, по

которой его вчера привезла машина, за последним домом практически исчезала – так, две неявные колеи в траве, и не дорога уже, а дорожка, почти тропинка, – вот по ней он и пошел.

Тропинка эта шла по краю обрыва, но не у самой кромки, а немного до нее, так что самого обрыва и пляжа внизу видно не было и казалось, что темные волны катятся под ноги. Слева вдоль дороги стояла высокая трава и кусты, немного дальше впереди темнела полоска кипарисов, идущая от дороги влево, к видневшимся вдали горам, а еще дальше берег, а вместе с ним и дорожка, похоже, делали крутой поворот влево, так что от поворота казалось, что он идет прямо в море. Вспомнив свою детскую любовь к ботанике и все собранные им когда-то гербарии, он начал узнавать травы: вот пустырник, вот чабрец с еще видными фиолетовыми столбиками мелких цветков, вот татар-чай, вот «Венерин башмачок», а еще – полный луговой набор: медвежьи уши, шалфей, душица, наперстянка, пастушья сумка, зверобой... ух ты – да ведь это, вроде, астрагал, а еще говорят, что он редко встречается!

Вот так он дошел до кипарисов и до поворота, и сначала заметил вдали очертания какого-то дома – похоже, одного из тех заброшенных, о которых говорил таксист, а потом, глядя уже в направлении дымчатых гор вдали, увидел, что всё пространство между ним и горами представляет собой огромный, почти бесконечный серебряный ковер, по которому катятся под ветром плавные серебряные же волны, и кажется, что это темные волны из раскинувшегося справа моря взлетели, вспрыгнули, взобрались, поднялись неведомой силой на обрыв и покатались дальше к горам, только поменяв свой цвет с темного на серебряный. Это было так красиво, что он застыл в изумлении... Ковыль... Ах, какой ковыль!..

Ему вспомнилось, как много лет назад, еще мальчишкой, он был летом в Крыму с мамой – не в этих местах, а в каких-то более курортных, но там тоже рос ковыль. И его так зачаровала тогда эта серебряная трава, что он нарвал целую охапку и потащил показать маме в комнату, которую они снимали у местной учительницы. Но еще до того, как он добрался до мамы, его увидела эта самая хозяйка-учительница и страшно раскричалась, чтобы он траву эту немедленно выбросил и никогда не смел даже думать в дом вносить. На крик выскочила мама, но учительница уже несколько успокоилась и, понимая, что они просто могут этого не знать, объяснила, что ковыль – трава мертвых и ее нельзя рвать для букетов и нести домой, чтобы не навести на дом несчастье. В ответ на их удивление, хозяйка – не зря ведь учительница – объяснила, что это поверье идет с очень старых времен, когда на местные мирные селенья нападали кочевники, их

набеги всегда происходили в конце весны или летом – как раз когда ковыль цветет, почему люди и считали, что ковыль растет и цветет на костях убитых родственников. Как же такую траву в доме держать... Так и повелось...

Но сейчас ему не хотелось думать о плохом, а только смотреть и смотреть. И непроизвольно он стал повторять сначала про себя, а потом и вслух, хлебниковские строчки: «Тогда серебристое племя бродило на этих лугах...» И одновременно с какой-то детской радостью он думал: «А вот и сейчас еще бродит, и я на него смотрю».

Вечером, после позднего ужина он сидел на ступеньках крыльца, и перед глазами его снова стояла увиденная днем ковыльная степь. Ни одно окошко в поселке не горело. Только звезды. И нежно звенело в ушах – то ли тишина так звучала, то ли цикады, не понять...

– Удивительно, – думал он – два дня всего прошло, а я уже живу какой-то не своей жизнью. Ни города, ни тоски, как будто это всё не со мной было. А может, это та жизнь была не моей, а мне положено днем на ковыль смотреть, а вечером на звезды...

Следующие пару дней он так и бродил по берегу вдоль ковыльного поля, издалека приветственно помахивал рукой Макарычу и стоявшему рядом с ним здоровенному лбу – наверное, тот самый Женя из Сибири, – завтракал чаем с хлебом и яблоками, ужинал пельменями с водкой и благодарно поминал Колю Сенцова, который казался теперь далеким-далеким, из другой его жизни. Потом настала пора возобновлять запасы, и он направился знакомой дорогой в большой поселок. Ира была на месте, и у нее отоваривалась та самая странно-ватая девушка, с которой он делил такси по дороге сюда. Она была всё в том же черном наряде, разве что по жаре сменила кожаную куртку на черную футболку с теми же непонятными символами на ней. Он вежливо поздоровался:

– Здравствуйте, попутчица. Ну и как вам живется в этом Богом забытом уголке? Есть чем заняться? Или, рискуя жизнью, ходите на местный пляж? Ну и как там? А то я никак не рискну попробовать.

Девушка изучающе посмотрела на него и решила, по-видимому, что, заговорив с ним, она себя не уронит.

– Здравствуйте. И хорошо, что Богом забытый, – зато спокойно и никакой толпы. А на пляже я не была. Совсем за другим сюда приехала.

Он озадачено спросил:

– А зачем, если не секрет? Просто от толпы отдохнуть или что-то более интересное?

Она опять задумалась – стоит ли он дальнейшего разговора, но все-таки ответила.

– Я тоже к гуру приехала. Но у него в доме больше места нет, вот и пришлось здесь комнату подыскать.

– К кому, к кому?

– Я же сказала – к гуру! А вы разве не к нему?

– Я-то как раз от толпы отдохнуть. А что за гуру?

Она поняла, что он совсем из другой компании, но, по-видимому, резко прекратить разговор ей было неудобно. Так что, немного помолчав и соображая, как бы ответить покороче, она до какого-никакого объяснения снизошла.

– Тут в доме подальше, за вашим поселком, один человек живет. Разным умным вещам учит. Точнее, просто рассказывает. Мыслями делится. Как наставник. На то он и есть гуру. А к нему в дом разные люди приходят, кому интересно. Слушают. Можно даже вопросы разные по жизни задавать. Вот и всё.

Он всерьез заинтересовался.

– А как вы про него узнали? Вы ведь тоже из Москвы, да? А к нему можно просто так со стороны прийти или нужно, чтобы кто-то привел или порекомендовал?

– Насчет рекомендаций не знаю, но, вроде, никого не выгоняют, – приходи и слушай. Некоторые даже на какое-то время у него останавливаются. Ну, и приносят кто что может. Еду там... еще разное... Ну, вы понимаете... В Москве мне ребята из нашей тусовки рассказали – они у него весной были. Вот я и приехала.

– А вы уже у него были?

– Конечно. Завтра опять пойду. Вот зашла купить кое-что с собой.

– Послушайте, а если я вас своим присутствием не стесню, вы меня с собой захватите? Мне тоже что-нибудь умное про жизнь послушать хочется.

Она недоверчиво посмотрела на него, но поскольку он говорил тоном серьезным и заинтересованным, то повода отказать не было.

– Хорошо, я завтра туда часам к двенадцати собираюсь. Он ранних визитов не любит.

– Вот и отлично! Вы ведь всё равно по этой дороге через поселок пойдете? Так что я вас в половину двенадцатого на улице у своего дома ждать буду. За полчаса дойдем?

– Хорошо. Дойдем.

Она вышла из магазина. Он купил, что было надо. Потом подумал и добавил еще поесть и выпить – для этого загадочного гуру. А вечером опять сидел на крыльце, смотрел на звезды и слушал, как звенит тишина.

Вот так и случилось, что на следующий день они молча шли по

тропинке как раз к тому дому, который он в первую свою прогулку посчитал заброшенным. Точнее – молчали до того момента, когда поравнялись с ковыльным полем. Тут он не выдержал и, махнув рукой в сторону серебряных волн, сказал:

– Красота-то какая! Вот тут жизнь нас и учит, на что любоваться. Прямо по Хлебникову, хотя мы и не на заре тут идем – «Чтоб злом лугов молодиться, пришла на заре молодница...» Ведь верно?

Она удивленно посмотрела на него.

– А зачем молодежи еще и молодиться? И так ведь молодая... И мне ни к чему...

Он замолчал и теперь уже молчал всю дорогу, пока они не подошли к дому, где обитал гуру. Дом был, мягко говоря, странноватый. По-видимому, когда-то давно построенный подобием то ли венецианских, то ли генуэзских башен – он в исторической архитектуре не слишком разбирался, – дом с годами обветшал и даже частично разрушился, так что со всех сторон – по крайней мере, с тех, что были доступны его взгляду, – заметны были какие-то подпорки, заплатки на стенах и уже потемневшие фанерки вместо окон. Неудивительно, что таксист, давший им первую ориентировку на местности, и, похоже, никогда близко к этому дому не подходивший, считал его необитаемым. На самом деле таксист сильно ошибался. Дом был обитаем, да еще как! Слева от входа стоял большой, кое-как сколоченный из неструганых досок деревянный стол, на котором лежала всякая снедь и стояло несколько разнокалиберных бутылок. Когда его спутница поставила принесенный с собой пакет на стол и стала его разгружать, он понял, что это для визитерских приношений, и тоже выложил свой взнос, купленный давеча в поселковом магазине. Из прихожей открытая дверь вела в коридор, по которому сомнамбулически передвигались какие-то молодые люди; коридор заканчивался довольно большой полутемной, несмотря на солнечный день, залой с ведущей на верхние этажи винтовой лестницей в углу. На стенах висели какие-то до белесой основы вытертые ковры с прикрепленными к ним пучками сухой травы и какими-то металлическими безделушками. В зале в самых разных позах сидело или лежало человек пятнадцать, лица которых были обращены к восседавшему на стуле человеку. Человек этот был в густой бороде и в беспорядочной копне волос, трудно определимого возраста, где-то от тридцати до сорока. Одет он был в непонятный хитон, на лбу – широкая красная повязка.

Окружавший народ был сильно моложе. Он заметил пару персонажей, похоже, из компании своей спутницы – в черной коже и со всякими причиндалами в ушах и на шее. Люди свободно перемещались между коридором и комнатой – входили и выходили, но всё как-

то молча — по-видимому, чтобы не мешать поучениям гуру. Вся обстановка что-то напоминала ему...

— Господи! Да он же в волошинскую башню играет! А эта бедная молодежь, разумеется, ни о Волошине, ни о его Башне и понятия не имеет. И в Коктебеле, небось, не были...

Сразу стало как-то неинтересно. Только фальшивых гуру ему не хватало! — А какой еще гуру мог оказаться в имитации волошинского дома?! И еще этот вязкий горелый запах... Он вспомнил: «Чего вы тут делаете? — Да вот, тряпки жжем, смеемся»... Нет, точно надо обратно в луга.

Он все-таки решил хоть немного послушать гуру и примостился в углу на свободном пятачке. Спутница его, похоже, осталась при входе или побрела куда-то на запах горелого... Гуру вещал на предмет коммуникабельности.

— Какой раньше маленький был мир — ну вот, кто из нас, например, может сказать, что он разом знаком и со всеми лучшими писателями, и с музыкантами, и с художниками, и с учеными, и с политиками, и еще Бог знает с кем? Ведь никто! Мы всё время крутимся в кругу друзей детства и юности — как правило, таких же раздолбаев, как и мы сами, или же среди коллег и всяких нужных людей. Писатели — среди писателей, дипломаты — среди дипломатов, даже ученые себе отдельные пансионаты организуют. И в результате плоскости наших жизней пересекаются, только когда мы смотрим по ящику какую-нибудь идиотскую передачу вроде «Новостей науки» или «Музыкального салона», или на чьей-нибудь большой свадьбе, куда случайно забрел в качестве двоюродного дяди или старого соседа по квартире заваливающий актеришко, на которого все потихоньку пальцами показывают, — смотрите, кто пришел! Все сами по себе. Миллионы разнообразных голливудов и академгородков. А раньше? Возьмите любой мемуар мало-мальски приличного человека всего столетней давности. С чего они всегда начинают? — С перечисления родных, знакомых и соседей. И что вы видите? — У какого-нибудь художника дядя — дипломат, и через него он со всем тогдашним МИДом на «ты». Сосед по дому или по улице — какой-нибудь средней руки писатель, и у него они все запросто бывают, чтобы за стаканом клюквенной поболтать о значении великой русской литературы, и почти наверняка встречаются там и других литераторов, и даже покрупнее, которые то и дело забегают навестить товарища по цеху. На водах обязательно оказываешься вместе с каким-нибудь медицинским светилом, который только что самого Государя не пользует, а уж занимательными рассказами из великосветской практики набит по завязку. А нам если что наш знакомый доктор и рассказывает, так это

как он казенный спирт глушит. А мемуарист еще и женится на дочери, скажем, сенатора, потому как у них имения рядом, и при дворе теперь... Ну и кому, как ни нам, точнее, ни вам, положить начало новому миру, где каждый будет всем: поэт – доктором, художник – дипломатом, писатель – лицом, – так что все будут едины во всем, и не будет этого обездушивающего разделения по профессиональным сообществам...

Молодежь внимала.

– Бедняги, – подумал он, – даже травку нельзя им спокойно покурить, чтобы без этих трюизмов под видом просветляющих бесед....

И его буквально пронзило несоответствие между серебряным лугом, на который он смотрел только что, и унылой дурью этого случайно встретившегося на его пути дома. Он осторожно вышел и пошел назад к себе, – сразу забыв и про спутницу, и про гуру – лишь вышел на свет Божий, на уже так хорошо знакомую тропинку. Как будто и не уходил с нее. Только что стороны поменялись: темное море было слева, а серебряное – справа.

* * *

Сколько лет прошло... Девушку ту, что его к гуру привела, с трудом припоминает – в основном, обмундирование ее черное. Так, абрис. И от той, из-за которой он тогда в Крыму оказался, тоже только имя осталось. Даже какого цвета у нее глаза были – не помнит. И дом тот вычурный хоть, вроде, помнится, но за столько лет его изображение слилось со многими другими похожими, вроде как из фильмов про Дракулу или даже со входом в Диснейленд. Но вот тропинка та... Как не сходил с нее... Стоит только прикрыть глаза – вот она, по скалистому берегу над самой водой – и с одной стороны волны темные с белыми барашками пены, а с другой – мягко переливающиеся серебряные... и кажется, что так всегда и будет...

Бостон

Александр Петров

Из цикла «Эрос»

ЛЕДА

Меж ними юная любовь, –
И пала таинства прелестного завеса.
А. С. Пушкин

Кликнула
с радостью Леда,
невинная и молодая,
белого лебедя
увидев
как стремится к ней.
И не какой-то
сексапильный молодец,
хоть он был и схожий
с громовержцем
Зевсом,
но крылатый путник,
страстный и нежный,
услыша радости клик,
снял завесу
ее тайны
и в тайну проник.

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗЛА

...может, спит
*Владислав Петкович-Дис**

1

Две женщины.
Разного цвета волосы.
Высокие каблуки
Или босые.
Беспощадные.
В одного мужчину
влюбленные.

К драке
непривыкшие,
однако
жестокая
вспыхнула схватка.
Мертвые?
Может спят.

2

после этого сна...

Владислав Петкович-Дис

Два брата
и она.
Душа.
Вселенная.
Друг друга
хватывают
за глотку.
Жизнь
коротка.
Похороны
после
любовного сна.
Обнялись.
За пределами зла.

* Владислав Петкович-Дис (1880–1917), сербский поэт-импрессионист, военный корреспондент. Участник Первой и Второй Балканских войн (1912, 1913), Первой мировой войны. Корабль, на котором раненый поэт направлялся во Францию, был торпедирован немецкой подводной лодкой. Один из наиболее известных его поэтических сборников «Утопленные души» принес ему славу «проклятого поэта».

ЧЕРНАЯ ПОЭТЕССА

...Голая женщина, черная женщина
*Леопольд Сенгор**

Женщина черная.
Для Сенгора:
черная мать.
Африканка —
красота.

Старой станет
и умрет.
Превратится
в чернозем.

Нет у поэтессы
страха старения.
Старость! Ну и что?
Воспоминания
о страданиях,
о молчании,
и что скрывать,
от кого?
За видимым
темным кругом
душа – радуга.

Черная женщина.
И красная
там, где целую ее.
С ней мы – одно.
Я Эрот.
Эрот – она.
Женщина нагая.
(Одетая,
за рулем.)

*Леопольд Седар Сенгор (1906–2001), франко-сенегальский поэт и философ; один из африканских интеллектуалов XX века, деятель panaфриканизма.

НИМФЕТКА

Мережится Набоков

Со звездного круга
до стола.
Нимфетка нагая.

Из бесконечности,
из ниоткуда –
К бумаге.

Из безмерья,
прямым курсом –
к перу.

Вся из ворожбы,
Чтоб писателя
околдовать.

Белая.
Книгу снесла.

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ

А два и два – один – в последнюю ночь

*Бранко Милькович**

Грудь ее
за веками
поэта.
Темнеет
бездна.
В сумерках
ему мерещется
спина.
Ее.
Дрожит ветка.
Поверх бровей.
Два и
два?
Едва-едва
один.
Летит.
Жаждою томим.

* Бранко Милькович (1934–1961), сербский поэт, один из лидеров неосимволистского движения в Сербии, соединивший в своем творчестве эстетику символизма с сюрреализмом.

ПОЦЕЛУЙ СМЕРТИ

...и пыталась поцеловать его.

Оскар Уайльд «Саломея»

Вожделею иногда
тебя во сне.
Хотя и осязаю
как, щитами
сдавленная,
ты сияешь и мне,
как луна,
сквозь семь вуалей,
с поцелуем смерти
на устах,
Саломея.
Снится мне и моя
голова на блюде.
И, как в моленной,
чистая,
храбрая душа
Крестителя Христа –
Иоанна –
во вселенной

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ

Вечный лебедь...

...они могут сокрушить мне душу, копье, руку и
ногу, но тебе – я знаю – не могут, не могут.

*Милош Црнянский**

Белая лебедь,
живая, беспечная,
как будто она
космическое яйцо
снесла.

Из глубины
ее космоса
просвечивает
лицо Эроса.

Почти потухшая
душа поэта,
ни черная, ни белая,
не веря,
что слушают ее,
черной лебеди
песню поет.

Вдруг поэта видение,
как солдата
на огненной черте,
озарит.
Парит белая лебедь над горизонтом
в его последней строке.

*Милош Црнянский (1893–1977), известный сербский поэт, драматург, переводчик. Участник Первой мировой войны; его антивоенные стихи стали манифестом сербского «потерянного поколения». С началом Второй мировой войны жил в Лондоне. Вернулся в Белград в 1965 году. Оказал большое влияние на развитие современной сербской поэзии. В Сербии учреждена Литературная премия имени Милоша Црнянского.

Питтсбург – Белград, 2020–2021

Владимир Строчков

ДНЕВАЛЬНЫЙ

Он уснул головой на тумбочке, я его тормошу, – ты вымыл? вымыл?
он щекой по фанерке елозит, мычит, – вымыл, вымыл, мол,
но это такой невермор, вымысел, он это вымыслил,

вымусолил, выдумал, вынул,
выдвинул как аргумент, высунул из сна, вымолил, вымолвил
и уснул обратно, всунулся весь снова туда, где он вымыл всё,
где он всё несомненно вымыл до полного блеска смысла,
того самого смутного смысла, который сам и есть тот сон,
который он вымыл, вымыл, куда он всё смыл, куда он сам смылся.

ИНОТАВР

Мир тесен. Мир тесёен. Норовит
он в твой ушной отдельный лабиринт
и в твой смешной отшельный кабинет
ворваться, скучась в толпы «да» и «нет»,
взорваться, вспучась всеми «нет» и «да»,
ловча словить и ткнуть хотя б куда.

А ты сидишь, набычившись, мыча,
и ждешь дубины скучного меча,
надеясь лишь на тоненькую нить –
не для него, себе, – путь сохранить,
каким свинтить по нитке, хитрый винт
в другой, какой подальше, лабиринт,

подалее от кноссов, от каносс,
от охлоса, чей логос как понос,
от демоса, чей минус – грязный плюс,
от миноса, чья милость – грозный груз;

в другой, какой поглуше, кабинет,
где нету этих орд из «да» и «нет»,
куда не долетает этот крик,
где тишина, покой и пыль от книг.

Но хитрый финт тебя не упасёт
от «да» и «нет» высочеств и босот;
и лабиринту новому хана:
ты минотавр, и в том твоя вина.

THE DARK SIDE OF LOVE

Вспоминая любовь безнадежно далекого дня,
отдавая ей память последней бессмысленной данью,
помню только, как мучила, как убивала меня
невозможность, немыслимость подлинного обладанья,

обладанья такого, чтоб тело и чувства, и мысль
проросли бы меня, став до дрожи и стога моими,
чтобы стали моими дыхание, зрение, имя,
чтоб паденье в меня обернулось взмыванием ввысь.

Эта мука осталась, а всё остальное ушло,
но досталось взамен осознание худшей из истин –
что вобрать целиком в себя всю эту жизнь и тепло
было б просто расправой, отнятием жизни, убийством,

что такая любовь невозможна, ужасна, страшна,
оттого и дано нам лишь мучиться мученской мукой
в самых тесных объятиях, перед грядущей разлукой
от любви содрогаясь, как в лапах кошмарного сна.

ПАЛЕОЭРОТИЧЕСКИЕ ФАНТАЗМЫ

Я динозавр, я вымру так давно,
любви в сосудах – нацедить с наперсток,
но
и этого довольно стать должно,
чтоб влить по капле старое вино
в твой юный мех, взъерошив твой подшерсток.

Я динозавр, я вымру, но – рыча.
Плоть распахать – нехитрая наука,
а смерть ли сеять, жизнь ли – эка штука.
Ну-ка,

прими-ка капли старого хрыча
и в срок роди мне внучку или внука –

хамелеона, ящерку, дитя,
младенчика, геккончика, варана.
Я динозавр, я вымру, – да, спустя,
чуть-чуть спустя – но поздно или рано,
хотя
тебя еще хотя и беспрестанно
распахивая рваной страсти рану...

Да не дрожи ты так, причины нет
для страха: я давно, конечно, вымер.
Но через сотню миллионов лет
ты в спальне обнаружишь мой скелет...
Нет,
не мой скелет, а вымершее имя
мое: Tugannosaurus Sex.
Привет,
до голоцена.

Вечно твой,
Владимир.

Александр Кабанов

Музыка, о чем ты бредишь со звездой в кирпичном лбу:
тише будешь – дальше едешь, дальше едешь – тише бу,
жил да был косильщик газа, по утрам срезал газон,
он смотрел в четыре глаза и вдыхал сплошной озон.

Поправляя респиратор на измученном лице,
он любил советский атом, пионерок во дворце,
верность молота и стали, опиум, который бог,
он косил, а люди спали, многие – без рук и ног.

Над травой парили мухи, чуть касаясь чайных роз,
музыканты – это шлюхи, а поэзия – навоз,
но овидий в древнем зиле поутру везет кизил,
до сих пор живет в могиле, и от армии косил.

Наш герой идет рысцою по лужайке молодой,
медленной хрустит мацою над зеленою ордой,
пребывая в дивной коме, на краю любви и зла –
где его, в соседнем доме, одноклассница ждала.

* * *

Когда я плавал не в своей посуде,
пришла зима коленками назад,
а вслед за ней – кентавры, кони, люди
давили снег, как белый виноград.

Весь этот мир – обманчивая мякоть,
и, накатив стакан под артобстрел,
я взял ютуб, чтоб над собою плакать,
мне лепс кричал, мне розенбаум пел.

Я в школе презирал законы ома
и, не заметив, выбился в нули,
когда, в дом престарелых – из детдома,
меня два санитаря принесли.

И что теперь мне все твои ютубы,
твой виноградный, в пролежнях, сугроб,
но женщин я всегда целую в губы,
а стариков всегда целую в лоб.

* * *

Я был в музее среди пищалей,
среди сабель и крестьянских вил:
жизнь — это череда прощаний,
спасибо, что меня убил.

Встреч не бывает, а сегодня —
я летопись и радзивирил,
и правая рука господня,
спасибо, что меня убил.

Когда я вышел на галеру
и обнимал чужой рукой,
как сифилис, — свою холеру
и тихо плыл москов-рекой.

О чем я думал, бог не знает,
давно отрекся от меня,
прощай, встреч больше не бывает
в саду, у вечного огня.

И дни поддаты, как солдаты,
то падают, то вновь идут,
а я вчера купил купаты,
и на меня смотрел кунжут.

Я был арабом и блондинкой,
почтенным мужем и женой,
и это я, с мешком и «финкой» —
стоял за собственной спиной.

* * *

Прости мне белый свет полусухой,
с надбитым горлышком и памяти осадком:
как тигр николаевич сохой
нас распахал на поле полусладком.

Как пели над савоем соловьи,
как соловели и беспечно жили,

но луковые головы свои
и маковые головы сложили.

Кто променял чуму на гепатит,
кто целовал отрубленную руку,
лишь черно-белый ворон пролетит,
в когтях сжимая жабу и гадюку.

И, несмотря на счастье, мы чисты,
лечебной грязью смазаны по яйца,
накручиваем гайки на болты,
мы влюблены за то, что нас боятся.

А над рекой – еще одна река,
несет людей с похмелья в стеклотару,
я прижимаю к сердцу барсука,
святую софью, бывшую ротару.

Киев

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Е. Е. Климов

Записки художника

Евгений Евгеньевич Климов (1901–1990), художник и искусствовед, эмигрант первой волны. Родился в Митаве (ныне Елгава) в семье юриста при Акцизном ведомстве. Среднее образование получил в Новочеркасске в 1918 году, поступил в Донской Политехникум, но после первого курса оставил занятия в связи с событиями Гражданской войны.

Он записывается вольноопределяющимся на морскую службу, в Севастополе чудом избегает репрессий после падения белого Крыма, и в 1921 году, как уроженец независимой Прибалтики, вполне законным образом уезжает в Ригу, где его принимают в Латвийскую Академию художеств. По окончании Академии (1929), Евгений Евгеньевич работает педагогом, с 1932 г. – учителем рисования и истории искусства в рижской Русской («Ломоносовской») гимназии.

В годы занятий в Академии и в последующий довоенный период Климов совершает многочисленные поездки творческого и познавательного характера, в том числе за границу. Помимо работ в жанре графики и живописи, в эти годы он изучает технику иконописи под руководством старообрядческого мастера Пимена Софронова; совместно с другими художниками расписывает храм фресками; создает большой мозаичный образ Иоанна Крестителя.

Климов принимает деятельное участие в культурной жизни русской Риги (выставки, кружки, музейная работа). В 1944 он приглашен в Кондаковский институт (Прага) в качестве реставратора икон, а в 1945 году, через три месяца после занятия Чехословакии советской армией, уезжает с семьей в американскую оккупационную зону Германии, где в глухой баварской деревне проводит четыре года. В 1949 Климов переселяется в Канаду, во французскую провинцию Квебек. Там он занимается частично педагогической работой (уроки рисования и живописи, преподавание русского языка, летние курсы по истории русского искусства в США), продолжает многостороннюю художественную и культурно-просветительную деятельность (выставки, лекции во многих городах Канады и США, частые выступления в эмигрантской прессе). В 1960-70-е годы

совершает ряд путешествий в Европу, в 1964 году посещает Святую Землю и до конца жизни продолжает писать картины, выступать с лекциями, печатать статьи.

О Е. Е. Климове и его творчестве издана книга В. Н. Сергеева «Евгений Климов. Художник-реалист Русского Зарубежья, 1901–1990» (Москва: «Русский путь», 2018). Разные периоды жизни отражены в воспоминаниях художника, появившихся в десятом томе «Балтийского архива» (Рига, 2005), в 28-й книге «Записок РАГ» (Нью-Йорк, 1997) и в серии газетных статей в сборнике «Встречи» (Рига, 1993). Следует также назвать альбом репродукций работ Е. Е. Климова с пояснительным текстом на двух языках: «Eugene Klimoff. Selected Works / Е. Е. Климов. Избранные работы» (Рига, 2006).

В течение большей части своей долгой жизни мой отец вел дневник. В этом номере читателю предлагаются неопубликованные выдержки из этого дневника, сделанные во время четырех значительных поездок художника в 1920-е и 30-е годы. Но первым делом необходимо подчеркнуть, что записи в этом огромном по объему тексте (тринадцать многостраничных тетрадей, хранящихся в семейном архиве) мало соответствуют тому, что обычно встречается в дневниковой прозе. В них нет или почти нет откликов на те грозные политические события, свидетелем (а иногда и жертвой) которых сам автор являлся, и вплоть до записей поздних лет фактически нет упоминаний о семейных и других личных делах, не имеющих прямого отношения к искусству. Это вовсе не означает, что Е. Е. Климов не обращал внимания на указанные темы, – его опубликованные воспоминания служат достаточно ярким доказательством живого интереса к всему окружающему миру. Но «Заметки», как он поначалу называл свои дневниковые записи, были посвящены исключительно и только чаяниям их автора, его раздумьям, изысканиям, свершениям и неудачам на пути в искусстве. Иными словами, для Климова записи являлись своего рода служебным документом: они были летописью его становления как художника. Поэтому в период занятий Е. Е. Климова в рижской Академии художеств записи в дневнике часто носят профессионально-технический характер – рассматриваются, к примеру, вопросы изображения света или координации тонов в живописи. Отчасти в контраст к этому принятые Климовым поездки выделяются своим более широким охватом – несмотря на четко выраженные познавательные задачи, которые автор ставит перед собой в каждом случае.

I. ПОЕЗДКА В СОВЕТСКУЮ РОССИЮ. 1928

*Е. Е. Климов входил в группу из пяти студентов Латвийской Академии художеств, организовавших экскурсию в Москву, Ленинград, Новгород и Псков с целью ознакомления с произведениями русского искусства и с памятниками древней русской архитектуры*¹.

26-27 мая 1928 г.

«Назавтра в ночь...» Опять, как и в прошлом году², перед отъездом отмечаю. Пусть эта поездка будет началом выяснения моего «я», началом сознательного отношения ко всем явлениям русской живописи. И иконопись, и живопись, и архитектура. Пусть это будет первой половиной необходимого пути. Еще глубже, проще, вникать и постигать.

30 мая 1928 г., Москва

После семи лет перерыва снова в Третьяковской галерее³. Всё, как новое. Новые отношения к старым известным вещам. Запишу вкратце некоторые впечатления. Репин – проиграл совсем, видишь теперь его бедность в живописи. А Суриков – выиграл. «Боярыня Морозова» такая колоритная, вся в голубой гамме красок. Все костюмы, всё связано, а синий кафтан боярышни подкрепляет и закрепляет основную синюю гамму. Полная внутренняя насыщенность как содержанием, так и живописью. Если «Боярыня Морозова» вся на прозрачной, синей гамме, то «Утро стрелецкой казни» основано на контрасте черной и красной; композиционно удивительная, мрачная по настроению картина. Поленов прельщает светом в «Московском дворике», Саврасов в «Грачи прилетели» лучше в снимках, оригинал отдает чернотой. Его «Проселочная дорога» стихийнее и проще. Малявин пропал совсем. Никакого впечатления от его «Баб». Врубель остается замечательным и глубины своей не теряет.

31 мая 1928 г.

Театральный музей имени Бахрушина. Исключительный подбор кукол. Много крайне яркого, нового, но среди этого и головного и сухого. Театр меня мало волнует, действие его слишком внешне. Хочется большей глубины, а тут слишком много навязывается.

В новых театральных постановках за 10 лет (по макетам) много поисков и различных «хитростей», но душевности нет, да м. б. ее в театре и быть не может.

Удивительная женщина показывала нам театр кукол и «Петрушку».

1 июня 1928 г.

Музей Нового западного искусства. Опять после 7-ми лет видел всех родных мне по духу французов – Моне, Писсаро, Сислея, Вюйара, Марке. Как они культурно-живописны! Как старая любимая книга, прочитанная вновь, повеяло от них снова хорошими образами. И так близки они, так понятны, как родные. В них столько любви, столько действительного искусства. В картине ни одного пустого места. Как погасли в моем представлении все ухищрения кубистов, хотя в красочном отношении они (Пикассо, Брак) очень выдержанны и благородны, но скучны и кажутся такими ненужными. Это искусство уже вчерашнее. Но хорошо, а что же сегодняшнее? Его, как говорит Юр. Георг⁴, еще нет. А мне оно как будто и виднеется.

В Третьяковской галерее народу куда больше, тут надо больше тонкости и изощренности для понимания.

А в мастерских «Вхутемаса» работа интересная. Столько новых вопросов, проблем, заданий, что наша постановка дела в Академии кажется отсталой и глупой. Тут постепенность, систематическое развитие в смысле сложности заданий. У нас в этом отношении – провинция, бессистемность.

4 июня 1928 г., Москва

Живопись *иконная* только теперь начинает приоткрываться мне. Тут же вспоминаю – Сезанн проиграл, а Гоген выиграл. В «Зловещем Будде» столько связи с иконописью! Сезанн груб и мало духовен по сравнению с Гогеном. Слишком всё у Сезанна понятно буквально. А у Гогена почти всё – символы. Так же в иконописи. В иконах заметил живость, прозрачность, исключительное композиционное чувство, чарующую лирическую успокоенность. Смотрел оригиналы новгородской школы, московской, царской школы и строгановской. Ведь имена многих иконописцев известны. Тут личности, очень отличающиеся друг от друга. Вот некоторые имена: Никита Павловец и Спиридон Тимофеев из Царской школы (у первого «Крещение» всё в свету), Симон Ушаков, Максимов, Кирилл Уланов. У последних прозрачные, светлые тона, преобладают светло-зеленый и бледно-розовый. (Из икон домово́й церкви боярина Богдана Хитрово). В иконах работы Прокопия Чирина зеленовато-темный, затушенный тон. Семенка Бороздин в колорите поразительной красоты; глубокий,

прозрачный, и по духу в его иконах чувствуется умиленная восторженность.

5 июня 1928 г.

День ото дня иконопись открывается всё лучше и больше. Сегодня собрание Остроухова. Вечером посещение Фаворского. Вышло всё, как в романтической повести. Он как мудрец. Как великие люди просты и в своей простоте велики!

6 июня 1928 г.

Сегодня – Троице-Сергиевская лавра. Уже издали видишь пестрый ковер цветов и сказочную игру форм.

В Музее видел впервые «Троицу» Рублева. Никакие репродукции не дают того, что видишь на оригинале. Радостно-благоговейно. Благодать излучается этой иконой, спокойствие и возвышенное чувство. А в красках яркость синего тона одежд исключительна. Левый Ангел очень стерт, средний Ангел сохранился вполне и дает мощное отношение темного бакана с ярким голубцом. Опять и опять столкновение с Востоком. Москва в своей архитектуре пышнее, наряднее, приличнее и «добрее» новгородской. То же и в живописи.

8 июня 1928 г.

Вспоминая опять Сергиевскую лавру с «Троицей» Рублева. Всё говоренное не дает истинного представления. Весь ритм, всё обаяние ее совершенно непередаваемы. Синева такого тона, что прямо светится.

А тут же рядом архитектура; архитектура, богатая вымыслом и пышной представительности. Цветистая величавость.

Музей восточных культур – с японскими и китайскими памятниками, а главное – персидские и индо-персидские миниатюры и лаки. Вот где связь с Востоком, с иконописью. Четкость, простота композиции и в равновесии цветных пятен – декоративный подход. Чувство цвета необычайное.

Главные государственные реставрационные мастерские. Тут просто чудеса. Живопись домонгольского периода, только теперь открытая. Это целые главы из истории, ранее неведанные. Какое монументальное целое, какая свобода трактовки, богатство и насыщенность красочных отношений (Ярославская «Оранта») и, вместе с тем, силуэтность и слитность. Это памятники большого стиля,

достойного встать рядом с Чимабуэ, Джотто и Дуччио. Какое счастье, что удалось это видеть, а также встретиться с людьми, открывающими эти памятники (Анисимов, Юкин)⁵.

9 июня 1928 г.

Выставка «Рисунок за 10 лет Октябрьской революции». Есть отличные вещи. Верейский – художник большого масштаба и хорошего захвата. Митурич перегружен. Корин (миниатюрная «Панорама») пленил пейзажем, простым, любовным и проникновенным. В Музее революции впечатляющая скульптура Коненкова «Степан Разин».

10 июня 1928 г.

Опять Щукинское собрание. Моне, Писсаро, Дега – близки мне по «глазам». Так вижу, или, вернее, так бы мне хотелось видеть. Но Гоген поразителен. В нем такое обилие внутренней потребности выразиться, что ни одна из его вещей не кажется выдуманной. Всё для него символ, а не буквальное толкование. Сезанн опять проиграл. Ван-Донген, Марке очень выиграли в моем представлении.

Вечером отъезд в Питер.

11 июня 1928 г., Петербург

Сразу – другой мир, более упорядоченный, строгий, рисуночный (что мне и ближе).

12 июня 1928 г.

Эрмитаж. Сегодня только голландцы, потом осмотрую французскую школу. Как можно учиться, всё распределено по эпохам.

* * *

В Петербурге-Ленинграде провел 11 дней до 22 июня.

Видел в Русском музее собрание икон, в отличной экспозиции (быв. Лихачева). Видел и «старых знакомых» – родных и любимых мастеров 18, 19 и 20 вв.

Был на Госуд. фарфоровом заводе.

В Александринском театре видел гастроль Московского Художественного театра, «Вишневый сад», – прекрасно.

В Академии художеств были, классы смотрели, музей и общую работу.

Встретился с Остроумовой-Лебедевой. Старушка маленькая.

На поезде до Чудово, а оттуда на пароходе в Новгород, где были 4 дня. Ал. Ив. [Анисимов] дал нам указания, что смотреть. На лодке ездили к Нередице, пешком ходили на Волотово, где, по преданию, Гостомысл решил послать к варягам. (Волос, Волот – по-славянски – великан). Необозримые дали воды, разлив Волхова еще не спал, и среди равнин белеют силуэты мощных церквей. По пути от Нередицы захали в Юрьев монастырь 12-го века.

А в самом Новгороде видели вновь открытые фрески Феофана Грека, такие горячие и динамичные, что рядом с ними стоят даже как-то боязно. Фрески Нередицы приглушенные, лиловато-голубые, а Феофановские – золотисто-теплые, насыщенные. Одиноко среди полей стоит Нередица.

Церкви Феодора Стратилата и Преображения Господня своим сохранившимся видом (8-скатные крыши) удивительно показывают суть новгородской представительности.

Музей живописи в Новгороде сохранил ценнейшие образцы иконописи.

Из Новгорода через Старую Руссу – в Псков. Остановились в экскурсионной базе в Мирожском монастыре. Осмотрели что могли, рисовали и вечером двинулись домой.

10 июля 1928 г. Рижское взморье – Ассери

Вот снова дома. Отдохнув после всех впечатлений, хочу вспомнить и дать себе отчет в увиденном. Приобщение к Востоку, как я себе наметил перед путешествием, совершилось на иконах. Это главное. Раньше было разглядывание, некое равнодушное признание достоинств, теперь же было любовное проникновение и осмысливание иконы как целостного художественного памятника. Поэтическая возвышенность, зовущая от буквального понимания природы, стала мне близкой. И если я не воспринимаю еще мир (с точки зрения красок) декоративно, ибо пространство и дали меня манят, то всё же икона может мне служить указанием дальнейшего движения.

16 июля 1928 г.

Один из самых главных и новых моментов – новое отношение к Сезанну. Можно оценить его исторически, связать с дальнейшим ходом развития живописи, но почувствовать конкретно прелесть его языка теперь уже не могу. Смотрел, смотрел на него – а он мне далек, чужой по восприятию, по трактовке всего мира, особенно пейзажа.

Если мне близко солнце, жизненность, ясность и озаренность планов – у него плохая схематичность, тональная одинаковость всех цветов. Самое богатое у него – это, конечно, *Nature morte*’ы.

Рубенс и Делакруа также потускнели в моем представлении. «Портрет Елены Фоурмен» в репродукции, пожалуй, интереснее. Оригинал не имеет той переливчатой красочности, более черен, более глух в цвете и однообразен по свету. Композиции его малоубедительны; только серия эскизов к росписям каких-то зал замечательна. Тут он действительно творит. Делакруа не убедил меня в правдивости и необходимости данных им образов. Как-то случайно, преднамеренно вылезает красный тон шаровар («Охота на львов» в Эрмитаже). Очень хотелось увидеть Яна ван Гойена. Я знал его по рисункам. Надо сознаться, что живопись его не такая напористая, не столь вдохновенная, но по-своему прекрасная. Первый, кто вырос в моем представлении, – это Рембрандт. «Отречение ап. Петра» с сквозящим светом через пальцы. «Даная» – вся серебристая, неуловимая в нюансах, такая благородная во всех частях, – и все его вещи. Видел собрание рисунков Калло, около 800. Кажется, самое богатое собрание – это и есть эрмитажное. Малюсенькие, живые, острые, прямо бегущие (говорят, что Калло на ходу зарисовывал впереди себя идущих) люди схвачены зорким и четким глазом и переданы часто двумя, тремя чертами. Показывал мне рисунки Верейский. А в Русском музее смотрел в отделе гравюр и литографий старые литографии начала 19 в. С заведующим гравюрным кабинетом Вс. Воиновым встретился позже.

II. ПОЕЗДКА В ПАРИЖ. 1929

20 сентября 1929 г., Рига

Через 7 часов еду в Париж, на Запад. Как в прошлом году перед отъездом в Россию не мог предположить, что смогу собраться в Париж, так и теперь не знаю, что дальше будет.

За время работы над конкурсной картиной опять вошел больше в западное восприятие мира⁶. Еще впитывать в себя, постигать самую суть подхода, смотреть и размышлять, чтобы проверять себя, свои чувства и ощущения. Помни, ты едешь на Запад, чтоб ощутить его, наметить свой путь. Потому глубже к истокам культуры, традиционной французской живописной культуры.

21 сентября 1929 г.

Литва, начало пути на Запад.

Проезжаем промышленные районы Эссена, Дюссельдорфа с заводами, доменными печами. Царство труб, дыма. Природы уже нет, только цивилизация. Фабрика на фабрике. Молох.

Немцы, плотные старички жандармы, внушают своим видом почтение и решпект. На бельгийской границе молодой, веселый жандарм, проверяя паспорта, шутит и смеется. Людям, не имеющим транзитной визы, показывает на станцию, высовывает их в окно и шутя добавляет: *qui cherche, trouve!* Одной рукой ставит штемпеля в паспортах, а другой вынимает полную горсть мелочи и приговаривает: «Берите сдачи, но не слишком много!» Есть что-то легкое, свободное в манере общения.

25 сентября 1929 г.

Grand Hotel du Levant 18, rue de la Harpe, Paris – V-e

Природа такая, что действует сильнее искусства. Осень, очевидно, тут какая-то чарующая. Воздух окутывает всё, немного туманно, мглисто, но легко. Такие тонкие красочные гармонии, что начинаешь тут на месте понимать импрессионистов. Но и они в сравнении с природой грубы и тяжеловесны. Наружная жизнь еще местами нелепая, со старинкой, а ближе к центру – так уже вполне европейская. Сочетание этих крайностей дает свое лицо Парижу. В чем в чем – а в отсутствии своего лица Париж обвинить никак нельзя. Тут всё «свое». Масштабы бульваров неожиданны. Простор и размах больше питерского. Главное же атмосфера, воздух.

Вечером попал к Добужинскому. Показывал новые работы; остался он всё тем же. Если и есть новые попытки *Nature morte*, то всё это не от живописи. Новая сюита Петербурга основана на графическом подходе, в нее влита только бо́льшая красочность. Нелегко на старости лет переходить к другому миру. Он сам всё такой же лев-аристократ, немного осунувшийся, но сохранивший благородство черт. Переезжает в Ковно; здесь, в Париже, ему нелегко.

О Лувре и новой школе живописи потом, хочу войти сначала в здешнюю жизнь. Бродил вчера вечером по *Monparnasse* у Ротонды. Чем дальше от главных улиц, тем тише, и жизнь замирает.

25 сентября 1929 г.

Париж, Люксембургский музей.

Здесь современные мастера Франции, но не только такие корифеи, как Моне, Ренуар и др., но и такие, как Коттэ, Бланш, Боннар, Фантэн-Латур и др. Во всех них, за редким исключением, порази-

тельная живописная культура, подобранность тонов, колорит. Из старых знакомых снова обрадовал Вюйар – большим пейзажем, написанным в пепельно-светлых тонах. Моне видом Ветейля снова подтверждает мою уверенность в том, что у него глубокий подход, большая душевность при работе. Если смотреть на Утрилло, на парижские улочки его письма, то видишь не краски, не голую форму, но воспринимаешь его любовь к Парижу, немного грустное чувство уходящих старых мест Парижа. Сегонзак поражает захватом мастерством и уверенностью, часто за этим внешним блеском нет человека, а только глаз. Но как будто молодежь больше пленяется именно такой живописью. Скульптура меня редко волновала. Но тут, как только увидел «Геракла» Бурделя, прямо опешил. Это так захватывает, так подымает над обыденностью; открываются века, видишь грозную силу такого напряжения, которую можно разве что сравнить с Микеланджело. Рядом с Бурделем Роден кажется немного робким. Хорош портрет Стравинского работы Ш. Бланш.

26 сентября 1929 г.

Лувр. Итальянская школа.

Чимабуэ – строгий, возвышенный.

Сано-ди Пьетро – весь в иконописи.

Фра Анджелико – вопрос о живописи разрешается у него, как у всех примитивов.

Гирландайо – необычайная сила цвета.

Симоне Мартини – от радости цвета.

Синьорелли – весь черный, рисуночный.

Карпаччо – золотисто-прозрачный.

Только теперь постепенно старые итальянцы начинают мною пониматься по-настоящему и действовать. Фра Анджелико и Симоне Мартини стали понятней после занятий иконописью⁷. Они радостны, цветисты.

Боялся я увидеть «Джоконду», думал, чтобы не было разницы между предполагавшимся и действительным. Увиденное выше того, что думал и предполагал.

28 сентября 1929 г.

Лувр. Испанская школа.

Греко – от Веронезе, серебристо-зеленовато-мутный.

Неррера – не романтик, но реалист-испанец, но по живописи серебрист.

Рибейра — до жути реален. Контрасты светотени сильно повышены от искусственного освещения. Свет убил цвет, но, тем не менее, прекрасно, потому что глубоко и выразительно.

Сурбаран любит больше материю, складки, чем лица. Поэтому смотришь больше на всё окружение, чем на портреты.

Веласкес — творец живописной передачи психики лица. Свет играет на лбу, переливается серебристыми отливами, съедает все границы, всё льется, переливается и издали видишь мягкую живую пластику лица. Чудесно!

Мурильо совсем не всегда сладкий, как думал раньше. В «Вознесении Девы Марии» и «Рождестве Христовом» он — серьезный реалист. Есть в нем нечто и от Рембрандта.

Гойя опять серебристый, упрощенный в фонах; едкий наблюдатель в портретах. Тут же рядом в зале сравнил Капалетто и Гварди. У первого почти всегда — картина, у второго — этюдность. В чем дело? Гварди беспокоит, но не волнует.

29 сентября 1929 г.

Музей декоративных искусств

В панно Аман-Жан — спокойствие, свойственное Пюи де Шаванну. Хорошо понятая декоративная задача украшения стены.

Мане — «Завтрак на траве». Крепкий, чуть жестоковатый, даже резкий. Он разыгрывает зелень фона и переднего плана и бросает голубую шаль. Нет ли в Мане уже чего-то от формализма? Неживые лица мужчин и прекрасные по живописи серые брюки и сапоги. Ясность и никаких сомнений во всей работе.

Claude Monet, Pissaro и Sisley — всегда от глубокого чувства. Последний даже романтик в малых этюдах. Но что такое с Делакруа? Как и в прошлом году, не могу его воспринимать; он кажется мне нарочитым и необедительным в красочных отношениях и не захватывает совершенно.

Коро же всегда очаровывает своей нежностью. Иногда, как в итальянских этюдах, он черноват.

В западной школе живописи я видел пока почти всегда единство тона, сведение к одной, какой-либо тональности. Красочное разнообразие не свойственно как будто теперешней школе живописи (в Париже).

Разочарование ждало меня в музее Родена. Плохую услугу самому Родену создал этот музей. Нельзя же всё оставшееся выставить на обозрение! У каждого мастера есть неудачные или неоформленные

вещи. В массе теряются пять-шесть действительно, действительно прекрасных работ.

Заглянул в иностранный отдел Люксембургского музея. Своих видел – Малявина, Шухаева, Яковлева, Лаховского, Лиссима (sic!) и Либерта. Всё довольно печально. Шухаев в «Натурщице» невероятно скучен, равнодушен к живописи, академически холоден. Яковлев безразличен к цвету (в сером платье) и убийствен красным полом. Малявин беспросветно некультурен в «Бабах». Жалко, что ничего достойного из русской живописи здесь нет.

1 октября 1929 г., Париж

Грустно. Как будто после импрессионистов и Сезанна, Гогена и Ван Гога не было больше искренних художников, а пошли жулики. Сколько бахвальства и просто дряни. Неужели может найтись кто-нибудь, кому это искусство нужно? Художника пропагандируют «маршаны»⁸, издают журналы, стараются заинтересовать за границу, но сами купцы-«маршаны», мне кажется, ни на каплю не верят в действительную ценность вещей, ими пропагандируемых, а смотрят на художника (имя рек) как на моду. Какой-нибудь Аотама или Бандо написал за 1929-й год уйму вещей, и это теперь выставлено, но кому это надо, открывает ли это новую сторону красоты, обогащает ли чем-нибудь мир? Нет, – никогда. Это обман, подлость. Это делишки дельцов. Обидно, что все эти манипуляции совершаются на теле живописи.

Свойство Востока сказывается в преодолении случайностей, в преодолении только видимого во имя глубокого постижения мира. Есть и здесь отзвуки Востока у Пюи де Шаванна, Гогена. Но ведь может быть глубокий синтез и у Рембрандта?

2 октября 1929 г., Версаль

Только один Версаль стоил того, чтобы сюда (во Францию) приехать. Только тут начинаешь понимать Ватто и Коро. Природа до того мягка и чарующа, что видишь, что даже эти мастера не достигают мягкости, свойственной здешней атмосфере. Фонтаны и бассейны сжились с природой, они кажутся органически включенными, необходимыми. Масштабность поражающая. Можно грезить и жить Версалем, тут это становится понятным. Понимаешь А. Бенуа.

3 октября 1929 г.

Панно (маслом по холсту) Пюи де Шаванна в Пантеоне.

Спокойные, глубокие, проникнутые духовностью. История св. Женеьевы разворачивается в величавых формах, без суетности, излишнего движения, в размеренных, приглушенных тонах. Одна – в голубоватом, другая – серебристо-зеленоватом тоне.

Как в сравнении с ним пропадают все остальные панно и картины «академиков» – Лоранса, Батайля и др. Только Humbert, да и то оттого, что похож на Шаванна, дает общую декоративность и целостную красочную гамму.

В Лувре, в галерее Camondo, еще больше полюбил Degas за его поразительную культурность глаза, за аристократическое богатство колорита, но содержание сдержанное, и внутреннюю напористость.

Французские примитивы исходят также от Византии, но отходят от нее довольно скоро. Свое мировосприятие уже определенно чувствуется в «Pieta» 15-го века. Хвалимый Le Nain страдает отсутствием художественного восприятия. Это объектив, но не человек.

4 октября 1929 г.

Personnalité – вот чего хотят здесь и ценой всяких ухищрений.

Picasso и Фужита, говорят, не изменяются потому, что их знают как таких-то, и им невыгодно изменяться, никто их покупать не станет. Хорошенькое дело!

Люксембургский музей.

Desiré – пейзаж с церковью. Прекрасное небо с тучами в отливах серых тонов. Веет древностью земли.

Guerin – не от большой души.

Favoury – не видит ничего вглубь.

Vuillard – «Завтрак». Всё у него связано так, что нельзя понять, что важнее, голова или всё окружение. Пожалуй, именно ансамбль всего и есть его задача. Разрезать поэтому картину невозможно, она вся от целого, не улетела душа!

Bonnard – висит рядом. Станный, болезненный, ребячески нелепо вытянутый, непонятный и нарочитый.

Claude Monet – «Ветёй зимой». Поэма о Ветёйе, чарующая по своей любви, благости. Выражена серебристо-сизыми тонами.

Marquet и Puy не зовут к постижению мира, более глубокому, но прельщают простотой, свободой и легкостью передачи натуры. Еле намеченное красками, всё плывет в свете. У Марке, кроме того, подкреплено свободным, крепким рисунком. Радостное, освобождающее чувство рождается при созерцании этих двух вещей.

Matisse 28-го года хороший, простой, свежий, такой же в основе, как и прежде, но не такой яркий в отдельных тонах, а заботя-

щийся больше о гамме целого. Непонятна в *Nature morte* черная обводка.

Тут же рядом висят этюды Утрилло. Подпись его: Maurice Utrillo.V. Елена Феод. назвала его «парижским Левитаном». У него любовное отношение к каждому увиденному уголку. Улицу пишет – так не мажет кистью, а с радостью погружается в изображение всех башенок, ставенок, вывесок и пр. Видно, что его волновала именно эта улица, ее-то он и полюбил, и захотел другим о своей любви сказать. Язык его живописный, местами подчеркнутый линией и обводкой, но это не вредит, а помогает. Немного грустный и меланхоличный, он лирично отпевает уходящие уголки Парижа. По пути, им указанному, можно идти.

Albert Beznard – блестящий, но абсолютно пустой. Спрашиваешь себя, почему вообще такой тип пишет?

Aman-Jean – внушает уважение своей серьезностью, связанностью тонов.

Pierre Laurens – портрет 21 г., совсем не колоритен, но благодарен веяниями Ingres.

Leroux и Атгиверн (в русском правописании) – салонные портретисты; успех их, несомненно, колоссален. Такие портреты нравятся толпе. Но нет в них ни малейшего вкуса, одна пошлятина и самореклама. Портрет плоский по восприятию, ничего не выявляющий, а всё равно одинаково передающий, ни помину о характере, только наслоение подробностей. Скучность их как художников очевидна.

Cottet в малых вещах очень напорист и по напряжению, и по колориту. В большой же «Победе моря» не дает нужного большой вещи единства. Напоминает по композиции тильберговскую картину «Погребение».

Жак Бланш – приятный живописец, мягкий, не особенно глубокий, но и без претензий.

Fantin Latour – «Портрет жены» – очень скромный и благородный по концепции. Действует не сразу, а постепенно.

Большая беседа была со скульптором Андрусовым⁹. Спрашивает, что же понравилось? «Да – говорю, мало что». «Это и понятно, – отвечает, – привыкнуть надо. Тут вот приезжал из России некий Гагов; сначала всё ругал, а через год переменялся. А кого Вы еще видели?»

– Пикассо, Матисса, Брака и др. Все формалисты, никак из этого выйти не могут.

– А чего же Вы хотите? – спрашивает.

– Да уж, если говорить прямо, – содержания!

– Это «анекдотец»? И тут про него уже поговаривали, да всё как-то так выходит, что если есть «анекдотец», то живописи и нет.

– А вспомните Сурикова, – говорю я.

– Плохо помню его вещи, признаюсь. А что же Вы хотите, чтобы Пикассо и Брак переменялись?

– Нет, – говорю, – не хочу. Только дальше живопись так идти не может.

– Почему не может? Это вам только так кажется. Что же надо дальше, вы мне скажите?

– Вас удовлетворяют, – отвечаю, – одни только красочные сочетания Брака и Пикассо?

– Удовлетворяют, – говорит. – Вообще, я не философствую, а только смотрю, нравится мне вещь – значит, хорошая, не нравится – значит, дрянь. Русская интеллигенция вообще самая безвкусная, была и осталась. Она всё больше по части философии. Да и здесь покупают Шишкина, Айвазовского; Репин еще слишком нов.

– Я ценю, например, Дега не только за хорошие, тонкие сочетания, а за смысл.

– Какой смысл Вы видите в Дега? – спрашивает он меня. – Что же Вы еще не видели?

Из дальнейшего разговора узнал я разные закулисные стороны жизни парижских художников. Пикассо, Дерен, Матисс – состоятельные люди. Сутин (ужасный), бывший года четыре тому назад бедняком, теперь разъезжает в своем автомобиле, на картины его записываются в очередь, а стоят они около 30 тысяч франков. Матисс, оказывается, очень обидчивый человек, нельзя о нем написать ни строчки строгой критики. Вообще, в Париже не принято ругать; тут или молчат, или хвалят. Иностранцу очень трудно сдвинуть инертную французскую массу и заставить говорить о себе. Еще разные сплетни услышал: о жене Фужиты, о подделках работ Сутина и о скандалчике по этому поводу и пр. Marchan'ы, по его мнению, вещь очень удобная – они освобождают от материальных забот, платят иногда около 20 тысяч в месяц и пр.

В целом Андрусос durch und durch¹⁰ пропитался Парижем. И мы, теперь приехавшие, свежие, не вкусившие этой гастрономии, не можем воспринимать всех этих вывертов. О русской иконописи, так же, как и о живописи, его представления очень сбивчивы. Он представляет иконопись мертвым искусством, не имеющим развития. «Анекдотца» боится, как жупела. Его идеал – «скульптурная скульптура», т. е. чисто формальное искусство.

Умер Бурдель. Как странно, что пришлось мне теперь как раз быть в Париже. Только на днях в Люксембургском музее остро переживал его «Геракла». Пошел на Impasse de Maine, 16. Небольшой тупик, у дома два полицейских, под воротами креповые флаги. У

подъезда человек во фраке, с цепью на шее. В черных перчатках, предлагает карандаш, чтоб расписаться в листе. Мастерская Бурделя вся в цветах, среди них поставлен закрытый гроб. Маленькое окошечко в гробу дает возможность увидеть черты лица, почтенного возраста. Кругом в мастерской слепки с работ: «Кентавр», «Голова Мицкевича» и др. Люди тихо подходят, останавливаются, прощаются с прахом, некоторые присаживаются и тихо сидят. Но народу немного, человек 15-20. Удивительно просто, благоговейно, никакой помпы и шика.

5 октября 1929 г.

Лувр. Зал французской живописи 19 в.

Делакруа – весь почерневший, но м. б. он и раньше был таким темным. Как о живописце-колористе по его большим вещам говорить сейчас трудно. Было время – я увлекался им по книгам. Сейчас он кажется мне театральным, придуманным, а по живописи иногда даже жестковатым. Только «Свобода на баррикадах» захватывает, но больше динамикой, чем красочной гаммой.

Жерико – что с ним, не понимаю? Был ли он всегда таким темным и почему его теперь считают живописцем-колористом? Ведь ничего не видно, всё чернота и галерейный тон. Видна в большинстве случаев только игра линейной композиции.

Ingres – совершенно не черен, в некоторых местах (перчатки на мужском портрете и др.) даже прекрасный колорист, изысканный. «Одалиска» прекрасна по форме и живописи. Как мастер, Энгр, безусловно, выше Делакруа. Делакруа потрескался, потек; Энгр свеж и поверхность его живописи эмалевая, плотная. Но всё же Делакруа и Энгра можно обвинить в равнодушии к цвету. Делакруа радости не вызывает, да и сосредоточенного благоговения тоже. Надо себя взвинчивать, чтоб воспринимать каких-нибудь «Крестоносцев» или «Сарданапала».

Кутюр – «Римляне времен упадка». Зеленоватый тон, который впоследствии встречается у ученика Кутюра – Мане.

Перед парижанами проходит красочная живая жизнь балагана, интересная жизнь bistro, а где она в живописи? Пикассо, Брак и пр. занимаются формальными экспериментами, понятно, что таковые увлечь не могут. А покажи им тут жизнь, перед глазами разлитую, так ни о каком кризисе и вопроса не подымается.

6 октября 1929 г.

Иностранные художники в отделении Люксембургского музея.

Безнадежно тоскливо во всех залах. Ничего не захватило бы, не то всё обман, не то шулерский подход к делу, а главное – холод. Никому из художников, собственно, дела нет до подлинной творческой энергии. Всё выдумка, тыканье своей «personnalité». Шухаев и Яковлев условно раскрашивают сухие формы. Один из самых безнадежных музеев.

Salle Claude Monet – неожиданно, необычно и как-то свежо. По круглым стенам расстилаются панно, где написаны вода с плавающими кувшинками и белыми лилиями, тростниками. Тихий плеск и зыбь воды оживляет жизнь этих больших плоскостей. Задача очень трудная, Клодом Моне разрешенная в некоторых из панно блестяще.

Лувр.

Искусство греков возвышает, делает человека гармоничным.

Из ассирийского зала не хочется уходить. Здесь глубокая, мистическая связь с иконой.

Почему Милле мог в свое время стать близко к жизни и, очарованный ею, ее и передавать. А ведь в его время грешили Деларош и Кутюр, и взывал Делакруа. Никому не нужными кажутся теперь большие полотна этих мастеров, а маленькие картины Милле живут и чаруют.

8 октября 1929 г.

Вчера проходил по площади перед Notre Dame и Hôtel de Ville. Здания из одного камня, серого тона (т. н. Pierre de France), прекрасной формы. Так и весь Париж, собственно, – набережные, арки, дворцы и дома – все одного серого тона. Нигде нет желания цветистостью вызвать выраженную игру архитектуры. Тут и живопись, по аналогии, основана на единстве тона. Откуда сие, только ли случайное совпадение или есть внутренняя причина, обусловившая это обстоятельство? Пока не знаю. Но различие Востока и Запада в этом вопросе несомненно. <...>

Снова Лувр, отделение барбизонцев.

Констебль – разыграл на коричневой подмалевке свежо и свободно.

Бонингтон – любит небо, умеет его разнообразить.

Добиньи – в большом пейзаже весь в серебристом тоне, как у Пюи де Шаванна.

Дюпре – всегда взволнованнее и «круглее», чем Добиньи. Крымов от Дюпре.

Коро – ближе к Добиньи. Добиньи любит спокойствие природы, ее грустную ноту.

Дюпре более возвышенный романтик. Золотых ржавых тонов у Дюпре больше.

Т. Руссо – «Весна» уже не этюд, а целостная композиция большого стиля.

Нечасто бывают такие дни. Лучшее, что видел из работ Коро, Добиньи, Милле, Руссо, Дюпре, – всё сегодня!

10 октября 1929 г.

Опять хорошо сегодня барбизонцев видел. Такого Коро, как в Лувре, нигде нет. Также и Милле. Всё главное – здесь, только неудобно, очень разбросано.

Дюпре – в «Закате» подымается до поэтической вдохновенности. Чувствуешь в нем силу восприятия природы.

Добиньи (почти все его работы продолговатого размера) иногда вплотную примыкает к Коро, но, в целом, он более трезв, и минуты ласкового трепетания природы для него редки.

Перейдя к просмотру французской живописи 19-го века (собр. Кайсбота), почувствовал, насколько мастера конца века ниже по ощущению природы, чем барбизонцы. Уменьшение духовной сущности, налет позитивизма и потому дробление на мелочи. Нет (у импрессионистов даже) единства картины. В барбизонцах подкупает простота – великое всегда просто. Опять прикоснулся к «дегасовым» прелестям. Дега – один из самых изысканнейших колористов, не в смысле пряностей, а по благородству разыгранной палитры. Ядовитость его никогда не переходит в карикатуру. Дега – одно из самых значительных и блестящих мест последних лет французской живописи. По сравнению с ним Моне кажется бедным и провинциальным. Дега необычаен; не думал увидеть в нем автора мифологических сцен и раннего периода группового, семейного портрета.

Ренуара последнего периода не приемлю, это раскраска кирпичным тоном, скорее от дряблости, чем по художественной необходимости.

На кладбище Père Lachaise уныло, сдавленно. Камни давят, теснее, чем на улице, и всё безвкусно однообразно. Единственно Бартоломэ «Monument aux morts» говорит убедительно, поставлен на хорошем месте.

Около Крематория расставлены по стене урны, прямо по бухгалтерской сортировке, в девять рядов; ездит лестница, чтобы родные могли подняться к своим плитам, которые, как полочки с товарами в магазине. Бежать оттуда хочется на простое сельское кладбище, к речке, к холмам среди деревьев. И чтобы тихо было, и никаких тяже-

лых давящих камней, чтобы только птицы и просторы были, как в Изборске.

11 октября 1929 г.

Лев Алекс. [Зандер]¹¹ думает, что господство одного тона в западной живописи и, напротив, многообразие цвета в восточной живописи объясняется преобладанием количества темноты или светлоты одного и того же тона. Ну, предположим, что это верно, а чем же вызвано это?

Эйфелева башня. Поразительно, но некрасиво. Вид на Париж открывается такой, что стоит на нее подняться. Встретил наверху «родного человека» из Риги.

12 октября 1929 г.

«Завтрак на траве» Мане. Нет в ней очарования, больше постигаешь, чем любишь. Тут типичный Запад, тут только живописная форма. Даже радости не чувствуешь в ней, любви. Правда, видна серьезность задачи и осознание этой серьезности, большая объективность. Чернота зелени сочетается с чернотой костюмов. Излишняя, возможно, четкая резкость границ. Объединение плоскостей тени подмалевком (темным); подмалевок выступает кое-где в зелени.

«Этюд натурщицы» Мане – свободный, легкий, переливающийся перламутром. Зеленоватый фон взят как пятно, противопоставленное телу, волосам, шляпе. Есть всё же благородство в Мане.

Карьер весь от субъективизма.

14 октября 1929 г.

Юлия Ник. Рейтлингер¹² говорит: «Мы здесь притупились и не воспринимаем всего хорошего. А люди приезжие, свежие, лучше всё видят, чем мы. Тут у Пикассо и Брака не самое новое. Новое – это сейчас жизнь. Не красота, не декоративное начало, а сама жизнь. Как один из новых – Утрилло, но есть и более молодые. Французы не обращают внимания на технику, этому не учат, смотрите – трещины на работах Пикассо 24-26 г. И рисунку не учат. К Гогену относятся, как не к французу, картины А. Руссо не называют живописью, а говорят *sec!* Чему можно у французов учиться – это вкусу. Они с рожденным вкусом».

16 октября 1929 г.

Писал вчера на Montmartre и показалось мне, что слишком красиво получается. Много очарования в дымке, воздушности и далях бесконечного города. Писал тут и Матвей, видел его места, ворота; хорошо передал он дух нежности, парижскую атмосферу. Сам храм Sacre Coeur мне не импонирует, так же как и храм Христа Спасителя в Москве. Огромный, поставленный больше как «Гром победы раздавайся», но не из потребностей религиозных.

Всеволод Добужинский – малый хороший, очень похож на отца. Говорит, что отец не хочет ехать в Америку, да и он тоже туда не стремится. А мамаша ехать хочет. Она вся от земли, вся в заботах, чтобы там что-то устроить, там подготовить, там не пропустить, туда послать и т. д. Ее очень беспокоит, что в такой-то газетке обошли молчанием, что там не собрали всех газет и пр. Беспокойств масса, но всё по пустякам, по несущественному. Ему самому это чуждо.

17 октября 1929 г.

Познакомился с г-жой В. 10 лет уже здесь. Бросила живопись, перешла на костюмы. «Нет возможности, говорит, существовать, если делаешь выставку раз в три года. Хочешь жить искусством, должен идти путем, указанным marchand'ами. Тут всё в их руках. Идти против них – нет сил.» В подтверждение величия мастера указывает, что он богат, свой автомобиль, дача и пр.

Сегодня Валентина Алекс. [Зандер]¹³ делилась в Лувре перед «Джокондой» своими соображениями о Леонардо. Ей кажется, что притягивающая сила Моны Лизы – дьявольского порядка. Леонардо хотел тут сам стать Богом и действительно зачерпнул в такие глубины, что не под силу отвернуться. Так и влечет. Но есть в ней страшная черта, это самодовлеющая плоть, самоутверждение, самолюбование. Оттого и так соблазнительно.

Юлия Ник. Рейтлингер вся живет искусством. В разборе картин настолько увлекается анализом, разложением на составные части, что частенько целого-то и не замечает. Вал. Ал. оценивает вещи с узкой точки зрения.

Был в вечернем классе Шамьера, рисовал натурщика. Вспомнил Академию. Бесцельное рисование ничего не дает в творческом смысле.

20 октября 1929 г.

Лувр, по всей вероятности, в последний раз. Прошел по асси-

рийскому и египетскому отделам. Какое здесь всё нужное, нет пустот, всё насыщено духом.

В витрине заметил две танагарские статуэтки, античные торсы. Если б они всегда были перед глазами, то могли бы служить успокоением и умиротворением души.

Перехожу в отдел живописи и от «больших Давидов» бегу к «маленькому Шардену». Среди давидовых портретов есть перлы по выисканности тона.

Портрет Серизья (рука с грязноватой перчаткой) великолепен. Вспоминаю уроки иконописи. Не в чистоте взятого тона только дело, но можно и должно иногда грязнить тон, чтобы в целом всё заиграло.

Портреты Гро, Лангло, Pagnest – подъем портретного искусства начала 19-го века. Не говорю уже об Энгре. Сравнил мысленно Гро и Кипренского.

Пуссен – «Лето» – космос, целостное мировосприятие.

Еще раз Дега. Выдержка и необыкновенное благородство выисканных тонов. В Дега – порода. Pissarro рядом с ним – плебей. Мане и Сислей сравнение выдерживают.

Затем у Рембрандта. «Христос в Эмаусе» и маленькие «Философы». Особенно один «Философ в раздумье» в сумерках, за столом у окна, сзади витая лестница, всё тонет в вечерних тонах и только постепенно входишь в этот таинственный тихий мир.

Простился с «Джокондой». Вот ее любить было бы трудно, слишком она умна, всё знает.

В Музее Guimet породнился опять с Востоком, с далеким миром шумерских, буддийских памятников. Персидские миниатюры снова обрадовали. В чем дело, почему? Радость в западном искусстве утеряна. Это не только потому, что упало религиозное чувство, но есть, по-видимому, и другие причины. Ведь Караваджо уже не радует, в нем больше от постижения.

В персидских миниатюрах радость цвета исключительная. Любимые цвета: малиновый, бледно-блекло-зеленый и нежно-песочный. Много ультрамарина.

21 октября 1929 г.

Выставка работ Матисса. Самое радостное из всего нового французского искусства, что пришлось видеть. В литографии чарующая свобода линии, пятна. В живописи полно цветовых гармоний, просто. Но можно ли всё искусство сводить к Nu, nu и nu – без конца. Тут есть какая-то скудность.

Научиться надо тому, чем владеют французы в совершенстве, –

общей гармонизации при тонком цветовом различии – и идти дальше.

Какой-то «профессор» Зутт де Фрайер берется разрешать психологические проблемы в портретах, а сам ума неглубокого и не знает основ формального подхода. Получается дешежка.

22 октября 1929 г.

Все Мадонны французских средних веков улыбаются. «Владимирская» уже осознает дальнейшие страдания Христа.

23 октября 1929 г.

Сад Тюильри. Последний день в Париже. Такой же мягкий день, как и первые дни. Легкий туман накидывает вуаль на лицо Парижа. Так и останется у меня в памяти соединение Парижа с его атмосферой.

Осень наступает, шуршат по мостовой листья и... тянет домой. Надо сознаться – жить бы здесь не хотел. Приезжать, смотреть, погружаться в Лувр – это прекрасно. Но жить и работать у себя, где чувствуешь себя дома, где родным веет. Тот Запад, который я увидел, меня не тянет и не прельщает.

«A toutes les gloires de la France»¹⁴ – это очень почтенно, хорошо, но совсем не то, чего мне хочется. Простая белая церквушка, синий куполок, радостные иконы или захудалость провинциальных домишек, грязь – такая же, как здесь, но своя. И правды как-то больше.

Рассказывая о росте влияния католичества за послевоенное время, Юлия Ник. [Рейтлингер] упоминала об интересном факте. Сейчас идет прославление в Католической церкви Иосифа как человека кристальной чистоты, сумевшего удержаться от супружеских обязанностей и пр. Если таковое сопоставить с ролью Иосифа в русской иконе, где он представляет материальную силу и сидит задумавшись, и понять не может происшедшего, то разница мироощущений станет еще яснее.

Икона зовет к преобразению жизни, католичество прославляет земное, материальное.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Е. Е. Климов описывает эту экскурсию в очерке «Поездка в Россию», вошедшем в сборник его воспоминаний «Встречи» / Рига: Улей, 1993. – Сс. 38-45.
2. Летом 1927 г. Е. Е. Климов совершил свое первое путешествие в Печорский край, в то время находящийся в независимой Эстонии.
3. В своей первой дневниковой записи (19 июня 1921) Е. Е. Климов описы-

вает Третьяковскую галерею, которую он посетил по дороге из Советской России в Ригу.

4. Юрий Георгиевич Рыковский (1894–1937), близкий друг Е. Е. Климova по Риге.

5. Александр Иванович Анисимов (1887–1937), искусствовед, реставратор. О нем см. в очерке «Поездка в Россию». Павел Иванович Юкин (1883–1945), реставратор, коллега Анисимова.

6. Конкурсная работа Е. Е. Климova изображала Тургеневскую улицу в Риге. Судьба оригинала неизвестна, но сохранился эскиз – см. репродукцию в кн. В. Н. Сергеева. – С. 64.

7. После поездки в Россию Е. Е. Климов вместе с небольшой группой других лиц участвовал в кружке по изучению иконописания.

8. «Marchand» (*фр.*) – купец, в данном контексте – агент, взявший на себя вопросы распространения, популяризации и продажи картин.

9. Вадим Николаевич Андрусов (1895–1975), скульптор, эмигрант первой волны. Учился у Антуана Бурделя.

10. durch und durch – совершенно, насквозь (*нем.*).

11. Лев Александрович Зандер (1893–1964), религиозный деятель, богослов, последователь С. Н. Булгакова.

12. Юлия Николаевна Рейтлингер (1898–1988), художница-иконописец, после 1935 – монахиня Иоанна. Духовная дочь прот. С. Н. Булгакова.

13. Валентина Алексеевна Зандер – жена Л. А. Зандера. Вместе с Е. Е. Климовым участвовала в рижском кружке по изучению иконописи (1928).

14. «A toutes les gloires de la France» – «За все великолепие Франции» (*фр.*).

Публикация – А. Е. Климов

(Окончание в следующем номере)

Владимир Хазан

«Не знаю, знакомо ли Вам мое имя.»

*Гершон Свет и его корреспонденты**

Сведения о биографии главного героя настоящей публикации – Гершона (Германа) Света (1893–1968) – можно почерпнуть из разных источников, хотя в целом она остается до нынешних пор не изученной, а лишь обрисованной самым общим и поверхностным образом¹. Цель данной публикации – прибавить к уже известным фактам некоторую новую информацию.

Г. Свет родился в местечке Шпола Звенигородского уезда Киевской губернии в семье синагогального кантора Менахема Менделя и его жены Сары (урожд. Островской). Получил традиционное еврейское воспитание и затем прошел полный курс русской гимназии. Свое образование продолжил на историко-филологическом факультете университета Св. Владимира в Киеве, причем с особым рвением в университетские годы занимался историей искусств. С 1917 года Свет начал свой путь русского журналиста – его первые газетные репортажи, посвященные хронике музыкальной и театральной жизни, печатались в киевских русскоязычных газетах (в том числе в наиболее крупной и известной из них – «Киевской мысли») и журналах (в частности, в «Театральной жизни»).

Следует указать на музыкальную одаренность искрящейся многими талантами натуры Г. Света и на связанную с этим его склонность и охоту в своей журналистской деятельности освещать художественные грани бытия. Другой органической стороной его личности и как человека, и как журналиста, которая проявилась уже в молодые годы, была близость к сионистским и околосионистским темам и проблемам, составлявшим своего рода основу его мировидения. При всем разнообразии журналистских интересов Света эти две главные «специализации» его газетно-журнального творчества – как художественного (музыкального, театрально-концертного и, временами,

* За помощь в работе над этой публикацией приношу сердечную признательность моим друзьям и коллегам: Ричарду Дэвису (University of Leeds), Моше Лемстеру и Гилю Вейсблею (Иерусалим), Ларисе Жуховицкой (Москва) и Ольге Тиховской (Кишинев).

литературного) критика, интерпретатора, популяризатора, а в известном смысле – музыковеда и историка музыки, и – как еврейского публициста, политолога, временами дававшего лишь газетную информацию, а временами – глубокий и всесторонний анализ события, – остались в нем, по сути, неизменными до конца дней. Впрочем, классифицировать его журналистское наследие по тематическим рубрикам, а тем более собрать всё вышедшее из-под его пера и напечатанное в многочисленных органах печати, разбросанных по всему миру, – задача почти неисполнимая из-за своего количественного и калейдоскопического многообразия. Как писал в его некрологе близко знавший Г. Света журналист И. Троцкий, «не будет преувеличением сказать, что с кончиною Гершона Света эмигрантская печать лишилась одного из своих плодovitейших служителей, чья тематика отражала все аспекты современной публицистики: политические и экономические проблемы, театр, музыку и прочие виды искусства. Ничто из заслуживающего интереса не ускользало от его зоркого глаза и тонкого чутья»².

Практически одновременно с работой в русской прессе Свет стал публиковаться в идишской печати Киева. Поначалу, однако, свои статьи для ежедневной газеты «*Di naye zait*» («Новое время») из-за владения лишь разговорным идишем он писал на русском языке, а перевод делали в самой редакции. Позднее Свет освоил и письменный идиш. В 1920 году он покинул большевистскую Россию, предполагая поселиться в Палестине, но по пути в Святую землю задержался в Кишиневе, где стал работать ночным редактором ежедневной газеты «*Der yid*» («Еврей»), а также печататься в русской газете «Новое слово». Весной 1922 года он переехал из Кишинева в Берлин, «мачеху российских городов», как назвал германскую столицу В.Ходасевич, – ставшую, тем не менее, в те годы убежищем для многих россиян, покинувших родину.

В жизни русского или русско-еврейского Берлина Г. Свет особенной активностью не отличался. Его имя лишь дважды упоминается в русскоязычной прессе в связи с участием в заметных культурно-общественных событиях: один раз в перечне известных русско-еврейских деятелей (С. Дубнов, Б. Кан, М. Крейнин, И. Клинов, Я.Левинский, И. Чериковер и др.), собравшихся 27 ноября 1927 г. в Клубе Шолом-Алейхема на траурный митинг по случаю смерти идишского писателя и публициста Н. Д. Номберга (1876–1927), а второй – как участника дискуссии «‘Габима’ и проблемы еврейского театра», устроенной Русско-еврейским общественным клубом в кафе *Nahnen* (Nollendorfplatz, 1), в которой в ряду выступавших, кроме него, упоминались Р. Вишницер-Бернштейн, д-р Пинсен и Ю. Офросимов³.

Основная энергия Света, творческая и деловая, была поглощена в то время журналистской деятельностью — репортера и обозревателя целого ряда европейских газет. Существенно, что, владея несколькими языками, Свет чувствовал себя абсолютно комфортно как корреспондент разных органов печати, выходивших на русском, немецком, польском, идише, иврите, позднее — на английском. Это давало большие преимущества не только материального порядка, что само собой разумеется, но и с точки зрения открывающегося доступа к многообразным социальным и профессиональным сферам, источникам информации и к установлению обильных и разветвленных международных связей.

Свет прожил в Берлине до 1933 года. Там он приобрел широкую известность в журналистском мире как корреспондент многих европейских газет и журналов: «Berliner Rundschau» (Берлин), «Nowy Dziennik» (Краков), «Der Moment» (Варшава), «Yiddishe Schtime» (Ковно), «Сегодня» (Рига), «Рассвет» (Париж) и др. В 1927 году, задолго до приезда в Палестину, он стал корреспондентом тамошней газеты «Haaretz», выходившей на иврите.

Фактологическая канва жизни Света, повторимся, до нынешнего времени обрисована скудно и поверхностно. Так, мы имеем весьма смутное представление о том, в каких кругах он вращался, живя в Берлине. Восстановление данного биографического контекста, смыкающегося с жизненными контекстами целого ряда таких же, как он, «знакомых незнакомцев» — то ли из круга российских эмигрантов, то ли из числа «коренных» европейцев, может быть достигнуто лишь в результате большой и скрупулезной работы с привлечением широкого круга источников. Со стороны он казался «юрким журналистом», то есть умеющим ловко делать то, чему иной раз могло воспротивиться строгое интеллектуальное сознание. Именно так о нем написано в письме, которое философ А. Штейнберг⁴ получил от своего близкого друга С. Каплана⁵, писавшего ему из Парижа в Лондон (12 декабря 1934): «Кстати, информацию о Вас и Вашем брате⁶ я получил по дороге сюда, встретив в Цюрихе в вагоне несомненно *юрко*го журналиста Света, которого знал в лицо по Берлину. Он же мне дал номер ‘Dos Fraye Wort’»⁷ (Выд. мной. — В. Х.).

Оба — автор письма и его адресат — в 20-30-е гг. жили в Берлине и, если плотно не общались со Светом, то, по крайней мере, хорошо «знали его в лицо». Всех их, по обычным меркам, следовало бы причислить к общему разряду русско-еврейской интеллигенции, внутри которой, однако, было немало внутренних делений, перегородок и конфронтаций, — что перестало иметь значение после прихода к власти нацистов. Равно как А. Штейнбергу и С. Каплану, «юркому жур-

налисту» Свету пришлось покинуть Берлин. М. Мильруд, редактор рижской газеты «Сегодня», так пишет об этом в письме одному из авторов, журналисту Н. Я. Тасину (Каган): «<...> Свету, как Вы, вероятно, знаете из нашей газеты, пришлось всё бросить на произвол судьбы и бежать в Париж»⁸. (В письме самого Г. Света к Ж. Пастернак от 13 декабря 1960: после прихода к власти Гитлера «<...> мы скоро оставили впопыхах Берлин <...>».)

Итак, после установления в Германии нацистского режима Свет перебрался в Париж, а в конце января 1935 года репатриировался в Землю предков и поселился в Иерусалиме, где из зарубежного корреспондента «Haaretz» превратился в одного из ключевых авторов этой авторитетной в Палестине газеты и стал членом ее редколлегии. Кроме того, он возглавил Союз журналистов Иерусалима. С 1935 года Свет являлся постоянным палестинским корреспондентом газеты «Сегодня»⁹.

После Второй мировой войны, в 1948 году, Свет отправился в свою последнюю иммиграцию – в США, и оставшиеся 20 лет жизни прожил в Нью-Йорке, продолжая печататься, как и в прошлые годы, на многих языках в большом количестве газет и журналов, в их числе в нью-йоркских «Новом русском слове», «Forverts» (на идиш), немецкоязычной «Aufbau», в парижской «Русской мысли» и тель-авивском «Maariv».

Подводя общий итог профессиональной деятельности Гершона Света, следует, наверное, сказать о его успешно сложившейся карьере талантливого журналиста, летописца многих заметных событий в бурной истории 20 столетия; о человеке, по-настоящему влюбленном в дело, которым занимался, и сумевшим осуществить собственное предназначение. Вместе с тем, нельзя не посетовать на то, что Свет не оставил после себя ни одной книги, где собрал хотя бы небольшую часть из рассеянных по разным градам и весям блестящих очерков и статей, фельетонов и репортажей, зарисовок и портретов деятелей культуры, мгновенных откликов на их творчество и вполне основательных аналитических этюдов. Погребенные в подшивках старых газет и журналов, эти многожанровые материалы, некогда популярные и актуальные, сегодня доступны лишь единичным исследователям.

Этому, разумеется, имеются свои объяснения. Закабаленный журналистской поденщиной, Г. Свет, как он признается в письме к М. Алданову от 3 апреля 1950, публикуемому ниже, вынужден был писать по «14-15 статей в месяц, на разных языках», т. е. по статье в два дня, – что при таком темпе почти не оставляло времени на масштабные творческие проекты. Кроме того, он вел активную общественную жизнь, был завсегдатаем театров, художественных галерей,

выставок и концертов, старался не пропускать ничего из того, что заслуживало внимания в литературном мире. А внимания заслуживало многое...

Прожив почти столетия за пределами страны, в которой родился, – в Бессарабии, Германии, Франции, Палестине/Израиле, США, – Гершон Свет сохранил не только превосходный русский язык, но и подлинно великую любовь к русской культуре – настоящую преданность ей, хотя никаких связей с Россией в течение всего этого времени не имел. В Советском Союзе остались два его брата, с которыми, по их просьбе, он отношения прервал. В письме к одной из своих корреспонденток, Розе Хоровер (сестре Марины Зейлигер, матери советской поэтессы Маргариты Алигер), которую эмигрантская судьба занесла в Барселону, в ответ на ее просьбу помочь установить связь с племянницей, он писал 20 мая 1958 года: «Связей с Россией у меня никаких. С моими родными там не переписываюсь, по их определенному требованию. Я пишу тут в Нью-Йорке в русской антисоветской газете 'Новое Русское Слово', и это там делает мое имя одиозным, так что мои два брата определенно просили, чтобы я им не писал»¹⁰.

Вместе с тем, Свет в годы Второй мировой войны в Палестине вошел в т. н. «Лигу V», возникшую в 1942 году и занимавшуюся мобилизацией ресурсов в поддержку Советского Союза (был создан специальный «Фонд помощи и солидарности Советскому Союзу и Красной Армии, ведущей героическую борьбу», который формировался всенародным сбором средств¹¹). В 1943 Лига V выпустила в свет сборник «Еврейство Палестины — народам СССР»; перевод материалов с иврита на русский язык осуществил Гершон Свет, который одновременно был техническим редактором этого сборника. На его страницах, в частности, рассказывалось о выставке «СССР и еврейская Палестина в войне», которая открылась в Тель-Авиве 18 июля 1943 года. В рамках этой выставки был устроен специальный вечер, посвященный советской музыке и песне, на котором «Г. Свет перед многочисленной аудиторией, до отказа переполнившей огромный выставочный зал, прочел доклад о русской музыке, о Глинке, Могучей кучке, о современных советских композиторах, о расцвете музыки малых народностей Советского Союза, об оркестровом и оперном творчестве советских композиторов, о советской песне, концертной жизни в СССР, о молодых виртуозах, еще до войны удостоенных первых премий на международных конкурсах в Варшаве, Вене, Брюсселе и т. д.»¹².

Через месяц с небольшим, 27 августа, представители СССР С. Михайлов и Н. Петренко посетили Союз еврейских журналистов в

Иерусалиме (встреча состоялась в редакции газеты «Palestine Post»). Г. Свет, присутствовавший на этой встрече как представитель газеты «Haaretz», приветствовал их на русском языке от имени еврейских журналистов и следующим образом обрисовал состояние палестинской газетно-журнальной печати: «Мы тут <...> не в состоянии, конечно, конкурировать с ‘астрономическими’ тиражами ‘Известий’ и ‘Правды’. Наша еврейская пресса в Палестине еще довольно молода. Самая старшая из выходящих тут ежедневных газет – газета ‘Гаарец’ – существует всего 25-й год. Всё же наш газетный индекс – довольно высокий. В Палестине выходят в настоящее время, вместе с вечерними, 10 ежедневных газет на еврейском языке, с ежедневным тиражом в 60[000] – 70.000 экземпляров. (Примечание: за последний год прибавилось еще две новые ежедневные газеты¹³.) Десятки еженедельников и ежемесячников для населения в полмиллиона душ – это немало. Отметив, что много журналистов, работавших в палестинской ежедневной печати, – уроженцы России, воспитанники русской культуры, лучшие традиции которой оказали значительное влияние на палестинскую прессу, г. Свет особо приветствовал т. Петренко как ‘собрата по профессии’»¹⁴.

Другой ипостасью, составляющей духовную суть Гершона Света, было твердое сознание неотделимости своей судьбы от судьбы еврейского народа и, как следствие, осознанное присутствие «еврейства» в себе, своей национальной принадлежности. Именно этот органический синтез «русского» и «еврейского» – на фоне космополитической «тоски по мировой культуре» – делает феномен Гершона Света в особенности интересным и привлекательным, а его жизнь, судьбу и творчество – притягательными для всестороннего исторического исследования, которое, увы, видно по всему, – дело отдаленного будущего.

Ниже публикуемые письма добавляют к этому исследованию некоторые, до нынешнего времени не известные и не введенные в научный оборот, сведения. Письма публикуются по современной орфографии. В этом номере мы предлагаем первую часть эпистолярного наследия Гершона Света. Его переписка с семьей Пастернаков выделена в отдельную публикацию, которую мы предложим в следующем номере. Приносим искреннюю признательность руководству архивных хранилищ за предоставление идеальных условий для работы и за разрешение опубликовать собранные в них материалы.

Условные обозначения, использованные в публикации:

BAR – Bakhmeteff Archive of Russian and East European History and Culture. Rare Book and Manuscript Library. Butler Library, Columbia University (New York, USA);

САНJP – The Central Archives of the History of the Jewish People.
Gershon Svet Coll. (Jerusalem, Israel);

CZA – Central Zionist Archives (Jerusalem, Israel);

HIA – Hoover Institution Archives on War, Revolution, and Peace
(Stanford University, California, USA);

RAL – Leeds Russian Archive, Brotherton Library (University of
Leeds, UK);

РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и
искусства (Москва, Россия).

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См., например, статью, в которой, несмотря на ряд неточностей и недостоверностей, делается попытка воссоздать его биографию: *Пархомовский, Михаил*. Светлое имя: Гершон Свет / Русские евреи в Америке, кн. 5 // Ред.-сост. Эрнст Зальцберг / Иерусалим–Торонто–Санкт-Петербург: Гиперион, 2011. – Сс. 63-70 (Русское еврейство в Зарубежье, т. 21).
2. *Троцкий, Илья*. Памяти Гершона Света // «Новое русское слово», 1968, № 20235, 3 авг. – С. 3.
3. *Chronik russischen Lebens in Deutschland 1918-1941* / Hrsg. von Karl Schlögel <et al.> // Berlin: Akademie Verlag, 1999. – Ss. 333-334, 415.
4. См. о нем: *Портнова, Н.; Хазан, В.* Homo Cogitus, или «роман с философией» / В кн.: *Штейнберг, А. З.* Литературный архипелаг / М.: «Новое литературное обозрение», 2009. – Сс. 5-30.
5. Семен Наумович Каплан (1893–1979), философ. В эмиграции жил первоначально в Берлине, затем, после прихода Гитлера к власти, переселился в Париж, откуда перед оккупацией нацистами Франции бежал в США. Преподавал философию в St. John's College (Maryland).
6. Имеется в виду Исаак-Нахман Захарович Штейнберг (1888–1957), революционер, член партии эсеров, писатель, публицист, редактор, адепт теории территориализма, согласно которой евреи должны оставить сионистский проект и создать свое государство в любой стране, где для этого отыщутся подходящие условия. После революции 1917 года – политический и государственный деятель, член первого (коалиционного) советского правительства, нарком юстиции. В 1923 эмигрировал на Запад.
7. САНJP. Р 360, box XIV-XIVa.
8. *Равдин, Борис; Флейшман, Лазарь; Абызов, Юрий*. Русская печать в Риге: Из истории газеты «Сегодня» 1930-х годов / В 5-ти книгах. Кн. III: Конец демократии // Stanford, 1997. – С. 206 (*Stanford Slavic Studies*, vol. 15).
9. Там же, см. в особенности: Кн. III. – Сс. 197-201 и Кн. IV. – Сс. 167-169.
10. САНJP. – Рр. 360-443. Любопытно, что отторжение от современной России у Г. Света было такое, что племянницу своей корреспондентки, поэ-

тессу Маргариту Алигер, он называет Аллигеровой: «Имя Вашей Аллигеровой мне, конечно, известно. Я имею у себя книжку ее стихов. <...> Не могу Вам помочь и в отношении Аллигеровой. Однако, когда мой коллега поедет в Россию месяца через два, я его попрошу разузнать о судьбе Аллигеровой и, если от него потом что-нибудь о ней узнаю, – сообщу Вам» (там же).

11. «Первый всенародный сбор средств был объявлен на 7 ноября 1942 г., в день Октябрьской революции – на приобретение амбулансов, а на 22-е июня 1943 г. – в день второй годовщины войны с Германией – был объявлен второй сбор на приобретение перевязочных материалов для Красной Армии. Оба эти сбора дали до сих пор свыше 20000 фунтов стерлингов. Вместе с 10000 фунтов стерлингов, которые были собраны Гистадрут, палестинское еврейство дало до сих пор на помощь Красной Армии свыше 30000 фунтов стерлингов. По его завершении Лига объявит сбор на приобретение хирургических инструментов, медикаментов и медицинского оборудования. Тут инициатива принадлежит советскому посольству в Тегеране, предпочитающему помощь медикаментами и медицинскими инструментами всем другим видам помощи». (Еврейство Палестины – народам СССР: Сборник Лиги V / Ред. Я. Зарубавел // Тель-Авив, 1943. – С. 17)

12. Там же. – Сс. 25-26.

13. Примечание, по всей видимости, было сделано Г. Светом уже при подготовке рукописи к печати; под «последним годом» подразумевается 1943 год.

14. Еврейство Палестины – народам СССР: Сборник Лиги V. – С. 97.

Переписка Гершона Света

ПИСЬМО АЛЕКСАНДРУ КРЕЙНУ

Александр Абрамович Крейн (1883–1951), композитор, музыкальный деятель; брат композиторов Давида (1869–1926) и Григория (1879–1955) Крейнов; отец драматурга Александра Крона (1909–1983). Родился в семье скрипача, настройщика музыкальных инструментов и собирателя еврейского музыкального фольклора Авраама Крейна (1838–1921). Окончил Московскую консерваторию по классу виолончели А. Глена и по классу композиции Б. Яворского и Л. Николаева. В 1912–1927 гг. преподавал в Московской народной консерватории, в 1918–1927 гг. служил в музыкальном отделе Наркомпроса и Государственном музыкальном издательстве. С 1913 г. член Общества еврейской народной музыки.

Письмо печатается по автографу, хранящемуся в РГАЛИ. Ф. 2435, оп. 2, ед. хр. 186, л. 4-4 об.

Берлин – Москва
3 ноября 1928¹

Мой дорогой Александр Абрамович!

Спасибо за книжки. Я Вам еще 17-го октября выслал массу вырезок из немецкой прессы о «Ночи»² и мою статейку об оркестре без дирижера. Боюсь, что напутал в адресе³. Посылаю Вам расписку почты. Наведите справки. В Варшаве выходит еженедельный литературный журнал «Literarische blätter» на идиш. Написал там популярную статейку о музыке в театре Грановского⁴. Есть там и о Вас и Ваш преподобный лик там изображен. Когда получу журнал, вышлю.

Пишите и кланяйтесь Анне Михайловне⁵. Чудесная женщина. Целую Вас крепко.

Ваш [А. Крейн]

[на правых полях] В пятницу тут играет *Рахманинов*.

[на левых полях] Музыку Вашу к «Ночи» знаю уже на память. Когда приедете, проэкзаменуете. Темы и разработка замечательные, стали здесь шлягерами. В кафе их ведь «наши» распевают за столиками.

[На 2-й стр. письма Свет написал нотный фрагмент из партитуры «Ночь на старом рынке».]

1. Дата указывается по почтовому штемпелю на конверте. Написано на почтовой бумаге: Hermann Swet Redakteur

Berliner Vertreter der Zeitungen:

Moment – Warsaw

The Jewish Daily News – New York

Frühmorgen – Riga, *Sewodnia* – Riga

Mitglied des Vereins Der ausländischen Presse zu Berlin

Charlottenburg 2

Grolmastr. 53

Steinplatz 83 45, 89 71, 89 72

2. Имеется в виду спектакль ГОСЕТа «Ночь на старом рынке», поставленный А. Грановским в 1925 году по стихотворной драме классика еврейской литературы И. Л. Переца. Музыка, которую А. Крейн написал к этому спектаклю, его художественный оформитель Р. Фальк и многие годы спустя продолжал считать «совершенно гениальной» (цит. по кн.: *Иванов, В. В. ГОСЕТ: политика и искусство. 1919–1928* / М.: Российская академия театрального искусства – ГИТИС, 2007. – С. 258); см. также отдельную статью о музыкальном колорите этого спектакля: *Браудо, Евг.* Музыка Александра Крейна к «Ночи на старом рынке» // «Правда», 1925, № 37, 24 февр. – С. 8.

3. Несмотря на опасения Г. Света, письмо, которое он имеет в виду (датовано 17 октября 1927), благополучно дошло до адресата. Свет писал в нем своему корреспонденту: «Посылаю Вам рецензию немецкой прессы о ‘Ночи на старом рынке’. Постановка потрясающая. Ваша музыка меня до того взволновала, что я несколько дней ходил сам не свой. Успех у постановки и у Вас здесь колоссальный, и я счастлив Вас с этим поздравить. Во время паузы все критики [–] Вайсман, Прингсгейм и др., бегали ко мне справиться о Вас. Я действовал, как заправский коммивояжер, и поднес, что называется, товар лицом. Во всяком случае, автор этой музыки в Берлинском музыкальном мире теперь лицо уже не безызвестное» (РГАЛИ. Ф. 2435, оп. 2, ед. хр. 186, л. 3).

4. Свет имеет в виду свою статью «Музыка в Московском еврейском государственном театре», которая была опубликована в журнале «Literarische blätter» (1928, n. 46, November 16). В ней говорилось об обычной практике широкого использования музыки в театральных спектаклях. Однако, писал Свет, «ни в каком европейском театре музыка не занимает такого места, как у Грановского. Здесь музыка не вспомогательное средство, но оправданная

составляющая часть всей постановки, так же, как костюм, декорация, танец, жест и даже слово. Музыка у Грановского – один из элементов, из которого он составляет всю свою богатую звуками и красками режиссерскую симфоническую партитуру». И далее Г. Свет непосредственно переходил к музыкальному оформлению спектаклей А. Грановского, для кого писали разные композиторы, – и А. Крейн, по его словам, едва ли не лучший из них. Именно у А. Грановского, отмечал Свет, композиторский талант А. Крейна раскрылся сполна: последний писал музыку и для «Габимы», но в этом театре ей не уделяют столько внимания, как в ГОСЕТе, используется она мало и почти незаметна.

5. Жена композитора. В предыдущем письме А. Крейну, упоминавшемся в прим. 3, Г. Свет писал о ней: «То, что Вы очаровательный поэт-композитор, я знал по Вашей музыке, но то, что у Вас такая очаровательная жена, да еще такая умница, – это я – журналист – узнал с большим опозданием. Мы с ней тут вдоволь насудачились и посплетничали».

ДВА ПИСЬМА ИВАНУ БУНИНУ

Письма печатаются по автографам, хранящимся в RAL. MS 1066/5383-1066/5384.

*Иерусалим – Париж
начало 1946¹*

*Гершон Свет
Ерусалим, Ган-Ревавья*

Многоуважаемый Иван Алексеевич!

Не знаю, знакомо ли Вам мое имя. Если нет – разрешите представиться: я – еврей-журналист, член редакции газеты «Гаарец», в прошлом и русский журналист, долголетний сотрудник небезызвестной Вам газеты «Сегодня»² (царство ей небесное...), в которой подписывался я ГЕРМАН СВЕТ. (Таково было мое имя по паспорту. Тут, в Палестине, вернул я себе мое настоящее еврейское имя.) Из парижских газет вижу, что Вам исполнилось недавно 75 лет, и я шлю Вам мои и моих коллег искренние горячие поздравления. Я имею формальное право присоединить к моим и поздравления всех журналистов Ерусалима, т. к. вот уже седьмой год как состою председателем Союза журналистов Ерусалима. От их имени я еще *в мае* послал Вам через американский Джойнт (Вам и Дон-Аминадо) посылку и хотел бы знать, получили ли вы ее. Буду рад, если ответите мне³.

Хочу Вам сказать, что немало у Вас поклонников среди нашей еврейской пишущей братии в Палестине. Я, в частности, читаю и перечитываю *всё*, что носит подпись – И. Бунин, – и могу себя неко-

торым образом считать спецом по Бунину. Кстати, недавно вышло тут в одном издательстве на древнееврейском языке собрание рассказов Ваших: «Митина любовь», «Господин из Сан-Франциско» и еще что-то⁴. Я грешным делом не читал перевода, так как имею в моей библиотеке оригиналы и бесконечное число раз их перечитываю, но мне передавали знатоки, что их переводы (переводили разные переводчики) недурны, хотя и нелегко переводить Вас. Имею все «Новые журналы», в которых имеются Ваши рассказы – «Таня», «Чистый понедельник»⁵, – и даже «Новоселье», в котором имеются два прелестных «шорт стори» Ваших⁶. Собираюсь у нас в газете написать о Вас, и когда мой фельетон появится – пошлю его Вам в оригинале и русском переводе⁷. Имеются Ваши книги и в наших библиотеках, и читающие по-русски бесстыдно зачитывают их. У Рахиль Григорьевны Осоргиной⁸ имеется «Жизнь Арсеньева», и оба тома неоднократно пропутешествовали из ее в мою квартиру⁹.

До войны жил тут Митрополит Анастасий (глава Карловацкого собора)¹⁰. Я как-то был у него, и он просил меня послать ему Вашу книгу о «Святой Земле». Я ее тут нашел и послал ему¹¹.

Я жил два года в Париже (1933-35), а до того 13 лет в Берлине. Имел удовольствие присутствовать на Вашем торжестве в парижском театре Елисейских полей при получении Вами Нобелевской премии¹². Это – единственный раз в моей жизни, в который я Вас видел, да и то издали. Из парижских газет знаю, что Адамович, Зайцев, Ладинский выжили. О Тэффи тут писали некрологи, но слышу, что и она жива. От Алдановых, Вишняков получаются тут письма. Несмотря на успех Алданова в Америке (его «Начало конца» разошлось в 350.000 экземпляров. «Истоки» куплены издательством «на корню»). Вышла его книга о Байроне¹³), он, как я слышу, тоскует по Парижу. Цейтлин [sic] скончался месяца два тому назад¹⁴. Я одно время состоял с ним в переписке. Дошла ли до Вас его книга «Пятеро» о «могучей кучке» русских музыкантов?¹⁵

Примите еще раз мой привет из Ерусалима, в котором Вы ведь неоднократно бывали¹⁶.

Глубоко Вам преданный

[от руки] Г. Свет

Гершон Свет

Мой адрес:

Gershon Svet
Jerusalem
Gan-Rechavia 5

1. Отпечатано на машинке. В правом углу карандашом (не рукой Света) про-

ставлен год, взятый в квадратные скобки [1946]. Следует уточнить, что письмом написано в конце 1945 или в самом начале 1946 г.; на это указывает несколько обстоятельств, два из которых представляются в особенности значимыми: 1) И. Бунин родился 10/22 октября 1870, а Свет поздравляет его с минувшим 75-летием («...Вам исполнилось недавно 75 лет...»), и 2) в письме говорится о скончавшемся «месяца два тому назад» М. О. Цетлине, которого не стало 10 ноября 1945 года. Кроме того, письмо адресовано Ивану Алексеевичу в Париж (а не в Грасс), куда Бунины переселились 3 мая 1945 (см. в неопубликованной части дневников В. Н. Буниной запись от 9 мая 1946 г.: «Год, как мы приехали в Париж» (RAL)).

2. Русскоязычная еженедельная газета, издававшаяся в Риге с 17 августа 1919 по 21 июня 1940 (ред-ры: Н. С. Бережанский, М. И. Ганфман, Б. О. Харитон, М. С. Мильруд).

3. Р. Г. Гинцберг-Осоргина, которая, как и Свет, с 1935 года жила в Иерусалиме, в письме к В. Н. Буниной, датированном 3 июня 1945, писала: «Открытку И[вана] А[лексеевича Бунина] получила и очень огорчилась, что Вам так трудно. Передала ее в Союз Журналистов и Писателей. Боюсь, что и они не много смогут сделать. Вы представляете себе, к[а]к мы все разорены и какие деньги нужны для беженцев. Но посылки И[вану] А[лексеевичу] они пошлют, а я неделю тому назад послала четыре посылки Вам (на Яшкину улицу), Зайцевым, Бердяевым и [Дон-]Аминадо. Буду посылать регулярно, если можно будет. Пожалуйста, напишите, когда получите» (RAL. MS 1067/5720). «Яшкина улица» – улица, на которой Бунины жили в Париже, – rue Jean Offenbach, в шутку ее именовали на русский лад «Яшкиной».

4. Г. Свет имеет в виду книгу переводов прозы Бунина на иврит «Ahavato shel Mitia ve-od sipurim» («‘Митина любовь’ и другие рассказы») / Tel Aviv: Masada, 1946. В книгу вошло несколько произведений писателя, перевод которых на иврит был осуществлен разными переводчиками; см. у Г. Света в письме: «переводили разные переводчики». На оборот шмуцтитула, однако, вынесено имя только одного из них – И. Лихтенбойма, которому принадлежал перевод «Митиной любви», имена других указаны лишь в конце книги, в содержании: «Сны Чанга» и «В ночном море» (пер. А. Фишкина), «Господин из Сан-Франциско» (пер. М. Познанского). После выхода книги в свет издательству «Masada» пришлось через газету «Haaretz» принести свои извинения за эту техническую оплошность («Haaretz», 1946, n 8013, January 9. – P. 4).

5. Почему-то из многочисленных рассказов Бунина, напечатанных к этому времени в «Новом Журнале», Свет отбирает только два: «Таня» (1943, кн. 4. – Сс. 22-41) и «Чистый понедельник» (1945, кн. 10. – Сс. 7-21). Трудно сказать, свидетельствует ли это о том, что у него был не весь комплект журнала или он просто назвал первые пришедшие на память произведения писателя, напечатанные там.

6. В нью-йоркском (в те времена, впоследствии – парижском) журнале

«Новоселье» ко времени письма Г. Света были напечатаны следующие бунинские рассказы: «Три рубля» (1942, № 2, март. – Сс. 3-8), «Мадрид» и «Второй кофейник» (1945, № 21 (31), сент.-окт. – Сс. 3-12); позднее Бунин появился еще в трех книжках журнала. Историю «Новоселья», а также переписку его редактора и издателя С. Ю. Прегель с Буниным см. в кн.: *Прегель, С. Ю.* Разговор с памятью: Поэзия, проза, очерки и статьи: В 2-х томах / Сост., подг. текста, вступ. ст. и коммент. В. Хазана. – М.: Водолей, 2017.

7. По всей вероятности, Г. Свет о Бунине не писал; по крайней мере, в палестино-израильской периодической печати таких статей обнаружить не удалось.

8. Рахиль (Рахель) Григорьевна Осоргина (урожд. Гинцберг; 1885–1957), адвокат; дочь еврейского философа Ахад-ха-Ама (Ашер (Ушер) Гирш Гинцберг; 1856–1927); вторая жена писателя Михаила Андреевича Осоргина (Ильин; 1878–1942). Вместе с мужем была выслана из советской России осенью 1922, в эмиграции жила в Берлине, затем в Париже. После развода с Осоргиным состояла в гражданском браке с Н. В. Макеевым, будущим гражданским мужем Н. Н. Берберовой. Была в дружеских отношениях со многими творческими, политическими и общественными деятелями русской эмиграции: И. Буниным, К. Зайцевым, М. Алдановым, Дон-Аминадо, И. Фондаминским, М. Вишняком и др. В 1935 году репатрировалась в Эрец-Исраэль, где вместе с женой своего брата, Розой Гиносар-Гинцберг (урожд. Коэн; 1890–1979), первой женщиной-адвокатом в Палестине, держали в Иерусалиме адвокатскую контору. Г. Свет был дружен с Рахилью Григорьевной и ее братом, журналистом и дипломатом Шломо (Семеном) Гиносаром-Гинцбергом (1889–1968).

9. Судя по всему, имеется в виду следующее издание: *Бунин, Ив.* Жизнь Арсеньева. Истоки дней / Париж: «Современные записки», 1930. Однако данное издание состоит из одного тома.

10. Митрополит Анастасий (в миру: Александр Алексеевич Грибановский; 1873–1965) эмигрировал в 1919 году. Высшим Церковным управлением на Юге России был назначен на должность управляющего русскими приходами в Константинополе (1920–1924). Принимал участие в Карловацком зарубежном церковном съезде (21 ноября – 4 декабря 1921), на котором была создана РПЦЗ. В 1925 по 1936 гг. – наблюдатель за делами русской Духовной миссии в Палестине; жил в Иерусалиме. В 1950 году переехал в США.

11. Судя по всему, речь идет о книге Бунина «Тень птицы» / Париж: «Современные записки», 1931. В сборник вошли стихи и рассказы, написанные после посещения писателем Святой земли в апреле-мае 1907 года.

12. Чествование Бунина по случаю присуждения ему Нобелевской премии, о котором вспоминает Г. Свет, состоялось 26 ноября 1933 года в парижском Théâtre des Champs Elysées.

13. Г. Свет имеет в виду следующие издания: *The Fifth Seal* / Transl. by

Nicholas Wreden. – New York: C. Scribner, 1943, – английский перевод романа М. Алданова «Начало конца» / Париж: «Русские записки», 1939; роман «Истоки» вышел в 1950 году в парижском издательстве YMCA-Press. В перечне Г. Света вызывает недоумение указание на «книгу о Байроне»; имеется в виду повесть «Могила воина (Сказка о мудрости)», которая, будучи напечатанной в журнале «Русские записки» (1939, кн. 13, янв. – Сс. 3-65; кн. 15, март. – Сс. 3-36; кн. 16, апр. – Сс. 5-59), затем, в качестве отдельного издания, увидела свет еще в 1940 году, под одной обложкой вместе с «Пуншевой водкой» / Париж: Дом книги и «Современные записки».

14. Михаил Осипович Цетлин (1882–1945), поэт (писал стихи под псевд. Амар), беллетрист, литературный критик, издатель, переводчик, общественный деятель, меценат, основатель (совместно с М. Алдановым) «Нового Журнала» (1942).

15. Имеется в виду книга М. Цетлина «Пятеро и другие» / Нью-Йорк: «Новый Журнал», 1944, – 1-е изд.; 2-е, посмертное изд. – 1953). Иллюстрации к книге сделала приемная дочь Цетлина А. Н. Прегель, книга посвящена ей. Книга по просьбе вдовы автора М. С. Цетлиной была переведена в 60-е гг. на иврит одним из лучших израильских переводчиков Хананья Райхманом, однако затем Цетлина отозвала книгу из печати без разрешения на издания. Подробнее об этом см. в письме Ю. Марголина М. Вишняку от 17 февраля 1968 г. (Переписка между ними мною готовится к печати. – В. Х.)

16. Г. Свет заблуждается: Бунин посетил Святую землю единственный раз, как было сказано выше (прим. 11), в апреле-мае 1907 года, эту же ошибку он повторяет в следующем письме. О посещении Буниным Святой земли, помимо известных воспоминаний В. Н. Муромцевой-Буниной, см.: *Гольдман, Маша*. И. А. Бунин и Святая земля. Дисс. <...> д-ра философии / Jerusalem: The Hebrew University of Jerusalem, 2007.

Иерусалим – Париж

4 мая 1946¹

Иерусалим. Ган-Рехава

Дорогой Иван Алексеевич!

Получил Вашу открытку. Спасибо! Навел справку в Джойнте относительно посылок, которые я от имени коллег послал Вам и Дон-Аминадо. Они уверяют, что посылки были посланы и дошли к Вам. Возможно, что они просто упустили упомянуть имена отправителей. Во всяком случае, мы Вам посылаем еще одну посылку, и тоже через Америку, так как это единственный путь и наиболее верный. Имеются тут и частные бюро посылок во Францию, но через Джойнт вернее. Напрасно Вы так щедро отказываетесь от причитаемого Вам гонорара за перевод Ваших рассказов на иврит². Количество читате-

лей той или иной книги трудно определить, конечно. Опираются обычно лишь тиражом, и понятно, что число читателей каждой книги, по крайней мере, вдвое-втрое больше ее тиража. Исходя из этого расчета, я могу Вас без преувеличения уверить, что число читателей Ваших рассказов тут превосходит названную Вами цифру («не больше 10 человек»), по крайней мере, раз в 500. Я не имею точных данных, в скольких экземплярах выпустили это первое издание. Обычно издательства тут печатают от 3 до 5000 экземпляров. Если допустить, что Ваша книга вышла только в 2000 экземпляров – и в этом случае читали ее не меньше 5000 человек. Я лично думаю, что значительно больше. Издательство, выпустившее Вашу книгу, называется «МАСАДА». Оно находится в Тель-Авиве и имеет в Ерусалиме отделение. Был там вчера, но не застал заведующего. Заверну к ним на днях и выясню все подробности. Во всяком случае, советую Вам настоятельно послать Рахили Григорьевне [Осоргиной] официальную доверенность защищать авторские интересы перед издательствами, и мы вместе с ней тут уже кое-что для Вас выколоти́м³. Имеется издательство ШОКЕН. Оно зародилось в Германии лет 20 тому назад и выпускает исключительно книги по юдаике. Издательство – крупное и более чем солидное⁴. Лет 10 тому назад оно переехало в Палестину, обосновалось в Тель-Авиве, выпускает книги на иврит[е] и теперь готовится развить широкую деятельность в Америке. В Америке они будут издавать книги юдаистического содержания на английском языке, в Палестине они издадут на иврит[е] много переводной литературы. Лектор этого издательства, которому, кстати, принадлежит и газета «Гаарец», членом редакции которой я состою в качестве ерусалимского корреспондента, Ицхак Шенберг (сравнительно молодой еще беллетрист и поэт и перво-классный переводчик) – Ваш большой поклонник⁵. Они тоже подумывают о выпуске сборника Ваших рассказов⁶. Тут гонорар Вам гарантирован и будет Вам выслан своевременно. Я советовал им выпустить «Жизнь Арсеньева». Я в эту книгу Вашу издавна влюблен. Что Вы бы сами предложили? Не согласились бы Вы дать как бы предисловие к такому изданию?⁷ Что многие Ваши стихи переведены на иврит, Вы, вероятно, знаете. «Гробницу Рахили» перевел в свое время Саул Черниховский⁸, и Иосиф Ахрон⁹ переложил ее на музыку. Оба они уже, к сожалению, покойники. Издательства тут делают неплохие дела. Есть такое левое издательство «Ам овед» («Работник»). Они имеют 5000 постоянных абонентов. Дороговизна еще сильно дает себя чувствовать во всех областях жизни в Палестине, и книги тут не дешевы. По сравнению с английскими книгами наши книги даже определенно дороги. Однако продолжают издавать и в послед-

ние годы улучшили в значительной степени и технику печатания, и внешний вид наших книг несколько не хуже европейских изданий. Если издательство ШОКЕН выпустит сборник Ваших рассказов – будете довольны и переводом (имеются тут переводчики – большие мастера, как упомянутый Шенберг, Шлионский¹⁰, который перевел «Евгения Онегина»¹¹, вышедший [sic], кстати, также в переводе Левинсона¹², и др.), и качеством издания. Не мне, скромному писаке, делать комплименты Вам – маститому мэтру и нобелевскому лауреату, но знайте, что в Палестине у Вас много, даже весьма много, верных поклонников. Вы, если не ошибаюсь, были дважды в Палестине¹³. Но было это еще в «доисторические времена». Вы бы не узнали теперь Ерусалима. А Тель-Авива при Вас вообще еще, кажется, не было¹⁴. В области литературы произошло тут известное перемещение. До 1930 года приблизительно доминировала русская литература, потом вырос круг читающих по-немецки, теперь читают преимущественно английских авторов. Классики переведены на иврит почти все. Из русской литературы многое переведено, но большинство переводов устарело, и ряд издательств готовится заново переводить и Пушкина, и Гоголя, и Достоевского, и Толстого, и Тургенева, и др. Из советских авторов издан тут «Тихий Дон» Шолохова¹⁵ и еще кое-что. Думаю, что не посетуете на меня за столь подробный отчет о нашем издательском рынке. Побудил меня к этому Ваш скептицизм на этот счет и замечание, что читают Вас не больше десяти человек.

Я отошел почти совершенно от русских газетных дел. Время от времени я читаю «Советский патриот»¹⁶ и «Новое Русское Слово»¹⁷. Обе газеты эти, как Вы знаете, неинтересны. Жду с нетерпением выпуска новой книжки «Новый журнал» с обещанной статьей о Вас¹⁸.

Сердечный Вам привет

Ваш

Гершон Свет

1. Отпечатано на машинке.

2. См. прим. 4 к предыдущему письму.

3. Судя по всему, Бунин с такой просьбой к Р. Г. Гинцберг-Осоргиной не обращался; по крайней мере, в ее письмах к В. Н. Буниной данный мотив отсутствует.

4. Издательство названо по имени его владельца, Шломо Залман Шокена (Shlomo Salman Schocken; 1877–1959). См. о нем: *David Anthony. The Patron: A Life of Salman Schocken, 1877–1959* / New York: Metropolitan Books; Henry Holt and Company, 2003.

5. Ицхак Шенхар (Шенберг; 1902–1957), известный израильский поэт, беллетрист, переводчик. Родился в Украине в городке Волочиск (Волочиськ). В

1921 году репатриировался в Эрец-Исраэль. В 1930 году отправился изучать экономику в Берлинский университет. По возвращении работал в книжных издательствах, о которых пишет Г. Свет. В то же время начал свою литературную карьеру как оригинальный автор и как переводчик.

6. Издательство «Шокен» Бунина не издавало, а И. Шенхар не переводил его на иврит.

7. Такое издание не состоялось; роман «Жизнь Арсеньева» на иврит не переведен до нынешнего времени.

8. Саул (Шауль) Черниховский (1875–1943), еврейский поэт, переводчик; с 1931 г. жил в Эрец-Исраэль.

9. Иосиф (Юзель) Юльевич Ахрон (1886–1943), скрипач-виртуоз, композитор, музыкальный педагог. С 1925 жил в США.

10. Авраам Шлионский (Шлёнский; 1900–1973), еврейский поэт и переводчик; постоянно жил в Эрец-Исраэль / Израиле с 1921 года.

11. Свой знаменитый перевод «Евгения Онегина» А. Шлионский подготовил к столетней годовщине гибели Пушкина (1937); последняя редакции – 1966 г.

12. Авраам Левинсон (1891–1955), еврейский поэт, писатель и переводчик. С 1936 г. жил в Эрец-Исраэль. Возглавлял отдел печати в Еврейском университете в Иерусалиме, а затем, с 1939 г., – Центр обучения и культуры в Гистадруте (рабочий профсоюз). Писал на иврите и идише. В 1949 году вместе с идишским поэтом и писателем А. Суцкевером основал журнал «*Di goldene kait*» («Золотая цепочка»), один из самых значительных в те годы литературных печатных органов на идиш. Перевод «Евгения Онегина», как и А. Шлионский, осуществил в 1937 году.

13. См. прим. 16 к предыдущему письму.

14. Тель-Авив ведет свою историю с 1909 года, т. е. он возник уже после бунинского путешествия в Святую землю.

15. 1-я книга «Тихого Дона» (в пер. А. Шлионского) увидела свет в 1946 году.

16. «Советский патриот» (первоначально «Русский патриот») – просоветская эмигрантская газета (24 марта 1945 – 16 января 1948; Париж; ред. Д. Одинец).

17. Через некоторое время, оказавшись в Нью-Йорке, Г. Свет станет постоянным сотрудником этой самой старой эмигрантской газеты, начавшей выходить в 1910 году.

18. По всей видимости, Г. Свет имеет в виду следующие материалы: статья В. А. Александровой «И. А. Бунин» и «От редакции. Юбилей Бунина» // «Новый Журнал», 1946, кн. 12. – Сс. 168–178.

ДВА ПИСЬМА ИЗ ПЕРЕПИСКИ С М. А. И Т. М. АЛДАНОВЫМИ

Письмо Света М. Алданову печатается по автографу, хранящемуся в BAR. Mark A. Aldanov Coll. Arranged Incoming Correspondence, box 10, S-Z: Unidentified. Письмо Татьяны Марковны Алдановой (урожд. Зайцева;

1893–1968), кузины и жены М. Алданова, печатается по автографу, хранящемуся в САНПР. Р360-453.

ГЕРШОН СВЕТ – МАРКУ АЛДАНОВУ

Нью-Йорк – Ницца

3 апреля 1950¹

Дорогой Марк Александрович! Зовут меня Гершон Менделев. Наш Шимкин² жалуется, что это звучит как-то «очень не по-русски». Но я и не русский, а иудей, родившийся и выросший в России. Можете спокойно называть меня – Свет. Это проще и удобнее. С Вашим агентом непременно спишусь и встречу. Мне он ни к чему не нужен, так как я пока книг издавать не собираюсь. Когда я, полтора года тому назад, сюда приехал³, – я уповал на Всевышнего, что мне удастся здесь закончить две работы, с которыми я вожусь уже очень давно, но никак не удастся привести их в порядок. Одна из них – это история взаимоотношений России и Палестины с времен принятия русскими христианства. Я эту тему хорошо изучил, прочел уйму книг и документов, здесь я год тому назад читал в клубе «Надежда» доклад о русских путешественниках в Палестину, начиная с 10-го века, который как будто «знатокам» понравился. Вторая тема – это движение «жидовствующих», конец 15-го века. По моим скромным подсчетам, приняли иудейство в России около четверти миллиона душ. Движение это, начавшееся в Новгороде в 1475 году, *никогда* не замолкло. Вы, может, слышали, что в [18]70-80 гг. адепты этого движения, т. н. «геры», приехали в Палестину и там zaloжили ряд колоний. Цель их была «жить по еврейской вере на еврейской земле». Скоро они увидели, что сами евреи не очень там у нас живут «по еврейской вере»... Я историю этих «геров» в П[алести]не обследовал, с их слов записал их историю, затем заинтересовался историей всего движения, и, поверьте мне, что всё это полно «сенсационных подробностей». Царь Иван 3-й, напр[имер,] только случайно не принял иудейства⁴. Тайно исповедовал иудейство тогда глава русской Церкви митрополит Зосима⁵. Чтобы всё это оформить, написать, перевести на английский язык – нужно и время, и силы. А меня газетная работа заедает. Я пишу 14-15 статей в месяц, на разных языках, и, кроме того, сижу в бюро Еврейского Агентства 4 часа в день⁶, по вечерам хожу в концерты и, помимо всего, мне 57 лет и я чертовски устал от всех этих разных писаний. Да, прежде всего *заметьте себе наш новый адрес и дайте его, пожалуйста, также Столкинду*⁷: 155 Ист 77 стрит, апарт[мент] 5а. Удалось нам случайно получить чужую

квартиру в районе наших офисов, и моего, и моей жены⁸, которая работает в консульстве Израиля. Мы оба можем теперь отправляться на работу пешком – в Нью-Йорке это большая редкость! Это, конечно, отразится на нашем бюджете, который увеличился на 30-40 долларов в месяц, но я об этом не плачу. Если приедете сюда летом – буду рад Вас повидать. Не везет мне с Вами: уже второй раз я приезжаю в Америку, когда Вы отсюда убираетесь к «лазурным берегам» Ниццы⁹. Я и о музыке, конечно, могу сварганить занятную книжку, но и для этого ведь нужны и время, и силы. Жду с нетерпением Ваших «Истоков»¹⁰. Мар[т]ьянов, заведующий книжным складом «Нового русского слова»¹¹, болеет, и я его заместителя терроризирую и каждодневно спрашиваю, когда они получают Вашу книгу. Столкинду поклонитесь от меня. Держите связь со мной! Мы тут, по крайней мере, проведем еще год, а может, и больше.

Сердечный Вам привет от нас обоих
Ваш Свет

1. Отпечатано на машинке.

2. Виктор Исаакович Шимкин (1883? – 1967), издатель (1919–1967) нью-йоркской газеты «Новое русское слово», в которой в это время активно сотрудничал Г. Свет.

3. В США.

4. Широко известно, что правление Ивана III Васильевича (в позднейшей российской историографии Ивана Великого; 1440–1505) отличалось многими послаблениями в отношении евреев и некоторым расположением царя к ним, однако было бы явным преувеличением считать, вслед за Г. Светом, что Иван III «только случайно» избежал обращения в иудейство.

5. Зосима Бладатый (кончина не ранее 1496 года), митрополит Московский и Всея Руси (1490–1494), лицо, приближенное к царю Ивану III, действительно вращался среди т. н. «жидовствующих», в частности, поддерживал отношения с дьяком Федором Курицыным, попом Алексеем, с Дионисием, высказывался против казни еретиков и сам был заподозрен в еретичестве. Однако в октябре 1491 года он участвовал на Соборе, созванном для обличения ереси «жидовствующих», и произнес анафему еретикам. Позднее служил в Троице-Сергиевой лавре.

6. В США Г. Свет приехал в 1948 году из Израиля как представитель Еврейского Агентства («Сохнута»). Первоначально речь шла о недолгом сроке, однако со временем его командировка растянулась, в результате Г. Свет до конца жизни оставался в США.

7. Абрам Яковлевич Столкин (1882? – 1964), юрист, журналист, общественный деятель. Жил в это время в Ницце, поддерживал тесные отношения с Алдановым.

8. Жена Света Юдит (Йегудит) (урожд. Валь (Wahl), 1906–1964), – ср. неверную транслитерацию ее девичьей фамилии как Вахель в: *Пархомовский, Михаил*. Светлое имя: Гершон Свет // Русские евреи в Америке, кн. 5 / Ред.-сост. Эрнст Зальцберг // Иерусалим–Торонто–Санкт-Петербург: «Гиперион», 2011. – С. 63 (Русское еврейство в Зарубежье. Т. 21).

9. После окончания Второй мировой войны, с осени 1947 года, когда Алдановы вернулись в Ниццу, откуда бежали в США в 1940-м, они жили «на две страны».

10. Речь идет о двухтомном романе Алданова «Истоки», который вышел в свет в парижском издательстве YMCA-Press в 1950 году.

11. Николай Николаевич Мартьянов (1894–1984), владелец издательства и книжного магазина в Нью-Йорке (1326 Madison Av.), заведующий конторой «Нового русского слова». Член партии эсеров. Участник Белого движения. В эмиграции в 1920 году жил в Праге, учился в Карловом университете. В 20-е годы переселился в США, окончил Columbia University с дипломом Business Administration. Основал в Нью-Йорке и на протяжении нескольких десятков лет вел собственное дело по книгоизданию и книготорговле (одним из самых успешных его достижений – как рыночных, так и библиографических, – было печатание отрывных и настольных календарей на русском языке). Соредактор (вместе с М. А. Штерном) альманаха «Russian Artists of America» (1932, vol. I, Нью-Йорк). См. некролог: *Седых, Андрей*. Скончался Н. Н. Мартьянов // «Новое русское слово», 1984, № 26391, 16 февр. – С. 1.

ТАТЬЯНА АЛДАНОВА — ГЕРШОНУ СВЕТУ

Ницца – Нью-Йорк
28 апреля, 1958¹

Многоуважаемый Гершон Менделевич.

Очень благодарю Вас за присылку Вашей статьи². Буду искать и, конечно, найду знакомого, кот[орый] мне ее переведет: в детстве я училась еврейскому языку. У меня даже был очень известный учитель: Шолом-Алейхем, но – увы, – я всё давно забыла.

Большое спасибо. Надеюсь, что Вы и Ваша жена здоровы. У меня всё по-прежнему.

Сердечный поклон Вам обоим.

Ваша Т. Алданова

1. Год установлен по содержанию письма.

2. Судя по всему, речь идет об очерке Г. Света «Biglial nitsa shel teves» («Из-за павлиньего пера»), посвященном последней повести Алданова «Павлинье перо» (1957), который был напечатан в израильской (тель-авивской) газете

«Ma'ariv» (1958, n 4100, January 31, p. 15). События повести происходят, как известно, на Ближнем Востоке, и, пересказывая фабулу, Г. Свет идет, как следует думать, на сообщение заведомо недостоверного факта – о том, что Алданов, якобы, посетил эти края трижды. В статье «Naphilosophia shel hamikre etsel Mark Aldanov», написанной им еще при жизни писателя и помещенной в той же газете (Ma'ariv, 1954, August 13, p. 8. Название статьи – «Философии случая у Марка Алданова» – корреспондирует с подзаголовком романа Алданова «Ульмская ночь: философия случая» (Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1953), о появлении которой автор статьи и сообщал израильскому читателю.) Г. Свет писал о том, как Алданов при их встрече рассказывал, что в 16-летнем возрасте (В это время Алданову было неполных 18 лет. – В. Х.) присутствовал на похоронах Т. Герцля в 1904 году: находясь в то время в Мариенбаде и прочтя о смерти Герцля, он немедленно отправился в Вену, чтобы принять участие в траурной процедуре прощания с автором пророческой *Altneuland*, – и далее в статье упоминается о том, что в 1908 году Алданов посетил Эрец-Исраэль. Об этой единственной поездке Алданова на Ближний Восток Г. Свет писал и позднее, уже после смерти писателя, в очерке 1961 года, в котором описывал свою парижскую встречу с Татьяной Марковной, вспоминая, что покойный муж посетил Святую землю до Первой мировой войны. «В те годы, – рассказывала она, – ездил в Палестину и Бунин, опубликовавший свои впечатления в книге 'Святая земля' (по всей видимости Т. М. Ландау-Алданова имела в виду или сборник бунинских рассказов «Тень птицы» (1931), или «Весной, в Иудее» (1953)). Алданов собирался написать рассказ на тему Экклезиаста, но не успел. Смерть унесла с ним и ряд других невоплощенных литературных планов» (Свет Гершон. Встреча с Т. М. Алдановой // «Новое русское слово», 1961, № 17513, 19 февр. – С. 8). Ср. с той же ошибкой у Г. Света в публикуемом выше его письме И. Бунину.

Следует попутно заметить, что Свет еще упомянул Алданова в своей статье «An ureinikl fun prager gaon r' Yihazkal Landau krigt in Nju-York a literarishe praiz» («Потомок пражского гаона р. Иехезкеля Ландау получила в Нью-Йорке литературную премию»), появившейся в нью-йоркской газете «Forverts», выходящей на идиш (1949, n 18993, July 2, p. 3), в которой идет речь о родословной писателя. (Эта статья упомянута в кн.: *Уральский, Марк. Марк Алданов: Писатель, общественный деятель и джентльмен русской эмиграции* / СПб.: «Алетейя», 2019. – С. 51.) Известно, что Алданов был знаком с этой статьей: в письме к Г. М. Лунцу от 21 июля 1949 года он отреагировал на нее следующим образом: «Атран из Виттеля по воздушной почте прислал мне статью из 'Форвертса' о семье Ландау и заодно обо мне! По моей просьбе, мне ее здесь перевел знакомый. Очень мило написано, генеалогическая эрудиция автора замечательная, но у него, видно, есть свободное время» (Алданов Марк. Письма из Ниццы: Письма Г. М. Лунцу. 1948–1949 / Публ., текстология, коммент., перевод М. Адамович // «Новый Журнал», 2012, кн. 267. – С. 195).

ПИСЬМО А. ГЕОРГИЕВСКОГО (ШТЕЙНБЕРГА)

Об оперном лирическом теноре Арнольде Георгиевском (собств. Штейнберг; ок. 1882-?) известно немного. Одессит по рождению, он обучался искусству вокала у проф. К. Г. Коцебу, позднее совершенствовался в Милане у известного итальянского оперного певца Джузеппе Ансельми (Giuseppe Anselmi; 1876–1929). До революции выступал на оперных сценах Генуи (1910), Одессы (Театр А. Сибирякова, 1910–1912), Петербурга (Театр «Луна-парк», 1912), Вильно (1912) и других мировых оперных сценах. Жил в эмиграции в США. Знакомство Света с А. Георгиевским произошло в Кишиневе, именно в идишской кишиневской газете «Der yid» была опубликована его статья об этом певце «Концерт Арнольда Георгиевского» (1921, № 395, August 31. – Р. 3). Приводимая ниже заметка Г. Света в «Новом русском слове» значительно расширяет представление о биографии А. Георгиевского.

Письмо печатается по автографу, хранящемуся в САНР. Р. 360-449.

Атлантик-Сити – Нью-Йорк
19 августа 1958¹

Дорогой Гриша!

Твое письмо, в котором я нашел вырезку из газеты «Новое Русское Слово», я получил и с радостью читал твоё обозрение о моей пластинке и о моей карьере². Я чувствовал в твоей очень лестной для меня и талантливо написанной статье эту дружескую ноту, которая для меня дороже всяких похвал. Особенно ценно для меня то, что эта дружеская нить нас связывает уже 36 лет, т. к. мы познакомились в 1922-ом году³. Это достаточный срок, чтоб узнать друг друга и оценить характер и искренность доброжелательства. Если Богу угодно будет, чтобы наша дружба продолжалась бы хоть еще на пару десятков лет, то мы оба будем благодарны за Его милость.

Я специально зашел в Hotel Trautman и видел этот знаменитый Hall, dining rooms, living rooms and terrace с видом на море, то невольно вспоминалась советская пропаганда, что буржуазия уже разлагается. Ты должен видеть, как богатые гости в больших гостиницах Атлантик-Сити «разлагаются» на мягких креслах и диванах, в гостиных и на террасах и как лакеи им прислуживают и подают им разные напитки, включая шампанское. Дай Бог всем нашим дорогим не хуже «разлагаться».

Что касается Идалы Бёльзер, то, к сожалению, я узнал, что его уже нет в живых, приказал долго жить. Царство ему небесное! Это была красочная фигура, как выражаются по-английски: a colorful personality, ему уже было свыше 80-ти лет⁴.

Еще раз тебе большое спасибо за твою любезность.
Дружески жму твою руку.
Твой Арнольд
Сердечный привет твоей супруге.
Жена моя приветствует вас обоих.

1. Написано на почтовой бумаге Sea Gull Hotel:

Owner Management
Private Baths and Showers
105 S Kentucky Avenue
Atlantic City, N.Y.

2. В своей заметке «Арнольд Георгиевский» Свет писал:

«Выпущенная в продажу долгоиграющая пластинка тенора, свыше четверти века певшего на лучших сценах и концертных эстрадах Европы под именем Арнольда Георгиевского, представляет собой собрание записей, сделанных еще до [В]торой мировой войны. Уместившиеся на пластинке арии и песни, исполненные певцом в блестящий период его артистической карьеры, вызвали восторги слушателей и критики. Он пел в миланской Ла Скала, в парижской Гранд-Опера, пел на венской, берлинской и других оперных сценах. Ряд лет Арнольд Георгиевский состоял премьером бухарестской государственной оперы.

В первые годы после [П]ервой мировой войны Рауль Гинзбург, директор оперного театра в Монте-Карло, ангажировал Георгиевского на амплуа лирического тенора. В Монте-Карло он пел с Шаляпиным, Баттистини, Ансельми, пел партию Туриддо в 'Сельской чести', когда за дирижерским пультом стоял сам Масканьи. Слушал его и Пуччини, не веривший, что молодой тенор с голосом очаровательного тембра и виртуозного бельканто, с такой экспрессией поющий на безукоризненном итальянском языке, – ни в какой степени не итальянец, а самый настоящий одессит.

С первого появления Георгиевского на подмостках оперного театра в Монте-Карло критики обратили внимание и на подкупающую внешность молодого тенора, и на бархатный тембр его голоса, и на превосходную вокальную технику. Видная газета в Монте-Карло писала о нем как о 'новом Мазини'.

В годы после [П]ервой мировой войны я слышал Георгиевского в Кишиневе в концерте и затем в Берлине в опере. В партии Индийского гостя в 'Садко' он был вне конкуренции. Прекрасно пел он Кавалера де Грие из 'Манон' ('О, не буди меня дыхание весны!'), с совершенным вокальным мастерством исполнял роль Альмавивы в 'Севильском цирюльнике', Шуйского в 'Борисе Годунове' (он много раз пел эту партию, когда заглавную роль исполнял Шаляпин). На новой пластинке Георгиевского мы услышим

‘Степь’ Гречанинова и арию ‘Расцветали в поле цветики’ из его же ‘Добрыни Никитича’, упомянутую песню Индийского гостя из ‘Садко’ и цыганское ‘Ах, распoшел!’ Слушатели-евреи будут порадованы, услышав традиционное ‘Кол Нидрэ’ и ‘Эйзи Эйли’ в исполнении Георгиевского.

Настоящая фамилия артиста Штейнберг. Он учился пению у когда-то известного певца и педагога Константина Георгиевича Коцебу. Один из учеников Коцебу в честь учителя стал называть себя ‘Константинов’, а Штейнберг взял своим артистическим псевдонимом отчество своего профессора ‘Георгиевич’ и превратился в Георгиевского (Джорджевского).

Ценителям талантливoго пения русско-итальянской школы пластинка Георгиевского доставит много радости». (*Свет, Гершон*. Арнольд Георгиевский // «Новое русское слово», 1958, № 16586, 17 авг. – С. 4).

В единственной монографии, посвященной теме «Ф. Шаляпин и евреи», имя А. Георгиевского (Штейнберга) отсутствует, см.: *Darsky, Joseph*. Chaliapin and the Jews: The Question of Chaliapin’s Purported Antisemitism / New York: Nova Science Publishers, 2017.

3. Судя по статье, опубликованной в кишиневской газете «*Der yid*», упомянутой выше, знакомство произошло в 1921 году.

4. Идала Бёлзер – исполнитель песен на идиш.

ПИСЬМО Н. Л. БАРАНОВОЙ-ШЕСТОВОЙ

Наталья Львовна Баранова (урожд. Березовская; 1900–1993), дочь филолога Льва Шестова (Шварцмана). Подготовила и издала книгу об отце: Жизнь Льва Шестова: По переписке и воспоминаниям современников. В 2-х томах / Paris: La Presse Libre, 1983.

Письмо печатается по автографу, хранящемуся в САНПР. Р 360-449.

Шатне-Малабри (Франция) – Нью-Йорк
8 февраля 1964¹

Уважаемый г. Свет,

Я узнала от моей тети, Ф. И. Ловцкой (Mme Lowtzky, 44 R[a]utist[rasse] Zürich)², что вы интересуетесь сочинениями моего покойного отца, Льва Шестова.

Сообщаю вам, что была опубликована по-русски его биография:

Г. Ловцкий. Лев Шестов по моим воспоминаниям. ГРАНИ. 1960. № 45 и № 46³.

Эту биографию сейчас переводит на английский язык Mme Claire Socher, живущая с Mme Lowtzky⁴. Не заинтересует ли вас этот перевод для печатания в журнале «Commentary»[?] ⁵.

Еще сообщаю вам, что Mr. Bernard Martin (Rabbi), 1300 Summit Av., St. Paul (Min[nesota]), переводит часть книги Шестова «Афины и

Иерусалим» на английский язык и надеется этот перевод издать в университетском издательстве⁶. Если вам интересно, я могу его попросить, когда выйдет книга, ее вам послать.

Что касается перевода биографии, предполагаю, что месяца через два я могла бы вам послать.

Шлю вам искренний привет и прошу простить, что обращаюсь к вам.

Н. Баранова

1. Письмо отпечатано на именной почтовой бумаге с адресом (от руки добавлено: «Mme Baranoff» и «France»):

156 ter. Rue de Chateaubriand

Chatenay-Malabry (Seine)

Rob.14-83

2. Историк философии и психоаналитик Фаня (Фанни) Исааковна Ловцкая (урожд. Шварцман; 1873–1965), сестра философа Льва Шестова, училась на философском отделении Бернского университета (1898–1909), окончив который, защитила диссертацию по теме «*Studien zur erkenntnistheorie: Rickerts lehre über die logische struktur der naturwissenschaft und geschichte*» (опубликована отдельной книгой: Leipzig: R. Noske, 1910). В годы Первой мировой войны переехала с мужем в Женеву, где они прожили до начала 1922 года, а затем в Берлин, где Фаня Исааковна сблизилась с психоаналитическими кругами, стала членом Deutschen Psychoanalytischen Gesellschaft, познакомилась с ведущими психоаналитиками, включая З. Фрейда и М. Эйтингона (и позднее познакомилась с последним своего брата. См.: Исцеление для неисцелимых: Эпистолярный диалог Льва Шестова и Макса Эйтингона / Сост. и подг. текста Владимира Хазана и Елены Ильиной; Вступ. ст. и коммент. Владимира Хазана // М.: «Водолей», 2014). Ее перу принадлежит ряд сугубо специальных психоаналитических работ и трудов по клиническому анализу: Eine okkultistische Bestätigung der Psychoanalyse // Imago: Zeitschrift für Anwendung der Psychoanalyse auf die Geisteswissenschaften (Wien), 1926, Band XII, Heft 1. – Ss. 70-87; Bedeutung der Libidoschicksale für die Bildung religiöser Ideen (*Das dritte Testament* von Anna Nikolajewna Schmidt) // Ibid., 1927, Band XIII, Heft 1. – Ss. 83-121; L'opposition du surmoi à la guérison: Trois cas cliniques // Revue française de psychanalyse (Paris), 1934, t. 7, n 2. – Pp. 197-216; Das Problem des Masochismus und des Strafbedürfnisses im Lichte klinischer Erfahrung // Psyche (Paris), 1956, n 10 (5). – Pp. 331-347) и др. Крайне любопытным в ее научном опыте оказалось соединение философской и психоаналитической проблематики, например, посвященное М. Эйтингону исследование «Herrn Dr. Max Eitingon in Dankbarkeit gewidmet» о философии и личности С. Кьеркегора, первоначально появившееся на немецком языке: Lowtzky, Fanny. Sören Kierkegaard: Das subjektive Erlebnis und die religiöse Offenbarung: Eine psycho-

analytische Studie einer Fast-Selbstanalyse (Wien: Internationaler psychoanalytischer. Verlag, 1935), затем в виде статьи по-французски: *Lowtzky, Fanny*. L'expérience subjective et la révélation religieuse: Étude psychanalytique // *Revue française de psychanalyse* (Paris, 1936, t. IX, n 2. – Pp. 204-315) и, наконец, отдельным французским изданием: *Lowtzky, Fanny*. Søren Kierkegaard: L'expérience subjective et la révélation religieuse: Étude psychanalytique / Paris: Les Éditions Denoël & Steele, 1937. См. также ее работы: Mahatma Gandhi: A Contribution to the Psycho-Analytic Understanding of the Causes of War and the Means of Preventing Wars / *International Journal of Psycho-Analysis* // London, 1952, vol. 33, n 4. – Pp. 485-488 (статья посвящена памяти М. Эйттингона); L'angoisse de la mort et l'idée du bien chez L.N. Tolstoï // *Revue française de psychanalyse*, 1959, t. XXIII, n 4. – Pp. 495-525. Подробно о ней и ее муже, Г. Л. Ловцком, см. в кн.: *Russian Philosophy in Exile and Eretz Israel*, part 2: «The Marvelous Land of Palestine»: Around Lev Shestov's Visit to Eretz Israel in 1936 / Comp. and comment. by V. Khazan and V. Janzen. Jerusalem: The Hebrew University of Jerusalem, 2021.

3. Композитор, музыковед, литературный и художественный критик Герман Леопольдович (Герш Липович) Ловцкий (1871–1957), зять, друг и горячий почитатель философии Шестова, оставил ряд статей и воспоминаний о нем: «Гецсиманская ночь» Льва Шестова (*La nuit des Gethsémani. Essai sur la philosophie de Pascal par Léon Chestov*) / Librairie Grasset. – Paris. 1924 // *Дни* (Париж), 1924, № 407, 9 марта. – С. 11; *Leo Schestow* // *Archiv für systematische Philosophie und Soziologie*. 1926, Band, 29, Heft 1/2, S. 70-77; *Schestow, Leo*, Potestas clavium (*Die Schlüsselgewalt*) // *Kant-Studien*, 1929, Bd. 34, Heft 1/2. – Ss. 228-229; <Рец. на:> *Л. Шестов*. На весах Иова (Странствования по душам). Издание «Современных записок» / Париж, 1929. – С. 372 // «Современные записки», 1930, кн. 41. – Сс. 532-537; *Философские труды Л. И. Шестова* // «Последние новости», 1936, № 5439, 13 февр. – С. 3; *Философ библейского откровения* // «Новый Журнал», 1966, кн. 85. – Сс. 207-230. См. о нем: «*Russian Philosophy in Exile and Eretz Israel* (Part 2)»; указ. работа Ловцкого «Лев Шестов по моим воспоминаниям» увидела свет уже после его смерти, благодаря стараниям вдовы, в двух номерах журнала «Грани» (Франкфурт-на-Майне. 1960, № 45. – Сс. 78-98; № 46. – Сс. 123-141).

4. Ф. И. Ловцкая содействовала переводу воспоминаний на английский язык, однако рукопись в 50 страниц осталась неопубликованной (Translated from Russian by Claire Socher, with a note by Stanley Grean; хранится в Amherst College Archive. L. Shestov Coll. Box 2, folder 7).

5. В американском журнале «*Commentary*» воспоминания Г. Ловцкого не печатались.

6. *Shestov, Lev*. Athens and Jerusalem / Transl., with an introduction by Bernard Martin Athens // Ohio University Press, 1966.

ТРИ ПИСЬМА А. ЕВЗЕРОВА (А. ЭЙЗЕРА)

Александр Эммануилович Евзеров (в Эрец-Исраэль / Израиле: Алекс Эйзер; 1895–1973) был одним из самых энергичных и умелых организаторов торгового и промышленного хозяйства в Палестине. Родом из Петербурга, он окончил в российской столице гимназию, затем учился в Психоневрологическом институте и на юридическом отделении университета, однако образование завершил уже в Томске, куда перебрался в 1915 году. Здесь же начал свою сионистскую деятельность: с 1916 года возглавлял местное отделение студенческой сионистской организации «Гехавер». После Февральской революции 1917 года входил в сионистские комитеты евреев Сибири и Урала. С октября 1917-го редактировал «Известия временного Западно-Сибирского районного комитета Сионистской организации» (с ноября – «Известия Западно-Сибирского райкома Сионистской организации») и до февраля 1918-го – журнал «Сионистская мысль». В 1919–1920 гг. являлся членом редколлегии еженедельного общественно-политического и литературного журнала «Еврейская жизнь» (Иркутск). В 1920 году решил переехать в Палестину и добирался туда через Монголию и Китай. Какое-то время жил в Китае как представитель международного профсоюза сионистов, основал там (совместно с инженером М. А. Новомейским) и редактировал (сначала в Шанхае, затем в Харбине) еженедельник Палестинского информационного бюро на русском языке «Сибирь-Палестина». В 1921 году, приехав в Палестину, первое время работал в составе группы «Сибирь» на строительстве дорог и посадке цитрусовых. Однако после болезни ему пришлось оставить физический труд и поселиться в 1923 году в Тель-Авиве. Участвовал в создании журнала «Miskhar ve-ta'asiya» («Торговля и промышленность») (1923) и в организации различных торговых и промышленных компаний. По его инициативе и при неизменном участии прошло свыше 40 выставок продукции Эрец-Исраэль в 17 странах мира. Он стал главным организатором т. н. «восточных ярмарок-выставок» в Тель-Авиве, которые приобрели международный размах – в них участвовало около 40 стран мира. Он же придумал эмблему этих ярмарок – «Крылатый верблюд». Так называется одна из глав в книге «Путешествие в Палестину» (1937) эмигрантского поэта и писателя Ант. Ладинского, жившего в Париже и посетившего Ближний Восток в 1936 по заданию газеты «Последние новости». (Письмо Ант. Ладинского палестинскому писателю, журналисту и общественному деятелю Я. Вейншалу из Парижа в Тель-Авив от 6 декабря 1936 г., в котором упоминается А. Евзеров, см. в кн.: *Хазан, Владимир. Особенный еврейско-русский воздух: К проблематике и поэтике русско-еврейского литературного диалога в XX веке / Иерусалим: Гешарим; М.: Мосты культуры, 2001. – С. 299.*) В 1949 г. по инициативе Евзерова в Иерусалиме развернулось строительство Дворца наций (Binjanej ha-Uma). С конца 1950-х занимался в основном журналистикой, в

том числе радиожурналистикой, – был редактором и ведущим передач на русском языке на радиостанции «Голос Израиля», транслировавшихся на СССР. В 1959–1963 гг. под его редакцией издавался ежемесячный журнал на русском языке «Вестник Израиля» (с 1959 – член редколлегии, с 1960 – гл. редактор), а в 1963–1967 гг. – двухмесячник «Шалом». В дальнейшем являлся руководителем службы информации экономического отдела Еврейского агентства, а также занимался проблемами экспорта израильской продукции за рубеж. (О его сибирском периоде см.: *Мучник, Ю. М.* Из истории евреев в досоветской Сибири / Томск, 1997. – Сс. 35-47.) Самодеятельный поэт и любитель литературы, Евзеров собрал большую и ценную библиотеку русской поэзии, которую в 70-е гг. передал в Национальную и Университетскую библиотеку Израиля (Иерусалим). Его поэтический экспромт на книге эмигрантского поэта Д. Кнута «Насущная любовь» (Париж, 1938) воспроизведен в: *Хазан, В.* Довид Кнут: из новых материалов // Еврейский книгоноша (Москва), 2005, № 7. – С. 50; о том, что, по всей видимости, именно он скрывается за аббревиатурой Ал. Э. – рецензента, появившегося однажды в эмигрантском журнале «Русские записки» (Париж–Шанхай, 1938, № 11), см.: *Хазан, Владимир.* О некоторых псевдонимах деятелей эмигрантской русско-еврейской печати (парижские еженедельники «Еврейская трибуна» и «Рассвет») / Псевдонимы Русского Зарубежья: Материалы и исследования // Под ред. М. Шрубы и О. Коростелева / М.: «Новое литературное обозрение», 2016. – Сс. 87-89.

Как это с очевидностью вытекает из публикуемых писем, Г. Свет не только печатался в «Вестнике Израиля» (перечень его статей дан в прим. к письму от 3 января 1962), но и осуществлял своего рода миссионерско-маркетинговые функции, добывая в США средства для его финансирования (или, по крайней мере, помогал погасить долги редакции). Этот биографический факт, который, как кажется, обнаруживается здесь впервые, служит дополнительным штрихом к характеристике многодеятельной натуры Света.

Письма печатаются по автографам, хранящимся в САНЛР. Р 360-447-449.

Тель-Авив – Нью-Йорк
3 января 1962¹

Дорогой Свет.

Получил Ваше письмо от 26.XII. Гроссман окончательно решил выйти из «Вестника»². Его категорическое заявление: «Я не допущу, чтоб меня цензурировали». А те, кто ответственны за распространение журнала в той стране, где наш журнал является единственным источником информации, в свою очередь, стоят на том, что те номера, в которых будут напечатаны статьи, с их точки зрения нежелательные для этой страны, – они не будут там распространять³. М[сир]

И[ильч Гроссман] настаивает, чтоб мы не считались с ними, печатали то, чего находим нужным, – и баста. Журнал издается не только для той страны, а для «мирового еврейства». Нам, конечно, очень лестно, что «Вестник» читается во многих странах и что мы получаем много хвалебных писем, но не для «мирового еврейства» (т. е. для эмигрантов из России – отживающего поколения) выпускаем мы с таким напряжением сил этот орган. Мы отказались порвать с «ними» и пойти с М[еиром] И[льичом], как нам ни жалко лишиться М[еира] И[льича] и как нам ни больно от этого конфликта.

М[еир] И[льч] собирается основать новый журнал на русском языке, – как видно, в Париже. Общееврейский журнал на русском языке, выходящий в Париже, не является ни в каком отношении конкурентом «Вестнику». Удастся ли М[еиру] И[льичу] основать такой журнал, будет ли журнал стоять на надлежащей высоте, нужен ли такой журнал – все эти вопросы, на которые у нас нет ответа, и жизнь даст эти ответы⁴.

«Вестник» продолжает свое дело. Думаю, что на его уровне уход М[еира] И[льча] не отразится. Финансовое положение тяжелое, дефицит гнетет, – но такое положение было и при М[еире] И[льиче]. Продолжаем верить в нашего друга Света, – но и это не ново. Мы уже верим в него 2 года – и всё еще не раз[у]верились.

В № 28 мы даем второе стихотворение Евтушенко⁵. И снова – его перевод на разные языки. Само стихотворение дадим и в переводе на немецкий. Передайте my compliments переводчику – Герману Свету. Хороший перевод, получил удовольствие. Хотелось бы, однако, не только перепечатывать его художественный перевод стихов, но и дать его статью. Давно уж статьи Света не появлялись в «Вестнике»⁶.

Ждем вестей, статьи и – о, многоверные и легковверные! – чека в несколько тысяч долларов.

Крепко жму руку

Ваш А. Эйзер

Привет D. R.⁷

1. На почтовой бумаге журнала «Вестник Израйля» (Tel Aviv, Hayarkon Str. 137).

2. Речь идет о журналисте и одном из лидеров сионистского движения Меире Гроссмане (1888–1964). Родился в г. Темрюк (Таманский полуостров). Начал свою карьеру журналиста в России – печатался в периодических изданиях на русском языке (был корреспондентом одной из крупнейших российских газет «Биржевые ведомости») и на идиш. С ранних лет примкнул к сионистскому движению и был членом Поалей Цион. Учился в Петербургском университете, позднее, с 1913 г., жил и учился в Берлине, где был членом центрального комитета сионистской студенческой организации «Гехавер» и

редактором ее журнала на русском языке («Еврейский студент»), а также юмористической газеты на идиш («Der Ashmeday»). В годы Первой мировой войны издавал в Копенгагене (затем в Лондоне) двухнедельник на идиш «Di Tribune». В начале 1917 года вернулся в Петроград, сотрудничал в газете «Togblatt» (редактор И. Гринбаум), а после большевистского переворота 1917 года переехал в Киев, где был избран членом Исполнительного комитета сионистов Украины и участвовал в работе Еврейского национального собрания и Временного национального совета евреев Украины. Был депутатом Украинской Центральной рады. В годы Гражданской войны на Украине вместе с А. Коральником (1883–1937) был послан за границу, чтобы информировать мировую общественность о критическом положении украинского еврейства. В результате этой поездки были созданы комитеты помощи украинским евреям в Англии и США (1919). Редактировал в это время газету на идиш «Unzer Tribune». В конце 1919-го совместно с Я. Ландау (1892–1952) преобразовал Еврейское корреспондентское бюро в Еврейское телеграфное агентство (Yiddishe telegraf agentor). Сотрудничал в русско-еврейском еженедельнике «Рассвет», издававшемся в Берлине (1922–1924), а затем в Париже (1924–1934). Репатриировавшись в Палестину, основал в 1925 году в Иерусалиме ежедневную газету «Palestine Bulletin» (с 1932 – «Palestine Post», с 1950 – «Jerusalem Post»). После создания В. Жаботинским в 1925 г. Ревизионистской партии был до раскола 1933 г. его ближайшим помощником (раскол произошел из-за разногласий по вопросу об отношениях со Всемирной сионистской организацией). В результате Гроссман объединил своих сторонников в Партию еврейского государства, которая осталась в ВСО после выхода из нее ревизионистов. С 1934 года – директор банка, субсидировавшего заселение страны (Bank le-hityashvut amamit). В годы Второй мировой войны находился в США, принимая активное участие в еврейской общественной жизни. В 1948 г. был избран членом правления Еврейского агентства и возглавил его экономический отдел. До выхода из «Вестника Израиля», о котором пишет Евзеров, возглавлял его редакционный совет. В поздравительном приветствии с 75-летием Гроссмана, напечатанном в журнале «Шалом», говорилось (1963, № 3, июнь-июль. – С. 24): «Дорогому Меиру Ильичу Гроссману, ветерану русского сионизма, зачинателю журнала ‘Вестник Израиля’ и председателю его редакционного совета, к его 75-летию шлет сердечный привет и пожелания долгих лет плодотворной деятельности редакция журнала ‘Шалом’».

А год спустя редакция журнала просталась с Гроссманом (1964, № 7, апр.-июнь. – С. 11): «Редакция журнала ‘Шалом’ скорбит о смерти Меира Ильича Гроссмана. Ушел борец за создание еврейского государства, идеолог сионистского движения, основатель и редактор многочисленных сионистских изданий, выдающийся общественный деятель».

См. также в письме Марголина Вишняку от 16 января 1962 (НИА, Вох 5): «Меир Гроссман вышел из ‘В[естника] Израиля’, не желая подчиняться цензу-

ре и хозяйничанию м[инистерства] ин[остранных] д[ел], превратившего 'В[естник] И[зраиля]' в свой 'информационный бюллетень'. Редактирует – Евзеров. Мое же отношение, что 'на безрыбье и рак рыба'. На независимый и 'настоящий' журнал – нет денег».

3. Речь идет о Советском Союзе.

4. Этот план Гроссману осуществить не удалось.

5. В 26/27-й книжке «Вестника» за 1961 год (октябрь-ноябрь. Сс. 17-21) стихотворение Е. Евтушенко «Бабий Яр» было приведено в подлиннике, а также в переводах на разные языки: английский, французский, польский, идиш, датский, итальянский и иврит. В следующей, 28-й, книжке (декабрь 1961 – январь 1962) журнал напечатал еще несколько переводов этого стихотворения – на чешский, испанский и шведский языки (С. 32); среди них и был помещен перевод на немецкий язык, осуществленный Г. Светом (С. 31). Следует заметить, что в этой же книжке журнала редакция поместила стихотворение «Разговор» («Мне говорят: 'Ты смелый человек'...») – поэтический ответ Евтушенко на сурово-критические отклики, которые обрушились на него самого и на «Бабий Яр» после появления в печати, – и вновь с переводами на польский, иврит, идиш и английский (С. 29). Кроме того, были опубликованы стихи еврейских поэтов, откликнувшихся на «Бабий Яр»: «Письмо» израильской поэтессы М. Ялан-Штекелис, писавшей на иврите и по-русски (С. 30); «Евгению Евтушенко» тогдашнего Генерального секретаря Союза писателей Израиля А. Бройдеса, перевод с иврита А. Рафаэли (Ценципера) (С. 30); и «Тени над 'Бабьим Яром'» жившего в Нью-Йорке еврейского поэта Л. Файнберга, перевод с идиша А. Рафаэли (Ценципера) (С. 31).

6. Г. Свет был представлен в «Вестнике Израиля» следующими статьями: «Гости из Москвы. Письмо из Нью-Йорка» (1960, № 2 (9), февр. – Сс. 24-25) – о Д. Ойстрахе, Э. Гилельсе (Ср. его материал о гастролях Э. Гилельса в США в 1962 г.: *Свет, Гершон*. Третий реситаль Гилельса // «Новое русское слово», 1962, № 17924, 6 апр. – С. 3.) и других советских пианистах-виртуозах, ставших в 50-х гг. известными в США благодаря своим гастролям; «Об еврействе Эйнштейна» (1960, № 6 (13), июль. – Сс. 21-23); «Из блокнота еврейского журналиста» (1961, № 19, февр. – Сс. 27-28) – об американском еврействе; «Памяти Л. Пастернака: К столетию со дня рождения» (1962, № 30/31, март-апр. – Сс. 40-42); «*Манэ Кац*» (1962, № 32, май-июнь. – С. 21).

7. Неустановленное лицо.

Тель-Авив – Нью-Йорк
15 мая 1963¹

Дорогой Свет,

Вчера был у меня г-н Левин². Очень мило провели с ним несколько часов. Беседовали «обо всем понемногу», рассказал ему и

некоторые мои впечатления о поездке в Россию. От него Вы узнаете больше, чем я мог бы сообщить Вам в письме. Вот если б Вы приехали – как предполагали, – мог бы многое любопытное рассказать Вам. Конечно, всё это случайные впечатления, и из них нельзя делать общих выводов. Но в чем я убежден – это в большой общественной задаче, которую выполняет наш маленький журнал. Он и русское радио из Израиля – единственные источники, откуда интересующиеся страной (а их немало) черпают сведения – и глотают их.

Но почему, дорогой наш друг, мы не получаем от Вас обещанных статей? Мы просили статей о Лейбе Яффе³. Напишите ли или выберите другую тему.

Что с Вашей поездкой в страну[?] Как здоровье[?] Были бы очень рады видеть Вас у нас.

О наших делах не пишу. Обо всем Вам расскажет Левин.

Сердечный привет.

Крепко жму руку

Ваш А. Эйзер

1. Отпечатано на почтовой бумаге журнала «Шалом» (Tel Aviv, 137, Hayarkon Str.).

2. По всей видимости, имеется в виду поэт, прозаик, драматург и художник Иосиф Михайлович Левин, автор следующих книг: поэмы с рисунками автора «Сказание о вороне» (Нью-Йорк: Изд. «Индер зверь», 1945), стихов и поэмы с рисунками автора «Улов» (Нью-Йорк: Гриф, 1966), романа с рисунками автора «Передел» (Париж: Изд. «Гриф», 1967), романа с рисунками автора «Земная орбита» (Париж: Изд. «Гриф», 1970), драмы «Моисей» (Париж: Изд-во «Гриф», 1971); автор предисловия к книге стихов его брата, поэта, политического и общественного деятеля Вениамина Михайловича Левина (1892–1953) «Лик сокровенный» (1954), изданной посмертно.

3. Лев Борисович (Лейб Беркович) Яффе (1876–1948, погиб в Иерусалиме во время террористического акта), поэт, переводчик, редактор, сионистский деятель. Статей о Яффе Г. Свет не писал; впрочем, в журнале «Шалом» он вообще не печатался.

Тель-Авив – Нью-Йорк

28 апреля 1964¹

Дорогой Свет!

Мы получили письмо от Марголина², очень оптимистическое. Он рассказывает нам о теплом приеме, оказанном Вами, и уверен, что Ваши «многовековые» обещания наконец реализуются и с нас будет снят этот груз наших долгов в 6800 изр[аильских] лир (2300

долл[аров]), и мы сможем нашу энергию беспрепятственно направить на дальнейшее развитие журнала.

Рады сообщить Вам, что мы получаем известия из России о всё более широком распространении журнала, который вместе с израильской радиопередачей на русском языке служит единственным источником информации о том, что делается в стране, для многих жаждущих.

Когда собираетесь приехать к нам?

Ценим всё, что Вы сделаете для журнала.

Всех благ.

[от руки] Ваши А. Эйзер

Д. Рабинович³

О. Зиман⁴

2300\$ не предел, а необходимый минимум!

1. Отпечатано на почтовой бумаге журнала «Шалом» (Tel Aviv, 137, Hayarkon Str.).

2. Справку о Ю. Б. Марголине см. во вступительной заметке к следующему эпистолярному разделу.

3. Давид Михайлович Рабинович (1899–1979), журналист, поэт; автор сборника стихов «Сердце настужь» (Шанхай: Изд. тип. Г. Сильницкого, 1938). После эмиграции из советской России жил в Харбине и Шанхае. Репатририровался в Израиль после образования государства. Входил в редакционный совет журналов «Вестник Израиля» и «Шалом».

В архиве Света сохранилось «объяснительное» письмо к нему Д. Рабиновича – по поводу изъятия из его статьи «Из блокнота еврейского журналиста» одного абзаца, посвященного антисемитизму в США. Письмо написано на почтовой бумаге «Вестника Израиля» (САНЖР. Р 360-446):

13/3/61

Дорогой г-н Свет!

Надеюсь, Вы получили № 19 н[ашего] журнала с В[ашей] статьей. В целях верстки – для того, чтобы Ваша статья вложилась в 2 стр., – пришлось в последний момент изъять один абзац – об антисемитизме в США. Никакие другие соображения нами не руководили. Будем ждать с интересом и нетерпением В[аши] дальнейшие статьи.

Как себя чувствуете, что нового у Вас и есть ли новости для нас? У нас всё по-старому, работаем, хотим верить, что вершим какое-то дело общественной важности.

Есть основания думать, что Менр Ильич [Гроссман] будет принимать в н[ашем] журнале более активное участие.

Всего Вам лучшего

Уваж[ающий] Вас,

Д. Рабинович

Стали серьезно готовиться к «3-му раунду». У Вас, в О[бъединенных] Н[ациях], обстановка для нас неблагоприятная, да, вообще, Восток переходит, видимо, в наступление. Всё же надеемся, Бог даст, пронесет.

Еще раз – будем ждать Ваших вестей.

Всего хорошего.

Ваш

Д. Рабинович

Упомянутая статья – «Из блокнота еврейского журналиста» (1961, № 19, февр. – Сс. 27-28).

4. О. Зиман, журналист, поэт; автор сборника «Стихи оттуда...» (Тель-Авив, 1971); входил в редакционный совет сначала «Вестника Израиля», а после его закрытия – «Шалома».

ПИСЬМО ЮЛИЯ МАРГОЛИНА

Публицист и политический писатель, поэт и философ, видный еврейский общественный деятель и узник советского ГУЛага Юлий (Иегуда) Борисович Марголин (1900–1971) относится к той же категории «дихотомических» исторических фигур, что и Г. Свет: с одной стороны, его имя вроде бы не нуждается в детальном представлении, с другой же – оно мало о чем говорит, в особенности массовой аудитории.

Родившийся в Пинске, на окраине – географической и культурной – Российской империи, Марголин, как и многие его современники, со временем переселился со всем своим еврейским и европейским багажом в русскую культуру. Как замечательно метко писала уже после его смерти израильский журналист и литературный критик Наталья Рубинштейн, «азбуке он выучился по Гоголю, а любви к поэзии – по Блоку и Пастернаку. <...> он не только Мандельштама, он и Тувима читал в подлиннике, и Рильке, и Верлена. Русскую культуру любил не по скудости образования, связавшего его одноязычием: он был европеец высокой пробы, для которого любая национальная культура была лишь частью культуры универсальной. И еврей он был не со вчера, не вычислил, не надумал себе ‘еврейское самосознание’, а был знаток литературы на идиш, ценитель новой поэзии на иврите, участник горячих сионистских дискуссий» (*Р[убинштейн,] Н. Урок Марголина // Юлий Марголин. Над Мертвым морем. Б/м, 1980 (?). – С. 7.*

После окончания Екатеринославского реального училища Марголин учился в Берлинском университете, где слушал лекции по философии, посещал семинар Ю. Айхенвальда по русской литературе. Это было время, когда после прихода к власти большевиков многочисленные русские эмигранты осели в Берлине. Марголин, в каком-то смысле также эмигрант, был тесно связан с ними, в особенности с членами творческой группы, носившей при-

чудливое название «4+1» (четыре поэта + прозаик) (Об этой группе см.: *Сосинский, Владимир*. Рассказы и публицистика / М.: Российский Архив, 2002. – Сс. 51-65.), – Вадимом Андреевым (сыном Л. Н. Андреева), Брониславом (Владимиром) Сосинским (он и был тот самый «единственный прозаик»), Георгием Венусом, Семеном Либерманом и Анной Присмановой (См. мемуарно-некрологический очерк: *Ю. Марголин*. Памяти Анны Присмановой / «Русская мысль», 1961, № 1629, 12 янв. – С. 7). Судьбы этих молодых литераторов сложились в дальнейшем по-разному. Андреев, Сосинский и Присманова переселились в Париж; Венус, а затем Либерман, вернулись на родину. Георгий Венус был репрессирован (См. о нем: *Литвин, Е. Ю.* Последняя одиссея Георгия Венуса // Ново-Басманная, 19 // М.: «Художественная литература», 1990. – Сс. 243-264; *Венус, Б.* Мой отец Георгий Венус // Г. Венус. Зяблики в латах / Л.: «Советский писатель», 1991. – Сс. 3-14.); Семен Либерман, уйдя в переводческую и педагогическую работу, прожил до 1975 года (См.: *Фрезинский, Борис*. Мозаика еврейских судеб. XX век / М.: «Книжники», 2008. – Сс. 312-367). С В. Андреевым Марголин был как-то связан и в дальнейшем. Так, в письме Марголина из Лодзи к сестре от 13-20 июля 1937 содержатся строки: «Соня нам привезла фотографии Ады Черновой и второй девочки Вадима Андреева и письмо от Наташи Черновой...» (CZA. A 536, folder 50). Хотя сам Вадим Андреев годы спустя чуть ли не отрицал это, – возможно, просто по забывчивости. В 60-е гг., доказывая в письме к Т. А. Осоргиной свое «чувство терпимости», он писал: «...я встретился с Ю. Марголиным, автором книги о лагерях, человеком, которого я мало знаю, но с которым были у нас общие, очень большие друзья. Просидели мы целый вечер (а ведь он, кроме всего прочего, еще ярый еврейский националист), говорили друг с другом самым дружеским образом, несмотря на наши совершенно различные политические убеждения. И если будет случай (М[арголин] был в Париже проездом) опять встретимся и опять будем говорить, потому что я терпим, потому что я очень терпим, милая Таня» (Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (Nanterre université, France). F Δ res 841 (1) (3)).

Там же, в Берлине, Марголин познакомился и подружился с Романом Гулем, редактором литературного приложения к сменовеховской газете «Накануне», который привлек его к сотрудничеству в ней. Об этом упоминает сам Гуль в своей трилогии «Я унес Россию: Апология эмиграции» (Т. 1. Россия в Германии / М.: БСГ-Пресс, 2001. – С. 248). В некрологе на смерть Марголина Роман Гуль напишет: «Тогда (и на всю жизнь!) характерно в Юлии было то, что он был человеком совершенно без всяких масок: никакой игры расчета в нем не было (не говоря уж о какой-нибудь хитрости, что в приложении к нему было бы просто смешно). В Юлии жила полная душевная открытость, подкупающая веселость и некая незащищенная детскость. И ни малейшего желания петь с кем-то 'в унисон'. Уже тогда он всегда был 'сам по себе'». (*Гуль, Роман*. Юлий Марголин // «Новый Журнал», 1971, кн.

102. — С. 256. Этот некролог включен также в его книгу «Одвуконь: Советская и эмигрантская литература» / Нью-Йорк, 1973. — Сс. 209-218).

Защитив в Берлинском университете диссертацию по философии, в 1926 году Марголин вместе с молодой женой, Евой Ефимовной Спектор (Вусей, как ласково называл ее он сам и близкие друзья), перебрался в Лодзь. В октябре того же года у них родился сын Эфраим. Спустя десятилетие, когда в Европе «запахло серой» и стало понятно, что запах этот не предвещает ничего хорошего, в особенности евреям, семья Марголиных репатриировалась в Палестину. Однако в апреле 1939 года сохранивший польский паспорт Марголин вновь оказался в Польше. Через полгода его и настигли там катастрофические события: с запада надвигалась фашистская армада, а с востока — советские войска. В июне 1940 года он был арестован как беженец из Западной Польши, приговорен к пяти годам заключения, которые провел в сталинском лагерном аду, и лишь по окончании Второй мировой войны, в конце 1946, вернулся в Палестину.

О пережитом в ГУЛаге Марголин поведал миру в книге «Путешествие в страну Зе-Ка», выпущенной в свет в 1952 году наиболее солидным по тем временам эмигрантским Издательством им. Чехова (Нью-Йорк). Увы, более трети материала в книгу не вошло; в письме к М. В. Вишняку Марголин говорит об этом издании как об «урезанной, кургузой версии» (Полный текст в 2-х книгах вышел лишь в 2017 г. в Тель-Авиве в издательстве Института Жаботинского). Еще до появления книги на языке оригинала она была переведена на французский язык: *Margoline, Jules. La condition inhumaine: Cinq ans dans les camps de concentration Soviétiques* / Traduit par N. Berberova et Mina Journot // Paris: Calmann-Levi, 1949 (более современный перевод — «Voyage au pays des Ze-Ka» — осуществлен Л. Юргенсон в 2010); позднее на немецкий: *Margolin, Julius. Überleben ist alles. Aufzeichnungen aus sowjetischen Lagern* / München: Verlag J. Pfeiffer, 1965 (перевод В. Пирожковой).

Написанная в ряду ранних свидетельств о советской тюремной деспотии, тотального бесправия человеческой личности, книга Марголина несла в себе мощный заряд отрезвления для тех, кто строил хоть какие-то иллюзии в отношении СССР, связывая коммунистический порядок с победой во Второй мировой войне. Борьбаться с этими иллюзиями как своего рода продолжением политического зла, приобретающего в сознании западных интеллектуалов если не оправдательные, то, по крайней мере, смягчающие интонации, Марголин будет и в дальнейшем, не останавливаясь ни перед гипнотизирующей магией авторитетных имен, ни перед напором противоборствующей полемической демагогии, ни перед общественным равнодушием. Разоблачение сатанинского варварства, пещерного антигуманизма, лжи и цинизма, возведенных в принцип советской государственной политики и достигших самых изощренных форм, станет для него, без преувеличения и стилистических прикрас, делом всей жизни.

Неизвестно, где и когда познакомились Г. Свет и Ю. Марголин, – не исключено, что это произошло еще в Берлине, но возможно уже в Израиле. По-видимому, после того как Г. Свет отбыл в США, оживленной переписки между ними не было, хотя их журналистская деятельность в 50-е и 60-е гг., казалось бы, должна была дать для этого все основания: оба сотрудничали в нью-йорском «Новом русском слове» и парижской «Русской мысли», оба касались в своих статьях смежной тематики и проблематики, оба стояли на твердых гуманистических позициях и писали о политических, социально-экономических и культурных успехах Израиля, оба поклонялись высшим либеральным ценностям... Однако сохранившихся писем друг к другу, которые удалось обнаружить, весьма немного. Здесь представлено лишь одно из них.

Письмо печатается по автографу, хранящемуся в САНРР. Р 360-448.

Тель-Авив – Нью-Йорк

19 ноября 1963

Дорогой друг

от имени редакции жалкого и прозябающего журнала «Шалом» обращаюсь к Вам со следующей просьбой: я перевел рассказик Игала Моссинзона «Полька» (понятно, выпустив все неприличные места), и мы бы хотели его пустить в следующем (5-ом) номере. Но боимся без разрешения автора. Он теперь в Нью-Йорке¹. М[ожет] б[ыть,] Вы знаете или можете найти его адрес, позвонить ему и спросить его согласия. Объясните ему, что «Шалом» идет за железный занавес, – какой это геройский и бедный журнал, который платить не может².

Возможно, что на весну снова приеду в Нью-Йорк, останусь тогда подольше.

С приветом сердечным

Ю. Марголин

1. Игаль Моссинзон (1917–1994), израильский писатель, драматург, изобретатель. В 1959 году перебрался из Израиля в США, где занимался коммерческой деятельностью. В 1965 вернулся на родину.

2. То ли Г. Свету не удалось связаться с И. Моссинзоном, то ли по какой-то иной причине, но рассказ в журнале напечатан не был.

Публикация – В. Хазан

(Окончание в следующем номере)

Павел Глушаков

Виктор Некрасов: письма первого года эмиграции

27 июля 1974 года Виктор Платонович Некрасов получает разрешение на выезд в Швейцарию, а 12 сентября того же года вылетает из киевского аэропорта в Цюрих. 16 сентября Некрасов переезжает в Лозанну и останавливается у своего дяди. Такова несложная хронология болезненного процесса выдавливания русского писателя из родной страны и начала его эмигрантской жизни.

В письме на имя Л. Брежнева 20 мая 1974 года Некрасов объяснил свое решение об отъезде:

«Я вынужден обратиться к Вам с этим письмом, так как всё, происходящее со мной и вокруг меня, толкает меня на принятие определенного решения.

Условия моей жизни за последние годы сложились так, что я начисто лишен возможности работать. <...> Трудно, конечно, смириться с мыслью, что писателя, в свое время отмеченного Государственной премией за повесть ‘В окопах Сталинграда’, книги которого изданы более чем 120 изданиями на 30 языках мира, полностью прекратили печатать. Но кому-то этого оказалось мало. Найдены были другие меры воздействия и наказания за то, что ты всегда стремился отстаивать свои принципы и убеждения. В январе этого года у меня в квартире был произведен 42-часовой обыск и среди прочих вещей, изъятие которых может вызвать только недоумение, были отобраны и до сих пор не возвращены мои собственные черновые рукописи, которые я не успел перепечатать на машинке. В течение последующих шести дней я был подвергнут допросу. Не избежали и обысков и допросов множество моих друзей. <...> В довершение всего последнее время я ощущаю явное нескрываемое внимание к моей особе. За каждым шагом следят. <...> Все эти факты – значительные и более мелкие – являются цепью одного процесса, оскорбительного для человеческого достоинства, процесса, свидетельствующего об одной цели – не дать возможности спокойно жить и работать.

Я мог бы в этом письме перечислить всё то полезное, что я, на мой взгляд, сделал для своей Родины, но всё это, как я вижу, во внимание

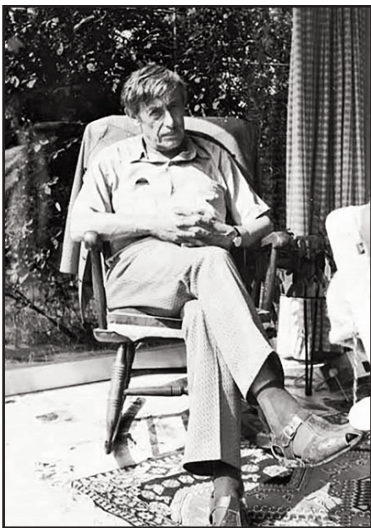
не принимается. Я стал неугоден. Кому – не знаю. Но терпеть больше оскорблений не могу. Я вынужден решиться на шаг, на который я никогда бы при иных условиях не решился бы. Я хочу получить разрешение на выезд из страны сроком на два года. <...> Понятно, что такое решение принять было нелегко – слишком многое связано у меня со страной, в которой я родился, рос, учился, работал, защищая которую дважды тяжело был ранен, – но другого выхода у меня нет, меня на него вынуждают. Писатель не может работать, зная, что каждую минуту к нему могут прийти и забрать и не вернуть написанное»¹.

Однако даже тогда у писателя теплилась надежда на справедливое решение: завершая свое письмо к Генеральному Секретарю ЦК КПСС, он позволил себе такую приписку: «В ожидании Вашего ответа...»

Едва обретя временное пристанище у своего дяди Н. А. Ульянова, Некрасов в тот же день отправляет своему пасынку Виктору Леонидовичу Кондыреву² письмо с «фирменной» для Некрасова ироничной припиской в конце: «Без подписи (для безопасности)». В этом полухитлом жесте многое: и забота об оставшемся в Союзе родном человеке, и игра с теми, кто еще несколькими неделями назад мог ограничить свободу писателя. Но главное, думается, в том ощущении «промежуточности», которое не могло не возникнуть у человека, оказавшегося в мире столь поразившего его комфорта и вольности. Некрасов начнет ставить подпись (ограничившись лишь первой буквой своего имени) в следующих письмах.

Первые письма наполнены бытовыми подробностями, описаниями встреч с людьми, связь с которыми, казалось, была потеряна навсегда. Некрасов, которому шел шестьдесят четвертый год, как ребенок, поражен теми возможностями, которые только теперь открылись перед ним. Возможности эти, в сущности, столь привычные и оттого простые для человека западного общества, кажутся Некрасову безграничными. Позднее писатель будет отмечать и другие стороны «западной» жизни, но он никогда не сбивался в критиканство европейской системы ценностей, видевшейся ему большим завоеванием свободной личности.

В эссе «Взгляд и нечто» Некрасов, скорее, ироничен, чем критичен: он отмечает те черты французской действительности, которые шокируют не свободного человека, а случайного «советского наблюдателя». Именно ему, временно пребывающему здесь, рано или поздно придется вернуться назад, поэтому тот «культурный шок», который испытывает такой советский наблюдатель, ограничен внешним, «сенсационным»: «К тому же проституция. И порнографические фильмы. И гомосексуальные журналы. И гоняющаяся за дешевой сенсацией (а за дорогой можно?) пресса, всякие там 'Ici-Paris' с адюльтерными



похождениями венценосцев, ну и вообще, мир контрастов, монополистический капитал, свобода умирать под мостом. Плохо!

А если говорить всерьез, повторю то, что внушал Вите Гашкелю и с чем он, в общем-то, соглашается,— сытая, богатая, привыкшая к комфорту и не желающая никаких перемен. А так как надо иметь какие-то идеи и за что-то голосовать, будем же левыми, любить рабочих и не любить капиталистов, они бяки.

И, сидя где-нибудь в кафе на бульварах, я рассказываю обо всех этих ужасах своим москвичам, и они только иронически улыбаются.

Иногда, больше для приличия, спрашивают: 'Ну, а клошары?' Клошары! Самые счастливые в мире люди, как сказал мне как-то всё тот же Витя Гашкель. Никаких у них забот, налогов не платят, о квартире не думают, свою бутылочку вина всегда имеют, муниципальными выборами и русскими диссидентами не интересуются, живут как птицы небесные. Раз в год полиция подбирает их в метро, моет в бане, дезинфицирует портки, и опять на все четыре стороны, парижская достопримечательность!

Ну а похищения, убийства, ограбления банков, музеев, бомбы наконец? Таки плохо... И похищают, и убивают, и грабят, и поезда сходят с рельсов, и самолеты разбиваются, и засухи даже бывают, как этим летом. Но обо всем этом пишут и говорят во всеуслышание, и убийц судят и приговаривают к каторге (а женщины кричат: 'Мало! На гильотину!'), а после засухи продуктовые магазины так же ломаются от ахтов, как и до нее.

Москвичи больше не задают вопросов. Вздыхают...

В одном из первых своих выступлений на «Радио Свобода» (8 декабря 1975 года) писатель выразит свое видение «задач русского писателя за границей»:

«Оказавшись здесь, я понял, что у нас, русских, оказавшихся в Париже, в эмиграции, как говорится, есть своя задача. Не только писать, но и говорить, общаться с людьми. Что-то им рассказывать, о чем-то сообщать. В начале этого года я был в Англии. Целый месяц. Выступал в университетах, перед студентами. Рассказывал о нашей литературе, наших писателях, о моих друзьях, о том, чем я сейчас

занят. И когда я смотрел на эти, назовем так, пытливые глаза, которые были на тебя устремлены, на эти уши, которые слушали, мне казалось, я думаю, я не ошибаюсь, что я делаю какое-то дело. Когда потом, после Англии, — а в Англии я объездил почти всю страну, выступал во многих университетах, — я попал в Канаду, то уже с другой миссией — выступать в защиту Валентина Мороза, который находится сейчас в тюрьме, у нас.

И когда я видел перед собой аудиторию уже другую — и студентов, и не студентов, — которая прислушивалась к каждому моему слову, я говорил там по-украински, говорил о других украинцах, и русских, и евреях, которые сидят у нас дома в тюрьмах, психушках, я понял, как это нужно. Что мой голос доходит до этой аудитории, и доходит до другой аудитории. Мне кажется, что это одна из, может быть, основных задач, которая есть у нас, здесь, сейчас живущих»³.

Письма к Виктору Кондыреву несут еще и другой посыл — это свидетельство свободного человека о свободной жизни, которой адресат пока еще лишен. В 1976 году интереснейшая переписка будет завершена, потому что семья воссоединится в Париже.

В 1977 году Жорж Нива в предуведомлении к интервью с Некрасовым писал: «Я знаком с ним пятнадцать лет. Он приезжал в Париж с делегацией, вместе с Паустовским и Вознесенским. Втроем они олицетворяли три поколения: некрасовское было посередине, поколение войны, Сталинграда, жертв. Сейчас его юношеский силуэт стал слегка сутулым, усы поседел; но непокорная прядь волос осталась неизменной, юмор продолжал светиться в его взгляде. Некрасов остается шутником, юношей, несерьезным, забавным. Везде счастлив, везде любознателен, он фланирует, насмываясь, а вот сегодня взял и вырядился в кимоно. Некрасов — это спонтанное сопротивление; и это героизм, основанный на верности самому себе. Это и киевское лицедейство, это и московская богема, это и двадцатилетняя дружба. Ты говоришь себе, что он никогда не будет старым, а его секрет... Его секрет — искренность, которая никогда его не покидала. Некрасов — это один и тот же внутренний голос и в Париже, и в Киеве, и в Москве, которому никогда не надо было ни в чем раскаиваться...»⁴

Эта цельность человеческой личности, подмеченная Ж. Нива, стала залогом того, что, оказавшись за пределами родины, В. П. Некрасов не занялся поисками своего места в непростом мире эмиграции, не пытался «встроиться» в западный интеллектуальный контекст. Он был и остался верен себе, своим нравственным и художественным принципам. Конечно, нельзя и идеализировать сложившуюся ситуацию: для немолодого уже человека все выпавшие на его долю события стали серьезным испытанием. Помимо писательской рефлексии,

Некрасов оставил графические свидетельства, по которым можно, пусть и косвенно, судить о его душевном состоянии. На протяжении почти всей жизни Виктор Платонович создавал автопортреты (иногда в шаржированном виде). По трем из многочисленных его графических работ можно сделать вывод об усложнении писателем взгляда на самого себя, о понимании своей судьбы изгнанника.



На первом рисунке (1973) мы видим озорной взгляд, устремленный непосредственно на зрителя. Автопортрет оставляет впечатление оптимистическое (даже понимая, какие события сопровождали Некрасова в последние его годы на родине): чуть прищуренные глаза, энергичная прорисовка скул, динамичная копна густых волос.

Следующий рисунок сделан уже в эмиграции, тремя годами позже (1976). Несколько иная техника автопортрета (мягкий карандаш) и без того утяжеляет фигуру Некрасова.



Перед нами сохраняющий твердость и осанку, прямой человек с уставшим лицом. Глаза на этом портрете говорят многое, в них видно полное понимание и объективный взгляд на свою судьбу. Все и всяческие иллюзии здесь рассеяны.

Наконец, автопортрет 1978 года устремлен, скорее, в вечность, нежели обращен к современности. Эти три метаморфозы, случившиеся, в сущности, на небольшом промежутке времени, драматичны.

Письма В. П. Некрасова печатаются по оригиналам, хранящимся в парижском архиве писателя⁵. При составлении примечаний использованы материалы В. Л. Кондырева, которому я приношу свою искреннюю благодарность.

-
1. URL: <http://www.nekrassov-viktor.com/Letters/Nekrasov-Letters-Brezhnev-1974.aspx>.
 2. См. его ценные воспоминания: *Виктор Кондырев*. «Все на свете, кроме шила и гвоздя». Воспоминания о Викторе Платоновиче Некрасове / Киев – Париж, 1972–1987 / М.: АСТ, 2011.
 3. URL: <http://nekrassov-viktor.com/Books/Nekrasov-O-zadachah-russkogo-pisatelja-zagranicey.aspx>
 4. *Georges Nivat*. Nekrassov en kimono / Le Magazine Littéraire. 1977. № 125. – Рр. 37-38.
 5. На сайте памяти В. Некрасова есть доступ к обширной переписке писателя. URL: <http://www.nekrassov-viktor.com/Letters.aspx>. См. также публикацию из архива писателя: «Постепенно опариживаюсь...» Письма В. П. Некрасова к В. Л. Кондыреву / Публ. В. Л. Кондырева; подгот. текста Н. А. Аль и Л. С. Дубшана; вступ. заметка и комментарии Л. С. Дубшана // «Звезда». 2004. № 10. – Сс. 145-180.

Письма В. П. Некрасова

1

16.9.74.

Лозанна

Наконец-то! Дорвался до бумаги! А начался уже пятый день. Солнечный, ясный, теплый и тихий – какой-то местный праздник и на улицах ни души, только машины проносятся. С чего же начать?

С дяди Коли¹. Прелесть! Очаровательнейший из всех му...ов, которых я встречал в жизни. Маленький, сухонький, абсолютно неутомимый (ложится по-нашему в 1 час – 2), с внешностью Эйнштейна и бровями невиданной густоты, но не скрывающими милых, добрых глаз. Поцоватость очень трогательная. В первый же вечер вызвал меня в уборную и показал, как надо «писэ»², чуть приседая, чтоб не капнуло на пол. А старушке³ объяснил, как надо (крест-накрест) складывать бумажку, чтоб не засоряло... С деньгами у него таки да туговато. Пенсия 1400 фр., из них 400 за квартиру (без газа, телефона и электричества). Прижимист. Но не скуп. Вернее (увы) – не жаден. Насколько я понял, всякие его заказчики обводят его вокруг пальца. А он не из торгующихся. В результате – никаких дач, машины, домиков, яхт и т. д. Квартира просторная, 2-комнатная, удобная, светлая. В основном книги. Галка на диване, я на раскладушке под окном. Из окна – тот самый вид, который ты имеешь⁴. Современное, длинное здание направо – бассейн, внизу гараж. Mon-Repos⁵... Город – сказка! Еще завалю тебя его видами. Живем в самом центре. До магазинов, слава богу, еще не дорвались. Вчера нас возили в горы (вчерашняя открытка), потом в Шильонский замок, тот самый, над галикиной тахтой⁶ (вид прилагается). Вернулись к вечеру и до часу трепались на кухне – дядя Коля осуждает не только абстракционизм, но и катящийся в пропасть мир чистогана. Потом целый час трепался по телефону с Юркой⁷. Устраивает мне вызов в Гарвард, на месячишко, вместе с бабой-Галей. Но это еще не сейчас. До этого должен быть Париж. Эти дела обделывает Мая⁸. Звонит ежедневно и дает указания. Она вместе с приятельницей встречала нас в Цюрихе и, забрав у нас Джульку и три самых тяжелых чемодана, отбыла в Париж.

В Цюрихе встречали нас Сашка с женой⁹ и еще какие-то его друзья, у которых мы и ночевали в крохотной деревушке под Цюрихом (в городе так и не побывали). У них прекрасный 2-эт. дом, но спали

мы в крохотной, комфортабельнейшей гостинице. На следующий день поехали в Базель, к Тое¹⁰ (она тоже встречала), поболтались там 1/2 дня – ночь – 1/2 дня и на следующий день, в субботу, через Берн (у...ться!) в Лозанну. И всё это – трёп-трёп-трёп со ста граммами...

Общее впечатление. Красота, сверхкомфорт, абсолютная вылизанность, пейзажи с иллюстраций к Андерсену и легкая тоска по юмору – это есть только у Тои. Пример. Едем в горы, вокруг игрушечные домики, и всё это кафе или рестораны, мотели, отели. Спрашиваю – где же колхозники? Вылупляют глаза: какие же здесь колхозы?!? Здесь крестьяне... Бедный дядя! Сейчас 9, а в 7 утра ввалилась приятельница с чемоданами из Белграда¹¹. Сейчас трепаются на кухне, поэтому и появилась возможность написать это письмо.

Без подписи (для безопасности).

1. Николай Алексеевич Ульянов (1881–1977), инженер-гляциолог, эмигрировал из России до 1917 года. Муж родной тетки В. Некрасова Веры Николаевны Ульяновой, урожд. Мотовиловой (1885–1968). По его приглашению В. П. Некрасов в сентябре 1974 г. выехал с женой в Швейцарию.

2. Pisser – мочиться (*фр.*)

3. Галина Викторовна Некрасова (урожд. Базий, 1914–2001), жена Виктора Некрасова, мать В. Л. Кондырева.

4. К письму приложена открытка с видом Лозанны.

5. Парк и прилегающий к нему район Лозанны.

6. Шильонский замок (Château de Chillon) расположен на берегу Женевского озера. Старинная большая раскрашенная фотография этого самого известного из замков Швейцарии висела в рамке над кроватью Г. В. Некрасовой в Киеве.

7. Юрий Бенционович Дулерайн – киевский, а позже нью-йоркский журналист, друг Некрасова. Оставил воспоминания:

«Некрасовы покинули Киев в сентябре 1974 года. Из деревни под Цюрихом, где они остановились, 14 сентября писала нам Галя Некрасова: ‘Встречал нас Саша Галич с женой и Мая Синявская. Едем к дяде в Лозанну... (дней 10-12), а затем в Париж к Синявским и, очевидно, ненадолго в Лондон. Как устроятся наши дела и жизнь дальше – не знаю. На что будем жить – также не знаю. Авось не пропадем. Вика счастливый’.

Так писала Галя. Что же до Некрасова, то он был доволен... <...> С одной стороны, Некрасов говорил, что всегда будет благодарен советской власти за то, что она дала ему возможность остаток жизни провести на свободе, в Париже и объездить полмира. Но, с другой стороны, он остро ощущал нехватку друзей, читателей, поклонников, которые окружали его в Киеве и Москве. Особенно ему не хватало читателей. Его, конечно, печатали на русском – в Германии, Великобритании, США, в Канаде, но не дома, куда его книги доходили из-за рубежа подпольно, в единичных экземплярах...»

(Дулерайн, Ю. Некрасов, каким я его знал // «Радуга», Киев, 2005, № 5-6. – Сс. 162–169).

8. Мария Васильевна Розанова, литератор, издатель журнала «Синтаксис», жена А. Д. Синявского. В их доме в парижском пригороде Фонтенэ-о-Роз Некрасовы жили первые два месяца после приезда во Францию.

9. Александр Аркадьевич Галич (1918–1977), поэт, киносценарист и бард, и его жена Ангелина Николаевна Галич (Шекрот). В очерке «Пять лет без Галича» («Новое русское слово», от 28 ноября 1982) Некрасов, говоря о друге, высказался и о себе: «Я живу здесь уже девятый год, многого до сих пор еще не понял, но одно понял со всей четкостью – аудитория наша осталась там, дома. Для нее мы и пишем. Может быть, в мое ‘мы’ не входят все живущие и пишущие здесь, во Франции, в Америке, в Израиле русские писатели, но мое поколение это ощущает и понимает. А мы с Галичем одного поколения».

10. Швейцарская журналистка, с которой Некрасов познакомился в Киеве в 1968 году.

11. Наталья Александровна Тенце. Ее муж Альберт Тенце, инженер-кораблестроитель. Женевские друзья Некрасова.

2

12.10.74

Париж¹

Дорогой Витька!

Маленькое замечание – просто так – ты же знаешь мать с ее умением всё раздувать и омрачать. Не надо ей быть в курсе всех дел. Не надо, по словам Люсика², перенасыщать ее информацией. Теперь вокруг этого военкомата³ полный, непроходящий мрак. И тысячи планов, советов и претензий, сваливающихся на меня. Пока особых размолок не было, но не исключено. Понимаешь, как это здесь и сейчас не помогает мне. К концу письма или в следующем я тебе напишу, куда мне отдельно писать, на какое до востребование, если тебе есть, что сообщить. Для матери всё должно быть в нормально-радужных тонах – Вадик, скучаем, как Джулька?..

Ей, скажем прямо, нелегко, хотя она окружена только вниманием и заботой. Одолевает, конечно, «краешек стула»⁴ и, в то же время, желание удобств. Плохо с ванной. Есть три, но они не отапливаются, хотя душ и горячий. Ожидается водопроводчик, которого из-за лунгинской суеты⁵ и беспорядка, и уймы дел у наших хозяев, никак не дозовутся. Второе – прикованность к дому. В тихой Лозанне и Женеве я всё уговаривал ее выйти одной, без никого, и пройтись. Под любым предлогом отлынивала. Здесь же уже сложнее – больше машин. Пока что она передвигается только в машинах и раза два-три в метро и авто-

бусе, оберегаемая и подсаживаемая нами. И вот тут никакого желания самостоятельности. Ее и в Киеве было трудно выгнать на улицу, а тут просто боится.

Удручает ее и бедлам на кухне. При своем «краешкестульстве» хочет готовить и мыть посуду и тут же раздражается, что неизвестно что где лежит и чем вытирать. И отсутствие режима ее тоже выбивает из колеи. И расхождение жизненно-хозяйственных методов. Галкин лозунг – мыть посуду после еды, Майки⁶ – перед едой... Вот тут и расхождения.



Сложно и с человеческими общениями. Хозяева заняты с головой общественно-литературными делами (а Майя к тому же диктаторский вариант Евуси⁷), Жанна⁸ до вечера на работе, еще одна – Нелля⁹ – не очень-то любима нашими хозяевами. Все живут, если и недалеко, но всё же в соседних «городках» – несколько минут, но автобус или электричка. А ко всем этим транспортам надо приучаться. Уже на 15 фр. меня оштрафовали – не с тем билетом ехал. И очень надо точно знать все маршруты и пересадки. Я постоянно приучаюсь, Галке не приучиться к этому никогда – метро всё в переходах, лестницах и указателях. Париж фактически мать и не видела. Один раз проехали с ней по ночному городу – и видела кое-что из машины – шел дождь и о вылезти не могло быть и речи. Вообще, с погодой стало дрянь. Холодно – 10-12°, ежедневно льет. (Старожилы не припомнят последние 100 лет...). Меня Майя – ох и деловитость! – одолевает реже всякими делами. То с тем встречаться, то с теми. Нужно! И таки да, нужно... А где же полежать? И когда? По вечерам всякие гостевания – тоже нужно, или обидятся. И всё на пользу – сам понимаю – но диван, диван... <...>

Но чтобы ознакомиться – руки не дотягиваются и времени не хватает. В основном всё время хочется спать. Вечером, перед сном, сил хватает на 3 – максимум 5 минут.

Наши книги нераспечатанные¹⁰ лежат горой в углу. На них устроено нечто вроде материнского туалета. Рядом полкомнаты занимает ее тахта – на добрых три человека. Я на раскладушке. Джулька живет в основном на 1-м этаже (там и спит) и дружит с пуделихой Мотей – на мать более или менее плюет – это всем, кроме матери, видно.

Главное сделанное дело – это «carte de séjour» – внутренние паспорта для иностранцев. У нас на год. Это громадное достижение. И возможность выезжать из страны. Так что выданные в Швейцарии «10 дней»¹¹ нас уже не лимитируют. В Женеву мы поедem 29-го. 30-го я там должен что-то прочесть на русском кружке в Университете. И в Лозанну надо – забыть чемодан с транзистором и любимыми пледами. Возможно, что-то будет и в Берне, и в Цюрихе. О багаже большом пока ничего не слышно.

Удивляет – молчание всех. Кроме тебя (по-моему, уже 5 штук), было только от Ирки¹² (с Кавказа еще), от Левы¹³ и Нинки Аль¹⁴. А прошел уже месяц – как раз сегодня! Поражен (а мать очень обижена) молчанием Лили¹⁵ – нам даже не пишет, но, главное, вам не выслала деньги. Как она там с Сер. Г.¹⁶ договорилась – в предотъездном тумане ничего не помню.

Еще с одним парнем послал тебе какую-то милую муру. Обременять его хождением на почту не посмел – включил в это дело Марину Черневич и Раю Сац (это люди обязательные), но я не знаю, переехала ли Раечка на новую квартиру. Написал бы как-нибудь Галке Евтушенко¹⁷ – она человек верный и всегда готова помочь.

В.

1. Приписка к письму: «О Париже в следующий раз – это письмо деловое и поучительное».

2. Илья Владимирович Гольденфельд, ученый-физик, киевский друг Некрасова.

3. В. Л. Кондырев сообщил в Париж о вызове в военкомат, что и вызвало волнения его матери.

4. «Краешком стула» у Некрасова считалась крайняя, граничившая с жеманностью, деликатность и застенчивость.

5. Предмет шуток Некрасова по поводу беспорядка, царившего в московской квартире Лунгиных.

6. Имеется в виду М. В. Розанова. В. Л. Кондырев так охарактеризовал бытовую сторону жизни четы Некрасовых в доме Синявского и Розановой:

«Первые серьезные стычки с Синявской произошли через несколько недель.

Амиокошонские покрикивания и командирский норов Машки, на правах желающей добра опекуниши, нисколько не злоупотреблявшей волшебным и просто добрым словом, поддерживали в доме постоянную боязнь быть обтяванным и затюканным кстати и некстати.

Удрученная бедламом на кухне, мама попыталась было разобраться с немойтой посудой. В том смысле, что после еды тарелки хорошо бы вымыть. Оскорбительный намек! Мария гаркнула: не лезь, куда не просят, нужная

посуда моется лишь перед самой едой. Мама пришибленно сжалась, уселась 'на краешке стула', со слезами на глазах.

– Ты, Машка, парижский вариант Салтычихи! – не выдержал В. П.

Обмен колкостями мгновенно перерос в добротную кухонную склоку, с вопежом и грохотом кастрюль, но вскоре воцарилась видимое замирение.

С самого начала дело осложнялось тем, что в Париже мама была прикована к дому из-за слабого зрения и безъязычия. Не в пример Швейцарии, где ею занимались предупредительные и деликатные люди.

Гостеприимная и тонкая хозяйка на званных домашних вечерах и литературных посиделках, Мария Синявская в повседневной жизни была беспардонна и своенравна. Окружающие маялись от опеки и поучений, но вынуждены были приспосабливаться. Мама робко помогала по дому, но у нее всё валилось из рук, всё выходило не так, и она страшно стеснялась своей беспомощности. И никак не могла угодить строгой хозяйке. Всё чаще и чаще Виктор Платонович должен был вступать в ссору и приструнивать Марию. Это помогало, но лишь до следующей стычки». URL: <http://www.nekrassov-viktor.com/Kondirev/Vse-na-svete/Viktor-Kondirev-Vse-na-svete-krome-shila-i-gvozdia.htm>

7. Ева Марковна Пятигорская, киевская журналистка, вдова Исаака Григорьевича Пятигорского, друга Некрасова.

8. Жанна Яковлевна Павлович, парижский врач, бывшая киевлянка.

9. Нелли Васильевна Курно, литератор, парижская приятельница Некрасова.

10. Около сотни книг, самых необходимых, по мнению Некрасова, для работы, были посланы из Киева не в багаже, а почтовыми бандеролями.

11. Временный вид на жительство, с которым не разрешалось покидать территорию Франции более чем на 10 дней.

12. Ирина Сергеевна Доманская, дочь друга юности Некрасова С. Б. Доманского.

13. Лев Зиновьевич Копелев (1912–1997), писатель, переводчик, друг Некрасова. См. их переписку: «Вести с родины всё грустнее...» / Вступит. слово, публ. и коммент. В. Абросимовой // «Знамя». 2013. № 11. – Сс. 182–205.

14. Антонина Александровна Аль, музейный работник, литератор, ленинградский друг Некрасова.

15. Лилианна Зиновьевна Лунгина (1920–1997), переводчик и литератор. См. ее характеристику Некрасова:

«Поведение свободного человека всегда было подозрительно в нашем мире. А Вика не только мыслил свободно. Он был свободен и в манере держаться, и в своих реакциях – во всем. Он был таким, какой есть, не играл никакой роли, говорил только то, что хотел сказать, делал то, что хотел. Мы ведь не могли позволить себе роскошь быть собой. Все-таки психологически все мы были рабами. Мы мирились с подневольным положением, со страхом, ложью. А он не мирился. За этим не было какой-то идеологии или политики –

он просто в силу своей натуры не мог быть покорным. В этом мире, где с детского сада надо было учиться приспосабливаться, Вика был совершенно экзотическим растением. <...> Он не был активным борцом, не вступал, как другие, в прямую борьбу с властью, не бросил вызов системе, как, скажем, Солженицын. Но все, включая Солженицына, которого я знала, были, в отличие от Некрасова, детьми системы. При всем их 'инакомыслии', несмотря ни на что, они несли ее отпечаток.

В любой ситуации Вика вел себя удивительно естественно, он ничего не боялся и не сгибался ни перед каким авторитетом». (Подстрочник: Жизнь Лилианны Лунгиной, рассказанная ею в фильме Олега Дормана / М.: «Астрель»: CORPUS, 2010. – Сс. 209, 319).

16. Сергей Иванович Григорьянц, журналист, правозащитник.

17. Галина Семеновна Евтушенко (Сокол-Луконина) (1928–2013), жена Е. Евтушенко, журналист. См. письмо Некрасова к ней от 24 сентября 1974 года:

«Итак, уже без малого две недели Запада... <...> Самое интересное – это, конечно, Набоков. Изволил принять, что повергло всех в крайнее изумление. Выпил с нами даже свои сто грамм. Спокоен, ироничен, о совписах ничего не знает, в том числе и обо мне. Так, слышал... Хотел подарить книгу, не вышло – вещи упакованы, куда-то уезжают и устали. Так сказала его вменявшаяся жена, поповка и м...чка, злая причем...

Позавчера смотрели в кино 'Последнее танго в Париже' с Марлоном Брандо. После того, как он употребил свою даму... мы ушли. Говорю – нет! этому делу. Не способу, а Бертолуччи-режиссеру... Ну а вы как? Скучаете по нам? Мы – при всём при том – да! Хочется поминутно делиться мыслями. А со здешними – неинтересно...» (Story, 2015, # 5, – С. 73).

3

16.10.74

Париж

Дорогой Витька!

Ты, вероятно, удивился нашему последнему звонку. Но, взвесив всё и посоветовавшись с нашими хозяевами¹ (они умные, и мы с ними много говорим о вас), мы решили, что надо именно так. А я буду за всем следить. Поэтому напиши мне о всех своих действиях и устраиваниях на работу поподробнее, чтоб я был в курсе всего. Напиши по адресу – Fontenay-aux-Roses, Poste, Poste restante (это «до востребования») – Victor Nekrassov, своими письмами ты очень поддержишь мать. Желательно, чтоб Милка² тоже написала. И Вадик³ тоже пусть что-нибудь нацарапает. Подтверди получение этого письма.

В.

1. Имеются в виду М. В. Розанова и А. Д. Синявский. Несмотря на поздней-

шее охлаждение в отношениях, между четой Синявских и Некрасовым установилась явственная приязнь, о чем свидетельствовал текст Андрея Синявского 1975 года («преждевременный некролог»):

«Некрасов... Светскость как определяющее, как положительное начало. Все мы монахи в душе, а Некрасов – светский человек. Мы – закрытые, мы – застывшие, мы – засохшие в своих помыслах и комплексах. Некрасов – открыт. Всем дядюшкам и тетюшкам, всем клошарам, всем прогулкам по Парижу... Светский человек среди клерикалов. Ему недоставало трубки и трости.

И посреди феодальной социалистической литературы – первая светская повесть ‘В окопах Сталинграда’. Странно, что среди наших писателей, от рождения проклятых, удрученных этой выворотной, отвратной церковностью, прохаживался между тем светский человек. Солдат, мушкетер, гуляка, Некрасов. Божья милость, пушкинское дыхание слышались в этом вольном зеваче и веселом богохульнике. Член Союза писателей, недавний член КПСС, исключенный, вычеркнутый из Большой энциклопедии, он носил с собой и в себе этот вдох свободы. Человеческое в нем удивительно соединялось с писательским, и он был человеком пар экселянс! А это так редко встречается в большом писателе в наши дни» («Знамя», 1990, № 5. – С. 49).

2. Супруга В. Л. Кондырева.

3. Сын В. Л. Кондырева.

Публикация – П. Глушаков

КУЛЬТУРА. ЛИТЕРАТУРА. ИСТОРИЯ

Юкио Накано

Переписка Ивана Бунина и Александра Бахраха

*По архивным материалам**

Данная статья основана на архивных материалах Бахметевского архива Колумбийского университета (США) и анализирует неопубликованное эпистолярное наследие Ивана Бунина, уделяя особое внимание его переписке с Александром Бахрахом военного периода 1940-х. А. В. Бахрах работал личным секретарем Ивана Бунина с 1940 по 1944 гг. Как писал он после войны, Бунины дали ему, молодому еврейскому литератору, убежище в опасные военные годы и тем спасли жизнь. Несмотря на длительное общение Буниных с Бахрахом, их переписка долгое время оставалась мало исследованной, хотя она включает корпус материалов с 30 октября 1924 года по 10 декабря 1948 года. Некоторые письма и открытки, хранящиеся в Бахметевском архиве, не датированы. После смерти Бунина его вдова Вера Николаевна Муромцева-Бунина также переписывалась с Бахрахом.

Исследователи Катерина Чвани и Джулиан Конноли в предисловии к трем неопубликованным письмам И. А. Бунина к Н. П. Вакару так описывают годы жизни Буниных в Грассе: «В военные годы жители виллы ‘Жанетт’ столкнулись с значительными лишениями. Франция была оккупирована и разделена на оккупированную и неоккупированную зоны, с крайне ограниченной коммуникацией между ними. Грасс был в неоккупированной зоне во время написания писем (1940–41), хотя позже он был оккупирован. В первые военные годы друзья Бунина предложили ему покинуть беспокойную Европу и перебраться в США. Как показывают письма, он серьезно рассматривал это предложение, хотя остался во Франции. В течение многих последующих лет Бунин жил, испытывая тяжелые финансовые проблемы. Средства, полученные для него в США и Европе, стали важным источником его дохода в последние годы жизни»¹.

*Доклад прочитан на международной конференции славистов ASEES в ноябре 2020 года в секции «Portraits of Rebellious Souls: Forgotten Pages of Russian Émigré Literature», организованной «Новым Журналом».

Бунин и Вера Николаевна эмигрировали из России в январе 1920 года² и приехали в Париж в марте 1920 года³. До Второй мировой войны они жили сначала на вилле «Бельведер», потом на вилле «Жанетт». Письма Бахраху отосланы с трех адресов: Villa Jeanette, Route Napoleon in Grasse (1942, 1944), 1, rue J. Offenbach in Paris 16 (1946) и Villa de Tournée in Juan-les-Pins (1947, 1948).

9 июля 1940 года в своем дневнике Бунин пишет, что они устроились на вилле «Мон-Флери» в Грассе в 1923 году⁴. Зимовал Бунин в Париже, в квартире на улице Жака Оффенбаха⁵, а также жил в Русском доме для писателей и художников в Жуан-ле-Пене на Ривьере⁶. В последней части своей первой книги «Бунин в халате» в 1979 году А. Бахрах опубликовал девять писем Бунина из личного архива (и процитировал письмо от 25 января 1945 года⁷ и фрагмент из письма от 12 апреля 1947 года⁸), которые после его смерти попали в Бахметевский архив. Письма, опубликованные в книге, датированы от 7 ноября 1929 до 25 января 1945 гг. Бахрах упоминает, что не смог опубликовать в книге все материалы из-за ограниченного объема издания. Сегодня в коллекции А. В. Бахраха в Бахметевском архиве хранятся 34 письма И. А. Бунина. Стоит добавить также, что, по словам Бахраха в книге «Бунин в халате», после смерти писателя он долгое время продолжал переписываться с вдовой, но большинство писем не сохранилось⁹.

О годах, когда Бахрах жил вместе с Буниными, он также упоминает и в своей второй книге – «По памяти, по записям» (1980): «Под бунинской кровлей я прожил свыше четырех страшных лет – с момента демобилизации в октябре 1940 года вплоть до освобождения Франции, то есть до конца 1944 года»¹⁰.

Бунинский дневник охватывает военный период с 1940 по 1945 гг. и продолжается до смерти в 1953 году. Имя Бахраха впервые появляется в дневнике в записи от 18 октября 1940 года: «18 Окт. Ездил с Бахрахом (он живет у нас) в Ниццу – прощальное свидание в кафе под Казино с Алдановым (опять вернувшимся)»¹¹. Согласно дневнику, Бахрах появился в доме Буниных до поездки в Ниццу 18 октября. Сам Александр Васильевич в своей первой книге тоже упоминает о его встрече с Алдановым: «В связи с этим вспоминается, как перед самым отъездом Алданова в Америку мы поехали в Ниццу, чтобы попрощаться с ним»¹².

В своем дневнике Бунин упоминает и отъезд Бахраха (запись от 7 октября 1944 года): «Завтра в 8 утра уезжает Бахрах, проживший у нас 4 года. 4 года прошло!»¹³ Но даже и после отъезда Бахрах и Бунины сохраняют активную переписку. В письме от 28 ноября 1944 года (именно оно опубликовано в книге «Бунин в халате») Бунин

пишет: «Что же это такое, дорогой мой, – второй месяц пошел, как Вы уехали, и вот уже месяц ни слуху ни духу от Вас!»¹⁴

Подсчитаем число упоминаний имени Бахраха в дневнике Бунина от его первой встречи 18 октября до отъезда 7 октября 1944 года: 1940 – 2 раза; 1941 – 14; 1942 – 2; 1943 – 1; 1944 – 2. Итак, о Бахрахе больше всего упоминается в 1941 году. Это связано с напряженной общей ситуацией и угрозой жизни Бахраха в связи с началом войны между СССР и Германией. Именно в этот год Бунин и Бахрах вместе поехали в Канны.

В письмах Бунин по-разному обращается к Бахраху, что свидетельствует о теплых отношениях, постепенно складывавшихся между ними: «Милый Александр Васильевич» (письмо от 25 июня 1928); «Дорогой мой Аля Васильевич» (от 7 сентября 1929); «Дорогой Александр Васильевич» (1930-е годы); «Мой маленький дружок» (письмо от 23 октября, без года); «Милый друг», «Дорогой любитель 'звуковых ливней'», «Дорогой Турист», «Мой дорогой секретарь», «Милый Аля», «Дорогой Кавалер» (письма не датированы); «Дорогой бывший домочадец» (от 30 октября 1944); «Дорогой Захар» (от 25 января 1945) – как объясняет Бахрах в комментариях к письмам, Бунин, называя его «Захар», расписался «Илья Ильич Обломов»¹⁵; «Дорогой юный поэт» (1946); «Милый Аличка» (от 10 мая 1947); «Дорогой Дон-Хуан» (1948); «Monsieur» (от 22 ноября 1948).

Бахрах опубликовал девять писем Бунина в последней части книги «Бунин в халате». Два письма и фрагмент третьего были опубликованы с некоторыми поправками: он изменил «коитус» на «любовный опыт» в его письме от июля 1928 года¹⁶. Также он сокращает некоторые части из бунинского письма от 12 апреля 1947 года. Скажем, он печатает (без указания на сокращения): «Улучшения в моем здоровье пока не вижу. Вид у меня, говорят, стал лучше, да мало ли что говорят! Мучат меня по-прежнему ночные кашли, слабость физическая и умственная ужасная. Пока сижу безвыходно у себя. Часто бывает Алданов, балует меня хорошим вином – каждый раз привозит бутылочку...»¹⁷ Оригинал письма выглядит следующим образом: «Улучшения в своем здоровье пока не вижу. Вид, говорят, у меня стал лучше, да мало-ли что говорят! Мучат по-прежнему ночные кашли, слабость физическая, [волевая] и умственная ужасная; комнаты мои очень для меня удобные, каждый день топят, люди, ведущие домом, прекрасные, дом окружен чудеснейшим в своей старине и запущенности и огромным парком, погода настала солнечная, но еще такая свежая, что я пока сижу безвыходно у себя. Часто бывает Марк Алекс., балует меня хорошим вином – каждый раз привозит бутылочку...»¹⁸ Как указали исследователи Чвани и Конноли, Бунин

испытывал крайне тяжелое финансовое положение в 1940-х годах. Заметно, что Бахрах в своих воспоминаниях пытается сократить и изменить некоторые слова Бунина и описания, касающиеся именно финансовых проблем. Так, И. А. Бунин пишет 7 апреля 1947 года:

Понед[ельник]

Нет, дорогой мой, деньги мне очень нужны, только я из-за денег никак не готов на всё. Плачу здесь 8 т. в месяц, прикупаю каждый день на 300, на 500... Целую, поклон маме.

Ив. Б. (не опубликовано)¹⁹

В одном из недатированных писем (возможно, 1940-е годы) Бунин упомянул о Нобелевской премии и попросил Бахраха отправить три рассказа Марку Алданову в «Новый Журнал»:

Дорогой мой, все-таки надо найти способ отправить Марку Алекс. те три рассказа, что у Павла Александр. Михайлова: ведь я Prix Nobel, – м. б. в американск. посольстве дадут разрешение отправить их?²⁰

Бахрах, хорошо владея французским языком, как личный секретарь Бунина долгое время переписывался с Андре Жидом – с 1 января 1942-го по 19 октября 1950 года. Жид часто спрашивал Бахраха о Бунине. Они были знакомы – известно, что 21 ноября 1941 года Бунин обедал с Жидом в ресторане «L'Empire»²¹.

Коллекция Бахраха в Бахметевском архиве хранит 13 писем Бахраху от Жиды. Бахрах описывает Жиды как человека, который помогал Бунину во время войны и высоко оценивает его в контексте современности, – однако, согласно Бахраху, «подлинный и душевный контакт между ним и Буниным не состоялся»²². 12 августа 1941 года Бунин в дневнике пишет, что он прочитал «Тесные врата» Жиды и ему понравилось начало, но у него сложилось впечатление, что это что-то «удивительно длинное, скучнейшее, совершенно невразумительное»²³.

Последние годы Бунина были омрачены конфликтом вокруг организаций Русского Зарубежья во Франции. Русская диаспора стремительно политизировалась в послевоенные годы. Так, Бунин вынужден был покинуть Союз русских писателей и журналистов в Париже в знак протеста против политизации организации. Положение И. А. Бунина в Союзе Дэвид Бетеа описывает так: «Возник спор в связи с так называемым Союзом русских писателей и журналистов в Париже, основанным в 1921 году и председателем

которого сначала был Бунин. Он не проявил достаточного стремления или таланта управлять подобной организацией и его вскоре заменили более активным 'левым' Павлом Милоковым, который оставался председателем до германской оккупации Парижа в 1940 году (Милоков умер во время оккупации). Когда Милоков был председателем, Бунин стал почетным членом Союза»²⁴. Как описал Бахрах в своей книге, «Бунин был по природе застенчив»²⁵, несмотря на «внешнюю запальчивость и врожденную насмешливость», у него не было организаторского дара и стремления работать в какой бы то ни было ассоциации для объединения русских эмигрантов. Конфликт произошел после того, как «Верховный Совет издал указ об амнистии для всех русских эмигрантов и предоставил возможность приобрести советское гражданство»²⁶. В частности, Алексей Ремизов, Александр Гингер и его жена Анна Присманова получили паспорта СССР²⁷. В Союзе этих писателей подвергли остракизму. В знак солидарности с изгнанными писателями покинул Союз не один Бунин. «Только в апреле 1947 года, когда фракция де Голля была на подъеме, начала проявляться более откровенно антисоветская (советские люди называли ее фашистской) 'Русская мысль' <...> Это происходило в атмосфере паранойи ('Кто будет насильственно репатриирован?') и эйфории ('Амнистия для всех!'), когда Союз в конце лета или осенью 1947 года принял, как оказалось, фатальное решение – он изгнал тайным голосованием членов, недавно приобретших советский паспорт. Из симпатии к изгнанным коллегам много влиятельных фигур, среди которых Георгий Адамович, Гайто Газданов, Владимир Варшавский, Леонид Зуров и Вера Бунина, покинули [Союз]. Бунин, гордость эмигрантской литературы, очевидно под давлением, также покинул»²⁸. В качестве кульминации развития конфликта и обсуждения решения Бунина в русском Париже Бетеа упоминает письмо М. С. Цетлиной к Бунину. В письме она резко критиковала и даже обвиняла Бунина. Цетлина попросила Бориса Зайцева передать ее письмо Бунину, который жил в то время в Русском доме в Жуан-ле-Пене. Это событие привело к разрыву Ивана Алексеевича со своим давним другом. После 29 января 1948 года он прекращает всякую переписку с Зайцевым. Разрыв оба писателя переживали трагически. Зайцев написал уже больному Бунину лишь 9 октября 1953 года – через месяц Иван Алексеевич умер.

Вера Николаевна Муромцева-Бунина послала Бахраху письмо от 1 января 1948 года, в котором процитировала свое письмо Цетлиной: «Я считала дурным делом Союза затею так или иначе избавиться от членов, взявших советские паспорта, – их было всего человек двенадцать на сто тридцать восемь. Мне было известно, что если пройдет

изменение устава, так как по уставу нельзя было никого исключить, то всё младшее поколение писателей уйдет из Союза. И Союз перестанет быть Союзом, как жизнь и подтвердила (sic). Теперь Союз есть, скорее всего, содружество 'Русской Мысли'. А мне с членами этой газеты не по пути уже по личным чувствам. С первых же дней существования ее Берберова начала легать (sic) И. А. как писателя, а Правление Союза в это тревожное заседание предложило ее в члены Правления, – это было последней каплей, решившей мой уход»²⁹.

Дэвид Бетеа цитирует письмо Н. Берберовой к М. Цетлиной от 12 марта 1948 года³⁰. Берберова поддерживает Цетлину и пишет, что уход Бунина из Союза был «ножом в спину» для них. Согласно Берберовой, Зайцев, будто бы, сказал, что считает – «Бунин уже мертв». Конфликт получил большой резонанс в среде русской эмиграции и косвенно отразился на многих.

Неопубликованная переписка Буниных и Бахраха проясняет подлинные причины ухода Веры Николаевны и Ивана Алексеевича Буниных из Союза.

Бахрах издал при жизни две книги. Однако оригинальные тексты писем, хранящиеся в архиве, обнаруживают сокращения и модификации этих текстов в его книгах и демонстрируют подлинные отношения Бунина с другими писателями.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Chvany, Catherine V., and Connolly, Julian W. Three Unpublished Wartime Letters of Ivan Bunin to N. P. Vakar / RLJ, XXXIV, No. 118. 1980). – P. 155.
2. Бунин, Иван Алексеевич. Бунина, Вера Николаевна. Устами Буниных / Товарищество зарубежных писателей // Нью-Джерси, 1979. Т. 1. – С. 279.
3. Бунин, Иван Алексеевич. Бунина, Вера Николаевна. Указ. соч. Т. 1. – С. 7.
4. Бунин, Иван Алексеевич. Бунина, Вера Николаевна. Устами Буниных. Дневники. Т. 2. / М.: «Посев», 2004. – С. 279.
5. Betea, David M. 1944–1953: Ivan Bunin and the Time of Troubles in Russian Émigré Literature / Slavic Review. Vol. 43, No. 1 (Spring, 1984). – P. 9.
6. Ibid. – P. 14.
7. Бахрах, Александр. Бунин в халате / Товарищество Зарубежных Писателей. 1979. – С. 156.
8. Бахрах, Александр. Указ. соч. – С. 158.; Alexander Bacherac Papers. Box 1. Bakhmeteff Archives. Columbia University.
9. Бахрах, Александр. Указ. соч. – С. 26.
10. Бахрах, Александр. По памяти, по записям / Париж, 1980. – С. 9.
11. Бунин, Иван Алексеевич. Бунина, Вера Николаевна. Устами Буниных. Т. 2. – С. 297.

12. *Бахрах, Александр*. Бунин в халате. – С. 58.
13. *Бунин, Иван*. Из дневников И. Бунина / Публ. М. Грин // «Новый Журнал». № 116. – Нью-Йорк. 1974. – С. 180.
14. *Бахрах, Александр*. Бунин в халате. – С. 173.
15. Там же. – Сс. 156-7.
16. Там же. – С. 12.
17. Там же. – С. 158.
18. Alexander Bacherac Papers. Box 1. Bakhmeteff Archives. Columbia University.
19. Ibid.
20. *Бахрах, Александр*. Бунин в халате. – С. 174.
21. *Бунин, Иван Алексеевич. Бунина, Вера Николаевна*. Устами Буниных. Т 2. – С. 336.
22. *Бахрах, Александр*. Указ. соч. – С. 35.
23. *Бунин, Иван Алексеевич. Бунина, Вера Николаевна*. Указ. соч. Т. 2. – С. 326.
24. *Bethea, David M.* 1944–1953: Ivan Bunin and the Time of Troubles in Russian Émigré Literature. – P. 7.
25. *Бахрах, Александр*. Бунин в халате. – С. 43.
26. *Bethea, David M.* 1944–1953: Ivan Bunin and... – P. 8.
27. *Глэд, Джон*. Беседы в изгнании. Русское литературное зарубежье / М.: Издательство «Книжная палата». 1991. – С. 12.
28. *Bethea, David M.* 1944–1953: Ivan Bunin and... – P. 9.
29. Alexander Bacherac Papers. Box 1. Bakhmeteff Archives. Columbia University.
30. *Bethea, David M.* 1944–1953: Ivan Bunin and... – P. 14.

Университет Досия (Киото, Япония)

П. Н. Базанов

Издательская деятельность «Нового русского слова»

Наброски к теме

История издательской деятельности «Нового русского слова» пока не написана, но она крайне важна для общего пейзажа истории эмиграции XX века. В то же время книги, выходившие в Нью-Йорке под эгидой газеты, заслужили пока только упоминания в научной литературе.

Наиболее известная русская ежедневная газета была основана под названием «Русское слово» в 1910 году в Нью-Йорке и выходила почти 100 лет. Ее основателями были редактор, журналист, один из первых историков эмиграции Иван Кузьмич Окунцов (1874–1939) и издатель (впоследствии – «почетный президент») Виктор Исаакович Шимкин (ок. 1883–1967). В 1920 году редактор и издатель рассорились, и газета поменяла название на «Новое русское слово». Вскоре главным редактором стал известный журналист и публицист Марк Ефимович Вейнбаум (1890–1973). На этом посту Вейнбаума (с 1923 по 1973) сменил известный журналист, прозаик и общественный деятель Андрей Седых (псевдоним Якова Моисеевича Цвибака, 1902–1994). Последним редактором и издателем был Валерий Вайнберг (с 1994 по 2010).

Про историю самой газеты существует довольно много публикаций¹. Авторами НРС были почти все видные представители литературы и общественной мысли трех волн русской эмиграции. Исключение составляли представители радикальных сообществ – национал-большевистских, просоветских и черносотенных. Среди авторов из первой эмиграции можно выделить Арк. Аверченко, Дон-Аминадо, М. А. Алданова, И. А. Бунина, Б. К. Зайцева, З. Гиппиус, А.И. Куприна, П. М. Пильского, Аргуса (литературный псевдоним писателя-сатирика Михаила Константиновича Айзенштадта, жившего с 1923 в США,), В. Набокова-Сирина, Тэффи, Б. И. Николаевского, М. В. Вишняка, А. Ф. Керенского, А. Л. Толстую и многих других. В «Новом русском слове» также печатались представители второй

волны Н. Градобоев (псевдоним Л. В. Дудина), Н. И. Ульянов, В. К. Заваалишин, Т. В. Фесенко, В. И. Юрасов, Иван Елагин, Ольга Анстей, Валентина Синкевич и др. Несмотря на то, что в газете печатались многие авторы из меньшевистского «Социалистического вестника», в целом НРС охотнее предоставляла свои полосы их оппонентам. Скептическое отношение газеты к некоторым литераторам третьей волны не помешало тому, что на страницах газеты появились интервью, статьи, эссе и стихотворения И. А. Бродского, А. И. Солженицына, В. П. Аксенова, В. Е. Максимова, В. П. Некрасова, А. Т. Гладилина, А. Л. Янова и многих других. В 2006–2008 гг. еженедельная версия газеты печаталась уже в Москве – для российских подписчиков и читателей из других республик бывшего СССР.

Газета являлась независимым изданием, существовавшим за счет продажи тиража, рекламы, объявлений, а также благодаря финансовой помощи русско-еврейской общины г. Нью-Йорка. В 1921 году тираж газеты составлял 32400 экземпляров, затем долгие годы – 22000–23000, в 1976 году – 26000; после массового притока эмигрантов третьей волны в Америку он вырос до 42000, а в 2006 году достиг максимума – 150000.

Пока удалось выявить два десятка названий, выходивших под маркой «Издание ‘Нового русского слова’» или «Издание газеты ‘Новое русское слово’». Большинство из них первоначально печатались на страницах газеты. Полиграфическое оформление было самым экономным, почти без иллюстраций, в мягких обложках.

Единственной книгой, изданной при газете в период первой эмиграции, был сборник стихотворений «Подснежники» (1927, 93 с.) балерины и поэтессы Лидии Яковлевны Нелидовой-Фивейской (1894–1978) с ее портретом. Расцвет книгоиздательской деятельности НРС пришелся на 1950-е – начало 1980-х гг.

Больше всего книг – восемь – напечатал Андрей Седых, личность для эмиграции поистине легендарная. Он начал журналистскую деятельность еще в Константинополе, потом в Париже работал в редакции газеты «Последние новости», был корреспондентом рижской газеты «Сегодня» и «Нового русского слова». В качестве личного секретаря сопровождал И. А. Бунина на вручение Нобелевской премии. В 1942 году Андрей Седых эмигрировал в США и стал работать в редакции НРС. Вскоре он стал заместителем главного редактора М. Е. Вейнбаума и с этого времени и до конца жизни определял общественную и литературную политику этого периодического издания. Андрей Седых был популярным, хорошо издаваемым в эмиграции автором; при газете он печатал автобиографические сборники рассказов. В 1948 году Андрей Седых выпустил первый сборник

«Звездочеты с Босфора» (157 с.) с предисловием И. А. Бунина, через три года – «Сумасшедший шарманщик» (1951, 160 с.), потом последовала книга «Только о людях» (1955, 191 с.).

Самой известной книгой Андрея Седых стали его мемуары «Далекие, близкие» (1962, 265 с.) – воспоминания о И. А. Бунине, А. И. Куприне, М. Волошине, О. Э. Мандельштаме, М. А. Алданове, К. Д. Бальмонте, А. М. Ремизове, А. К. Глазунове, С. В. Рахманинове, Ф. И. Шаляпине, П. Н. Милюкове и о многих других; только в 1962 году мемуары выдержали два издания. Через несколько лет Седых выпустил третье издание, дополненное и расширенное за счет новых глав (1979, 281 с.).

Через два года Андрей Седых издает мемуарно-ностальгический сборник рассказов «Замело тебя снегом, Россия» (1964, 218 с.). Все книги этого периода были напечатаны в типографии «Rausen Bros.».

Нью-йоркская семейная типография братьев Раузен была создана еще в Париже в 1932 году, в Нью-Йорке она работала с 1940 года до начала 1970-х. Максимальное число сотрудников достигало в разные годы 35 человек. Ее владельцами были эмигранты Раузены – Георгиевский кавалер, участник Первой мировой войны Израиль Григорьевич (1892–1977) и вице-президент Одесского землячества Лазарь Григорьевич (1884–1960), которые состояли в нью-йоркском отделении партии эсеров и выполняли заказы для издательств русской эмиграции в США. Братья Раузены были всеобщими любимцами диаспоры в Америке. Признательность объясняется, в частности, и тем, что часто книги и периодику они печатали в долг и даже без аванса, в том числе и для Издательства имени Чехова и «Нового Журнала».

Два последующих сборника Андрея Седых посвящены очеркам о русском еврействе в Израиле: «Земля обетованная» (1966, 224 с.) и «Иерусалим, имя радостное» (1969, 224 с.). В 1977 году выходит автобиографический сборник «Крымские рассказы» (1977, 138 с.) о феодосийском детстве автора. Все три книги были напечатаны в нью-йоркской типографии «Waldon Press Inc.».

Последней книгой Андрея Седых и последним изданием «Нового русского слова» были «Пути, дороги» (1980, 298 с.) – перепечатка первого издания, выпущенного парижским издательством Я. Поволоцкого в 1930 году. Новый тираж вышел в нью-йоркской типографии «Russian Phototypesetting Corp.».

В начале 1950-х при газете вышла «История Америки» (167 с.) в немного большем формате, чем обычно. Книга содержала материал по американской истории с 1607 до 1950 гг. и предназначалась для недавно прибывших эмигрантов. Книга эта – единственное нехудожественное издание, вышедшее в НРС.

Журналист, редактор, юрист, председатель Литературного фонда США и член Американской академии политических и общественных наук Марк Ефимович Вейнбаум не мог не издать при газете сборник своих статей. В 1956 году вышла его книга «На разные темы» (398 с.), содержащая путевые заметки, рецензии, воспоминания о встречах с известными общественными деятелями Америки и русской эмиграции (Д. К. Кулидж, Д. Д. Рокфеллер, И. И. Сикорский, С. В. Рахманинов и др.). Особенно актуальной оказалась статья «Гоголь и украинские шовинисты». Тираж также напечатала типография «Rausen Bros.».

В 1957 году газета печатает сенсационный роман В. Д. Дудинцева «Не хлебом единым» (1957, 408 с.), ранее публиковавшийся на страницах газеты. Владимир Дмитриевич Дудинцев (псевдоним Владимира Семеновича Байкова, 1918–1998) был известным советским писателем. В период «оттепели» он смог опубликовать свой роман в журнале «Новый мир» Твардовского. В произведении осуждался коммунистический режим, показывался чиновничий произвол и атмосфера доносов и клеветы в сталинское время. Хотя роман был слабым с литературной точки зрения, он вызвал множество бурных дискуссий в СССР и был воспринят как «глоток свободы» в советской литературе. Через год после публикации в Москве многие эмигрантские издательства – «Центральное объединение политических эмигрантов из СССР» (ЦОПЭ) в Мюнхене, «Единение» в Австралии, НРС в США – переиздали роман; в эмиграции он также пользовался читательским спросом.

Представительница второй волны эмиграции, поэтесса и прозаик, профессиональный библиограф Татьяна Павловна Фесенко (урожденная Святенко, 1915–1995) издала автобиографическую «Повесть кривых лет» (1963, 220 с.), ранее печатавшуюся на страницах газеты. Произведение рассказывало о жизни киевлян Фесенко – от Гражданской войны до переезда в США.

Колоритным представителем эмиграции, выпустившим книгу в издательстве газеты, был Владимир Иванович Жабинский (1914–1996), из советских перебежчиков. Жабинский имел множество псевдонимов: «Панин», «полковник Рудольф», «Владимир Рудольф» и «С. Юрасов» (последний подсказан Р. Б. Гулем). Роман «Параллакс» (1972, 481 с.) Жабинский подписал как «Владимир Юрасов», позднее он пользовался инициалом «С.». Заказ напечатала типография И. Башкирцева в Мюнхене. Иван Иванович Башкирцев был известным русским дипийским издателем, членом власовской организации «Союз Борьбы за Освобождение Народов России»; пользовался псевдонимами «Е. А. Колюжный»² и «В. Путин».

Первая часть романа «Параллакс», с символическим названием

«Враг народа», вышла в Издательстве им. Чехова. В предисловии к своему автобиографическому роману Юрасов пишет трогательные строки: «Как-то в Нью-Йорке я рылся в книгах небольшого букинистического магазина. Среди груд старых американских книг я заметил книжку, внешне напомнившую мне книги, которые я когда-то покупал для своей библиотеки у букинистов на Литейном проспекте в Ленинграде. И действительно, книга оказалась русская: изданная в Москве. На титульном листе стояла печать библиотеки зимовки на Новой Земле. Как, какими неведомыми путями она добралась до нью-йоркского Манхаттана – острова в устье Гудзона? Выпуская свой первый роман на русском языке в Нью-Йорке, я думаю, что, может статься, и мой ‘Параллакс’ найдет дорогу до города моей юности Ленинграда или до города моего детства Ростова-на-Дону»³. Парадоксально, но автор данной статьи в 1997 году купил роман «Параллакс» в букинистическом магазине на Литейном проспекте с дарственной надписью Юрасова архиепископу Иоанну (Шаховскому). Как книга оказалась в Санкт-Петербурге – библиофильская загадка.

Предпоследней книгой, вышедшей в издательстве газеты «Новое русское слово», был роман Л. Д. Ржевского «Дина» (1979, 167 с.) с подзаголовком «Записки художника». Леонид Денисович Ржевский (настоящая фамилия Суражевский, 1903–1986), писатель второй эмиграции, литературовед и литературный критик, в 1952–55 гг. – редактор журнала «Грани», в США работал в Оклахомском, затем в Нью-Йоркском университетах.

В здании, где размещалась редакция НРС, располагались «Издательство и типография Н. Н. Мартянова», известные выпуском отрывных и настольных русских календарей, пасхальных и рождественских открыток, а также книг. Глава, Николай Николаевич Мартянов (1894–1984), – участник Белого движения, выпускник Пражского и Колумбийского университетов, также сотрудничал с НРС.

При НРС публиковались и другие периодические издания, например, «Бюллетень Лиги борьбы за народную свободу» – «Грядущая Россия» (1949–1950, №№ 1–37). Лига, леволиберальная антикоммунистическая организация, была создана в 1948 году в Нью-Йорке. Инициативная группа Лиги была представлена меньшевиками, эсерами (объединившимися вокруг «Социалистического вестника» в единую социалистическую фракцию) и «Крестьянской Россией»; в ее состав вошли меньшевики Р. А. Абрамович (редактор «Социалистического вестника»), Б. И. Николаевский (председатель Бюро Лиги), Д. Ю. Далин, Б. Л. Двинов, А. А. Югов, С. М. Шварц; эсеры В. М. Зензинов, В. М. Чернов, М. В. Вишняк; от «Крестьянской

России» – В. Ф. Бутенко; а также А. Керенский, редактор «Грядущей России», и проф. М. Карпович, редактор «Нового Журнала», игравшие важную роль в работе Лиги. За пост председателя ЛБНС в 1949–1951 гг. боролись А. Ф. Керенский и Б. И. Николаевский⁴.

Отношения между редакциями двух изданий строились по принципу взаимного невмешательства; только если статья в Бюллетене могла нанести, по мнению гл. редактора, вред газете, она изымалась из выпуска. Главным редактором Бюллетеня был А. Ф. Керенский, секретарем В. М. Зензинов, а в редколлегию входили В. Ф. Бутенко, Б. А. Константиновский, Д. Ю. Далин. Авторами были практически все члены руководства Лиги. Бюллетень печатал материалы о задачах организации, о внутренней политике в СССР, о международном положении, о рабочем движении, об экономике и национальном вопросе в Восточной Европе, а также о положении дипийцев и об отношении к другим политическим группам и организациям⁵. С № 11 главным редактором стал Б. И. Николаевский, но оставшийся В. М. Зензинов играл определяющую роль в редакционной политике Бюллетеня. Эти изменения, равно как и «засилье социалистов», «превращающих 'Лигу' в придаток старых организаций», повлияло, в частности, на выход В. Ф. Бутенко («Крестьянская партия») из редколлегии⁶.

В 1951–1952 гг. при газете выходило еще одно издание – «Своим путем: Вестник Трудовой Крестьянской партии». Редактором его и был Владимир Федосеевич Бутенко (1894–1976) – участник Белого движения, марковец, подполковник, секретарь ЦК партии, сотрудник НРС. «Крестьянская Россия» – организация, основанная правыми эсерами в 1920 году еще в Москве и возобновленная в эмиграции в 1921 году; ее центр находился в Праге, отделения – во всех государствах-лимитрофах, в Югославии, Франции и на Дальнем Востоке. Генеральным секретарем стал экономист С. С. Маслов, а председателем – журналист и профессиональный революционер, бывший член руководства партии эсеров А. А. Аргунов; идеологами были литераторы А. Л. Бем и знаменитый социолог П. А. Сорокин. На первом съезде в 1927 г. организация была переименована в Трудовую Крестьянскую партию (ТКП). В своей программе партия делала ставку на зажиточное крестьянство в России⁷; она декларировала себя как первая русская партия, выражающая интересы крестьянства и не ставящая социалистических экспериментов над народом⁸. Московская подпольная ячейка «Крестьянской России» была разгромлена в 1925 году, но регулярные связи ТКП с советской деревней сохранялись вплоть до коллективизации. После Второй мировой войны уцелели только американское, французское и шанхайское отделения партии⁹.

В 1983–1984 гг. приложением к газете выходил еженедельный

журнал «Семь дней – Seven days» (№№ 1-7). Андрей Седых предоставил эмигрантам третьей волны шанс издавать журнал, вроде старой «Иллюстрированной России». Еженедельник «Семь дней» освещал жизнь русскоязычной диаспоры в США, события в СССР и остальном мире; печатались художественные произведения, путевые очерки, литературная критика, заметки об искусстве, театре и кино, публицистика и т. д. Авторами журнала были И. А. Бродский, П. Л. Вайль, А. А. Генис, З. Е. Зиник, К. К. Кузьминский, И. П. Суслов, Ф. Е. Незнанский и др. Журнал «Семь дней» стал выходить после конфликта между редакциями «Нового русского слова» и «Нового американца», хорошо известного общественности благодаря художественным произведениям С. Д. Довлатова и многочисленным интервью и воспоминаниям авторов противоборствующих газет.

Прекращение издательской деятельности газеты «Новое русское слово» было вызвано появлением в Нью-Йорке многочисленных новых русскоязычных издательств, создаваемых представителями третьей волны. Тиражи выпускаемых книг были небольшие, около 500 экземпляров; писатели в основном были авторами НРС. Большой популярностью по-прежнему пользовались мемуары Андрея Седых «Далекие, близкие».

История русской эмиграции в XX веке в США и сегодня остается «терра инкогнита»; неизвестны ее многочисленные страницы – изучение которых существенно переписало бы историю русской литературы и культуры в прошедшем столетии. Одной из таких страниц остается издательская деятельность «Нового русского слова» – как, впрочем, и история самой газеты.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См. о «Новом русском слове»: *Цыкова, О.* «Новое русское слово» – феномен долголетия // Евреи в культуре Русского Зарубежья / Сост. и издат. М. Пархоменковский // Иерусалим, 1996. Т. V. – Сс. 160-180; *Селезнева, Т. В.* «Новое русское слово» // Литературная энциклопедия Русского Зарубежья: 1918–1940. Т. 2. Периодика и литературные центры / М.: РОССПЭН, 2000. – Сс. 255-258; *Азаров, Ю. А.* Русская литературная периодика в США 1920–1930-х годов: «Зарница», «Москва», «Новое русское слово» // Литература Русского Зарубежья, 1920–1940. Вып. 3 / М., 2004. – Сс. 518-542; *Шугайло, Т. С.* Антисоветская пропаганда в русских эмигрантских изданиях в 1950-е годы (на примере газет «Россия» и «Новое русское слово») // Ойкумена. Регионоведческие исследования / Находка, 2010. № 4. – Сс. 24-36; *Зацепина, О. С., Ручкин, А. Б.* Русская периодика в США. «Новое русское слово», «Русская жизнь», «Новый Журнал», «Слово/Word». // *Зацепина, О. С.,*

- Ручкин, А. Б.* Русские в США. Общественные организации русской эмиграции в XX–XXI вв. // Нью-Йорк, 2011. – Сс. 202–218; *Голлербах, С. Л.* Андрей Седых и «Новое русское слово» // *Голлербах, С. Л.* Нью-Йоркский блокнот : Книга воспоминаний / New York: New Review, 2013. – Сс. 187–190; *Уральский, М., Новак, М.* «Новое русское слово». 1910–1985 годы. Часть 1. От Окунцова до Вейнбаума // «Новый Журнал», Нью-Йорк, 2015. № 279. URL: <http://magazines.russ.ru/nj/2015/279/21u.html>; *Уральский, М.* «Новое русское слово». 1910–1985 годы. Часть 2. Андрей Седых // «Новый Журнал». Нью-Йорк, 2015. № 280. – Сс. 268–284 и др. Газете посвящена диссертация: *Недогарко, М. В.* «Новое русское слово», 1910–1950 гг.: история и типология: дис. ... канд. филол. наук / Ростов-на-Д., 1997. 208 с.; Об издательстве «Новое русское слово» упоминается только в книге: *Базанов, П. Н., Шомракова, И. А.* Книга Русского Зарубежья: из истории книжной культуры XX века: учеб. пособие / СПб. полигр. ин-т (фил.) Моск. гос. ун-та печати // СПб.: Изд-во СПб. ин-та печати, 2001. – Сс. 92–94.
2. ГАРФ. Ф. 10015. Оп. 1. Д. 34. Л. 1.
 3. *Юрасов, В.* Параллакс. – Нью-Йорк: НРС, 1972. – С. 3.
 4. *Базанов, П. Н.* Издательская деятельность политических организаций русской эмиграции (1917–1988 гг.). 2-е изд. исп. и доп / СПб., 2008. – Сс. 286–287.
 5. Columbia University Libraries, Rare book and Manuscript Library Bakhmeteff Archive of the Russian and East European History and Culture. V. M. Zenzinov Papers. Box 37.
 6. Ibid.
 7. Отдел рукописей Российской национальной библиотеки. Ф. 445. Д.3. Л. 121.
 8. ГАРФ Ф. Ф. Р-5881. Д. 990. Л. 1–25.
 9. *Базанов, П. Н.* Указ. соч. – С. 100.

Елена Дубровина

Мишель Матвеев и его роман «Загнанные»

Жизнь большинства людей – мертвая дорога,
которая никуда не ведет.

Франсуа Мориак, «Дорога в никуда»

После Первой мировой войны, в связи с притоком русской интеллигенции, избежавшей террора, преследований и погромов в СССР, о которых у французского читателя не было еще достаточно знаний, появился интерес к мемуарной литературе вновь прибывших иммигрантов.

Помните у И. Бунина дневниковую запись в «Окаянных днях»? – «Как! Умереть, не плюнувши в лицо революционному террору?» Таким «плевком» могли стать книги-воспоминания. Русские писатели, покинувшие Россию после революции, всё еще скорбевшие по потерянной родине, не могли смириться с разгулом там революционного террора – слишком свежи были воспоминания. Время может научить человека привыкать, но забывать – никогда. Ведь куда бы он ни ушел, боль пережитого всегда остается с ним. У многих из тех, кто прошел через ад советских репрессий, погромов, издевательств, появилась потребность рассказать об этом, поведать правду западному читателю.

Таким образом, большое количество полубиографических и биографических повествований о жизни в послереволюционной России стало выходить во Франции и других европейских странах в 1920–1930-х годах. Произведения эти имели у публики большой успех. В «Грасском дневнике» Галина Кузнецова приводит слова Ивана Бунина: «Нет ничего лучше дневников – всё остальное брехня!»

В 1927 году австрийский писатель Йозеф Рот опубликовал на немецком языке сборник статей «Дороги еврейских скитаний» («Juden auf Wanderschaft»), посвященных бегству евреев от погромов из Восточной Европы. Дневники Али Рахмановой, изданные на немецком языке («Студенты», 1931, и «Браки в красной сумятице», 1932), распродавались миллионными тиражами. Они повествовали о тех злодеяниях, которые происходили в послереволюционной

России. К этой же теме можно отнести вышедшие на русском языке роман Николая Брешко-Брешковского «Красные и белые» (1926), полубиографические романы В. Корсака (В. В. Завадского) «У белых», «У красных», «Плен» и др., а также повесть Ивана Болдырева «Мальчики и девочки» (1929) о жизни молодежи при советской власти. Еще одна книга о советской молодежи 20-х годов «Хождение по вузам» М. Москвина увидела свет в 1933 году.

В 1931 году были напечатаны в Париже мемуары забытой сейчас писательницы и сестры милосердия, чудом избежавшей расстрела в Бутырской тюрьме, Марии Нестерович-Берг «Борьба с большевиками». В газете «Возрождение» в 1925–27 гг. печатались из номера в номер дневниковые записи Ивана Бунина «Окаянные дни», которые он вел в Москве и Одессе между 1918–1920 гг. Полностью книга была издана берлинским издательством «Petropolis» в 1936 году. В Америке пользовался популярностью первый роман молодой писательницы-эмигрантки Айн Рэнд «We the Living» («Мы – живущие», 1936), поведавший читателю о жизни семьи в послереволюционном Петрограде.

Большим событием явилась в 1936 году книга знаменитого французского романиста Андре Жида «Возвращение из СССР». В ней он отметил, что отсутствие свободы мысли и жесткий контроль над литературой и общественной жизнью стали пугающими чертами нового советского общества. Возможно поэтому выход в 1938 году в Париже на французском языке романа нашей соотечественницы Славы Поляковой под названием «В стране обреченных» (или «В стране морских свинок», «Au pays des cobayes»), повествовавшего в полуфантастической форме о злодеяниях в стране Советов, вызвал такой интерес у французской публики.

В том же 1938 году появился (посмертно) на немецком языке роман французского писателя русского происхождения Валентина Франчича «Красная Голгофа» – тоже о жизни русской интеллигенции в послереволюционном Петербурге. «Террор, обыски, голодовки – лишь фон его повествования, а истинное содержание, истинный ужас его – в том ‘омертвлении’ души, в том призрачном изменении всей жизни, о коем свидетельствовали многие петербуржцы, присутствовавшие при страшной метаморфозе своего города. Роман Франчича носит на себе печать революционного Петербурга, умирающего, ставшего нереальным» (из статьи Юрия Мандельштама)¹. Этими словами Ю. Мандельштама можно описать каждое из вышеупомянутых произведений – как и многих других, о которых еще предстоит рассказать. Сейчас в России мало кто знает имена этих авторов и их произведения. Нет в словарях и имени писательницы Анны Полярной, напечатавшей в 1939 году небольшую книжку о жизни

молодежи в дореволюционной и послереволюционной России. Судьба почти каждого из них сложилась трагически.

В 1920–1930-х годах на страницах французской и русской периодики шла серьезная полемика о мемуарной и дневниковой литературе, о соотношении между жизнью и искусством. Когда-то французский писатель и публицист XIX века Барбе д’Оревилю писал о мемуарной литературе: «Мемуары – лучшее введение в изучение истории. При помощи их мы глубоко и интимно проникаем на сцену, на которой разыгрываются события и действуют лица эпохи, и даже дальше, чем на сцену, – за кулисы». Но в начале 20-го века во Франции спор шел в основном о том, что любые воспоминания, отражающие реальные события, разыгранные на мировой сцене, должны быть написаны как художественное произведение, в котором наряду с документальной правдой должен сосуществовать элемент вымысла. Такой вид литературы называли «вымышленными воспоминаниями»².

Именно к такому виду творчества можно отнести роман французского писателя Мишеля (Михаила) Матвеева «Les Traqués»³ (в переводе на русский – «Загнанные» или «Преследуемые»), изданный в Париже в 1933 году. В 2010 году роман перевели на немецкий язык.

Книга является захватывающим и правдивым историческим документом, написанным очевидцем событий, происходящих на Украине, в Румынии и, наконец, во Франции. Основываясь на описанных событиях, я бы назвала это произведение скорее не романом, а документальной повестью. И хотя роман (или повесть) был написан по-французски, «Россия сквозит в каждой его строчке, в каждой интонации», – отмечает Ю. Мандельштам в статье «Рассказы Михаила Матвеева»⁴. Россия действительно часто была темой многих книг французских писателей, выходцев из России, – нередко они были свидетелями описываемых событий.

В 1935 году роман «Загнанные» был переведен на английский язык под названием «Weep not for the Dead»⁵ («Не плачьте по мертвым») – совершенно точно определяющим суть этого произведения. История и трагедия главных героев повествования Мишеля Матвеева – это плач не по мертвым, а по тем, кто остался в живых после погромов; это плач по тем нечеловеческим страданиям, которые им пришлось перенести на пути в неизвестное будущее:

Наступила глухая ночь – ночь, оставившая нас в одиночестве размышлять о наших бедах. Ночь была для нас, обеспокоенных своей судьбой, обреченных и, как я, потерявших надежду; временем печали и безысходности.

Нас отправляли в Кишинев. В любой момент за нами могли прийти.

Собираются ли они убить нас по дороге, или прикажут нам сойти на одной из мрачных станций и убежать в ночную мглу, прячась за складами; или же они отвезут нас прямо в Кишинев, где подвергнут известным пыткам сигуранци⁶ еще до того, как объявят официально, что мы совершили «самоубийство»?

*И молодой провокатор в Галаце возьмет, наконец, свой реванш над нами. Может быть, он лично сам, скинув свой добротный плащ, поднимет на нас свою натренированную руку. Возможно, что через несколько часов или через несколько дней меня уже не будет в живых. Я плачу, я плачу оттого, что родился сыном своего отца.**

Мысли о смерти не раз тревожат главного героя книги после очередной изощренной пытки в румынском застенке.

Если в действительности это значит, что я там умру, – мои руки, мое сердце, ноги, голова, – то почему бы этому не случиться именно здесь и быстро, одним ударом! Но тех, кого пытаются, умирают медленной смертью: их мучает страшная жажда, они рвут кровью, а в глазах – тихая боль, –и даже молчаливая просьба, обращенная к их же палачам: дать хоть глоток воды!

Это небольшого размера произведение основано на личных переживаниях автора и почти документально отражает не только события его жизни, но и известные эпизоды истории, увиденные глазами участника и очевидца. Эта книга – страницы из жизни беженца, искренне и без прикрас рассказывающие о людях, вынужденных спасаться от погромов. И хотя книга написана сдержанным языком, автор образно, небольшими, но емкими штрихами передает читателю ощущение безнадежности и беспомощности его героев перед темными силами, захватившими страну.

Несмотря на элементы биографичности и документальности, в первую очередь, это произведение художественное. В чем заключается художественная сила произведений Мишеля Матвеева? Для пишущего мемуарную литературу создать из «человеческого документа» произведение искусства – задача сложная. Писатель должен преобразить свое «я» в отвлеченного героя, стать посторонним свидетелем происходящего, оставаясь при этом реальной частью описываемого им мира. То есть автор как бы выполняет две роли – рассказчика, наблюдающего за происходящим со стороны, и – самого участника событий.

* Все цитаты из романа приводятся в переводе с английского Е. Дубровиной.

...В комнату вошла девочка с маленьким чемоданчиком в руке. Я узнал ее, несмотря на ее бледность и каменное выражение лица. Ее мать была с нами, в правом углу комнаты. Сына ее убили за день до этого, и мать хотела рассказать об этом дочери; она тихо плакала. Но ребенок уже знал; знал и об этом, и о других подобных вещах. Ледяным голосом она произнесла: «Янкель убит, это еще ничего». И, повторяя снова и снова: «Это ничего. Так лучше», она напряженно опустила слева от матери, но на расстоянии от нее.

Все знали, что она только что вернулась из путешествия; знали мы и о том, что евреи выпрыгивали из окон поезда на ходу движения, так как были подвергнуты пыткам, избиениям и невообразимым издевательствам. Трудно представить себе, через что прошла эта девочка, если смерть брата казалась ей такой неважной, легким путем уйти из жизни. Представить себе это, поверить, было просто невозможно! Девочку убили тем же вечером.

Мишель Матвеев нашел свой путь сделать из полубиографического повествования произведение художественное – не сопоставляя «словесное искусство» и искусство изобразительное, а сочетая их, превратив слово в кисть художника. Задача нелегкая, но Мишель Матвеев справился с ней блестяще.

Матвеев был известен во Франции как талантливый художник и скульптор; возможно поэтому его роман предстает одним большим художественным полотном, на которое скупыми, холодными мазками нанесены картины увиденного. Сам тон романа эмоционально сдержанный, автор как бы наблюдает происходящее со стороны; он не сопереживает, а воспроизводит на полотне увиденные злодеяния. Горькая ирония звучит при этом во многих пассажах повествования.

Вот как описывает главный герой улицы города во время погрома:

Улицы оставались пустыми. Где-то вдалеке был слышен шум оружейных выстрелов. Я искал на земле те предметы, которые уронили погромщики, но ничего не находил. Вся операция была проведена аккуратно. На углу улицы я наткнулся на собаку, которая неподвижно стояла, не понимая, куда идти: хозяин ее, вероятно, погиб или ушел.

На дороге не было ни души. У входа в один из дворов я увидел валяющуюся под ногами каску. Из каски торчало несколько волос, приклеенных к какой-то липкой массе. Ворота во двор были открыты; он был заполнен трупами – разорванными на куски мужчинами и женщинами. Эти люди были убиты ручной гранатой.

Я продолжал свой путь. Во мне уже не оставалось страха. Навстречу попались несколько солдат, но они не обратили на меня

внимания. Я был им просто не нужен. У меня развязались шнурки от ботинок, и, хотя они мне мешали, я не стал их завязывать. Инстинктивно я остановился перед небольшим домиком, где жили мои друзья, к которым я обычно заходил. Возможно, я остановился, привлеченный доносившимся до меня плачем, а может быть, потому что наткнулся на кучу мебели и других вещей. Казалось, что весь этот дом был вывернут наизнанку, как мусорный ящик, который надо было освободить от ненужного хлама. На самой верхушке этого нагромождения лежала маленькая девочка; ребенок был плоским, будто что-то раздавило ее. Вероятно, они прошли по ней сапогами, так как на ее бледном личике был виден отпечаток сапога.

Старая христианка заламывала руки, плача и причитая над маленьким еврейским трупиком. Это была простая душа, которая убиралась в домах в этом квартале; бедная, скромная женщина, не умевшая ни писать, ни читать, она ничего не знала ни о «расе», ни о «национализме». Она, возможно, пришла сюда для того, чтобы разгрести это добро, а нашла ребенка. Она плакала и что-то шептала над телом девочки, всё еще заламывая руки. Я пошел дальше.

В 1935 году, к десятилетию журнала «Новый мир», И. М. Гронский, в то время главный редактор журнала, писал: «Еврейский погром, пытки в застенках, убийства из-за угла и другие мерзости не могут вдохновить художников на создание больших произведений искусства...» В советской России, действительно, «эти мерзости» предпочитали замалчивать. Однако вне страны Советов эта тема волновала не только русских беженцев; правда о погромах интересовала и зарубежного читателя. О романе М. Матвеева, изобразившем жестокую реальность современного мира, заговорили в прессе. Один из рецензентов на немецкое издание предположил, что «Загнанные» Мишеля Матвеева стали предтечей французского экзистенциализма. С этим утверждением можно согласиться. Экзистенциалистская структура четко просматривается в романе; истинную сущность своего бытия герой романа познает в кризисные моменты, когда он находится на грани жизни и смерти. Переживает ли он тяжелую болезнь невестки, утрату близких (убиты отец и брат, умирает от чахотки невестка и т. д.), пытки в румынских застенках или каждодневную смертельную опасность, в такие моменты он чувствует свое отторжение от реального мира. Заточение не только в реальной тюремной клетке, но и внутри своего страха, лишает героя возможности катарсиса. Крики жертвы, доносящиеся из комнаты пыток, сливаются с внутренним криком каждого из персонажей, вселяя в них страх смерти. И тогда эти несчастные жертвы безмолвно замыкаются в своем одиночестве:

Мы прятались в своем одиночестве, в лихорадке отчаянной изоляции.

Крик. Будто это кричали мы сами... Мы ждали. Мы старались не смотреть на дверь, ведущую в маленькую комнату в конце коридора, откуда входили и выходили комиссары. Мы ждали, замерев, пытаясь не замечать друг друга. В агонии, в нетерпении, разрывающих наши сердца, мы ожидали новых криков, которые должны были вот-вот раздасться, чтобы вырасти до самого пронзительного крика. И опять новые и новые крики прорвутся в наши органы, вывернут нас наизнанку и положат навсегда конец всему...

Но криков не было.

Ничего, кроме тишины. Потянулись долгие минуты. Никто не плакал. Мы все стояли, как часовые. Мне казалось, что в грязно-лиловом окне даже тени застыли в ожидании.

И когда, в конце концов, полицейский вышел из той комнаты и прошел мимо через нашу «классную», мы расслабились, и души наши вернулись к своему обычному, отчаянному поиску спасительных ответов. Я размышлял. «Нищета и болезнь – они похожи на проходящих под нашим окном тяжело работающих и голодных людей... но они свободны, а быть свободным – ведь именно это и есть счастье!»

В страданиях, в этом страшном и отчужденном мире люди обезличиваются. И тогда герой романа делает свой экзистенциальный выбор, принимая ответственность не только за себя, но и за своих близких. Правильным ли был его выбор или нет, автор отдает на суд читателю.

В книге все главные герои – безымянные: «брат», «мать», «жена», «невестка», «ребенок»; этот авторский притчевый прием оправдан внутренне, ибо повествование не о трагедии одной определенной семьи, а обо всех тех семьях, которых разлучили с любимыми, которым пришлось пройти через невероятные испытания на беженском пути. В книге нет и завершения фабулы; мы не знаем, что случится с героями, ведь у каждой такой семьи общий путь испытаний обретал свой конец – счастливый или горький.

Мишель Матвеев рассказал историю только одной семьи: матери, двух ее сыновей, талантливых исполнителей еврейских народных песен, и их жен. Во время погрома в Елисаветграде⁷ погибают отец и старший брат автора повествования.

Я помнил смерть брата. Услышав в городе, что на наш дом напали, я всю дорогу бежал к своим. Во дворе у ворот при входе в наш маленький садик я увидел огромную лужу крови. Кровь моего

брата. А вокруг стояли соседи, с которыми мы были когда-то друзьями. Они окружили меня, и, впившись глазами в лужу крови, улыбались. В этот момент где-то вдалеке я услышал крик. Наш дом стоял у реки, у подножия холма. Я резко повернулся и увидел на горизонте, на фоне неба, – мать, бегущую к нам с воздетыми к небу руками; она возвращалась из больницы, куда увезли брата после ранения. Она кричала:

– Он мертв!

Погром в Елисаветграде начался 1 мая 1919 года, он был устроен восставшими против советской власти воинскими частями под командованием атамана Н. Григорьева. В тот день григорьевцы обстреляли из пушек бронепоезда Елисаветграда, а 2 мая устроили на станции Знаменка первый погром, убив около 50 евреев. 4-6 мая произошли новые погромы, в ходе которых григорьевцы убивали и советских деятелей: «По Елисаветграду ползли слухи о том, что на ближайшей узловой железнодорожной станции Знаменка находится воинская часть Красной Армии под командованием Григорьева, которая отличается слабой дисциплиной, занимается грабежами и бандитизмом, и что она должна прибыть в наш город. Обычно новая власть появлялась ночью, отмечая свой приход грозным приказом. Я в те годы вел дневник и подсчитал, что за пять лет – с 1917-го по 1922-й – в Елисаветграде власть менялась тринадцать раз, иногда всего лишь на сутки... Два еврейских погрома – петлюровский в 1918 году и ужасный григорьевский в 1919-м – приходились как раз на момент смены власти. За один только день было убито более двух тысяч евреев», – вспоминает очевидец погромов Я. Каминский⁸.

Бандиты рыскали по городу в поисках жертв и добычи, особенно зверствовали во время погрома выпущенные из тюрем уголовники. Волна погромов прокатилась и по другим городам. Согласно документам, за два дня погромщиками было уничтожено полторы-три тысячи евреев. Погромы на Украине не были случайным явлением. Они производились планомерно, возможно, по заранее выработанной системе. К тем, кто грабил еврейское имущество, присоединялись и местные крестьяне. Крестьяне из соседних деревень, в целом добрые и милые люди, теряли в этом жестоком хаосе простые человеческие качества. Немногословное описание картины, увиденной автором, оставляет у читателя не только чувство ужаса, но и чувство презрения: крестьяне *«спокойно и методично грузили на свои телеги одежду и рояль; полами пальто вытирали они с поверхностей брызги крови, аккуратно перевязывали мебель, чтобы она не поцарапалась»*.

Главный герой переезжает в город у моря, чтобы накопить денег

и увезти брата и мать из Елисаветграда. Но поет он не только для того, чтобы заработать деньги, еврейская музыка – это его жизнь, его страсть.

Я – певец. Я исполняю популярные еврейские песни; это мой заработок и моя жизнь. В то время, как другие отдавались удовольствиям, политике или поиску места в жизни, я с ранних лет посвящал себя пению. Песням еврейского народа отдал я свою страсть... Возможно, это моя миссия – всегда петь о нищих и забытых, о тех, кого искалечила жизнь страданиями; рассказывать в медленной и грустной песне, как человек теряет постепенно свое достоинство, как изнашиваются его силы и как однажды он становится падалью, червем...

Да, это так – страдания человека, обнищание его души, ностальгия по бесконечным дорогам, по деревьям, лишенным листьев, по одиночеству в бездейственном покое – всё это тонет в вечной тоске моих песен.

Так рассказывает о себе главный герой романа. Он едет в этот город у моря, город без названия, едет на заработки, не предполагая, что пение вскоре станет для него и брата несбывшейся мечтой. По дороге он знакомится с девушкой, которая заботится о нем и вскоре становится не только его женой, но и тем стержнем, на котором будет держаться в будущем вся его распадающаяся семья. Описания города (мы догадываемся, что это Одесса) перекликаются с дневниковыми записями Ивана Бунина в «Окаянных днях», сделанными 2 мая 1918 года, – кстати, незадолго до приезда в город героя Матвеева: «Еврейский погром на Большом Фонтане, учиненный одесскими красноармейцами... На Б. Фонтане убито 14 комиссаров и человек 30 простых евреев. Разгромлено много лавочек. Врывались ночью, стаскивали с кроватей и убивали кого попало. Люди бежали в степь, бросались в море, а за ними гонялись и стреляли, – шла настоящая охота».

Никто не знал, где находился враг или кто же, на самом деле, был врагом. За чертой города каждый человек, каждый дом и каждая улица хранили свою тайну. Для тех же, кто оставался в городе, каждый был и другом, и братом. Каждый мог оставаться или в своем доме, или в доме друга. Уже не имело значения, где он находился. В городе не хватало охраны, завтрашний день был неясен, надежды оставалось мало. И всё это продолжалось так долго, что каждого из нас охватывало чувство необычайного безразличия. Трудности, страшные воспоминания, заботы – всё это давило на нас таким тяжелым грузом, что хотелось просто уснуть. Уйти от такой жизни

казалось нам невозможным, как если бы вдруг она остановилась на всей планете, где еще недавно она была и процветала, где жизнь была лучшей, а любовь – сильнее жизни... Никто из нас не знал, наступит ли для нас завтра, поэтому мы эту жизнь любили больше, чем всегда.

Комендантский час начинался в шесть, но и в полночь никто еще не ложился спать. Никто из нас не мог вынести одиночества; каждый хотел быть среди людей. И не для того, чтобы обсуждать будущее или сожалеть о прошлом, и не для того, чтобы искать всевозможные пути, как обойти судьбу, которая нам угрожала. А чтобы просто поговорить или просто помолчать, или даже дружески посмеяться над чем-то – только для того, чтобы быть с другими живыми людьми, видеть их глаза, губы, движения.

Однако и в «красной» Одессе меняется власть, и герой романа Матвеева с женой решают бежать из города.

Белые обосновались в городе. Они стерли огромные буквы «От Политбюро», очистили город от революционных рабочих и евреев. Они публично вешали рабочих и оставляли их разлагающиеся трупы раскачиваться на ветру. Здесь и там они убивали евреев – то ли для веселья, то ли оттого, что фамилии жертв напоминали им псевдонимы известных коммунистов – Троцкий, Зиновьев... Белые быстро навели порядок. Они вернули земли землевладельцам, промышленникам – предприятия; они восстановили изобилие, власть, деньги; они сорили деньгами, много ели и так же много пили, продавали людям водку, оставляя для себя заграничные вина; они возродили центр города и опустошили его мрачные окраины.

Здесь для меня не стало работы. Белым, торжествующим победителям, во мне, еврейском певце, не было никакой нужды. Булочки выпекали белый хлеб и пироги – однако борьба за хлеб для меня с каждым днем становилась всё более напряженной и унижительной. Я искал работу в этом мире изобилия, жестокости, порожденной сытостью и презрением к бедным, нетерпимости ко всем, чье место в обществе было нестабильно.

Главному герою удастся сесть на пароход, направляющийся в Египет, где он будет давать концерты и сможет заработать небольшую сумму денег, чтобы вызволить из Елисаветграда оставшихся там брата и мать. Вскоре из Египта он с женой возвращается в Румынию⁹:

Кишинев. Широкие улицы, окаймленные рядами частных садов, за которыми стояли белые притаившиеся домики. Большие деревья

с широкими развесистыми кронами превратили улицы в зеленые и легко проходимые туннели. Они были длинными, прямыми и однообразными, сходящимися в одной точке, на пыльной площади, на которой днем и ночью бесконечно прохаживались молодые мужчины и женщины. Центр города заканчивался массивным и тоскливо выглядевшим собором. Нижняя часть города представляла собой нагромождение разрушающихся домов между двумя глиняными холмами, разделенными вонючей рекой.

Через Польшу, с помощью контрабандистов, главному герою удастся переправить из Елисаветграда в Бессарабию мать, брата и его молодую жену (в книге он ее называет «невесткой») с маленьким ребенком.

На пути им встречаются самые разные люди: провокаторы, румынские комиссары, раскулаченные крестьяне, контрабандисты, румынские евреи, желающие им помочь, еврейские беженцы со всех концов Украины, люди самых разных возрастов и профессий. Так, например, Матвеев описывает двух несчастных стариков. Они выделяются в толпе беженцев безразличием к окружающему их ужасу, потому что потеряли на границе двух сыновей:

Они уехали из России с двумя сыновьями; один утонул, пересекая Днестр, другого сына разрубили на куски на границе румынские пограничники прямо у них на глазах. Для каждого из них жизнь потеряла смысл; они были глубоко несчастны, но каждый прятал эти чувства от другого, в случае, если тот, другой, не испытывал такого же горя и еще не почувствовал ту бездну одиночества, которая зияла перед ними. Они жили в страхе потерять друг друга... поэтому они никогда не разлучались и не переставали следить друг за другом.

У рассказчика острый взгляд художника, он умело подмечает каждую деталь происходящего вокруг. Скрупулезно описывает Матвеев внешность своих гонителей, — так, например, однажды его жена «вернулась с неопрятным маленьким человечком, похожим на черного паука. Маленький круглый животик сидел на коротких ножках, обутых в кожу, ручки были короткими, голова — лысая, выпуклый лоб и усы завершали его портрет»; провокатор с нежностью рассказывал о своей семье, в глазах стояли слезы, но вот уже в следующей сцене он избивает беспомощного молодого человека:

Звуки вели к близорукому молодому интеллектуалу — или, вернее, к близорукому молодому человеку, который выглядел интеллектуалом.

Перед тем, как задать ему вопрос, они со всей силы ударили его по лицу... Он отскочил назад, потеряв свои большие очки. Но как только он наклонился за ними, на него посыпались новые удары, как по наковальне. Наш паук тоже его бил.

Палачи в романе Матвеева – обыкновенные люди, скучающие на работе служащие, выполнявшие свои каждодневные обязанности честно и с рвением. За жестокость им хорошо платили. Без всякой на то причины подвергают они избиениям и унижениям измученных беженцев, находя в этом и животное удовольствие. Набрасывая галерею таких портретов, Матвеев создает определенную атмосферу, чудовищные картины сплетения внутреннего человеческого уродства с внешним безразличием к судьбам людей, которые умирали под пытками.

Формы пыток, которыми пользовались в сигуранце, были как разнообразны и изощренны, так и примитивны. Рука, сломанная дверью, сорванные ногти... несколько человек одновременно наседали на допрашиваемого... но чаще всего они просто жестоко, искусно избивали людей. Были и особые эксперты, которые публично похвалялись тем, что могут «вылечить» пьяницу одним ударом в грудь. И они продолжали и продолжали избивать. Когда жертва теряла сознание, они окатывали несчастного водой – и всё начиналось сначала. Те немногие, что выжили, представляли перед трибуналом искалеченными.

В такой разношерстной толпе несчастных беженцев у каждого была своя история, от которых стынет в жилах кровь. В ситуации, когда эти несчастные не знали, будут ли они завтра живы, каждый честно рассказывал о своей прошлой жизни, потому что ее уже не было, и в данный момент никто из них не жил, а «только ждал и рассказывал». У несчастья, как и у темноты, нет дна.

У героев повествования, как и у их сокамерников, была своя «страшная история». Голод, подвалы румынской сигуранцы, провокации, предательство, допросы, постоянный страх, побои делали этих людей безразличными к чужому горю, лишали их чувств и эмоций.

Спокойствие в их голосе иногда просто поражало – особенно, когда они рассказывали о городах, через которые лежал их путь из России, или о погибших в скитаниях друзьях, убитых вооруженными до зубов бандитами за пальто или пару сапог. Затем они рассказывали об убийствах в самой Румынии; как «коварные звери», которые их арестовывали, обыскивали и убивали тех, у кого были драгоценности, убивали и тех, у кого их не было, потому что считали, что

им всё должно сойти с рук. Они убивали всех без разбору, потому что человеческая жизнь не имела для них никакой ценности. Те, которые бежали для спасения своей жизни, унижались, молили и торговались – в то время как другие стояли спокойно, ожидая начала резни. Каждый встречный мог оказаться убийцей; не оставалось ни надежды, ни воспоминаний, ни чувства позора – беженцы переживали всё без гнева и даже без желания отомстить. Они делали это только для того, чтобы остаться в живых. Даже те, кто был искалечен, остался без ног или у них были отрезаны уши, не могли забыть: человек рожден, чтобы жить, – неважно как, но – жить.

Такими скупыми словами описал М. Матвеев состояние людей, потерявших не только родину, но и страх, веру и умение чувствовать чужую боль. Однако во всей окружающей их мерзости были и такие моменты, когда наши герои вдруг обретали короткие минуты радости, минуты свободы, когда не было больше страха, – его смывала льющая потоком чистая вода, очищая не только от грязи, но на какое-то мгновение – от воспоминаний о пережитом:

Все в нашем дворе собирались в баню... Здесь мы были свободными, не красивыми и не уродливыми, – все как один, ни к кому не привязаны, ни о чем не размышляющие, свободные в своих передвижениях, желаниях, – наслаждаясь как во сне нашей плотью в потоке льющейся на нас воды, которая то поднималась, то падала, как наша жизнь. Горячая вода смывала с нас грязь и, смешиваясь с мочой и потом, стекала к нашим ногам. Вода. Даже наши голоса поглотил звук воды. Мужские голоса, казавшиеся раньше такими разными, теперь были все похожи друг на друга. Нельзя было в этом шуме различить, кто говорил. Если бы кто-то вдруг умирал от потери крови и в исступлении кричал бы о помощи голосом, полным бесконечной скорби, никто бы так и не понял, умирает ли он или кто-то другой... Постепенно мы оттаивали. Мы были рекой в какой-то жаркой стране; рекой, текущей по плодородной трясины. Наши веки тяжелили, а кровь в венах стала цвета воды – желтой, – старинный цвет всего того, что нас окружало: воды, воздуха, пара, желтого и нежного, ласкающего нас, забытых и неизвестных.

Желтый цвет ржавой воды – мазок кистью художника по темному полотну действительности; именно желтый цвет ассоциируется у людей с солнцем, теплом, животворящим светом. Желтый пробуждает позитивное настроение, положительные – давно забытые героями – эмоции. В древнюю эпоху это был цвет застывшего Солнца, как и их

остановившаяся на мгновение жизнь. Однако и такие минуты радости быстро омрачались – очередные допросы, преследования, провокации, и постоянное ожидание завтрашнего, может быть лучшего, дня.

Герои Матвеева пытаются вырваться любым путем из этого замкнутого круга. Когда же, наконец, им удастся сесть на пароход, отплывающий в Палестину, замыкается круг их несчастий. Месяцами курсируют они из порта в порт по Средиземному морю – сначала на одном корабле, затем на другом; в силу разных обстоятельств они не могут высадиться на берег. Иногда приходится спать в угольных бункерах, чаще – на открытой палубе, без еды. И, в конце концов, из всей толпы еврейских беженцев они остаются единственными пассажирами, оказавшимися нежеланными поселенцами французского корабля.

Перед прибытием в порт нас запирали в трюме, если же они чувствовали, что могут нам доверять, то запирали в столовой. Мы узнавали те порты, которые до этого проезжали, даже, если нам удавалось увидеть только железную часть соседнего корабля, или мельком заметить какой-то пейзаж, крышу дома, деревья или проплывающую мимо лодку с матросами. Мы узнавали страны, в которых мы раньше побывали, по запахам, по резким крикам грузчиков, крикам торговцев, почти невидимых в их маленьких судах.

На протяжении всего повествования, каждый раз, когда в серые будни врывается лучик света, снова жизнь наших героев погружается во тьму. Но людей, попавших на плывущий в Палестину корабль, объединяет вера. И несмотря на перенесенные испытания, голод, гибель родных, в них еще живет та искорка еврейского духа, которая неожиданно объединила их в веселом народном танце:

В каждой еврейской песне есть грусть. Они начинаются медленно, и всё свое горе выражает певец в этих песнях; затем ритм ускоряется и становится более порывистым. Но одной только песни недостаточно, она набирает ритм вместе с участием зрителя и его аплодисментами в такт мелодии. Кто-то в углу встал и, раскинув руки, как паруса, щелкнул сухими пальцами, подхватив под руки своих соседей, таких же подвижных, как и он сам. Встали все. Певцы тоже встали, руки их обхватили плечи стоявших рядом, головы откинулись назад. Женщины и мужчины образовали внутри трюма круг; возбуждение, как змея, обвило и подняло на ноги даже самых нерешительных. Танцоры в центре создали еще один яркий круг; ноги в тяжелых сапогах стали легкими, и, закрыв глаза, они стали отплясывать веселый танец.

Старики, мужчины и женщины, хромые и больные, – все они, включая молодых девушек и детей, – пели и танцевали. У кого-то глаза были опущены, у кого-то просто закрыты. Никто из них не видел и не замечал группу пассажиров и матросов на верхней палубе. Никто не обращал внимания на людей, со злостью и смехом за ними наблюдающих: не то насмехающихся над ними, не то завидующих им, так как невозможно было не позавидовать искреннему веселью этих находящихся внизу несчастных людей. Они завидовали молодым девушкам и больным старикам, сильным и слабым, этой их светлой радости, которая делала их одним целым и расцветала с помощью пения и танцевальных движений.

Угольная черная пыль, покрывавшая стены этого плохо вычищенного бункера, поднималась от их бешеного танца. Она была незаметна, но, тем не менее, окрашивала воздух в полутемной комнате, где едва горели только четыре тусклые лампочки, подвешенные за решеткой в углах этой металлической тюрьмы. Пыль падала на их нищенские белые одежды, покрывала лица, руки, рубашки. Но счастливые танцоры, пьяные от веселья, танцевали в ритм быстрее и быстрее; они уже стали почти задыхаться, песня потеряла свою прелесть, ушел элемент страдания; звук стал пронзительнее, жесты свободнее, руки их метались, изгибались, переплетались. Они прижимали их к своим впалым щекам. Мелкий дождь из угольной пыли всё еще продолжался, образовывая грязные ручейки пота на взволнованных лицах танцующих. Но танцующая толпа, масса ног, худых рук, тонких пальцев всё больше предавалась экстазу. Теперь это стало похоже на невообразимое сборище трагических ночных клоунов.

И этот «пир во время чумы» описан автором так точно и так красочно, что вызывает у читателя не чувство жалости к этим побитым жизнью людям, а чувство восхищения их стойкостью и мужеством.

По счастливой случайности герои Матвеева встречаются старого знакомого («вежливого человека»), который и помогает им высадиться на берег Франции, в Марселе, в том самом городе, где происходит встреча героев рассказа А. Куприна «Колесо времени». Из Марселя семья переезжает в Париж. Но и здесь их ждут не менее тяжелые испытания. Мысли о смерти не покидают главного героя.

Я думал о смерти, которая положит конец всему. Но разве была необходимость столько страдать для того, чтобы вот так оборвалась жизнь? Это было незадолго до того, как мы получили первое письмо от сестры, оставшейся в России. Она сказала, что дома

теперь всё в порядке, и она надеялась, что мы успокоились и счастливы после всего, что мы пережили. Но разве в этом мире кто-то еще был счастлив?

В конце концов, семья не выдерживает трудностей – тяжелой ненавистной работы, новых унижений, постоянного голода, вечных ссор, страданий старой матери.

Моя мать меня больше не упрекала, но глаза ее никогда не были сухими. Когда она не работала на кухне или не уходила по делам, она заворачивалась в свою черную шаль и сидела часами в самом темном углу комнаты, медленно раскачиваясь из стороны в сторону, словно хотела усыпить в себе какие-то неприятные чувства.

И вот когда-то сплоченная семья, которую объединяла мечта о счастливом будущем, не выдержав всех обрушившихся на них несчастий, распадается. По словам автора, жизнь стала похожа на тюрьму. А беды напоминали холодный осенний ветер, который обдавал их постоянной ледяной волной острого беспокойства о завтрашнем дне.

Наступала осень. Ветер был всё еще влажным. Он вызывал во мне снова острое чувство постоянного беспокойства. Снаружи ветер был буйным и шумным, он срывал железные покрытия с крыши домов. Он должен бы быть тише и теплее, но, проникая через многочисленные щели в окнах, дверях и стенах, этот осенний ветер обдавал меня ледяной волной бесконечного волнения. Я видел, что жизнь моя, как и этот ветер, не была постоянной...

В городе, где процветали искусства, исполнители еврейских народных песен были никому не нужны. Не сбылись мечты, погибли надежды. Умирает от чахотки невестка, теряет разум и исчезает брат.

Снаружи постыдно весело поднималось солнце; люди встречались, смеялись. В больнице нам пришлось ждать два часа. Наконец нас пустили, и мы помчались к перегородке. Пожилая медсестра встретила нас и сказала:

– Она умерла в час ночи.

Я отправился в офис больницы.

– Я хочу увидеть свою невестку, которая умерла прошлой ночью.

– Вы имеете в виду, что хотите увидеть ее тело?

– Да, тело...

...Брат мой исчез, он не пришел на ее похороны. Никто не знает, где он.

Жизнь должна идти своим чередом.

Еще жива моя мать, но она очень стара, и жив ребенок, который болен.

Так заканчивает Мишель Матвеев повествование о том времени, в котором жили многие его соотечественники. Читая эту книгу, понимаешь, что хотя в душах матвеевских героев звучат нотки безнадежности и обреченности, всё же они, смертельно раненные страшной жизненной реальностью, порой теряя надежду, продолжают жить – как и сам автор романа. И, в конечном итоге, все они должны найти свое место на этой чужой земле. Ведь человек не умрет, пока не проживет свою судьбу.

Роман Мишеля Матвеева, написанный по свежим следам реальных событий на Украине, привлек внимание французского читателя как с человеческой, так и с исторической точки зрения; впервые они смогли узнать жестокую правду от очевидца еврейских погромов и террора Гражданской войны, охвативших послереволюционную Россию, Украину и Восточную Европу, о скитаниях беженцев в поисках пристанища, одержимых одной мечтой – остаться в живых в этом страшном, жестоком мире.

Русская литературная диаспора во Франции 1920–1930-х годов внесла значительный вклад не только в русскую, но и в европейскую литературу. Однако роль русского писателя-эмигранта во французской литературе еще недостаточно исследована, хотя мы знаем сейчас о романах Ирины Немировской, Ромена Гари, Анри Труайя, Натали Саррот, Эльзы Триоле и других. В 1935 году в небольшой статье, озаглавленной «Русские во французской литературе», литературный критик Юрий Мандельштам писал: «За последние годы во французской литературе дебютировал целый ряд наших соотечественников, большей частью под псевдонимами. Некоторые из них имели столь решительный успех и в данный момент настолько вошли в литературную жизнь Франции, что их уже нельзя считать дебютантами»¹⁰.

И хотя роман Матвеева написан неровно и порой автору не хватает профессионализма, читателя затягивает тема, раскрытая автором со всей ее страшной правдой, – сухо, честно, с откровенностью человека, самого пережившего то, о чем он поведал в своей книге. Все события, неудачи, трагедии, постигшие эту безымянную семью, написаны им в черно-белых тонах, будто мелькают перед нами кадры из старого фильма. И в этом тоже сказывается мастерство писателя и художника.

Возможно, однажды – хочется верить – книги нашего соотечественника, французского писателя Мишеля Матвеева займут достойное место на полках российского читателя.

* * *

Как же сложилась судьба Мишеля Матвеева, французского писателя с такой русской фамилией?

Роман «Загнанные» был написан автором по чистой случайности. Мишель Матвеев – это псевдоним художника и скульптора Иосифа Константиновского (как художник и скульптор, он подписывался – Joseph Constant, Иосиф Констант), родившегося в Яффе, Палестине, в 1892 году. Родители Иосифа были коренными одесситами и через пару лет по каким-то причинам они вернулись из Яффы в Одессу. Как и почему оказались они в Палестине, точно неизвестно. По одним источникам – отец был моряком и, прихватив беременную жену, сошел там с корабля. По другим – семья уехала добровольно, обживать новую страну.

Отец Иосифа поддерживал Октябрьскую революцию и взгляды свои передал сыну. Детство мальчика прошло в Одессе в знаменитом рабочем квартале Пересыпь у моря. Будущий художник много времени проводил в мастерской отца, обучаясь слесарному делу. В 1900 году семья переехала в Умань, где Иосиф посещал школу. Именно тогда у него проявился талант рисовальщика. В 1907 году глава семьи был арестован и вместе с семьей сослан в Елисаветград Херсонской губернии, город с преимущественно еврейским населением. Там, в этом небольшом городке, родился и жил какое-то время другой известный французский художник – Иссахар-Бер Рыбак, работы которого по мастерству приравнивали к работам Марка Шагала. К сожалению, жизнь художника оборвалась в 1935 году в Париже.

В 1914 году Иосиф Константиновский поступает в одесское Художественное училище им. Великого князя Владимира Александровича. Это имя оно носило до 1917 года. В училище получили художественное образование такие мастера, как М. Бондаревский, И. Браз, Б. Анисфельд, В. Баранов-Россине, В. Кандинский, И. Бродский, Т. Фраерман, Д. Бурлюк, Ицхак Фрейнкель (Александр Френель) и другие. После Октябрьского переворота Константиновский работал инспектором искусств в рабочих клубах С.-Петербурга и Москвы. Неизвестно, как сложилась бы судьба революционно настроенного юноши, если бы не жестокие погромы, прошедшие в Елисаветграде, в которых погибли его отец и брат от рук банды Зеленого. «Убиты отец и старший брат твоего друга художника Зоси Константиновского... Говорят, что они были убиты на глазах Зоси,

который чуть с ума не сошел», — вспоминал друг Иосифа, художник Амшей Нюренберг. Тогда, в самый разгар Гражданской войны, Иосиф с женой Идой решают покинуть страну.

Однако выехать в такое время в другую страну было практически невозможно. Всё-таки в конце 1919 года им удается сесть на пароход «Руслан», направляющийся в Палестину. На борту корабля находилось более 600 человек, среди пассажиров были художники Пинхас Литвиновский и Ицхак Фрейнкель, близкий друг Константиновского; Рахель (Блувштейн), ставшая известной поэтессой, писавшей на иврите, ее жизнь оборвалась в 40 лет; доктор философии Иосиф Клаузнер и многие другие. После пяти недель плавания 19 декабря пароход причаливает в Яффе. Константиновский поселяется в Тель-Авиве, где занимается живописью. По свидетельству очевидцев, он умел объединить людей, отличался «теплотой и тонким чувством юмора». Среднего роста, широкоплечий, полный жизни, он говорил «с очаровательным лукавым озорством, его улыбающиеся глаза были необыкновенно теплыми». Однако, пробыв в Израиле всего год, он уезжает из страны и через Египет (в 1920-м в Каире он руководил художественной студией), Турцию и Румынию в 1923 году прибывает в Париж.

Здесь он арендует студию и полностью посвящает себя живописи и скульптуре. В 1928 году молодой художник случайно знакомится с французским писателем Пьером Моранжем и с издателем марксистской литературы и редактором журнала по психологии Жоржем Полицером. Они предложили ему написать статью, рассказывающую о событиях 1905 года в России, а позже — написать на эту же тему книгу. Книгу Константиновский закончил всего за три месяца, став, таким образом, французским писателем Мишелем Матвеевым.

Он входит в круг французских литераторов, которые часто собираются в облюбованных ими кафе Монпарнаса «Дом», «Куполь» и др. Там царил необычайная атмосфера, среда, необходимая для творчества и знакомств с литературной элитой Парижа.

В Париже Константиновский знакомится с писателем Йозефом Ротом (Joseph Roth), с которым его связывает не только крепкая дружба, но и схожие судьбы. Рот родился в небольшом городке под Львовом, но в 17 лет, после погромов, уехал в Вену, где он стал известным писателем. Однако в 1933 книги его запретили в Германии, и Рот переехал в Париж. Он становится завсегдатаем известного кафе Le Tourlon, где собиралась австрийская богема. Это кафе часто посещал художник Иосиф Констант. Ко времени знакомства с Матвеевым, Рот был уже известным писателем, автором многочисленных романов. Но жизнь его сложилась трагически. Жена писателя почти всю их совместную жизнь находилась в лечебнице для душевнобольных, а

он, живя в Париже, постоянно переезжал из одной гостиницы в другую. Нужны были деньги на содержание больной жены. В конце жизни Рот оказался в полной нищете, пока окончательно не спился. Он умер от сердечного приступа в больнице для бедных в возрасте 43 лет. В самые трудные минуты его жизни многие друзья покинули его, но Мишель Матвеев до конца оставался преданным другом. В 1937 году, когда Роту было особенно тяжело, в письме к своим близким друзьям он писал о Матвееве: «Спасибо Вам за Вашу дружбу и преданность. Я благодарен также и М. Матвееву. Он не оставил меня. И это меня утешает».

За первой книгой Мишелю последовало предложение от престижного французского издательства «Галлимар» написать вторую книгу, которой и стал его роман «Загнанные».

Издательство «Галлимар» было основано французским библиофилом Гастоном Галлимаром совместно с Андре Жидом и Жаном Шлюмберже в 1911 году. В 1920–1930-е годы, наряду с известными французскими и зарубежными авторами, в издательстве публиковались многие эмигранты из России, такие как Зинаида Гиппиус, Иван Бунин, Алексей Ремизов и другие. Роман Мишеля Матвеева «Загнанные» увидел свет в 1933 году.

В те же годы Матвеев стал заниматься переводами с русского; в 1932-м вышла на французском языке книга Бориса Пильняка о Таджикистане в переводе Мишеля Матвеева и Пьера Моранжа.

Книга рассказов Матвеева «Странная семья» («Étrange famille») была издана в 1936 году, и в том же году она получила престижную литературную премию Prix des Deux Magots. Один из своих рассказов Матвеев начинает такими словами: «Я вам расскажу о стране, которую невозможно увидеть; она больше не существует на свете. Да и существовала ли когда-нибудь?»

Одним из первых на книгу «Странная семья» отозвался в газете «Возрождение» литературный критик Юрий Мандельштам: «Несмотря на уже упомянутый романтизм, рассказы Матвеева очень правдивы – внутренней человеческой правдой, – и революционная пора изображена в них без всяких прикрас, в грубой и горькой своей реальности». И дальше: «...вся книга его, собственно говоря, – история исчезновения и разрушения России не как государства, а как некоей жизненной и человеческой ценности. Отсюда грустный, лирический тон повествования и та пронзительность, которой проникнуты многие матвеевские страницы. Все герои его рассказов ведут отчаянную борьбу – не только внешнюю – за существование, но и душевную – за живую жизнь, против мертвящей, античеловеческой силы, прорвавшейся наружу, против ненависти, безжалостности, безразличия»¹¹.

В 1944 году Константиновский, как и многие русские французы, присоединился к французскому Сопротивлению.

В 1947 году вышла его книга прозы «Город художников» («La cité des peintres»), где подробно описывается печальная жизнь маленькой колонии русских художников в Париже. В 1959 году появился роман Мишеля Матвеева «Далеко, давно» («Ailleurs, autrefois»), в котором он рассказывает о своем детстве на Украине.

После Второй мировой войны Иосиф Константиновский становится широко известен миру как скульптор. В 1930-е годы он в основном создавал скульптуры животных, работая с камнем, бронзой и особенно деревом. В живописи художник использовал карандаш, уголь и тушь, а также рисовал акварелью и маслом на холсте.

С 1950-х Иосиф Константиновский неоднократно посещал Израиль, и в 1964 он получил дом-мастерскую от муниципалитета г. Рамат-Ган (ныне здесь действует его дом-музей «Бейт-Констант»). Его мастерская на берегу Яркона служила местом встреч для широкого круга друзей. Последние годы жизни он делил между Парижем и Рамат-Ганом. Похоронен Иосиф Константиновский на кладбище Банье в Париже.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. «Возрождение». № 4167. 20 января, 1939.
2. Более подробно эта тема рассмотрена в статье «Творческая мастерская Юрия Мандельштама» / «Новый Журнал», № 301, 2020. – Сс. 256-280.
3. *Matveev, Michel*. «Les Traqués»// Paris: Gallimaed, 1933.
4. «Возрождение». № 4043. 12 июня, 1936.
5. *Matveev, Michel*. Weep Not for the Dead. / Translated from French by Desmond Flower// NY: «Alfred Knoff», 1935.
6. Сигуранца – тайная полиция в Румынском королевстве, которая существовала с 1921 по 1944 гг.
7. Во время нахождения города в составе Российской империи он назывался Елисаветградом, после установления советской власти в 1924 году было выбрано название Зиновьевск, которое в 1934 году было изменено на Кирово, а пять лет спустя преобразовано в Кировоград. В 2016 году город получил современное название Кропивницкий.
8. *Каминский, Я. И.* Минувшее проходит предо мною... Избранное из личного архива / Лит. запись Г. Л. Малиновой // Одесса: «Аспект», 1995.
9. С 1918 по 1940 гг. Кишинев входил в состав Румынии.
10. «Возрождение», № 3683, 4 июль, 1935.
11. «Возрождение». № 4043. 12 июня, 1936.

КНИГА И СУДЬБА

Яков Рабинович

Хроника иллюзорной битвы

К 130-летию со дня рождения Сергея Прокофьева

1

Одни люди восхищаются моими сочинениями,
но считают меня пренебрежительным человеком,
другие же считают меня очень милым,
но пишущим черт знает что.

С. Прокофьев

К лету 1939 года обитатели столь желанной и музыкально отзывчивой родины, которую Серж в моменты ироничной снисходительности еще недавно называл «Большевизией», поголовно выучились «проявлениям любви» к человеку, который не сочинял симфоний и не играл на музыкальных инструментах, но при упоминании имени которого они неизменно приходили в массовый религиозный экстаз. Для того, кто последние десять лет жил в Европе, это было непривычно. Состояние это походило на эпидемию болезни, которую в Церкви Христианской науки сочли бы недостойной внимания.

Но «болезнь» эта, игнорируй ее или нет, не только не исчезала, но и настойчиво затягивала его самого — давно уже, впрочем, не «Сержа», а «Сергея Сергеевича». Тех, кто с недостаточной искренностью демонстрировал счастье, вполне реально вычеркивали из жизни; и если до сих пор Сергей Сергеевич презирал «болезнь» как к нему отношения не имеющую, то теперь каждое воспоминание о недавнем исчезновении непокорного Мейерхольда заставляло крепко задуматься.

В привычный час Сергей Сергеевич Прокофьев надел шляпу и вышел на улицу — подумать и просчитать возможные ходы. Прогулки и разбор вероятностей на свежем воздухе обычно выручали его и в шахматах, и в жизни. Домой он вернулся довольным.

Когда фигуре короля угрожает шах, нужна хорошая контратака.

И вот всего через несколько месяцев появилась чудовищная и грандиозная, несуразная и компактная, невыносимо пошлая и при этом гениальная «Здравица» к 60-летию великого Сталина.

Бесконечно далекая от реальной жизни, она одновременно звучала и в Кремле, и на лагерных стройках.

Суждения знатоков о «Здравице» диаметрально расходятся.

«Это – первое крупное произведение о Сталине, разрешающее тему сквозь призму самобытно освоенного русского песенного фольклора.» (Израиль Нестьев, музыкальный критик)

«...с принципами он был не в ладах, вполне мог написать музыку на заказ, например 'Здравицу'... Эти стихи в наши дни просто немислимо исполнять... Но музыка просто гениальная... Он делал это даже с каким-то нахальством, какой-то благородной аморальностью: 'Сталин? Какой Сталин? Ну да! А почему бы и нет? Я всё умею, даже такое'...» (Святослав Рихтер, пианист)

«...я думаю, что он смеялся над текстом. Не верил в него внутренне. Но как поразителен музыкальный, мелодический материал этого сочинения!» (Геннадий Рождественский, дирижер)

«Он предстает в глазах истории слабым человеком, более любящим комфорт и страдающим от нехватки мужества...» (Норман Лебрехт, музыковед)

«...он, видимо, хотел 'обратиться' к советским властям с частным актом неповиновения...» (Даниэль Джаффе, музыковед)

Как это часто бывает, практики ухватывают суть вещей лучше теоретиков. Мы сможем приблизиться к истине вместе с практиками, если попробуем уловить нюансы уникальной личности Сергея Прокофьева и рассмотрим его жизнь как партитуру виртуозного соло с оркестром, который по ходу исполнения всё глубже погружается в идиотизм.

Есть композиторы, которых любить легко; есть такие, чья музыка оставляет равнодушным, а иная прямо-таки раздражает. А Сергей Прокофьев, величайший композитор XX века, всегда казался мне загадкой: восхищал, удивлял, но того, что мы условно называем «душой», не затрагивал.

Все возможные параметры присутствуют в его музыке: высота, широта, глубина, плотность, контрастность... «Какая смелость и какая стройность!» – несомненно. К примеру, Второй фортепианный концерт – бездна ощущений разверзается при каждом прослушивании, в том числе гордость за человечество, способное на такую музыку. Но... обычной человеческой теплоты, которую невозможно ни измерить, ни взвесить – но которой так много, скажем, у Шостаковича! – в музыке Прокофьева я не слышал. И не понимал, почему. До последнего времени.

«Последнее время» (а это почти уже двадцать лет!) замеча-

тельно тем, что в процессе изучения прокофьевского наследия состоялся информационный прорыв. В этом, главным образом, заслуга трехтомного издания прокофьевского «Дневника 1907–1933» (Париж, 2002*). Не забудем и настойчивого принстонского профессора Саймона Моррисона, специалиста по русской и советской музыке, автора книг «Народный артист» и «Лина и Сергей Прокофьевы», который буквально штурмом взял цитадель архивов РГАЛИ и дорвался до личной переписки. Подоспели и «XX век Лины Прокофьевой» Валентины Чемберджи, и исчерпывающая биография «Сергей Прокофьев» Игоря Вишневецкого в серии «ЖЗЛ» – за каких-нибудь десять лет мы получили портретное изображение скрытного и осторожного человека, наведенное на резкость.

Главное открытие для читателя «Дневника»: орденоносный советский лауреат шести Сталинских премий, вопреки стереотипным представлениям о людях искусства, не был ни аскетом, ни доверчивым простаком «не от мира сего», ни «рефлексирующим интеллигентом». В Прокофьеве всё, буквально всё, – подвижно, изменчиво и противоречиво (даже во внешности: на фотографиях мы видим человека с капризно-обиженными губами, но это объясняется всего лишь особым строением передних зубов) – в сочетании с несокрушимой волей к победе и совершенству. Прокофьев, с детства и до смерти, всегда и во всём, – только первый, только лучший. Композитор. Пианист. Дирижер. Шахматист (между прочим, обыграл Капабланку в 1914-м). Биржевой игрок (не слишком удачливый, но и без катастроф). Заядлый картежник, иногда проигрывавший солидные суммы, но не терявший головы (этот опыт пригодился для оперы «Игрок»). Прирожденный дипломат (умел спорить и убеждать в немногих безупречно выстроенных фразах). Другое редкостное для русского музыканта качество: умение вежливо, но жестко торговаться с издателями и антрепренерами. Оценим юмор дневниковой записи:

«Был у Дягилева, он предложил мне две тысячи франков, то есть грош, но я не стал торговаться, сказав, что, конечно, мы сойдемся, если он прибавит. Сошлись на трех тысячах...»

И, не в последнюю очередь, – одаренный писатель. «Дневник» по литературной ценности может потягаться с «Другими берегами» Владимира Набокова. К «Дневнику» мы вернемся, но сначала попробуем уяснить: что же, мы имеем дело с баловнем судьбы?

Вовсе нет. Жизнь Прокофьева складывалась не только из работы, путешествий и гурманства, но также из ежедневного преодоления

* *Сергей Прокофьев. Дневник* / Предисл. Святослава Прокофьева // Париж: sprkfv, 2002. Т. 1: 1907–1918. 813 с. Т. 2: 1918–1933. 891 с. Т. 3: Лица. 61 с. [30] л. ил.

препятствий, неприятностей и такого досадного невезения, что никому не пожелаешь: к примеру, постановки опер задерживались годами, а то и вовсе срывались, как «Огненный ангел» (отсюда в каталоге заметны переработки и перелицовки старых сочинений: пока дирижеры и постановщики раздумывали, примет ли публика очередную вещь, автор уходил вперед на пути к совершенству и, сочтя произведение ниже собственной планки, переделывал его заново). Но если бы только это! Прокофьева преследовали мигрени и зубная боль (чуть ли не каждая дневниковая запись начинается со слов: «с утра болела голова»); рано стало беспокоить сердце, слабеть зрение, выпадать волосы, развились невралгия и периодические приступы кожных покраснений (он называл их «блохами»); несколько лет подряд ему мистически попадали в глаз соринки, с которыми приходилось срочно обращаться к врачам... Его петербургскую квартиру реквизируют и разграбили «товарищи». Даже деньги для поездок ему выпадало обменивать в дни самых невыгодных курсов валют, а перспективный контракт мог сорваться из-за такой мелочи, как опечатка телеграфиста! Всё это изумляло и бесило Прокофьева, который свои-то обязательства выполнял с безупречностью перфекциониста. Выручали его только самоирония да высокомерная снисходительность к обычным людям, полным несовершенств. В дневнике, подвергнув кого-то очередному гневному разному, Прокофьев зачастую позволял себе насмешку и в собственный адрес.

Был ли он приятным человеком в жизни? Воспоминания жены, сыновей, друзей и знакомых скорее свидетельствуют об обратном. Мы можем только посочувствовать побывавшим в зоне прокофьевского раздражения. Пианист Генрих Нейгауз вспоминал «краткий диалог между Прокофьевым и молодым шикарным поручиком, подошедшим к нему с ‘милой’ светской улыбкой»:

Офицер: «А ведь, знаете, Сергей Сергеевич, я недавно был на вашем концерте, слушал ваши произведения, и, должен сказать... ничего-го не понял».

Прокофьев (невозмутимо перелистывая журнал и даже не взглянув на офицера): «Мало ли кому билеты на концерты продают».

Сергей Прокофьев с юности вел дневник – как литературное произведение с самим собою в роли главного героя, – невозмутимого, деятельного и наблюдательного трикстера (уникальное сочетание качеств для русского литератора):

«По дороге в Астрахань на пароходе я был действительно прижат, неизвестно почему, по облику надо думать, за поэта... Я себя выдал сначала за поэта, потом за художника-футуриста, потом за композитора, потом за иностранного композитора, потом за ком-

мивояжера большой американской фирмы, потом за представителя русской компании, желающей основать завод на берегу Каспийского моря, потом за помещика, со скуки занимающегося богословием... потом за великого шахматиста (я всех разнес на пароходе), рассказывал всем разное, очень забавлялся, всех сбил с толку, так как во всех этих областях сыпал кучей специальных терминов, и на прощание, несмотря на все просьбы, так и оставил всех в неведении».

Проза Прокофьева действительно хороша. Чего стоит такой, например, меткий пассаж: «Москвичи ругают теперешнюю Москву, но болезненно ждут, чтобы ее похвалили» (запись сделана в январе 1927 года, но хоть сейчас копируй ее в фейсбук).

А вот стоп-кадр из нью-йоркской холостяцкой жизни, по которой обаятельный Серж уверенно лавировал между четырьмя-пятью девицами, пытаясь выбрать наименее надоедливую:

«Так как человек, который приходит убирать мою квартиру, заболел испанской инфлюенцией, то сегодня убирала ее хозяйка. Она подобрала шпильки, которые растеряла Дагмара (7 штук), и с холодным укором разложила их шеренгой на белом мраморе камина. Каждая шпилька колола меня за возмутительное поведение. Я сначала ахнул, потом покраснел, и потом мне было очень весело» (24 февраля 1919 года).

Перечитывать бы да наслаждаться... Когда бы не мысль: а ведь тот человек, который «заболел испанской инфлюенцией», вероятно, к вечеру того дня умер, – но это побочное соображение никак не омрачило веселья нашего героя.

Был ли Прокофьев неспособен к состраданию? А как же «Золушка», суть которой – сострадание? К этому вопросу мы вернёмся. А пока что придется констатировать: ничто в мире не интересовало Сергея настолько сильно, как он сам. Обратимся к записям юношеских лет. Они чрезвычайно важны.

О других:

«У меня вообще страсть двигаться вперед, я вообще люблю общество тех, кто стоит в чем-либо выше меня, у кого я обучаюсь; но когда я догоняю, то это общество становится мне уже менее интересно».

О себе:

«У меня есть свойство характера относиться к жизни легко; она меня не задает глубоко, а скользит слегка по поверхности. Это – счастливое свойство... Жизнь текла своим чередом, 'мрачные' минуты становились сначала светлее, потом реже, потом – исчезли».

Иногда автор становится жертвой собственного мальчишеского тщеславия и попадает в глупое положение, но выручает самоирония:

«Сегодня вернулись из Гурзуфа Мецкерские. Я постарался одеться позлегантней... Нашел, что шикарно опоздать к самому приходу поезда и прийти на четыре минуты позднее, но поезд опоздал на двадцать минут и мне пришлось ждать на платформе».

О покойном отце:

«Любил ли я его? – не знаю... У нас было мало общего, а интересов общих – ни одного... Во всяком случае, я чувствую, что в настоящее время я еще недостаточно оцениваю всю, безусловно, высокую личность моего отца, много мне послужившего, как своему единственному сыну, и своим упорным трудом надолго меня обеспечившего материально».

Теперь – о барышнях:

«Зарубить себе на носу: в Консерватории перестать дразнить учениц и быть с ними возможно милей. Право же, втрое больше вознаградится. Приятно дразнить, но скучно, когда потом от тебя убегают»; «Как-то на днях я сидел дома и раздумывал о своих симпатиях. Мне пришла в голову мысль, что было бы очень оригинально их занумеровать, чтобы у каждой был свой номер, в зависимости от давности, достоинств, симпатичности и пр.»

Сказано – сделано. Через год читаем:

«Кажется, у меня никто еще не заслуживал такого продолжительного и постоянного теплого отношения, как милая 17А».

Впрочем, барышня 17А – Лида Умнова – недолго наслаждалась теплым постоянством:

«Отправились гулять. Всё шло отлично, погода была хорошая, Лидочка говорила, что соскучилась по мне. Но на набережной, у пристани финляндских пароходиков, случился разрыв. Я хотел во что бы то ни стало сесть на пароходик – она не хотела. Никто не приводил доводов. Кончилось тем, что я остался внизу на пристани, а она пошла по набережной назад. Что-ж, до свидания. Вы мне разонравились, Лидия Ивановна...»

О будущей невесте (брак так и не состоялся):

«...лисьмо от Нины Мецкерской... Она жалуется, что временами скучно, хоть удавись. Я в ответ послал ей юмористическое стихотворение на тему о ее удавлении».

Наконец, путешествуя в одиночестве:

«И тут мне показалось, что если бы у меня на руке висела жена, да еще такая, которая не умеет быстро ходить, то было бы очень скучно».

Всё это помогает понять: это сверходаренный молодой человек, абсолютно самодостаточный (в деньгах Прокофьев не нуждался ни одного дня своей жизни – благодаря образованию, таланту и завид-

ной работоспособности); сознающий свою уникальность и стремящийся проводить время только с теми, кого есть в чем «догонять». Вспомним, к кому Прокофьев был по-настоящему привязан: это Мясковский, Дягилев, Кусевицкий, Капабланка, Мейерхольд, Эйзенштейн, Ростропович... Люди, которые тоже никогда не останавливались на достигнутом, ставя себе всё более сложные задачи. Борис Захаров, в молодости подававший исключительные надежды, занимал Прокофьева чрезвычайно; когда же с годами выяснилось, что его способности остались без развития, интерес иссяк. Исключения вроде Макса Шмидтгофа и Бориса Башкирова не в счет – это шуты при короле. Серж любил покровительствовать, наказывать и миловать. Кончалось это плохо: Шмидтгоф, юный декадент без средств, снедаемый безответной любовью к Прокофьеву при невозможности соответствовать ему, в конце концов застрелился, – для Прокофьева это оказалось полной неожиданностью, поскольку он не замечал ни девичьей влюбленности, ни растущего отчаяния Макса... Башкиров же, так и не став значительным поэтом, превратился в назойливого нахлебника и был удален из прокофьевского круга.

Забегая вперед, можно объяснить и будущее охлаждение Прокофьева к своей испанской красавице-жене Лине: она так и не сделалась оперной певицей и осталась в тени супруга, а для Прокофьева такие люди мелки калибром и терпят только до поры до времени.

Еще задолго до переезда в СССР в дневнике появились раздраженные записи:

«Пташка... не умела умно проходить мимо мелочей жизни, а создавала из них трагедию.»

«Пташка хрипит и нервничает...»

«Пташка совсем без голоса. Решаем, что лучше ей не петь, и я сыграю взамен...»

«Пташка оставалась дома и редела...»

«Пусть она приведет себя в порядок и начнет петь направо и налево, тогда реклама сама собой будет готова.»

«Пташка ревет, потому что ее задели.»

Лина Кодина была красива, образованна и умна, она любила мужа и родила ему двух прекрасных сыновей; но увы – не соответствовала ему профессионально, то есть не умела «быстро ходить».

Не обойти нам и болезненного интереса Прокофьева к самым высокоранговым соперникам: Рахманинову и Стравинскому. Ревность к их музыке и успехам была велика. Он то завидовал «рахманиновской безукоризненности» (ему редко удавалось исполнение сложных произведений без ошибок), то злорадно критиковал Стравинского: «не умея сочинить собственные темы, берет чужие».

Верный своей этике, Прокофьев не опускался до интриг – хотя и знал, что когда-то Рахманинов не допускал его к авторству в Российском Музыкальном издательстве, а Стравинский годами отгеснял «дорогого Сержа» от Дягилева, чтобы иметь преимущество в репертуаре антрепризы.

Что же до других композиторов, то пощады не жди никто. Мы снова вынуждены цитировать:

«Я ничего не имею против Баха... действует очень освежающе, хотя и чувствуется некоторая медлительность.»

«Я с наслаждением прослушал 5-ю Симфонию Бетховена. Ведь никаких гармонических изобретений – а как увлекательно!»

«Признавая весь гениальный талант Вагнера, я, однако, никогда не перестаю удивляться массе той ненужной музыки, которой разбавлены гениальные эпизоды. Слушание Вагнера для меня соединено с понятием о невероятной, зеленой скуке...»

«Дилетант – вот определение Пуленка...»

«Мийо: преднамеренная попытка написать вульгарность и оркестровать ее в вульгарном стиле.»

«Рихард Штраус: ...свистопляска дурного вкуса... Ну, я понимаю пошлость в кабаке... Но когда пошлость представляется с первоклассной техникой, благородным выражением лица и мировой славой, то это, право, оскорбительно.»

«Оннегер: действительно есть места, сделанные необычайно блестяще и изобретательно... Но рядом ужасные пошлости и обыденности. Мелодический дар слаб.»

Когда Дягилев в разговоре о русской музыке замечает: «...Вот есть у нас один очень большой композитор, но без вкуса», Прокофьев перебивает, ни секунды не задумываясь: «Это Чайковский» (Дягилев, впрочем, имел в виду Стравинского).

«Итальянец не может не удариться в какую-нибудь итальянскую пошлятину.»

«Пуччини. Музыка пустынная, иногда милая, иногда плохая, но в пользовании сценой виден мастер, хотя и не безукоризненный.»

«...уморили 7-й Симфонией Малера. Ненужная музыка.»

«Малер полон благородных порывов, выраженных несамостоятельной и третьесортной музыкой.»

О молодом Шостаковиче, которого Прокофьев ставил выше прочих:

«...тоже подражание всем стилям и ни одного своего приема. Вообще же занято и хорошо поднесено, и как раз поэтому досадно, что в корне такая ерунда. Передовой советский композитор пишет типичную упадническую музыку 'гнилого Запада'».

«Гершвин – опереточное божество Америки, пытается также сочинять серьезную музыку, иногда даже делает это остро, но не всегда удачно... Гершвин или не понимает своих хороших сторон, или же это не во вкусе толпы, и он не смеет.»

Как видим, Прокофьеву было одиноко на Олимпе, несмотря на владение множеством языков.

Музыка и барышни – это чудесно, но насколько тревожили Сергея события, менявшие облик мира и ход истории? За время его становления как композитора успели начаться и закончиться Мировая война, Февральская революция и Октябрьский переворот. Сколько страниц в его дневнике отдано этим событиям? Сказать, что его вообще не волновали политические вопросы, нельзя. Просто Сергей понимал, что пока он занимается важным делом, другие то возглашают безумные лозунги, то шляют по улицам от нечего делать, то убивают друг друга ни за что: «Какая дьявольская нелепость – эта война, и с каким серьезным видом продлевается эта нелепость!!!»

Старший друг-композитор Николай Мясковский ушел офицером на фронт, и это требовало дополнительных размышлений: «Конечно, это непростительный эгоизм – сидеть и беспечничать, когда люди гибнут. Но ведь всегда и в мирное время масса несчастных и больных, а тогда смеяться можно: лишь теперь их втысячero больше».

Конец февраля и начало марта 1917-го описаны неожиданно подробно. Не станем удивляться тому, что они повествуют не о революции, а о приключениях Сергея Прокофьева в те дни – между прочим, увлекательных. Гуляя по Петербургу, он успел помочь спасти некоего «толстого седого человека в штатском» от физической расправы и верной смерти.

«...Я впервые отчетливо согласился, что у нас должна быть республика, и очень обрадовался этому.»

«Где-то там, в недрах Государственной Думы, творилось большое дело и решалась судьба России, на крышах еще держалась старая власть в лице постреливавших в толпу городских, но в улицах происходило такое однообразное празднование, что меня оно вскоре стало раздражать. Я засел дома и с наслаждением вернулся к своей работе...»

И то правда, не слоняться же целыми днями по городу, подобно фабричным с их нескончаемыми семечками и дезертирам в расхристанных шинелях! Кто-то должен и работать.

«Решалась судьба России», но февраль семнадцатого остался на периферии сознания. Запись, сделанная позже в Европе, поможет понять, почему.

«Как велика разница между длинной дорогой, наполненной нервничанием, досадой, обидой – и дорогой сплошь из хорошего настроения! Сперва может быть нелегко, а потом надо направить все усилия к сохранению хорошего настроения, работая над этим, как над трудной, но благородной задачей, наконец, рассматривая ее как некий спорт. Сохранить хорошее настроение на весь путь – это марка!

Запереть сердце на ключ и ко всему окружающему относиться деревянно. Это спасет от многих ненужных беспокойств, а всё равно ничем не поможешь.»

«Запереть сердце на ключ» и «сохранять хорошее настроение». С этой философией Сергей проживет всю жизнь; впоследствии она найдет себе подтверждение в новой религии.

Несколько выдержек из воспоминаний о первой концертной поездке в СССР тоже достойны того, чтобы их процитировать. В умении спастись от ненужных беспокойств Прокофьеву нет равных:

«...Смотрел, что пишут по поводу моего приезда. Но пишут мало – в газетах главным образом речи политических лидеров».

«Словом, мы подъехали не к самому дому, а затем быстро шмыгнули в ворота. Впрочем, Пташкина леопардовая шуба так бросалась в глаза, что нас нетрудно было запомнить. Знакомые припоминали только одну еще такую шубу во всей Москве – у Неждановой».

Забавно, что в Ленинграде Прокофьев пересекся с трикстером-двойником – не то Хлестаковым, не то Остапом Бендером:

«Перед самым отъездом произошел забавный инцидент. Оказывается, какой-то тип уже второй день внизу ресторана ел, пил и заказывал дорогие блюда, говоря, что он приехал с Прокофьевым чуть ли не в качестве его секретаря. Параллельно с этим он красочно рассказывал про за границу и про разные случаи из жизни Прокофьева, а хозяин и прислуга слушали и записывали съеденное и выпитое на мой счет. Когда в момент моего отъезда выяснилось, что означенный тип никакого ко мне отношения не имеет, в отеле поднялась тревога. Метрдотель кричал:

– Подождите, я его найду! Он от меня не уйдет!

Впрочем, нам препятствий не чинили и отпустили нас с поклонниками».

А вот взгляд со стороны: композитор Николай Набоков тоже вел дневник и, описывая поездку с Прокофьевыми по Франции, оказался саркастичным под стать знаменитому кузену:

«В то время, как Лина Ивановна желала остановиться в каждой деревне, посетить каждый собор, замок и музей, ее муж хотел перемещаться из одного трехзвездочного ресторана в другой... В то время, как жена искала ‘уютных’ гостиниц с ‘восхитительными’

видами, спрятанных в 'зеленых лощинах' или на склонах 'пленительных' гор, он желал оставаться в городе... Его ничуть не интересовали музеи, замки и соборы, и когда он бывал вынужден присоединиться к нам... то выглядел скучающим и угрюмым. Единственное, что он мог сказать, глядя на Шартрский собор: 'Интересно, и как это им удалось поднять эти статуи так высоко, не уронив их?' Но если у него в руках оказывалось большое затейливое меню, его наружность переменилась, он преоблажался и начинал заказывать...»

Ну и что. Писатель Владимир Набоков, в свою очередь, был совершенно глух к музыке. Природа любит гениев с ущербинкой. А Николай мог и ошибаться. В более юные годы Прокофьев в одиночку объездил если не всю Европу, то половину уж точно. Его дневниковые записи тех лет искрятся энтузиазмом, настойчивостью, желанием увидеть как можно больше в отпущенный срок, красотой подробных описаний – от альпийских вершин до норвежских водопадов. Возможно, в компании менее одаренных, чем он сам, людей ему было скучно смотреть на давно изученные и понятые «музеи, замки и соборы». Может быть, у него просто болела голова. Про Шартрский собор – чисто прокофьевский юмор, воспринятый Набоковым всерьез.

Тем не менее, мы уже почти готовы вынести неутешительный вердикт о запущенном случае эгоцентризма, граничащем с нарциссизмом...

Но это оказалось бы преждевременным, потому что в «Дневниках» содержалось еще одно сенсационное открытие. Историк музыки Игорь Вишневецкий сформулировал его суть: «С юности страдавший мигренями и воспринимавший собственное нездоровье как болезнь смертного ума, Прокофьев искал излечения в духовных практиках, наилучшей из которых ему представлялась американская Христианская наука (Christian Science) <...> В самом кратком изложении она может быть сведена к <...> осознанию духовной правды и исправлению 'ошибки' нашего видения, которая заключается в том, что мы слишком заморожены 'иллюзией' материального мира; через отказ от 'иллюзии' и 'ошибки' исправляется и причина болезни». А в описании Саймона Моррисона: «Прокофьев оказался на удивление религиозной личностью. Удивление вызывает именно выбор веры: не православие, не католицизм и даже не протестантизм, а Христианская наука... он и Лина начали лечить свои недомогания – мигрени, переутомление, боль в глазах – с помощью медитаций. Супруги приняли тот принцип, по которому *болезнь есть иллюзия*, возникающая от недостатка гармонии с верховным божеством...» И самой Мэри Бейкер Эдди, основательнице учения Христианской науки, слово дадим: «Зло нереально, потому что предполагает отсутствие Бога,

всесильного и вездесущего. Каждый смертный должен выучить, что *ни силы, ни реальности в зле нет*». Вот и недостающее звено: философия Христианской науки (не путаем с сайентологией*)! Попробовать свести ее практическую сторону на бытовой уровень в одной фразе, то выйдет примерно так: не думайте о болезни, и она о вас не вспомнит. Если мы всё правильно поняли.

2

...бросил открытку Никольской. На одной стороне я ничего не написал, а на другой написал примечание: «Чтобы прочесть написанное на обратной стороне, надо его слегка намочить следующим составом: двухромовокислого калия 10 гр., лимонной кислоты 5 капель, чистого спирту 100 грамм», – пусть себе повозится.

Сергей Прокофьев

Теперь мы, должным образом подготовленные, можем вернуться в 1939 год. Конечно, Прокофьев к этому времени уже достаточно «протрезвел» от эйфории возвращения на родину и понимает, к чему приводит нежелание прислуживаться. Но он, втайне от всех вооруженный знаниями Христианской науки, верит в свою неуязвимость против «сил Зла» (ведь они иллюзорны!) и по-прежнему азартен.

По первому прочтению текст «Здравицы»** шокирует и оскорбляет: столь трепетно-лебезящих заклинаний на якобы «тексты русской, украинской, белорусской, кумыкской, курдской, марийской и мордовской песен» не выдумали бы самые ответственные политработники от литературы.

Поскольку за годы исследований ни в русском, ни в курдском фольклоре не обнаружилось ничего похожего (подлинное народное творчество типа «Ох, огурчики мои, помидорчики, Сталин Кирова пришил в коридорчике» делу не помогают), то либретто кантаты, скорее всего, плод вдохновения либо безымянного наемного автора, либо самого композитора. У Прокофьева был нерушимый принцип:

* В буквальном переводе на русский язык оба названия воспринимаются идентично; однако смешивать их было бы ошибкой. Христианская наука (англ. Christian Science) – религиозное течение, основанное в 1879 году Мэри Бейкер Эдди. Прокофьев разделял идеи именно этого учения. Сайентология (англ. Scientology) – одиозная секта Рона Хаббарда, основанная в 1950-х годах, многими считающаяся деструктивной, а некоторыми – криминальной.

** Текст кантаты широко представлен онлайн. См. например: [https:// en.wikipedia.org/wiki/Zdravitsa](https://en.wikipedia.org/wiki/Zdravitsa)

все либретто писать самостоятельно. Значит, и здесь – всё сам. Хотел ли он таким образом подольститься к Сталину, прикрываясь «творчеством благодарных народов»? – То, что мы о нем достоверно знаем, заставляет отбросить это предположение. Не мог. Это тот самый человек, который годами ругал Гершвина за «потакание вкусу толпы» (Рахманинова, певицу Нину Кошиц, композитора Владимира Дукельского – за то же самое). Если же предположить, что текст составлен Прокофьевым сознательно, то мутно-приторный фимиам в адрес Сталина окажется лишь дымовой завесой для прикрытия более интересных вещей.

Возьмем, например: «Я пою, качая сына на своих руках: ты расти, как колосочек в синих васильках. ‘Сталин’ будет первым словом на твоих губах!» На первый взгляд – униженное раболепие, а раз Прокофьев во всем желает быть первым, то и в этом «жанре» привычно оказался впереди всех. Святослав Рихтер придерживался этой точки зрения, и не без оснований.

Но любой человек, знакомый с Библией, знает: «В начале было слово, и слово было Бог». Доктор искусствоведения И. С. Воробьев, доцент кафедры теории музыки в Санкт-Петербургской консерватории, в своей работе «Вербальный текст кантаты ‘Здравица’ как модель советской литургии» считает «Здравицу» именно вариантом церковного песнопения: «К концу 1930-х тема Вождя-Сталина занимает одно из центральных мест в советском музыкальном искусстве <...> это <...> породило тексты, вполне сопоставимые с каноническими христианскими, такими как *Te Deum* («Тебя Бога хвалим»), *Gloria* («Слава в вышних Богу») и т. п.». В подтверждение своих слов он сравнивает «пафос трех текстов»:

«а) *Твои взоры – наши взоры, вождь родной! Твои думы – наши думы до одной! Нашей крепости высокой зная ты! Мыслей наших, крови нашей пламя ты, Сталин!* («Здравица»);

б) *Ты, одолев смерти жало, / Отверзл еси верующим Царство Небесное / Ты одесную Бога седиши во славе Отчей, / Судия приити веришиися (Te Deum);*

в) *Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Безсмертный, помилуй нас! (Gloria).*

И хотя последняя цитата взята в действительности из молитвы Trisagion («Трисвятое»), это не меняет сути. В гимне Gloria полагается петь: «Хвалим Тебя. Благословляем Тебя, поклоняемся Тебе. Славословим Тебя. Благодарим Тебя, ибо велика Слава Твоя».

У Прокофьева:

«Ты открыл нам к счастью новые пути... За тобой нам радостно идти...»

«Помилуй нас!» недостает.

Для нас сегодня эти параллели очевидны. А тогда – кто бы вслух осмелился на подобные сравнения? От себя добавим, что и чудовищное «пошлятина» из «мыслей и крови» применительно к Сталину – это не благонамеренная глупость и пошлость (мы помним, что слово «пошлятина» в прокофьевском вокабуляре – сильное ругательство), а зрительный образ в духе Эйзенштейна. Всего за год до «Здравицы» тот снял фильм «Александр Невский», в котором, под леденящую музыку Прокофьева, тевтонцы бросали детей в огонь.

Итак, Прокофьев намеренно искажает ключевые ритуальные символы, с которыми был прекрасно знаком. Возможно ли, что он, как человек религиозный, пытается высказать: подобно тому, как слово «Сталин» заменило слово «Бог» в молитве, сам Сталин подменил собою Бога в жизни?.. Могут возразить: слишком сложно и слишком рискованно. А мы ответим: только с помощью сложных аллегорий и можно было выкрикнуть что-то важное – да на всю страну. Прокофьев, как кажется, нашел единственный способ обратиться к Сталину на «ты» – да так, чтобы никто не смел придаться.

Насколько всё же Прокофьев верил в Бога?

Не делаем ли мы из мухи слона, не принимаем ли бытовую попытку «прогнуться» за что-то более возвышенное, не попались ли на его ребяческую шутку, требующую «сто граммов чистого спирту»? Раньше можно было спорить, а теперь у нас есть «Дневник». Читаем:

«Божий мир сделан так, как он сделан, и сделать его иначе было нельзя. Что есть зло? Попытка проверить – нельзя ли создать мир иначе. И вот любви к ближнему была противопоставлена любовь к себе; бесконечности – конечность и т. д. Получился новый мир, конечный, который именно в своих качествах, в своей конечности таит свое изжитие. Почему было допущено возникновение этого второго мира? Именно для того, чтобы через него человек понял, что Божий мир создан только так, как он создан, и иначе создавать его нельзя. Вернувшись в него через зло, человек с тем большей глубиной сумеет оценить всю мудрость творения мира добра. Естественно, что попытка мира иного, мира зла, мира конечного, мелькнет, как миг, в бесконечности и забудется. Это, вероятно, одна из причин, по которой Christian Science считает зло нереальным».

Для Прокофьева, крепко продумавшего всё это задолго до 1939 года, Сталин был явлением «второго мира», то есть, как и любое зло, чем-то временным и обреченным на исчезновение.

Кажется, мы получили однозначный ответ на вопрос о вере.

Внимательно читаем другой фрагмент текста «Здравицы»:

То не русую мы косу пропивали,
то не замуж мы Аксинью выдавали,
в гости к Сталину Аксинью провожали.
В Москву-город провожали мы, в столицу.
Как невесту, наряжали молодицу.
Выходила свет-Аксинья за ворота:
хороша собой, красива, в новых ботах!
За околицу Аксинью провожали мы.
С нею Сталину привет посылали мы.
Он всё слышит, видит...

Трудно побороть впечатление, что «Аксинья» является ритуальной жертвой, приносимой языческому божеству вроде Молоха или Дракона. В работе М. Апличеевой «Политический заказ в советской музыке 1920–1950-х годов как социокультурный феномен» подмечено это смысловое сходство: «Дракон в мифах ряда народов... требует себе девушек в качестве ежегодной дани. В самом деле, Аксинью-невесту провожают отнюдь не замуж. Ее, по существу, приносят в жертву. И согласно этому музыкально-драматургическому плану, Аксинья – одна из многих жертв, предназначенных ‘вождю-солнцу’, а по весьма прозрачной аллегории – Дракону-Властителю (позже в пьесе Е. Шварца «Дракон»... нашел отражение тот же миф...)». Что приводит автора к следующему выводу касательно «Здравицы»: «‘идеологический’ и свадебно-обрядовый планы оказываются не только не исчерпывающими, но в каком-то смысле камуфлирующими основную идею произведения – идею жертвоприношения» (Выд. мной. – Я. Р.).

И еще одно наблюдение – уже мое. Хотел этого Прокофьев или не хотел, но эпизод с Аксиньей, отсылаемой в Кремль «в новых ботах» (какой трогательный акцент сделан на этом предмете ее одежды! словно единственном...), напоминает также о первобытном, античном, феодальном «праве первой ночи вождя племени». На роль языческого бога Сталин только примеривался, а «вождем» официально назывался при жизни.

Надо сказать, что только одного Прокофьев не умел делать: сочинять плохую музыку. «Здравица» в музыкальном плане – действительно маленькое чудо. В полном соответствии с сайентистской теорией, мир прокофьевской музыки «сделан так, как он сделан, и сделать его иначе было нельзя». Всего за 12-14 минут короткой кантаты Прокофьев последовательно транслирует три образа: Сталин – лжебог и, следовательно, антихрист; Сталин – дракон, пожирающий и испепеляющий; Сталин – первобытный оплодотворяющий символ,

готовящий себе потомство. А в терминологии христианина-сайентиста Сталин – иллюзия. Его нет, потому что его быть не должно.

На наших глазах невинно-верноподданная экскурсия в народное творчество распрямляется во весь исполинский свой рост и превращается в проклятье, в анафему.

Адресату «Здравицы», бывшему семинаристу, не требовалось набора химических веществ, чтобы прочитать поздравительную открыточку правильно.

Однако Сталин тогда никак не отреагировал. Вместо того, чтобы изничтожить еретика, он продолжал жаловать ему премии имени себя. «Здравицей» радостно звенели репродукторы по всей стране. Если Сталин и прочитал послание, то показал это намного позже.

Дракон умеет ждать.

3

Мне очень хотелось бы поговорить с настоящим атеистом.

Как можно быть атеистом? Мне кажется, что атеистами бывают люди или недодумавшие, или равнодушные (тоже, следовательно, недодумавшие), или разочаровавшиеся в вере, т. е. те, кого религия не убедила, что есть Бог, и которые этим удовлетворились, однако и не добившись противоположного доказательства, т. е. что Бога окончательно нет, следовательно, опять недодумавшие.

Сергей Прокофьев

При таком подходе к проблеме нам становится понятным дальнейший выбор Прокофьевым сюжетов из таких литературных источников, как «Ромео и Джульетта», «Золушка», «Война и мир» и «Повесть о настоящем человеке» (ведь зло, болезни и даже смерть суть иллюзии; «настоящий» человек в состоянии исцелить себя сам, а потому всякое сострадание к нему не имеет смысла).

К середине XX века это мировоззрение стало казаться крайне уязвимым, хотя Прокофьев, судя по всему, не позволял себе сомневаться в нем; но, может быть, это отвечает и на вопрос, отчего музыка Шостаковича кажется более «человечной». Шостакович не считал страдания иллюзией.

Балет «Золушка», таким образом, представляет особый интерес как сюжет, в котором силы Добра не нуждаются в сострадании. Даже в сказке Шарля Перро «силы Зла» смешны, глупы и уродливы одновременно, а потому обречены на полный провал как «иллюзорное извращение». На стороне Добра сражаются такие рациональные и здоровые силы, как ум, любовь, красота и волшебство, – и даже размер обуви! Зло способно только мелко пакостить да выставлять себя

в глупом свете. Такая концепция не могла не увлечь сайентиста Прокофьева.

В 1940 году Галина Уланова станцевала Джульетту в Мариинском театре. Прокофьев был настолько очарован ее мастерством, что воспринял ее с уважением, как «равную по рангу». Даже простил ей бестактную эпиграмму, продекламированную публично («Нет повести печальнее на свете, чем музыка Прокофьева в балете»). Лишь спросил: «А что вы хотите станцевать? Я бы хотел написать для вас музыку».

Уланова начала было говорить что-то про Снегурочку, но Прокофьев к этому моменту уже преодолел минутную слабость: «Нет-нет, это невозможно – есть музыка Римского-Корсакова. Я напишу для вас Золушку» (музыки итальянца Россини для Прокофьева, как мы знаем, не существовало вовсе). И в этом тоже Прокофьев: спросить «что вы хотите?», в просьбе немедленно отказать, переключиться на собственные идеи и выбрать из них наиболее подходящую, и всё это – в течение нескольких секунд.

Работа началась еще до войны. Прокофьев с наслаждением сочинял, хронометрируя каждый номер и строго предупреждая хореографа Захарова: «И помните только одно – пока я не написал музыку, можете менять какие угодно хореографические рисунки, но когда я музыку напишу, то не переделаю ни одной ноты». Слышал бы этот ультиматум Россини, вечно терзаемый короткими сроками и условиями заказчиков, – сгорел бы от зависти.

Казалось бы, теперь-то ничто не могло помешать – но разразилась война. Балеты отошли куда-то в прекрасное далекое будущее, а Прокофьев, всегда имевший в голове с десятков новых идей, занялся оперой «Война и мир».

А после победы, уже перед самой премьерой долгожданной «Золушки», товарищ Сталин пожелал созерцать на спектакле приму Большого театра Лепешинскую вместо ленинградской Улановой. (Рассказывают, что когда дирекция сообщила об этом Улановой, та спокойно ответила: «Ничего страшного. Премьера всё равно будет тогда, когда буду танцевать я», – действительно прокофьевского уровня личность!) Грандиозные послевоенные планы тогда имелись у каждого. Прокофьев желал вернуться к нормальной работе и завершить дела, требующие неотложного внимания. О том же думал и Сталин.

Еще зимой 1945 года Сергей Сергеевич при невыясненных обстоятельствах (Лина подозревала нападение, но доказательств не имела) упал на улице и получил сотрясение мозга с инсультом, от которого с трудом оправился. Это был «пролог». А еще через три года вождь скомандовал наступление. 11 февраля в «Правде» появилось

знаменитое постановление ЦК, где ведущие советские композиторы – в их числе Прокофьев – осуждались за «формалистические извращения, антидемократические тенденции в музыке, чуждые советскому народу и его художественным вкусам».

Это была ответная анафема-отлучение: «Давай посмотрим, кто из нас иллюзия». Она адресовалась не одному Прокофьеву: Сталин умел решать задачи комплексно, «семерых одним ударом». По сути, это был официальный разгром отечественной музыки. За этим последовало неизбежное: 14 февраля вышел негласный приказ о запрете на исполнение «формалистических» произведений Прокофьева, и уже 20 февраля его «бывшая» жена Лина Прокофьева исчезла в ГУЛАГовском водовороте (тогда казалось, что навсегда).

«Бывшую» мы вынуждены поставить в кавычки, потому что композитор умудрился сказать свое уникальное слово даже в юриспруденции, где оно получило название «казус Прокофьева». По общемировым законам, Прокофьев с Линой не разводился; по советским же, их брак, заключенный в Европе, считался недействительным на территории СССР. Этот шедевр советского законодательства позволил Прокофьеву жениться вторично, не разводясь. Когда же Лина, выжившая в лагерях, вернулась в Москву и потребовала справедливости, то Верховный суд СССР признал оба брака одинаково легитимными, а покойному Прокофьеву назначил сразу двух официальных вдов, между которыми и пришлось разделить наследство. Это и есть тот самый «казус».

После ареста Лины осиротевшие сыновья Святослав и Олег бросились на дачу на Николиной Горе, чтобы рассказать об этом отцу, – больше им не к кому было пойти. Прокофьев выслушал молча, а потом прошептал нечто непонятное: «Что я сделал?..» Что он имел в виду? Переезд в СССР? Уход свой в другую семью? Или, может быть, самонадеянную «Здравицу», на которую только теперь пришел ответ?..

Доказательством верности Прокофьева учению Христианской науки о примате Добра служит недооцененная опера «Повесть о настоящем человеке». Зная о вере Сергея Сергеевича в Христианскую науку, мы теперь понимаем в ней куда больше.

Даже после описанных событий 1948 года Прокофьев пытался сохранять лицо и «держаться марку». Запершись на даче на Николиной Горе, он продолжал работу над «Повестью», словно ничего не случилось. Герой оперы Алексей – еще более абстрактный, чем Мересьев у Бориса Полевого, – попадает в такие условия, где обычные люди не выживают. Но «настоящий человек» не нуждается в жалости: даже став калек, он победит боль и вознесется в небеса, чтобы мстить. Подобно «Огненному ангелу» из ранней прокофьевской оперы,

Алексей летит высоко над землею, выбирает цель и выжигает силы Зла смертоносным огнем. Ангел, карающий с небес, — только Прокофьев мог создать такой образ, формально оставаясь в русле соцреализма.

В сущности, советская военная повесть в руках Прокофьева превратилась в сайентистскую апологию «сверхчеловека», способного в одиночку победить Зло. Несмотря на экспериментальную новизну этой оперы с ее кинематографичностью и рядом оригинальных находок, «Повесть о настоящем человеке» не только запретили при Сталине (это как раз было предсказуемо), но и вплоть до недавних лет осмеивали, видя в ней лишь неудачную попытку угодить и моральное поражение сломленного человека. На самом деле Прокофьев оставался верен себе и двигался от победы к победе. Как и другие его произведения, «Повесть» опережала свое время.

Второй инсульт случился в 1949 году, после него состояние ухудшалось, и врачи уже не разрешали работать. Прокофьев был не сломлен — он был сломан, как шпага.

Общеизвестна правда о том, что в день, когда остановилось сердце Прокофьева, земля отмучилась носить и Сталина. Это можно объяснить случайным совпадением; но вопрос, кто кого уничтожил силой проклятия, не так прост. По крайней мере, в своих настойчивых поисках человека «выше себя самого» Сергей Прокофьев, истребитель и Ланселот, вышел на равного по силе врага.

«...и на прощание, несмотря на все просьбы, так и оставил всех в неведении.»

Монреаль

БИБЛИОГРАФИЯ

Дмитрий Бобышев. *«Петербургские небожители и другие поэмы»*. – New York: Liberty Publishing House, 2020, 267 с.

Предисловие Дмитрия Бобышева к своей новой книге – оригинальная и редкая в истории литературы попытка очертить развитие того поэтического процесса, в котором он сам и его творчество играли большую роль. В кругу поэтических соратников, тех, кто составлял юное окружение Анны Ахматовой, он органически чуждался советской литературы и ориентировался на литературные направления конца 19 и начала 20 веков, которые изгонялись на долгие годы, – символизм, акмеизм, имажинизм. Он был не единственным, таковым оказался и Станислав Красовицкий, одареннейший поэт тех лет, едва ли не первый, у которого нельзя найти ни грамма, ни драхмы того, что называлось «советской поэзией», с ее ангажированностью и глубокой провинциальностью. Для Бобышева и его друзей драгоценным наследством оказалось творчество акмеистов Анны Ахматовой и Осипа Мандельштама. По мнению поэта, в стилистическом отношении поздняя поэзия Анны Ахматовой (начиная с «Поэмы без героя») приобретает черты барокко, хотя и не ограничивается этим. Благодаря ей возникла та стилистическая перспектива, которая позволила молодым петербургским поэтам использовать этот опыт и «преодолеть» акмеизм – каждый по своему методу и следуя своей индивидуальности.

Так, шестьдесят лет спустя, Бобышев чувствует и формулирует генезис молодой петербургской поэзии пятидесятых и шестидесятых годов 20 века.

«Петербургские небожители» – это отважное и рискованное возвращение в поэтическую эпоху 60-90 годов, когда поэма в ее русской ипостаси не сомневалась в своем законном праве на жительство в литературе. Рискованное – потому что для западной литературы жанр поэмы – эпической, романтической, символистской или лирической – давно отошел в прошлое. Для современной французской поэзии он кажется столь же обветшалым, как рондо или куртуазная любовь (*fin amor*) трубадуров. Но в молодой и энергичной русской поэзии источник, освежающий и возрождающий поэму, неиссякаем, о чем свидетельствуют поэмы Цветаевой и Ахматовой – и Дмитрия Бобышева. «Небожители» – это антология поэм, из которых одни, как, например, «Новые Диалоги доктора Фауста», имели большой успех в московском Самиздате шестидесятых годов, или поэма «Звери св. Антония», написанная в Америке, в которой каждый зверь с успехом превращается в свой собственный символ. Но две поэмы – одна очень краткая, другая – обширная, – возникают как фундамент всей поэзии Бобышева. Я имею в виду «Ксению Петербуржскую» и «Русские терцины». Хотя я бы рекомендовал читателю и очаровательно ностальгическую поэму «Жизнь

кадета Евгения Гирса», и славословие (или молитвословие) цикла «Ангелы и Силы», поэтический и философский анализ «вышних сил».

Когда-то в своем блестящем и возмутительно несправедливом очерке о нормандском гении («По поводу ‘стиля’ Флобера», NRF, # 76, 1920) Марсель Пруст писал, что «...только метафора может придать стилю облик вечности» – имеется в виду долговечность. Отчасти парижский затворник был прав. Ничего нет опасней для художника, чем метафора, и нет ничего более уязвимого для его творчества. Поскольку она немедленно свидетельствует о подлинности творения – или о его фальши, и возвращает поэтические строки к их первоначальному истоку – банальному образу или безличному выражению. В риторике подобное явление называется *мертвой метафорой*; именно оно заполняет стиховорные реки и устья современной поэзии. Но когда вы читаете «Мадам Бовари», вы понимаете, что хлыст Родольфа, портмоне из веленовой кожи, подобранное на дороге, или меховая шапка лекаря Бовари – это метафорическое изображение брутальной натуры первого, мечтаний о недоступной ей жизни – второй и вялой, добродушной души последнего. Вот пример идеальной метафоры!

Я думаю, что Дмитрий Бобышев ориентировался столько же на акмеизм, как и на ту линию русской поэзии, которую прочертили Державин, Тютчев, Фет, Полонский. У этих поэтов, в той или иной мере, метафора занимала почетное место. Но и тут Бобышев оригинален, создавая то, что можно было бы назвать *сферической метафорой*. Описывая субъект или объект, несущественно, он включает всевозможные оттенки, их особенность, – то сущее, чем они привлекли его, и создает своеобразную сферу. И эта сферическая метафора вырастает до символа. «Святая Ксения» – это не только святая, почитаемая тайком в советские времена; она становится символом веры в атеистическом государстве. «Русские терцины» (на мой взгляд, шедевр русской поэзии 20 века) – это не только попытка приложить принцип психоанализа к русской истории, старой и новейшей, но и символическое восприятие этой истории, освященное таинственным смыслом.

Стихотворение «Полнота всего», не самое известное в поэзии Бобышева, приоткрывает секрет этой сферической метафоры. В нем нет центра и начала, как нет начала в сферической поверхности; в нем даже нет времени, поскольку его атрибуты до такой степени смешались в полноте бытия, что не требуют никаких уточнений. *Круглая* полнота бытия – в том, что всё присутствует во всём, – та «надчеловеческая тайна», которую поэт чувствует в мире:

Здесь мига не отложено до завтра...
От первых нужд, чем живо существо,
до жгучего порока и азарта, –
КРОМЕШНАЯ ПРИЕМЛЕМОСТЬ ВСЕГО
из черепа торчит у Градозавра.

«Древо символов» (из стихотворения «Индийское море», с. 72) росло и в раннем периоде творчества Бобышева, сохранилось и в стихотворениях американского периода, – хотя, как кажется, поэт опасался, что разрыв с прошлым лишит его поэтического дара. Этого не произошло. В «Оде воздухоплаванию» (с. 88), где соревнуются американские монгольфьеры в плену коммерческого азарта, каждый воздухоплаватель, влетевший в стих, приобретает символический облик. Гигантская бутылка «...вплывает ярким яблоком из детства», пусть даже «как пародия и фарс», или другая «сверхестественная явь» – летающая сосиска, застрявшая в булочке, знаменитый hot dog, любимое яство и французских студентов, и одновременно – вечная спутница пива, спорта, секса и пищи, иначе говоря – символическое выражение Америки, где «...есть, что поесть». И в заключение – монгольфьер с географическими очертаниями Земли, к которому обращен земной зов: «...возьми меня!» В обычное спортивное происшествие вторгается мистический инопланетянин – а кто он, пусть ищет читатель!

Поэма «Русские терцины» по своему поэтическому совершенству, чистоте и богатству русского языка, но также по своеобразным размышлениям, требует большого и подробного комментария, который занял бы не менее тридцати-сорока страниц. В этом кратком отклике на книгу Бобышева я ограничусь следующими соображениями.

По утверждению историков литературы, терцины – размер, не известный античной поэзии, – возникли в Италии 15 века. Во Франции Жан Лемер де Бельж ввел их в литературу в начале 16 века (*La Concorde des deux langues*). Терцины никогда не пользовались у стихотворцев большой популярностью. Начиная с Маргариты Наваррской и до Валери, число поэтов, писавших терцины, исчисляется десятью-пятнадцатью авторами. Среди них – незаслуженно забытый Этьен Жодель (Etienne Jodelle, 1532–1573), Шарль Гуно (Charles Guinot), автор талантливого сборника стихов «Цветы праздности» (*Fleurs d'oisiveté*). Затем, почти на двести лет терцины оказались на обочине и лишь постсимволисты попытались (я думаю, без успеха) возродить этот причудливый размер (Малларме, де Эредиа, Валери). На мой взгляд, ни одно из этих сочинений не выдержало состязания с Летой.

Но и литературные пэры, по-моему, также не блистали в этой области. Специалисты по Гёте не относят к числу шедевров его терцины «Im ernsten Beinhaus war's». То же самое можно сказать о Шелли («Ode to the West Wind» – сочинение, на мой вкус, риторическое и посредственное). В России Пушкин и, век спустя, Блок создавали терцины, но эти сочинения никаким образом не могут соперничать с «Онегиным» или «Двенадцатью». Кроме того, и у Шелли, и у Пушкина терцины были не чем иным, как обычным стихотворным отрывком, безо всякой формальной оригинальности.

Разумеется, можно объяснить эту сдержанность, с которой поэты относились к *terza rima*, ее сложностью. Терцины требуют предельную краткость

выражения (почти недоступную самым блестящим немецким поэтам), приближения к латинскому синтаксису, которым вдохновлялся Данте (и трудно реализуемый в германских и славянских языках). Кроме того, в 19 веке формирование рифм-клише охватило все западные страны, но также и Россию. Этот феномен значительно затруднил перевод «Божественной Комедии»...

Как часто случается с литературными шедеврами, поэма «Русские терцины» Бобышева поражает своей неожиданностью. Она писалась тогда, когда всё – и в жизни, и в литературе – было противоположно ее появлению: советский рабовладельческий строй, ангажированная советская литература, многолетнее удаление от западной культуры и патетическое отсутствие свободы. И это не единственная неожиданность: если бы Бобышев написал обычный стихотворный отрывок в терциях, то он попал бы в почтенную галерею искусных стихотворцев, не более. Но оригинальность его поэмы заключалась не только в превосходных стихах (некоторые строки, я думаю, со временем приобретут крылья). Поэт, по-видимому, знал, что поэма всегда требует новой формы. И он нашел ее... в терциях! Десятистрочие *terza rima* стали такой же своеобразной и ёмкой строфой для философских и метафизических размышлений поэмы, как онегинская строфа или сонет, только более краткой. Эмоциональный диапазон «Русских терцин» находится в полной гармонии с содержанием поэмы – от торжественности хора до интимности исповеди, как, например, эти прекрасные строки, в которых кровная связь с родиной выражена сдержанно и глубоко:

Ползут по сердцу слезные расплывы,
и облачные тени – тут и там,
где так Христовы старицы красивы

со звездами по синим куполам.
Холмы. Белоберезовые рощи.
Поляны и дубравы пополам.

И соразмерно всё, и что-то прочит,
и прошлое с грядущим заодно...
Вот здесь и лечь – нет сладостнее почвы,

и натянуть на голову дерно.

Со времени появления первых стихов Бобышева, которыми я, восемнадцатилетний юноша, когда-то восхищался в Москве, пролетело и улетело множество десятилетий. За это время Бобышев узнал и клевету, и отчуждение, и добровольное изгнание, и славу, и всеобщее признание. И ныне совершенно очевидно, что в литературе окончательное слово принадлежит

не критикам, не историкам, даже не поэтам, но тексту. Текст торжествует и над враждой, и над клеветой, и над молчанием, или, точнее, умолчанием.

Книга Дмитрия Бобышева «Петербургские небожители» – торжество текста.

Е. Терновский, Париж

Елена Литинская. Семь дней в Харбине и другие истории. – Чикаго: Bagriy & Company. 2018.

Рассказы Елены Литинской, писательницы известной, – очень искренние, достоверные и фактически, несмотря на измененные имена героев, документальные, сближающиеся с мемуарной прозой. «Семь дней в Харбине...» – это путь памяти. Мое «сознание часто поворачивается вспять, и я погружаюсь в воспоминания, пытаюсь оживить застывшие картины далекого и не столь далекого прошлого», – как-то призналась Литинская. И эта документальность – даже там, где читателю видны сотканые и сплетенные не жизнью, а самим автором, нити сюжета, – сильная сторона книги, приоткрывающая и обычную жизнь в Нью-Йорке с неизвестной многим и отнюдь не глянцевого стороны, и чувства рассказчицы, в подлинности которых нет повода усомниться, и историю ее рода, светлые его и страшные, трагические страницы. Ранний рассказ «По зову Леи», объединенный в книге с рассказом «Бабушкино письмо», приобретает дополнительное звучание: становится голосом родовой памяти, выбравшей Елену Литинскую проводником, сталкером, чтобы провести боль предков, их любовь и надежду через опасную зону прошлого и донести до тех, кто родился много позже.

Завершают книгу фронтовые очерки отца Елены Литинской, так и названные «Из фронтовых дневников младшего лейтенанта Григория Литинского». Отец и дочь одинаково внимательны к неприглядной стороне жизни, к тому, что обычно скрывают за парадным фасадом. Но как «мусорные» картины непрестижных районов Нью-Йорка из рассказов Литинской не делают страну и город менее привлекательными, так и темные эпизоды фронтовой истории, рассказанной отцом, не могут закрыть тенью ни Великую победу над фашизмом, ни образ автора, награжденного орденом Красной Звезды и по праву названного в «Бабушкином письме» героем. Писательница это понимает и, конечно, надеется на понимающего, умного читателя, способного отделять зерна от плевел, а, главное, сопереживать.

Елена Литинская и сама сочувствует всем, о ком рассказывает. Стилистически прост и, одновременно, психологически сложен рассказ из бруклинской истории «Выход. Записки библиотекаря» – о горбатом одиноком человеке, отвергнутом молодой женщиной, которую он полюбил, не пережившем ее равнодушия, но оставившем ей – то ли как упрек, то ли как память о себе – немалое наследство.

Книга названа по одному из рассказов, показывающих Харбин 1945

года, «город с русскими названиями улиц, магазинов, газет и учреждений». Молодой лейтенант, в котором читатель без труда узнает Григория Литинского, удивлен: « В Харбине было двадцать шесть православных церквей, включая величественный Софийский храм. В результате революции и Гражданской войны около двухсот тысяч белоэмигрантов бежали на восток и осели в Харбине. Это были не только казаки и офицеры, участвовавшие в Белом движении, но также члены и служащие правительств Сибири и Дальнего Востока, интеллигенция и простые российские граждане...» Очень колоритны в рассказе юные японки – жрицы любви, привлекателен очерченный бегло, но точно, образ Сони, дочери русской красавицы и китайца, на которой собирается жениться майор-фронтовик.

Интересны реалии и характеры в рассказе о роковой любви «Из огня да в полымя» – из Китая писательница переносит читателя в США: «Штат Монтана. Индейская резервация. Поселок Н. – населенный пункт с проживающими в нем индейцами племени кроу – как их нынче политкорректно называют Native Americans (коренные американцы). / Нищета, лачуги, трейлеры, вигвамы и лишь кое-где приличные домики».

Зная Елену Литинскую как поэта, в книге прозы находишь под обычными историями поэтически мистифицированную природу любви, воспринимаемой автором как дар свыше, дар судьбы, который нужно уметь вовремя разглядеть и удержать в своих ладонях, иначе он может исчезнуть, обратившись в грезу или сожаление воспоминаний. Вообще, все рассказы освещены верой в любовь – ее спасительную силу, родовую и личную, побеждающую смерть. Одна из прежних книг Елены Литинской так и названа «Экстрасенсорика любви».

Своей тонкой чувственностью привлекают рассказы «Попытка возвращения» и «Последняя встреча». Место действия – Россия, Москва. Героиня после долгой разлуки прилетает в город своего детства, город первой любви. Сначала и город, и москвичи кажутся ей «полуреальными». И вырывается откровенное: «Как будто я умерла, и моя душа, отделившись от тела, поднялась под своды аэропорта Шереметьево и посмотрела на свою покинутую оболочку сверху, вопрошая бледную, нервную сорокалетнюю женщину: Кто ты и что здесь делаешь?». Это очень интересное и грустное наблюдение, отражающее не просто смещение самоидентификации, но и особый, еще ждущий исследований социопсихологический феномен, который Елена Литинская назвала сменой естественного русла реки: «Правильно я поступила, когда уехала из Союза, – размышляет она, – или нет, теперь не имеет значения. Настоящее должно вытекать из прошлого, а я прервала это естественное течение и поменяла русло реки. Моё настоящее самостоятельно и независимо от прошлого. Для таких, как я, возврат в прошлое невозможен». Прошлое отброшено, но первая любовь и город, где живет и стареет любимый человек, не отпускает: «Москва оказалась моей не только первой,

но и вечной любовью и неизлечимой хронической болезнью, которая то затихает, впадая в ремиссию, то дает о себе знать новым приступом ностальгической боли по родному городу и юности». В рассказе «Последняя встреча» встреча с Владимиром оказалась действительно последней: в провидческом сне к Елене (в этом рассказе автор выступает под своим именем) приходит дата его смерти, и, к сожалению, реальность подтверждает сон...

Елена Литинская не только поэт и прозаик, но и общественный деятель – ею основан Бруклинский клуб русской поэзии, о котором многие литераторы знают. Может быть, именно поэзия, как Лея, ведет и хранит писательницу на ее опасном пути – пути памяти:

Обнажаю память, распинаю...
Воскрешенье в лоскутах крою.
Тонок, хрупок лед воспоминаний.
Только б не свалиться в полынью.

Удержаться у коварной кромки
на крутом изломе виража.
Март грядет, грозя весенней ломкой,
льдины, словно кубики, круша.

Варвар, голый галл, гремит оружием,
очищенья миссию вершит.
В талых водах память кружит, кружит,
вечности обломки ворошит.

Мария Бушуева

Татьяна Марченко. Бунин и Франция. – М.: Дом Русского Зарубежья, 2020 г. – 80 с.

«Мало кто из писателей в мире заслуживает так, как Иван Алексеевич Бунин, благородного и серьезного звания мастера. Мастер – по своей разносторонней культуре, по образу жизни, по фанатичной преданности своему ремеслу, по почитанию настоящих, великих творений, по своему, наконец, таланту», – так писал известный французский журналист и писатель Жозеф Кессель в связи с обретением русским писателем Нобелевской премии в 1933 году. Позади у Кесселя были к тому времени жизнь в Оренбурге и участие в Экспедиционном корпусе во время Первой мировой войны, впереди – бои в Сопротивлении и создание гимна французских партизан вместе со своим племянником Морисом Дрюоном. Восхищение перед Буниным он хранил всю жизнь. Как не скрывали своего уважения к таланту великого мастера русского слова многие французские критики, о чем теперь можно

узнать, взяв в руки небольшую книгу известного исследователя Русского Зарубежья Татьяны Марченко. Наибольшей, наверное, популярностью пользуется ее труд, посвященный русским нобелевским лауреатам, созданный на основе архива Шведской академии.

Книга «Бунин и Франция» представляет целую палитру оценок, которые давались писателю французской прессой за годы его эмиграции. Некоторые критики пытались понять через Бунина Россию и загадочную русскую душу, другие отмечали огромный талант писателя, но подчеркивали, что он, конечно же, «не Мопассан или Флобер»... Порой отклики просто поразительны: «Каждая страница Бунина струится человечностью, той славянской человечностью – такой неопределенной, такой многообразной для нас, западных людей, что проступает во внешних проступках и кроется в глубокой мысли» (критик Ф. Амиге).

Вторая часть книги посвящена присутствию Франции в произведениях Бунина. Стране, которую он впервые посетил в 1900 году (первый рассказ о Париже опубликовал за год до этого). А с 1920 по 1953 годы, до конца жизни, – эмиграция. Как показывает Марченко, Россия и во французские годы творчества писателя царила в его текстах, – та Россия, которую миллионы изгнанников обрели в гениальных бунинских строках.

* * *

Абраменко Людмила. История семьи адмирала А. В. Колчака во Франции: София Колчак. Воспоминания. Стихи. – М.: ВИКМО-М, 2020 – 416 с.

До сих пор имя адмирала Александра Васильевича Колчака вызывает жаростные споры в России. До сих пор срывают мемориальные доски, посвященные ему, пытаются сносить установленные в постсоветской России памятники. Но вопреки всему, он был и остается символом мужества и верности своей родине.

Наверное, многие помнят телесериал «Русские без России» (Н. Михалков и Е. Чавчавадзе). В фильме о Колчаке поражает образ его внука – Александра Колчака. Благородный старик, обожающий джаз, ходил по парижским улочкам и рассказывал о том, как в семье хранили память о деде. Александр Ростиславович Колчак умер в Русском Доме в Сент-Женевьев-де-Буа в 2019 году. За несколько лет до смерти он познакомился с историком Людмилой Абраменко, давно живущей во Франции. Александр Ростиславович – в общем-то, человек крайне подозрительный и недоверчивый – не мог не почувствовать искренний интерес Людмилы к истории Колчака и предоставил ей для работы семейный архив. Результатом многолетнего труда и стала эта книга. Она включает исследование Л. Абраменко «История семьи адмирала А. В. Колчака во Франции» и «Воспоминания и стихи» Софии Колчак.

Открывается книга рассказом о весеннем дне 1919 года, когда в порту Марселя с английского военного крейсера сошла русская женщина с маленьким сыном. На следующий день во французских газетах появилось сообщение о приезде во Францию жены адмирала Колчака... Да, это была супруга адмирала, София Федоровна Колчак, урожденная Омирова. Ей предстояла долгая жизнь во Франции – она ушла в мир иной в 1956 году. После себя она оставила воспоминания о благословенных дореволюционных временах, об эмигрантской жизни, – как и о своих родных, живших в эмиграции или сгинувших на родине. Целый век этой замечательной русской семьи проходит перед читателями.

Из книги Абраменко мы узнаем о судьбе Ростислава Колчака, экономиста, знатока астрологии; о том, как он воевал с фашистами и попал в плен... Прикасаемся к жизни Александра Ростиславовича – кавалериста, художника-карикатуриста, фаната джаза и также большого любителя астрологии. Наверняка исследователей, да и вообще любителей истории, привлекут приведенные в книге письма адмирала жене, отправленные в 1919 году. Ясным, четким слогом он определяет свои жизненные принципы: «Мне странно читать в твоих письмах, что Ты спрашиваешь меня о представительстве и о каком-то положении своем, как жены Верховного Правителя. Я прошу Тебя уяснить, как я сам понимаю свое положение и свои задачи. Они определяются старинным рыцарским девизом божьего короля Иоанна, павшего в битве при Кресси – «Ich diene». Я служу Родине, своей России так, как я служил ей все время, командуя кораблем, дивизией или флотом... Я солдат прежде всего, я больше командую, чем управляю, я привык по существу приказывать и исполнять приказания. Когда Родина и ее благо потребуют, чтобы я кому-либо подчинился, я это сделаю без колебаний, ибо личных целей и стремлений у меня нет и своего положения я никогда с ними не связывал. Моя сила в полном презрении к личным целям, и моя жизнь и задачи всецело связаны с указанной выше задачей, которую я считаю государственной и необходимой для блага России... У меня почти нет личной жизни, пока я не кончу или не получу возможность прервать своего служения Родине».

В «Воспоминаниях» самой Софии Федоровны мало рассказывается о Колчаке, это все-таки мемуары о семье, о роде, – и о жизни на чужбине. Судьба развела Софию Федоровну с мужем во времени и в жизни. Но воспоминания этой замечательной деликатной женщины – один из примеров достоинства и мужества ее соотечественниц-изгнанниц. Она работала над мемуарами много лет, иногда надолго прерываясь, в рассказе не придерживалась хронологической последовательности – всё время возвращалась памятью в такое дорогое сердцу дореволюционное время. А еще она писала стихи. Чистые, светлые. «Мне хорошо с тобой. В твоих глазах порою / Так много ласки. Столько доброты / Мне хорошо с тобой. Когда глаза закрою / Ты для меня, как свет из темноты.»

* * *

Спекторский Е. В. Воспоминания. Т. 13. / Вступ. ст. С. В. Михальченко, Е. В. Ткаченко. Подг. текста, комм. С. В. Михальченко, П. А. Трибунский // Рязань: Новейшая российская история. Исследования и документы // Modern and Contemporary Russian History: Monographs and Documents // Университет Нотр-Дам (США). – 2020, 652 с.

Имя Евгения Васильевича Спекторского (1875–1951) известно лишь немногим историкам науки. Выдающийся правовед, яркий, оригинальный мыслитель, создатель целой системы знаний о социальной структуре общества, он своею жизнью и судьбой заплатил за понимание влияния общественных потрясений на историю мировой и русской цивилизации. Профессор Варшавского, а в эмиграции – Белградского и Люблянского университетов, он преподавал также на Русском юридическом факультете в Праге. А еще Евгений Васильевич в страшном 1918 году был избран ректором Киевского университета св. Владимира. Из Киева ему пришлось бежать от большевиков в Одессу, а потом иммигрировать в Европу и, уже после Второй мировой войны, – в США. Там Спекторский стал профессором Православной Свято-Владимирской духовной семинарии. Помимо написания научных трудов, он был первым председателем послевоенной Русской академической группы в США и одним из создателей ее научного издания – «Записок РАГ в США».

Даже сам список трудов Евгения Васильевича, изданных им за долгие годы в разных странах, показывает размах его исследований. «К вопросу о систематизации обществоведения», «Очерки по философии общественных наук», «К спору о философии права», «Происхождение протестантского рационализма», «Христианство и культура», два тома «Истории социальной физики» и многие другие достаточно ясно характеризуют круг его устремлений. Но этот человек с ясным, государственно-правовым мышлением жил в страшные годы слома устоявшихся ценностей. В революционном Киеве, где власть за год менялась десятки раз – от петлюровцев к большевикам, он своими кожей и сердцем прочувствовал все трагические последствия подобных революционных потрясений. В эмиграции, как только позволили обстоятельства, он приступил к написанию воспоминаний. Однако рукопись пришлось оставить в Любляне, откуда он бежал от коммунистов в Италию в мае 1945 года. Через несколько лет рукописи попали в руки к ученику Спекторского В. Боначу (Словения), позднее уехавшему в Германию. Бонач предлагал материалы своего учителя в ряд архивов Европы и даже СССР, но лишь благодаря настойчивости филолога и библиографа Габриэля Суперфина «Воспоминания» Спекторского оказались в Исследовательском центре Восточной Европы в Бремене. Там их и обнаружил составитель рецензируемой книги профессор Брянского университета Сергей Михальченко.

Итак, сотни страниц воспоминаний, написанных ясно и четко, написанных человеком огромной эрудиции и, я думаю, понимавшим не только

значение воспроизводимых им событий, но и своих записок. Мемуары охватывают жизнь ученого от его детства в Варшаве до начала 1930-х гг. Как настоящий исследователь, Спекторский характеризует сложные взаимоотношения между еврейским, польским и русским населением на польской земле; представляет яркие портреты профессоров и преподавателей Варшавского университета. Конечно, особый интерес вызывает образ его учителя, читавшего курс государственного права, Александра Львовича Блока, отца великого поэта. «У Блока было замечательное, одухотворенное лицо; высокий лоб, длинноватые черные волосы, усы и борода, прикрывавшие чувственные губы. Видно было, что это незаурядная личность. Мыслитель и джентльмен. Но чувствовалось нечто тяжелое, почти демоническое. У него было много убийственной иронии, обескураживавшей близких к нему людей. Сын, поэт, очень походил на отца.»

Спекторский много пишет о нравах научного и педагогического мира Польши, рассказывает о своих поездках в Германию, о работе в немецких архивах и о встречах с выдающимися философами и историками. Но, пожалуй, «жемчужина» воспоминаний – это яркие, мощные зарисовки киевского периода. Профессор Спекторский вел яростную борьбу за русскую культуру с националистами. «Главная и самая трудная моя задача состояла в том, чтобы содействовать сохранению русского университета в шовинистическом украинском государстве, а задача моей внутренней политики состояла в том, чтобы поддерживать мир среди преподавателей и студентов.» Картины бегства из столицы Украины, набитые вагоны, толпы беженцев, пароход из Одессы, на который Спекторский едва смог попасть, еще и еще раз позволяют прикоснуться к трагедии русского исхода.

Для историков Русского Зарубежья, конечно, особое значение будут иметь страницы воспоминаний Евгения Васильевича, где он описывает свою жизнь за рубежом и работу в университетах Белграда, Люблины и Праги. Он рассказывает о многочисленных встречах с местными политиками и русскими эмигрантами. «Большинство русских хранило гордое терпение и скорбным, но честным трудом зарабатывало свой, нередко тяжело достававшийся хлеб. При этом многие очень скромно и незаметно делали очень полезное для приютившей их страны дело.» При всем обилии ныне опубликованных воспоминаний русских эмигрантов, мемуары Евгения Васильевича, безусловно, выделяются своим масштабом и размахом свидетельств о самых разных политических и научных деятелях России и Европы. Этот труд – классический образец русской мемуаристики XX века.

Нельзя не отметить и огромную работу, которую провел при составлении обширных и полных археографических комментариев Павел Трибунский, в свое время подготовивший к печати цикл лекций по русской истории главного редактора «Нового Журнала» Михаила Карповича.

Виктор Леонидов

ОБ АВТОРАХ

АЛБТМАРК Лев (1953, Брянск). Прозаик, поэт. Окончил Институт транспортного машиностроения, Литературный институт им. Горького. Публикации в ж. «Юность», «Дружба народов», «Нева» и др., в альманахах «Созвучие муз», «Золотое руно», «Российский колокол», «Арфа Давида» и др. Автор семи поэтических сборников и одиннадцати книг прозы. Был участником литературных фестивалей в Македонии, Хорватии, Германии, Грузии и Израиле. Координатор Международной гильдии писателей (Израиль); член СП Израиля и Международного СП (Россия). С 1995 года живет в Израиле в г. Беэр-Шеве.

БАЗАНОВ Петр Николаевич (1969). Доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного института культуры. Историк, специалист по истории русской зарубежной печати, истории второй волны эмиграции, деятельности политических организаций в Зарубежье. Автор многочисленных научных статей и книг о русской эмиграции, среди них: «Петропольский тацит» в изгнании: жизнь и творчество русского историка Николая Ульянова», «Братство Русской Правды – самая загадочная организация Русского Зарубежья», «Дипийские книги, издательства и периодика русских эмигрантов (1945–1951 гг.)» и др.

БРЕЙДО Евгений. Прозаик. В прошлом – научный сотрудник Института русского языка им. Виноградова РАН и преподаватель МГУ; диссертация по теории стиха. В США занимается вычислительной лингвистикой и автоматическим анализом текста. Проза и эссеистика печатались в журналах «Дружба народов», «Литература», «7 искусств», и др.

БРЕЙТЕР Полина. Прозаик. Окончила факультет романо-германской филологии Одесского университета, защитила кандидатскую диссертацию по математической лингвистике; была уволена из Кировоградского пединститута за антисоветские разговоры со студентами; работала в сельской школе под Одессой. В 1992 эмигрировала в США. По материалам многолетней переписки с Б. Чичибабиным подготовила публикации для «Нового Журнала» (2012 и 2020), «Звезды» (2011, 2013), книги «Уроки чтения» (2013) и «Октава» (2020).

БУШУЕВА Мария. Прозаик. Автор нескольких книг, в том числе романа «Отчий сад» (2012), сборника прозы «Модельерша» и др.; автор публикаций в ж. «День и Ночь», «Юность», «Алеф» и др.; монографии «‘Женитьба’ Гоголя и абсурд» (1998).

ГАРБЕР Марина (Киев). Поэт, эссеист. Магистр искусств. Автор четырех книг стихотворений. Член редколлегии «Нового Журнала», член редакции журнала «Интерпоэзия». Автор публикаций в ж. «День и ночь», «Звезда»,

«Знамя», «Иерусалимский журнал», «Интерпоэзия», «Нева», «Новый Журнал», «Литература», «ТекстЪ», «Урал», «Шо», «Эмигрантская лира», «Номо legens» и др. В США с 1989 года. Училась в Италии, жила в Люксембурге. В настоящее время живет в США, штат Невада. Преполагает итальянский язык и культуру в Университете Лас-Вегаса. Лауреат Премии им. Хемингуэя за 2019 год (Канада).

ГЛУШАКОВ Павел Сергеевич (1976). Доктор филологических наук, специалист по истории русской литературы XX века. Автор публикаций в журналах «Новый мир», «Знамя», «Вопросы литературы», «Новое литературное обозрение» и др. Автор книг: «Шукшин и другие» (2018), «Мотив – структура – сюжет» (2020). Живет в Риге.

ГРИЦМАН Андрей (Москва). Поэт, эссеист, гл. редактор журнала «Interpoezia». Окончил Первый медицинский институт; Университет Вермонта, факультет филологии (1998). Публикуется в ж. «Октябрь», «Новый мир», «Арион», «Вестник Европы», «Сибирские огни» (Россия), «Иерусалимский журнал» (Израиль), «Стетоскоп» (Париж), «Крещатик» (Германия) и др. Автор более десяти книг стихов, среди них «Ничейная земля», «In Transit» (англ., рум.), «Голоса ветра», «Pisces», «Long Fall» (англ.) и др. Стихи включены в антологии русской зарубежной поэзии «Освобожденный Улисс», «Crossing Centuries. New Russian Poetry», «Voices from the Frost Place», «Modern Poetry in Translation» (UK). Живет в Нью-Йорке.

ДУБРОВИНА Елена (Ленинград). Поэт, прозаик, литературовед. Член редколлегии «Нового Журнала». Эмигрировала в конце 1970-х. Автор десяти книг на русск. и англ. языках, включая три сборника поэзии; составитель и переводчик антологии «Russian Poetry in Exile. 1917–1975. A Bilingual Anthology», а также составитель (вместе с Мари Стравинской), автор вступительной статьи, комментариев и именного указателя Собрания сочинений Юрия Мандельштама (В 3-х тт., 2018), сборника «Литература русской диаспоры. Пособие для ВУЗов» (2020). Была гл. редактором ж. «Поэзия: Russian Poetry Past and Present» и «Зарубежная Россия: Russia Abroad Past and Present» (США). Лауреат Национальной литературной премии им. Шекспира за мастерство перевода (2013); сборник рассказов «Черная луна» был признан «Лучшей книгой года» в Германии (2017). Живет в США.

ИЛЬИН Борис (Украина). Поэт. Окончил факультет психологии Нью-Йоркского городского университета и консультативный факультет Лонг-Айлендского университета. Публикуется в ж. «Номо Legens», «Крещатик», «Новый Журнал», «Волга», «Артикуляция». Живет в Нью-Йорке.

КАБАНОВ Александр (1968, Херсон). Украинский поэт, пишущий на русском языке. Главный редактор журнала «ШО» (Украина). Автор 12 поэтических книг и многочисленных публикаций в ж. «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов», «Континент», «Октябрь», «Арион», «Интерпоэзия» и др. Стихи переведены на украинский, английский, немецкий, нидерландский, финский, польский, сербский, грузинский и др. Лауреат «Русской премии», премии «Antologia», Международной Волошинской премии, специальной премии «Московский счет» и др. Живет и работает в Киеве.

НАКАНО Юкио (1977, Фукуока). Литературовед, историк культуры. Окончил русское отделение факультета иностранных языков Токийского университета иностранных языков (2000), МГУ (2007); доктор литературы (Doctor of Letters, Токийский ун-т, 2013), ассистент-профессор Университета Досия (Киото, Япония). Автор работ по истории Русского Зарубежья; исследователь творчества Г. Струве, М. Алданова, Е. Замятина, А. Синаевского и др.

ЛЕОНИДОВ Виктор Владимирович (1959, Москва). Критик, исследователь истории Русского Зарубежья. Окончил Историко-архивный институт, кандидат исторических наук. Автор-составитель нескольких книг поэтов Русского Зарубежья и многочисленных статей по проблемам наследия русской эмиграции. Один из организаторов Архива-библиотеки Российского ФК.

ЛЬВОВ Василий Сергеевич (1989, Москва). Поэт, филолог. Окончил ф-т журналистики МГУ; диссертация по русскому формализму. Преподает в Columbia University и Hunter College (Нью-Йорк). Автор научных статей, опубликованных в США, России, Англии и Новой Зеландии, а также публикации в ж. «Звезда», «Новый мир», «Интерпоэзия», «Gastarbajter»; поэтических переводов в ж. «Inventory» (Принстон) и на ресурсе «National Translation Month». Живет в Нью-Йорке.

ПЕТРОВ Александр (1938, Сербия). Поэт. Из семьи русских эмигрантов первой волны. Возглавлял кафедру истории литературы Института Литературы и Искусств (Белград) на протяжении 17-ти лет. Был председателем СП Сербии (1986-88) и президентом СП Югославии (1987). Член ПЕН-клуба с 1965. С 1992 года преподает в Питтсбургском университете (США). Занимается историей русской эмиграции и эмигрантской прессы, историей и теорией литературы; автор 25 книг. С 1993 года – гл. редактор старейшего (с 1906) журнала сербской истории и культуры «The American Srbobran» (Serb National Federation). Биография опубликована в Dictionary of Literary Biography. Стихи переведены на 29 языков. Живет в Сербии и США.

РАБИНОВИЧ Михаил (1959, Ленинград). Поэт, прозаик. Публиковался в периодических изданиях в США, России, Украины, Израиля. Автор сборника рассказов «Далеко от меня» (1999), книги стихов «В свете неясных событий» (2008) С 1991 года живет в Нью-Йорке.

РАБИНОВИЧ Яков Григорьевич (1965, Москва). Музыкальный критик. Окончил музыкальное училище им. Гнесиных по классу скрипки. После армии учился на филологическом факультете Московского педагогического института. В эмиграции с 1992; с 1997 живет в Монреале. Вел персональные колонки по истории культуры в монреальских русскоязычных изданиях.

СТРОЧКОВ Владимир (1946, Москва). Поэт. Окончил Московский институт стали и сплавов. С начала 90-х – в издательском бизнесе, с 2006 – фрилансер, занимается компьютерной версткой, графикой и дизайном. Первые публикации – в Самиздате в 1986-87 годах. Автор 9 книг и свыше 160 публикаций в различных изданиях в России и за рубежом. Стихи переводились на английский, немецкий, французский, итальянский, испанский и венгерский языки, на иврит. Лауреат премии журнала «Интерпоэзия» (2019, 2020) и др. Стипендиат Joseph Brodsky Memorial Fellowship Fund / Associazione Joseph Brodsky (США – Италия – Россия, 2000), стипендиат Bogliasco Fondazione / Centro Studi Ligure per le Arti e le Lettere (США – Италия, 2001).

ТЕРНОВСКИЙ Евгений Самойлович (1941, Московская обл.) Писатель, переводчик и литературовед; доктор философии. Учился в Московском институте иностранных языков (1960–1961), был исключен за религиозные убеждения. Как писатель дебютировал переводами поэзии с романских языков. С 1973 сотрудничал с с журналами «Грани» и «Континент», с газетой «Русская мысль». В 1974 году эмигрировал. Учился и преподавал в Кёльнском университете, затем переехал во Францию. Работал в Университете Лилля. В 1981 был одним из издателей «Русского альманаха». Автор ряда романов (три – на французском языке), среди них «Портрет в сумерках», «Двойник Дмитрия ван дер Д.» и др.; а также исследования «Rouchkine et la tribu Gontcharoff» («Пушкин и род Гончаровых»), основанного на материалах французского архива семьи Гуккернов. Живет во Франции.

ТОРЧИЛИН Владимир (1946). Писатель. Доктор химических наук, лауреат Ленинской премии. С 1991 года – профессор Гарвардской Медицинской школы; зав. отделением фармацевтических наук Северовосточного университета (Бостон). Член Европейской Академии наук. Автор сборников повестей и рассказов – «Странные рассказы», «Повезло», «Время между». Проза публиковалась в журналах «Аврора», «Волга», «Север», «Континент», «Дружба Народов», «Побережье», «Вестник», «Русская Америка» и др.

ХАЗАН Владимир Ильич (1952). Филолог, литературовед, специалист по русской поэзии XX в. и Русскому Зарубежью. Профессор Еврейского университета (Иерусалим); автор проекта «Школа гуманитарных университетских знаний». Автор книг и многочисленных статей по проблемам русской истории, литературы и русско-еврейского культурного диалога, в том числе: «О. Мандельштам и А. Ахматова: наброски к диалогу» (1992); составитель и комментатор Собрания сочинений Д. Кнута (В 2-х тт., 1997, 1998), «Пинхас Рутенберг: от террориста к сионисту. Опыт идентификации человека, который делал историю» (В 2-х тт., 2008), «Одиссея капитана Боевского: русский моряк в Земле обетованной» (2007) и др. Живет в Израиле с 1992 года.

ЧЕРЕШНЯ Валерий Самуилович (1948, Одесса). Поэт, эссеист. Окончил Ленинградский электротехнический институт связи. Автор четырех поэтических сборников, книги эссе «Вид из себя», многочисленных публикаций в ж. «Новый мир», «Звезда», «Знамя», «Октябрь», «Новый берег», «Волга» и др. Переводил англоязычных поэтов Луизу Глик, Роберта Фроста, Шеймаса Хини, Джеймса Мерилла. В 2013 году вышла книга «Глассические стопки» (совместно с В. Гандельсманом; 2-ое издание в 2016 году).

ЧИГРИН Евгений. Поэт, эссеист, автор 6 поэтических книг. Публиковался в литературных журналах, в европейских и российских антологиях. Стихи переведены на европейские и восточные языки. Лауреат премии ЦФО России в области литературы и искусства (2012), Международной премии им. Арсения и Андрея Тарковских (2013), Горьковской литературной премии в поэтической номинации (2014), общенациональной премии «Золотой Дельвиг» (2016) и др. Награжден несколькими медалями, в том числе медалью Николая Гоголя (Украина, 2014). На иностранных языках книги выходили в Польше, Украине, Сербии. Живет в Москве и Красногорске.

ШЕРБ Михаэль (1972, Одесса). Физик-теоретик, информатик. Публикации в журналах «Арион», «Дружба народов», «Интерпоэзия», «Homo legens», «Крещатик», «ШО», «День и ночь» и др. Призер чемпионата Балтии (2014), фестиваля «Эмигрантская лира» (2013). В Германии с 1994 года.

ЯСЬКОВ Владимир (1957, Винницкая обл., Украина). Поэт, прозаик. Окончил Харьковский университет. Пишет на русском и украинском языках. Публиковался в ж. «Волга», «Звезда», «Новый берег», «Интерпоэзия» и др., в антологиях и сборниках. Живет в Харькове.

The New Review / Novyi Zhurnal is the oldest continuously published Russian-language literary quarterly

The New Review Inc. gratefully acknowledges the support of our loyal friends:

Patron: The Tcherepnine Society, Mr. Peter Tcherepnine; Russian Nobility Association in America;

Sponsors: American-Russian Aid Association “Otrada”; Eli & Ludmila Flam Living Trust; Mrs. Krinka Petrov & Mr. Alexander Petrov; Mrs. Larysa Vulfin & Mr. Yan Vulfin;

Fellows: Mr. Gleb Glinka; Mr. Ara Moussaïan;

Friends: Mrs. V. Gashurova, Mr. & Mrs. G. Golovin, Mr. A. Nemirovsky, Ms. C. Raëff.

It requires the support of loyal friends for year 2021:

Patron – \$ 5,000 and up

Benefactor – \$ 2,000 and up

Sponsor – \$ 1,000 and up

Fellow – \$ 500 and up

Friend – \$ 100 and up

The Internal Revenue Service has determined that The NEW REVIEW, Inc. is a tax-exempt organization and a «public charity» pursuant to the provisions of the Internal Revenue code 501 (c) (3). Contributions to The NEW REVIEW, Inc. are tax-deductible under the provisions of section 170 of the code.

Checks must be made payable to

THE NEW REVIEW
1216 Broadway, 2nd floor
New York, NY 10001

НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Москва, Россия: Андрей Красильников – 111024 Москва, а/я 61

Санкт-Петербург, Россия: Евгений Голлербах – тел.: 7-921-940-0421

Париж, Франция: Виталий Амурский – [vitaly.amoursky@ gmail.com](mailto:vitaly.amoursky@gmail.com)

Израиль: Марина Кособок-Полонски – Polonskybooks@gmail.com

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ» МОЖНО КУПИТЬ В МАГАЗИНАХ:

Дом Русского Зарубежья: 109004 Москва, Нижняя Радищевская, д. 2

Магазин «Фаланстер»: Москва, Тверская 17; тел.: 7+495-629-88-21

Магазин «Подписные издания»: 191014 Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 57

Librairie du Globe: 67, Bd. Beaumarchais 75003 Paris, France

Polonsky Books: Haifa, Huri Street, 2, Migdal ha Nevi'im, Israel; +972 55 968 24 16

На сайте журнала через PayPal (кнопка: Подписка)

Вы можете оформить годовую подписку на журнал. Подробности на сайте: www.newreviewinc.com (кнопка: Подписка)

Новый Журнал THE NEW REVIEW

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ на 2021

Подписная цена (4 книги, включая пересылку):

для университетов и организаций

в США – \$ 150.00, за границу – \$ 200.00

(10% скидка для подписных агентств)

Индивидуальная подписка

(4 книги, включая пересылку):

в США – \$ 80.00, за границу – \$ 120.00

Цена отдельного номера – \$ 16.00

дополнительно за пересылку:

в США – \$ 7.00, за границу – \$ 25.00

E-access на год – \$ 185.00

Комбинированная подписка на год

(E-access и 4 журнала)

в США – \$ 320.00

за границу – \$ 360.00

(10% скидка для подписных агентств)

Все подробности о подписке на сайте

www.newreviewinc.com (Подписка)

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В РЕДАКЦИЮ:

The New Review

1216 Broadway, 2nd floor, New York, NY 10001

Телефон и факс редакции: (212) 353-1478

www.newreviewinc.com

newreview@msn.com
